
И.Л.ТОЛСТОЙ
МОИ ВОСПОМИНАНИЯ

И.Л. ТОЛСТОЙ

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1987

84 Р I
Т 52

Вступительная статья
С. А. Розановой

Примечание
О. А. Голиненко,
Б. М. Шумовой

Т $\frac{4702010100-1268}{080(02)-87}$ 1268—87 84 Р I

Текст печатается по изданию: Толстой И. Л. Мои воспоминания.— М.: Художественная литература, 1969.

КНИГА ЛЮБВИ И ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

1

«Мои воспоминания» Ильи Толстого — это книга о великом писателе, о его жизни в кругу семьи и друзей, о годах неомраченного счастья и его крушении, об исканиях беспокойного духа, о мучительной семейной драме. Это также и книга об отце, который, несмотря на все разногласия с сыном, был ему большим другом, побуждавшим к прозрению, к борьбе со своими недостатками, слабостями.

В 1872 году, когда автору книги было только шесть лет, его отец в письме к другу и родственнице А. А. Толстой подробно охарактеризовал всех своих детей, которых в ту пору у него было шестеро. В сыне Илье Толстой уже тогда обнаружил явную одаренность — «игры выдумывает сам»; почувствовал яркую индивидуальность — «самобытен во всем»; но он заметил в нем и отсутствие трудолюбия — «учится дурно», наклонность к сибаритству — «чувствен — любит поесть и полежать спокойно» и сложность характера — «горяч и violent (порывист.— *С. Р.*)... нежен и чувствителен». Такое сплетение разноречивых наклонностей сына внушало Толстому опасения и тревогу за его будущее. «Илья погибнет,— резюмировал он,— если у него не будет строгого и *любимого* им руководителя»[1]. Такой «строгий и любимый руководитель» был у Ильи и сопровождал его всю жизнь. Именно поэтому он, много раз «падавший» и «погибавший», нравственно не опустился, не «погиб». Но жизнь он прожил мучительно трудную, нескладную, с метаниями от одного дела к другому, от одного увлечения к другому, не свершив всего того, что обещала его «самобытная, талантливая натура».

На судьбу Ильи Львовича, о котором хорошо его знавший и дружнвший с ним И. А. Бунин писал, что «это был веселый, жизнерадостный, очень беспутный и очень талантливый по натуре человек»[2], повлияли особые семейные обстоятельства. После поэтического детства в помещичьем доме с нянями и слугами, гувернерами и домашними учителями, в атмосфере полного, радостного семейного счастья старшим детям Толстого пришлось пройти через «сумрачное отрочество», которое совпало с тем периодом, когда во взглядах писателя свершилась глубокая перемена. Иной стала вся атмосфера внутри семьи, все привычное, обжитое, освященное традициями многих поколений, вдруг стало резко порицаться, обличаться, дисгармоничными стали отношения между родителями. То, что принималось и утверждалось матерью, теперь отвергалось отцом. Молодые Толстые, особенно сыновья, использовали это противоборство разных идеалов, разных жизненных принципов в своих эгоистических интересах и беспринципно при-

[1] Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., т. 61, с. 333 (в дальнейшем все ссылки на это издание даются в статье и примечаниях лишь с указанием тома и страницы).

[2] Бунин И. А. Собр. соч., т. 9.— М., 1967, с. 70.

нимали лишь то, что им представлялось наиболее удобным и приятным. Илья Львович откровенно признается: «Я стал брать и от отца и от матери только то, что мне было выгодно и нравилось, и откидывать то, что мне казалось тяжелым». Таким слишком «тяжелым» оказалось для него обучение в гимназии, которую Илья Толстой не окончил, и получение университетского образования. Из-за отсутствия определенной профессии, твердой материальной почвы под ногами он узнал нужду и невзгоды.

Отбыв воинскую повинность в Сумском драгунском полку, Илья Львович в 1887 г., когда ему был всего двадцать один год, женится на Софье Николаевне Философовой, поселяется с ней на Александровском хуторе, в крестьянской избе, и, следуя идеям отца, опрощается, сам ведет свое скромное хозяйство. Но, в силу своей переменчивой натуры, получив в 1891 году при семейном разделе имение Гриневка (Тульская губерния), избирает уже иной, традиционный тип существования. Толстой глубоко страдал, видя, как по-помещичьи, за счет мужицкого труда, живет его сын. «Обвинительный акт против Ильи и Сони» — так озаглавил он один из фрагментов своей «Записной книжки», где осуждает Илью за «роскошь»: «лошадей, экипажи, кучера, собак» (т. 50, с. 203).

Его письма к сыну Льву, его дневниковые записи полны возмущения, гнева по адресу «неправильно» живущего сына. «Приехали к Илюше,— записывает он 24 января 1894 года в свой дневник.— С утра вижу, по метели ходят, ездят в лаптях мужики, возят Илюшиным лошадям, коровам корм, в дом дрова. В доме старик повар, ребенок-девочка работают на него и его семейство. И так ясно и ужасно мне стало это все общее обращение в рабство этого несчастного народа. И здесь, и у Илюши — недавно бывший ребенок, мальчик — и у него те же люди, обращенные в рабство работают на него. Как разбить эти оковы» (т. 52, с. 110).

С безмерным отчаянием и болью взирал Толстой на эту «покойную, гордую и самоуверенную, как будто занятую праздность» (т. 88, с. 143). Он ошибался в одном. Помещичья «праздность» в Гриневке не была уж столь «покойной, гордой и самоуверенной». Причин этому было много. Одна из них та, что владелец Гриневки и члены его семьи оказались восприимчивыми к идеям Толстого, к его отрицательной оценке их быта, к его неприятию несправедливого общественного устройства, реагировали на его упреки. Илья Львович все же сознавал несправедливость своего привилегированного положения, чувствовал стыд перед «рабами», пытался как-то «опростить» свой быт, подобно тому, как это пытался делать в Ясной Поляне Лев Толстой. А. И. Толстая-Попова, дочь Ильи Львовича, в своих воспоминаниях рассказывает, как они в Гриневке старались «жить общей жизнью с народом», «шли навстречу каждому», снабжали крестьян лесом, давали им своих лошадей, всей семьей участвовали в крестьянских работах, а ее отец «зимой столярничал, переплетал книги», даже мастерил мебель для дома (Гос. музей Л. Н. Толстого. В дальнейшем ГМТ). После каждого посещения отца, встречи с ним Илья Льво-

вич острее ощущал контраст своей помещичьей жизни с нищенским существованием голодного и обобранного мужика. «Две-три недели жизни дедушки у нас в семье,— вспоминала А. И. Толстая-Попова,— его скромное, незаметное руководство, его любовь ко всему живому и ко всем окружающим осветили нам нашу жизнь, наше отношение к людям и к человеческим нуждам»[1].

Эти встречи с отцом, беседы с ним («Я говорю с ним, когда могу»,— заметил Л. Н. Толстой в одном из своих писем.— т. 65, с. 304) давали свои всходы. В 1891—1892 годах, когда русское крестьянство вследствие «хищнического хозяйства самодержавия»[2] стало жертвой страшного голода, Илья Львович по собственной инициативе оказывал материальную поддержку голодающим мужикам, а затем принимал самое деятельное участие в той огромной кампании помощи крестьянству, которую возглавил его отец.

Таким образом, Толстой, который не раз сетовал, что «нет детей, чтоб на них отдохнуть» (т. 70, с. 17), и удивлялся, «как, живя в такой близости, не заразиться хоть немного», все же иногда имел возможность убедиться, что «заражение» происходило и под «заскорузлой черкской скорлупой» рождалось разумное гуманное сознание.

«Покойной и гордой» не была «праздность» в Гриневке еще и потому, что по всей России шел процесс помещичьего оскудения, гибели дворянских «вишневых садов», и Илья Львович очень страдал от недостатка средств, от невозможности содержать свою большую семью.

Начиная с девяностых годов, особенно после продажи имения в Гриневке, вплоть до самой революции Илья Львович ведет беспокойную скитальческую жизнь в поисках «доходного места». Он неоднократно меняет местожительство, службу и должности: то он гласный Калужского земства, то страховой агент, то оценщик Крестьянского банка; живет то в Калуге, то в Пензе, то в Саратове, то в Симбирске, то в Москве и Петербурге. Его одолевали самые разные проекты и замыслы, которые, как он надеялся, должны были спасти семью от груза забот и лишений. Но все это оказывалось химерой, бесплодными мечтаниями. Сын Толстого изнемогал от необеспеченности, хронического безденежья (его письма к матери полны просьб о помощи, о займах, жалоб), от неудовлетворенности неинтересной службой и самим собой. Потерпев крах многих своих начинаний, Илья Львович решает испытать себя в качестве журналиста. Будучи уполномоченным общества Красного Креста, он перед отъездом осенью 1914 года на театр военных действий договорился с редакцией газеты «Русское слово» о сотрудничестве с ней. Действительно, на ее страницах было опубликовано несколько его очерков — «В Галиции. В покоренной стране», «Картинки войны. Опустевшие казармы», «Поле смерти» и др.

[1] Толстая-Попова А. И. В родовом имении Толстых.— «Новый мир», 1935, № 11, с. 202.

[2] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 6, с. 278.

В них зримо проявилась духовная близость сына с отцом. В этих очерках и зарисовках — толстовское осуждение решения конфликтов и проблем междоусобицами, оружием, кровопролитием, а также любовь к России, преклонение перед ратным подвигом миллионов солдат, сочувствие их доле. Но и газетное поприще не стало уделом Ильи Львовича — из-за длительной болезни, не позволившей ему регулярно доставлять в «Русское слово» свои корреспонденции, договор с ним был расторгнут.

Илья Львович прошел через увлечение живописью и кинематографом. Неожиданно для себя он вдруг взял в руки кисть и на протяжении ряда лет писал картины, преимущественно пейзажи, которые свидетельствовали о его одаренности, имели успех. Однако художник из него не получился. А в 1916 году Илья Львович на основе рассказа Толстого «Чем люди живы» написал сценарий, сам снял фильм, в котором сыграл роль барина. Наконец, испробовал он себя и в амплуа лектора: вскоре после смерти Толстого Илья Львович стал разъезжать по России с лекцией «Из личных воспоминаний об отце», что, видимо, ему импонировало и побудило взять на себя миссию популяризатора творчества и идей своего отца за пределами России. В ноябре 1916 года Илья Львович покинул Россию и из Петербурга отправился в США. «Очень жалею,— писал он матери 2 ноября 1916 года,— что никак не мог заехать в Ясную проститься, так много хлопот было с писанием и переводом лекций» *(ГМТ)*.

Эта поездка была вызвана разного рода неудачами: «Русское слово» порвало с ним контракт, сорвалось издание основанной на кооперативных началах ежедневной газеты «Новая Россия», редактором которой он хотел быть, и, наконец, распалась семья — Илья Львович разошелся с женой. В Америке его настигло известие о событиях февраля 1917 года. С большим сочувствием он отнесся к буржуазно-демократической революции в России, с которой связывал надежды на скорое окончание ненавистной войны. Накануне своей поездки в Россию в составе специальной железнодорожной комиссии И. Толстой встретился с бывшим президентом США Теодором Рузвельтом. Несомненно, ему было известно, что перед ним противник взглядов его отца. В своей статье «Толстой» (1909) Рузвельт утверждал, что моральные принципы великого социального критика «некоторым образом приводят к падению нравственности» [1], резко отвергал его критику политики империалистических захватов. Вероятно, он знал также, как отрицательно оценивал этого американского политического деятеля Толстой, называвший его «империалистом и милитаристом» [2]. Всем этим Илья Львович пренебрег, рассчитывая на его содействие делу заключения мира.

После недолгого пребывания на родине осенью 1917 года Илья Львович возвратился в Америку и навсегда расстался с родиной. Он покинул Россию и потому, что окончательно расстроилась его семейная жизнь, и потому, что он не сумел найти для

[1] Цит. по книге: «Литературное наследство», т. 75, кн. II.— М., 1965, с. 149.

[2] Маковицкий Д. П. У Толстого.— «Литературное наследство», т. 90, кн. I.— М., 1979, с. 267.

себя здесь настоящее дело, но и потому также, что его пугала бурлящая страна и ему хотелось, как он признавался в одном из своих писем, избежать «кошмара русской революции». Возвращался он с гнетущим чувством, ибо американскую действительность он оценивал по-толстовски — трезво, без иллюзий. Сохранилась его статья «Шесть месяцев в Америке» о первых впечатлениях от страны. Он не принял проникнутую духом буржуазного меркантилизма американскую действительность. Его неприятно поразили стандартность, «однообразие всех городов». «Здесь все на один образец,— писал он в своей статье,— одежда, дома, отели, папиросы, автомобили, улицы и, главное, люди...» Илья Львович возмущался тем, что «здесь уважается не человек, а только его деньги... рядовой американец никогда не сядет за один стол с негром, так и миллионер никогда не сядет с бедняком. Негры как были рабами шестьдесят лет тому назад, так они и остались». С удивлением обнаружил он низкий уровень культуры жителей Нового Света. «Рядовой американец поражает своим полным невежеством Знания языков нет ни у кого. Знания литературы никакой, истории тоже. Во всем городе Нью-Йорке при пяти миллионах населения всего-навсего только двенадцать книжных лавок. Дешевых народных изданий совсем нет» *(ГМТ)*,— отмечал сын писателя после первого полугодия пребывания в стране.

За годы, проведенные в Новом Свете, И. Толстой узнал всю горечь эмигрантского существования. Лишь первые месяцы пребывания в Америке были заполнены активной журналистской и общественной деятельностью во имя сближения Америки с Россией — деятельностью, создавшей иллюзию собственной значительности, то есть именно того, чего ему так не хватало в прошлом. «Я здесь устроился как будто надолго,— сообщал Илья Львович матери в декабре 1917 года.— Пишу ежедневные статьи в газете: комментирую события, происходящие в России... Статьи мои имеют большой успех, платят мне хорошо. Здесь я на положении «большого человека». Мои статьи печатаются в двадцати или больше газетах сразу, к моему голосу прислушивается вся Америка, и вот теперь уже, после двух недель моей деятельности, здешнее правительство в Вашингтоне обратило на меня большое внимание, и я чувствую, что я являюсь силою, влияющей на отношения Америки с России» *(ГМТ)*. Разумеется, Илья Толстой явно преувеличивал свою роль в решении этой большой и сложной международной проблемы, но можно сказать, что за океаном он оставался патриотом, горячо преданным родине, и при всех ошибочных политических концепциях проявлял лояльность в отношении Советского государства.

Но период публицистической работы, выступлений на страницах газет и журналов со статьями и обращениями был кратковременным. Декабрьское письмо к матери, быть может, единственное, написанное человеком, познавшим успех, признание, почувствовавшего себя «большим», заканчивалось так: «Все это интересно, но это не мое призвание. Я никогда не был политическим деятелем и никогда не был журналистом. То и другое мне чуждо... Здесь я связан. Мне тяжела эта жизнь в центре движения и алчности» *(ГМТ)*.

Главным занятием Ильи Львовича становятся выступления с лекциями о творчестве и мировоззрении Л. Н. Толстого. «Я четыре года в Америке,— писал он брату Сергею в 1922 году,— иногда пишу, но больше живу лекциями об отце» *(ГМТ)*. Но они не спасали от необеспеченности, от лишений, от забот о хлебе насущном, а главное — не всегда радовали встречи с чужой аудиторией. «О Толстом знают здесь мало. I read Anna Karenina и больше ничего,— делился Илья Львович своими наблюдениями с Т. Л. Сухотиной в письме от 2 апреля 1926 года.— И не интересуются. Даже мне пришлось теперь составить новую лекцию на общую тему «Progress and Civilisation». Это интересные вопросы» *(ГМТ)*. В недатированном письме к И. Е. Репину читаем: «О себе скажу, что живу седьмой год в Америке, часто скучаю по родине и стараюсь, насколько сил и умения хватает, возбуждать интерес к великим идеям моего отца». Именно здесь, на чужбине, Илья Львович становится неустанным пропагандистом тех самых идей, справедливость которых он в своей прошлой жизни в полной мере не сознавал. Сохранились черновые наброски тезисов его лекций. В своих выступлениях он знакомил слушателей с учением Толстого, с критикой им буржуазной цивилизации, современного государственного устройства, с его демократической программой, а также утверждал истинность его религиозно-нравственной философии, концепции морального совершенствования личности.

Со временем частые длительные разъезды по огромной стране, кочевая жизнь, «вонючие вагоны, отели, отвратительная пища... и одиночество» (Т. Л. Сухотиной, 26 августа 1925 года) стали крайне утомлять Илью Толстого, и самой большой радостью становятся летние каникулярные месяцы в американской «Гриневке», «маленьком желтеньком домике», вдали от города. «Одно утешение,— делился он с Т. Л. Сухотиной,— это лето, когда можно уйти в природу... хоть и не та природа, что в России. Земля не так пахнет, цветы не так цветут, деревья растут иначе — все же это природа» *(ГМТ)*.

Подобно почти всем эмигрантам, он в полной мере познал муки жгучей тоски по родине, горечь разлуки с ней, тем более что отвращение к американской действительности все усиливалось. «...Однообразие американской жизни убийственно,— писал он С. Л. Толстому 25 марта 1925 г.— Те же лица, те же слова, те же магазины, те же полуобразованные хищники, та же фальшь — деваться некуда... не знаю прямо, как силы хватает» *(ГМТ)*.

Илья Толстой стремился также расширить представление американцев о художественном творчестве своего отца. Он перевел на английский язык ряд его произведений, в том числе и рассказ «Чем люди живы». Кроме этого, он принял приглашение одной голливудской киностудии и участвовал в экранизации романов Л. Толстого. 2 декабря 1927 года состоялась премьера фильма «Анна Каренина». Он назывался «Любовь» и мало походил на шедевр великого мастера. Например, в этом фильме Анна и Вронский возвращались из Москвы не поездом, а на санках, по дороге они останавливались на постоялом дворе, который помещался на четвертом этаже каменного дома, где кутили, пьянст-

вовали офицеры, пели цыгане. Кончался фильм настоящим «хеппи-эндом» — Анна благополучно выходила замуж за Вронского. Когда находившийся в это время в Америке Вл. И. Немирович-Данченко познакомился со сценарием «Любовь», он был возмущен. Возмущен был и Илья Толстой. «Справедливости ради,— говорил Немирович-Данченко,— нужно отметить, что И. Л. Толстой также протестовал против искажения произведения великого писателя»[1]. Но к голосу сына писателя Голливуд не прислушался, мало того,— в программе, которую раздали зрителям, приглашенным на премьеру, сообщалось, что «сын великого романиста и драматурга» находит, что роман не пострадал при переводе на экран, а «главные персонажи со всей убедительностью переносят на экран те страсти, которые раздирают сердце в данном случае»[2]. Таким образом, вопреки воле Ильи Львовича его именем было освящено надругательство над великим творением великого художника.

Еще более возмутительной была история с экранизацией романа «Воскресение» Эдвином Кервью. Илья Львович был недоволен сценарием и обратился к Вл. И. Немировичу-Данченко с просьбой помочь добиться его переделки. Одновременно студия просила Немировича-Данченко быть консультантом постановки. В письме к заместителю директора студии «Юнайтед артистс» Консидайну он следующим образом мотивировал свой отказ: «Я нахожу, что знаменитое русское произведение испорчено. И испорчено не только в своих главных идеях, ради которых оно написано, но и в драматическом развитии. В манускрипте отсутствует многое самое важное и, наоборот, еще внесено много — о, слишком много — выдуманного, очень безвкусного». В своем письме Немирович-Данченко опять ссылался на графа Толстого, «который совершенно согласился с моей критикой» и «тоже находит, что режиссер не сможет, а может быть, и не захочет менять что-нибудь по моим указаниям»[3]. Илье Львовичу, недовольному сценарием, все же не удалось предотвратить фальсификацию романа. К сожалению, он благодаря своему исключительному сходству с отцом снялся в фильме в роли Л. Н. Толстого, хотя кадры с его участием были отсняты прежде, чем он осознал порочность этой картины.

Так на пути Ильи Толстого, искренне хотевшего расширить круг почитателей творчества своего отца, приобщить их к сфере его художественной мысли, встала та самая Америка, которую он отвергал и порицал. В сущности, вся его жизнь за океаном — это весьма типичный вариант «американской трагедии», которую пришлось испытать русскому эмигранту. Он жил трудно, нуждался, под конец жизни тяготился своей лекционной работой.

В 1933 году Илья Львович безнадежно заболел, перенес тяжелую операцию. Вернуться из больницы в свой домик он не смог бы не только из-за безнадежного своего состояния, а и потому, что над его убежищем нависла серьезная угроза. «Самое

---

[1] «Искусство кино», 1965, № 4, с. 93.

[2] Там же, с. 92.

[3] «Вопросы киноискусства», вып. 5-й.— М. 1961, с. 192.

ужасное, что ему предстоит суд 3 сентября,— информировала родственников о положении брата А. Л. Толстая,— за невыплаченный долг, на днях закроют электричество и телефон, тогда он останется без света, без воды, без плиты» *(ГМТ)*. 11 декабря 1933 года И. Толстой скончался в нью-йоркской больнице. В эти дни на полки книжных магазинов Москвы легла его книга «Мои воспоминания», ее первое советское издание.

2

Желание воскресить прошлое, писать мемуары возникло у И. Толстого еще при жизни отца. «Меня очень интересуют Ваши воспоминания. Кончены ли они? — спрашивал он свою мать, уже несколько лет работавшую над книгой «Моя жизнь», в письме от 9 января 1910 года.— Я сам хотел в свободное время написать кое-что из детских впечатлений и интересуюсь Вашим трудом, чтобы возобновить в памяти хронологию разных событий» *(ГМТ)*. Вскоре после смерти Л. Н. Толстого он начинает публиковать мемуарные очерки о нем. В 1911 году появляется «Отрывок из воспоминаний об отце», в следующем году «Из воспоминаний об отце», которые представляли собой как бы заготовки к будущей книге. Такими же заготовками оказались и многие его устные рассказы, которые так запомнились, в частности И. А. Бунину. «Он любил говорить об отце, много рассказывал мне о нем»,— заметил он в книге «Освобождение Толстого», где привел некоторые из этих рассказов, впоследствии вошедших в книгу «Мои воспоминания».

Писать книгу Илья Львович начал только в 1913 году, и работал с увлечением, с сознанием большой ответственности. «Я много пишу, ушел с головой в свои воспоминания и написал уже порядком,— сообщил он матери 10 апреля 1913 года,— не хочется торопиться, дабы стало все в отделанном виде» *(ГМТ)*. Порой его охватывали сомнения, страх перед сложностью задачи, которую ему предстояло решить. «Я начал это дело,— делился он своими раздумьями с Т. Л. Сухотиной в письме от 2 апреля 1913 года,— и ужасно боюсь, что не слажу. Натыкаюсь на то, что выходит наивно и несодержательно, или приходится отвлекаться в область рассуждений и пояснений, и тогда выходит тяжело и скучно... хочется писать так, чтоб было интересно для всякого — барина, мужика, русского и нерусского, а для этого надо огромную технику или талант. Все-таки я не робею и пишу» *(ГМТ)*.

Неоценимую помощь сыну оказывала С. А. Толстая, сведущий летописец истории рода Толстых, их родственных кланов. Она в ответ на запросы сына снабжала его сведениями биографическими, хронологическими, уточняла факты, посылала материалы для главы «Почтовый ящик», фотографии. Она позволила Илье Львовичу воспользоваться своей книгой «Моя жизнь» и ранними дневниками Толстого, тогда еще не опубликованными. Не уверенный в себе автор выносил на суд читателей отдельные главы своего сочинения. Отзывы были положительные. «Прочла Илюшины «Воспоминания»,— сообщала Т. А. Кузминская сестре 7 января 1913 г.— Превосходно написаны... интересно, прямо-таки

талантливо» (*ГМТ*), а сам мемуарист, в свою очередь, информировал Софью Андреевну 10 апреля 1913 года: «В Москве некоторые читали отрывки, и все в один голос в восторге» (*ГМТ*).

Дружеская поддержка побуждала И. Л. Толстого преодолевать робость и напряженно работать. В октябре 1913 года его произведение, получившее название «Мои воспоминания», начало публиковаться на страницах «Русского слова», а через год вышло отдельным изданием. При его подготовке автор выправил кое-где стиль, учел замечания сестры Татьяны, вставил предложенные ею дополнения, принял во внимание «фактические указания» Н. Н. Гусева, секретаря Толстого.

Илья Львович приступил к работе над своими записками спустя два года после смерти отца, когда еще не смягчился накал страстей, кипевших вокруг него в последний год жизни, когда еще живы были все участники яснополянской драмы, жива была Софья Андреевна, и потому, по собственному признанию мемуариста, «пришлось о многом промолчать», «чтобы не причинить лишней боли еще живущим» [1].

Уже в Америке И. Толстой, в связи с предполагавшимся к столетию со дня рождения великого писателя (в 1928 г.) новым изданием в Москве своих мемуаров, серьезно их переработал: несколько глав было написано заново (I, III, VI, VII, XXX), расширены и значительно изменены написанные ранее. Весь новый материал, все дополнения Илья Львович прислал своей дочери А. И. Толстой-Поповой, которая подготовила текст нового издания. Автору посылались корректуры, ему была отправлена и сама книга, выпущенная издательством «Мир». В последнем письме к отцу 3 декабря 1933 года А. И. Попова просила его: «Сообщи впечатление о книге, мы над ней корпели и делали ее с любовью» (*ГМТ*). Ни прочесть это письмо, ни тем более ответить на него автору не пришлось. Остается неизвестным даже, успел ли он познакомиться с новым, осуществленным в Советской России изданием его воспоминаний.

Очерки сына писателя появились тогда, когда мемуарная литература о Толстом только еще стала появляться в печати, а та, что была создана кругом родных и близких, еще хранилась в семейных тайниках. Среди них дневники, ежедневники С. А. Толстой, дневник М. С. Сухотина «Л. Н. Толстой в последние десятилетия своей жизни» и др. Еще не были написаны Т. Л. Сухотиной ее поэтическая повесть «Детство Тани Толстой в Ясной Поляне», очерки «о друзьях и гостях» отца, еще не приступила к осуществлению своей книги «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне» Т. А. Кузминская.

Пройдут годы, прежде чем дети Льва Толстого вспомнят и опишут годы, проведенные в родном доме, вблизи отца, одного из самых величайших людей России. Таким образом, до Ильи Толстого никто из семьи писателя, никто из его детей, из самых близких к нему людей не выступал со своими мемуарами, со своими рассказами о нем, о больших и малых событиях его долгой жизни. Он был первый, кто распахнул двери яснополянского до-

[1] Толстой И. Л. Мои воспоминания.— М., 1914, с. 275.

ма, познакомил своих современников с Толстым домашним, интимным. Он воскресил уже мало кому памятный облик писателя той самой счастливой поры его жизни, когда он был молод, гармоничен, свободно отдавался высокой радости творчества, когда рядом была любимая жена, верный и близкий друг, неутомимая помощница, страстно влюбленная в его искусство, когда радовали первые шаги, лепет, игры детей. Он рассказал о духовном кризисе Толстого так, как этот кризис воспринимался ребенком, который недоумевал, слыша «резкие порицания пустой, барской жизни, обжорства, обирания трудового народа и праздности». Немногими штрихами, такими, какие мог подметить только каждодневно общавшийся с ним человек, он воссоздает образ другого Толстого, «сумрачного, раздражительного», постоянно недовольного собой, не могущего примириться с тем, что «мы ездим на лошадях купаться, а у Прокофия околел последний мерин, и ему не на чем вспахать загон», тем, что «мы объедаемся котлетами да разными пирожными, а в Самаре народ тысячами пухнет и умирает с голода». Страдания, испепелявшие душу писателя, отчуждали его от семьи. Как много, например, говорит о трудностях каждодневного бытия Толстого рассказ его сына о том, что «к обеду он выходил мрачный, задумчивый, и когда разговаривал, то говорил только о «своем» и был для всех нас скучен и неинтересен».

Автор воспоминаний показывает отца в самых разных ракурсах: в застольной беседе и склоненного над рукописью, охваченного охотничьим азартом и тачающего сапоги, играющего с детьми и пашущего крестьянское поле, в домашнем шуточном спектакле и в сердитом споре, среди аристократических гостей и среди яснополянских мужиков. Его Толстой, поданный не крупным планом, а раскрытый через призму частной жизни, одновременно и исключительная личность, и земной человек. Интеллигентная Россия, которой был известен Толстой — суровый обличитель, гениальный художник, апостол нового учения,— вдруг узнала его совсем с другой стороны, познакомилась с ним более близко и более интимно. Память любящего сына восстановила неповторимый облик великого русского писателя, черты его характера, его вкусы и пристрастия, сберегла множество драгоценнейших семейных историй, эпизодов, былей, связанных с ним, углубивших и обогативших представление современников о нем.

Илья Толстой в своих воспоминаниях нарисовал портреты самых близких Толстому лиц — брата Сергея, сестры Марьи, Т. А. Кузминской, Д. Дьякова, С. Урусова, рассказал о том, кем были для него А. Фет и Н. Ге, Н. Страхов, крестьянин-философ К. Сютаев. Он воссоздал образы людей прошлого со всем их своеобразием, интересами, настроениями. В этом смысле воспоминания сына писателя в какой-то степени интересны не только собственно толстовской темой, но представляют собой документальный памятник ушедшей эпохи, дворянско-помещичьей жизни прошлого века.

Мемуары И. Толстого уже в своем первом варианте содержали ряд новых материалов: многие письма Толстого и к нему впервые были опубликованы там, впервые был оглашен теперь так широко известный по воспоминаниям С. Л. Толсто-

го ясинополянский «Почтовый ящик», шуточная литературно-творческая трибуна обитателей яснополянской усадьбы. Эти юмористические стихи и эпиграммы, сатирические послания и прозаические сочинения, шутливые анкеты и серьезные ответы — свидетельство не только одаренности всех участников этой игры, но и сложности внутрисемейных отношений, различия их взглядов, жизненных идеалов.

Уже в первоначальном, более кратком варианте воспоминаний в полной мере обнаружилась талантливость их автора, его художническое дарование, благодаря которому ожило, обрело реальность очень дорогое для всего мира, и для русских в первую очередь, прошлое, ожил яснополянский дом со всеми его обитателями: хозяевами и слугами, друзьями и гостями. И в этом отличительная особенность мемуарного почерка И. Толстого, первым проложившего дорогу, по которой впоследствии пошли и другие члены семьи, близкие писателя. Естественно, что многое из того, о чем первым рассказал Илья Львович, вспомнится и Л. Л. Толстому, написавшему в эмиграции небольшую книжку «Правда о моем отце», и С. Л. Толстому, автору обстоятельных и содержательных мемуаров «Очерки былого»,— ведь все они пережили одну эпоху, одни события, знали и любили одного Толстого — своего отца.

Когда в США И. Толстой вернулся к своим воспоминаниям, он отнюдь не ограничился тем, что вставил «умолчанное» в 1913 году, но существенным образом изменил свою книгу. Она приобрела иную тональность, иной характер, ибо эта работа имела для него особый и большой смысл. Она означала возвращение немолодого, много пережившего и передумавшего человека в страну детства, она означала возвращение эмигранта на свою любимую родину, она означала также и возвращение блудного сына в отчий дом, и новую встречу с отцом. И был еще один немаловажный аспект. В одном из своих американских писем Илья Львович признался сестре Татьяне: «люблю художественное творчество...» (*ГМТ*).

Всю неутоленную потребность в творчестве вложил И. Толстой в этот свой труд, сделав его более лирическим, более эмоциональным, психологически глубоким, более сопряженным с личностью главного персонажа воспоминаний — Л. Н. Толстого. Он даже порой, подобно автору автобиографической трилогии о трех порах жизни Николеньки Иртеньева, пропускает мир ребенка через восприятие взрослого человека, использует толстовский прием лирических обращений, отступлений. Свой рассказ о ранних годах жизни он начинает поэтическим зачином: «Детство! Почему твои впечатления так свежи, так ярки? Мне уже больше шестидесяти лет, я живу сейчас в чужой стране, далеко от всего мне родного, и все же я вижу тебя перед собой и слышу твое благоухание...» — и заканчивает почти толстовским эмоциональным обобщением: «Могучая, чистая, ничем не омраченная радость детства».

Вернувшись в мир своего детства, Илья Львович дополнил книгу новыми «благоухающими» главами о Ясной Поляне, о преданиях, связанных с ее историей, о ее лесах, полях, об особой красоте русской природы.

В отчий дом он вернулся для того, чтобы многограннее обрисовать облик своего отца и самому глубже понять его, его искания, осмыслить драму его жизни, сказать ему все то, чего он не смог сказать, когда тот был жив.

Теперь, спустя десятилетия, сын по-настоящему понял, как много значил в его жизни отец, как во многом истинными были его нравственные принципы. Поэтому он так акцентирует тему «Толстой-воспитатель», проблему «отцов и детей» в семье писателя. Толстой был широко известен как создатель оригинальной педагогической системы, как автор своей особой «Азбуки», как основатель своеобразной школы для крестьянских детей. Но от его сына впервые стало известно, как он воспитывал своих собственных детей, как учил их математике, греческому, латыни, как иллюстрировал для детского домашнего чтения роман Жюля Верна «Путешествие вокруг света в 80 дней», как вычеркивал из «Трех мушкетеров» «те места, которые нельзя было слушать детям». От него впервые узнали, что его «отец никогда не выражал своей любви открытой прямой лаской» и «всяческие проявления нежности называл «телячьими ласками», «никогда не наказывал своих детей», но «все знал, и обманывать его было то же самое, что обманывать себя». Илья Львович припоминает многие случаи из своего детства и юности, благодаря которым мы видим, как требователен и взыскателен был Толстой, как заботился о том, чтобы его дети были мужественны, хорошо физически развиты, свободны от тщеславия, эгоизма, самолюбования, нравственно чистоплотны. В его рассказах об отце, общении с ним, беседах на сокровенные темы, об уроках жизни, преподанных им, чувствуется позднее раскаяние в том, что он часто пренебрегал многими его заветами, истинность которых в полной мере уяснялась им лишь теперь. «Я никогда не гримировался в последователя отца, хотя всегда ему верил,— признается он.— Но чем старше я становлюсь, тем яснее мне становится его миросозерцание и тем ближе я к нему подхожу».

Большое место в книге «Мои воспоминания» занимает проблема духовной и семейной драмы отца. Благородство и достоинство позиции И. Толстого как мемуариста — в стремлении к максимальной объективности, беспристрастности. «Пусть судят его другие, я же ни матери, ни отца осуждать не смею, ибо я знаю, что они оба хотели поступать и поступали, как им казалось лучше и честнее».

Он подробно освещает то время, когда совершился перелом во взглядах Толстого, сопряженные с этим осложнения в жизни семьи. Он не корит отца, который пришел к народу и ужаснулся, что «два семейства совершенно одичавших людей, потерявших всякое сознание не только любви к ближнему, но и чувства справедливости... жили... среди просторных тенистых садов... держали себе до сорока человек людей, занятых только тем, чтобы кормить, возить, одевать, обмывать эти два дикие семейства», а семьдесят просвещенных семейств «жили на тесной улице, работая, и старый и малый, с утра до вечера и питаясь одним хлебом с луком». Можно себе представить силу гнева писателя, если даже в шутке, предназначенной для «Почтового ящика», для семейного

развлечения, он не может не высказывать свои самые наболевшие мысли.

Илья Толстой с большим сочувствием и пониманием проникает во внутренний мир отца, «живущего в явном противоречии со своими убеждениями, в положении кающегося грешника, продолжающего пребывать в грехе, в положении учителя, своей жизнью попирающего свое же учение». В противовес многим последователям Толстого он не обвиняет отца за его «пребывание в грехе», за то, что он не оставил семью, продолжал прежний образ жизни, а видит в этом проявление мужества, нравственной силы, гуманности, нежелание причинить страдания близкому и дорогому человеку — своей жене.

С таким же пониманием и сочувствием относится Илья Львович к своей матери, чей великий подвиг, чью самоотверженную любовь к мужу, к детям он по-настоящему оценил после ее смерти и кому он посвятил в книге много добрых и прекрасных страниц. Он создает верный психологический ее портрет. Софья Андреевна по своему воспитанию, привычкам, миросозерцанию не могла принять новую «веру» мужа и отказаться от барской жизни и привилегий. «Виновата ли Софья Андреевна, что ее муж, после пятнадцати лет жизни с нею, вырос в великого мудреца и аскета? Найдется ли хоть одна женщина в мире, которая могла бы с легкой душой обречь на погибель то гнездо, которое она любовно вила в течение всей своей сознательной жизни, и пойти на подвиг?» — спрашивает себя автор воспоминаний в последней, новой главе книги, написанной в защиту матери от наветов «толстовцев», в первую очередь Черткова, объявившего ее единственной виновницей всех драматических обстоятельств, причинявших страдания Толстому.

Утверждая, что в драме родителей, завершившейся «уходом» Толстого, не было «виноватых», Илья Львович проявил и великую сыновнюю любовь, и подлинный, здравый смысл: прав был Толстой, отвергавший собственнический мир, звавший к коренному его изменению, требовавший сочувствия к трудовому народу, но права была и Софья Андреевна, охранительница интересов большой семьи, в своем нежелании отказаться от Ясной Поляны, от гонораров за сочинения мужа, обречь сыновей и дочерей на нелегкую мужицкую долю. Она не могла не видеть абстрактности его программы, ее иллюзорности, того, что на деле она оборачивалась «юродством».

Проявив широту и самостоятельность в объяснении истоков драматической ситуации, возникшей в его семье, Илья Львович все же отдал дань и тем «предрассудкам», которые бытовали в семье, и ложным представлениям, весьма распространенным в кругах русской интеллигенции. Он склонен объяснить все трудные и мучительные переживания тех лет, когда прозревший Толстой осознал антигуманность, жестокость и бесчеловечность всего современного общественного устройства, его «непрестанным страхом смерти», поисками смысла жизни, бога, разочарованием в официальной религии. Таким образом, им сужается значение и сущность этого важнейшего момента в жизни писателя, который порывал тогда со старой дворянской Россией и напряженно

искал путей и способов преобразовать мир в «любовную ассоциацию людей», в общежитие равноправных тружеников. Религиозно-этические искания Толстого выражали его страстную потребность общественной справедливости, блага для мужицкого народа; и тот глубокий пессимизм, в котором находился тогда писатель,— проявление напряженности работы мысли, отчаяния от познанной правды. Этого Илья Львович, правдиво осветивший психологическое состояние своего отца, все же не распознал.

Несколько односторонен Илья Львович и в освещении личности Черткова. Его скрытый за многоточиями образ не раз встречается на страницах мемуаров. Он проявляет к нему явную вражду и антипатию. Все в нем неприятно ему: и речь «на английский манер», и одежда, и барство. Он преувеличивает степень вмешательства Черткова в творческую работу своего отца. Ему даже кажется, что никто не узнает, где кончается то, что писал отец, и где начинаются его уступки настойчивым «предположительным поправкам» г-на ***». Между тем «мир узнал», сохранилась переписка Толстого с Чертковым, сохранились рукописи, и в настоящее время весьма точно установлено, что Толстой не так безоговорочно, как это казалось его сыну, и далеко не всегда принимал поправки и формулы своего порой бестактного друга.

В. Г. Чертков, потомок родовитой русской аристократии, стал единомышленником Толстого, на протяжении почти двух десятилетий был его верным другом, много сделавшим для распространения его запрещенных в России сочинений, для издания их за границей, для сохранения его рукописей. Софья Андреевна ревниво относилась к сближению Толстого с Чертковым, к тому, что он читает рукописи, хранит у себя его дневники, то есть вторгается в сферу ее влияния. Если принять во внимание и то, что Чертков отличался трудным, властным характером, далеко не всегда был тактичен в отношении Толстого, а особенно Софьи Андреевны и близких к писателю людей, то понятно, почему в семье Толстого, особенно в последний год его жизни, Черткова не любили. Но Илья Львович не совсем прав, полагая, что главная причина событий той роковой ночи, когда писатель покинул свой дом,— тайно составленное завещание под нажимом «друзей в кавычках», то есть главным образом Черткова. Эта точка зрения господствовала в семье писателя. Через несколько дней после кончины Л. Н. Толстого один из его сыновей — Лев Львович — опубликовал письмо, в котором объявлял Черткова «злейшим врагом отца.., злейшим врагом всего русского образованного общества...». «Он отнял у нас Толстого»,— заявлял он [1]. Тогда Илья Львович не согласился со своим братом. Возражая ему, он писал: «Считаю себя обязанным печатно заявить, что, по моему мнению, узкое и пристрастное толкование значения Черткова умаляет величие памяти моего отца» [2].

[1] Толстой Л. Л. Кто виновник.— «Новое время», № 12458, 16 ноября 1910 г.

[2] «И. Л. Толстой по поводу письма брата».— «Русское слово». № 266, 18 ноября 1910 г.

В своих же воспоминаниях он, который знал, что мысль об «уходе» много лет владела Толстым, теперь пытается убедить читателей, что, не будь тайно составленного завещания, не будь воздействия Черткова, «все столкновения... кончились бы ничем». Время не охладило накала той ожесточенной борьбы, которая «рвала писателя на части», бесконечно омрачила последний год его жизни и создала вокруг него невыносимую атмосферу трагической междоусобицы, когда близкие к нему люди разбились на два враждующих лагеря. И Илья Львович в своих мемуарах отдал дань этим настроениям. Все его собственное, беспристрастное повествование подводит к справедливой мысли, что причины были значительно глубже и серьезнее, что «уход» был вызван сложным сплетением личных и общественных отношений: Толстой уходил от ненавистного ему уклада, от всех, кто стоял на пути претворения в жизнь его идеалов «простой и доброй» жизни, вырывался из плена своей пассивной философии «непротивления злу». Тайна вокруг завещания, по которому он безвозмездно отдавал народу все свое творчество, свое бессмертное литературное наследие, только усугубляла ситуацию, но не была решающей, как полагал автор воспоминаний.

* * *

Мемуары И. Толстого заслужили признание в России и за рубежом: они были переведены на французский, английский, чешский, польский языки. В день пятидесятилетия со дня смерти Л. Н. Толстого в Варшаве на торжественном вечере его памяти со сцены драматического театра были зачитаны отрывки из воспоминаний его сына.

В мемуарной книге И. Толстого в полной мере проявилась его литературная одаренность; в ней с любовью рассказано о духовной красоте, о несгибаемой воле, непреклонном характере, о человечности его «строгого и любимого руководителя».

«Мои воспоминания» — достойный памятник Толстому, правдивая летопись его долгой и трудной жизни, книга, в которой с любовью и тактом воплощен образ великого русского художника в разных гранях и проявлениях.

3

Илья Львович был литературно наиболее одаренным из всех детей Толстого, хотя склонность к творчеству обнаруживали и Сергей, и Татьяна, и особенно Лев, автор многих рассказов и повестей. «По мнению Льва Николаевича, если кто может писать, то только Илья Львович» [1], — заметил в своих воспоминаниях В. Лазурский, основываясь на беседах с Толстым. Это же утверждают и другие лица, знавшие сына писателя. «Вообще с ним всегда было очень интересно и весело, — рассказывает М. С. Бибикова, — он имел, например, способность очень быстро

[1] Лазурский В. Ф. Воспоминания о Л. Н. Толстом. — М., 1911, с. 10—11.

сочинять целые красивые рассказы»[1]. Толстой, видимо, поощрял литературные наклонности своего сына. «Когда я гостил у моего отца в девяностые годы,— вспоминает Илья Львович в своем незаконченном предисловии к английскому переводу повести «Труп»,— он спросил у меня, пишу ли я что-нибудь. Я ответил, что писать становится все трудиее и что почти все темы исчерпаны, так что практически писателю уже не о чем писать. Удивленно посмотрев на меня, отец с жаром воскликнул: «Ведь тем столько, сколько пожелаешь, ведь жизнь — это бесконечно захватывающая тема. У меня слишком много...» (Перевод с английского. *ГМТ*).

«Талант, оставшийся неразвитым»,— назвал Илью Толстого В. Ф. Булгаков[2].

Однако, несмотря на творческий дар, писателем Илья Львович не стал. При жизни отца он опубликовал только один рассказ, именно тот, который был одобрен Толстым,— «Одним подлецом меньше», появившийся в журнале «Русская мысль» (1905, кн. 9) под псевдонимом «И. Дубровский». Творческие опыты И. Толстого — это в какой-то мере форма преодоления отчуждения от отца, демонстрация своей духовной близости к нему, общности взглядов. Поэтому он не таясь шел по проложенной Толстым борозде, обнаруживал прямое воздействие его художественной мысли. В рассказе «Одним подлецом меньше» — толстовская тема «воскресения», пробуждения нравственного сознания личности, принадлежащей к господствующим классам, и наиболее консервативной его части. Своему рассказу автор предпослал публицистическое введение, во многом перекликающееся с известными статьями Толстого о голоде, с высказанными им суждениями и обличениями. И. Толстой в противовес точке зрения «сытых и жестоких господ» высказывается за сочувственное отношение к голодающему мужику, к его нуждам. Герой его рассказа — помещик, земский исправник Николай Иванович Гаевский — человек консервативных взглядов, один из «сытых и жестоких», которые равнодушно-презрительно относятся к деревенским труженикам. Драматическое событие, случившееся по его вине,— гибель восьмилетнего крестьянского мальчика Васьки — становится тем поворотным моментом, после которого наступает прозрение, решительное изменение всей его психологии, всего внутреннего мира — «одним подлецом» становится «меньше». Сам Толстой воспринял творение своего сына как нечто близкое ему, свое. Недаром у него возникло желание по его канве создать собственное произведение. Сохранилась машинопись рассказа со следами правки Толстого, который подверг его сильному сокращению, главным образом за счет публицистических отступлений. «Очень хочется вложить в Илюшин рассказ свою исповедь и откровение о мужиках»,— записал он 24 мая 1905 года в дневнике. Из записи Д. П. Маковицкого видно, в каком на-

[1] Бибикова М. С. Тетя Маша. Сб. «Лев Николаевич Толстой».— М.1928, с.125.

[2] Булгаков В. Ф. О Толстом.— Тула, 1964, с. 253.

правлении собирался Толстой переделывать этот рассказ. «Читали вслух рассказ Ильи Львовича,— отмечает Д. П. Маковицкий.— Лев Николаевич сказал о нем, что хороший, что обращает внимание на нужное. Конец должен бы быть другим, не то чтобы консерватор стал либералом, но чтобы он возродился в христианстве»[1].

Можно предположить, что Толстой намеревался ослабить сентиментальность повествования сына, снять либеральные тенденции в освещении помещичье-крестьянских отношений, внести религиозно-христианские мотивы, но и усилить осуждающий авторский голос. Характерно, например, как в фразе Гаевского: «но относиться к ним (то есть к крестьянам.— *С. Р.*) так, как мы относимся,— вот в чем наше преступление»— Толстой глагол «относиться» в обоих случаях заменил на «жить»; мысль Гаевского от такого «редактирования» приобрела иной акцент, стала более резкой, более гневной.

Толстой свой замысел не осуществил и не написал «своей исповеди», но сама мысль подретушировать художественную картину, созданную сыном, свидетельствует об их творческом и идейном родстве.

После смерти Толстого Илья Львович опубликовал несколько лирически-сентиментальных стихотворений, повесть «Поздно» («Вестник Европы», 1914, № 4) — слабую интерпретацию проблематики «Крейцеровой сонаты». В архиве Ильи Толстого сохранились рукописи законченных и наброски незавершенных рассказов и повестей «Безносая», «В лазарете», «Два Егора» и машинопись повести «Труп». По словам И. И. Толстого, Илья Львович начал писать свою повесть в девяностые годы, а ее тема была предложена ему Л. Н. Толстым. В самой повести имеются косвенные доказательства того, что она была доработана уже после создания драмы «Живой труп». В основе обоих произведений — реальные события из жизни семьи Гимеров, с которыми Толстого познакомил председатель московского окружного суда Н. В. Давыдов. Николай Гимер, спившийся и опустившийся человек, по просьбе своей несчастной жены симулировал самоубийство. Екатерина Гимер вторично вышла замуж, но ее обман раскрылся, и супруги были преданы суду. Когда Толстой познакомился с делом Николая и Екатерины Гимер, он заметил: «Ведь это готовый... рассказ. Для какого-нибудь молодого писателя это настоящая находка. Впрочем, может быть, я еще и сам воспользуюсь им»[2]. Действительно, сюжетом воспользовались и известный драматург, и молодой писатель — его сын. Но Толстой в своей «драме-комедии» во многом отошел от собственно гимеровской истории: у него изображается совсем другой социальный мир, иные, более сложные и более возвышенные мотивы самоубийства: жена Феди Протасова абсолютно непричастна к «спектаклю», разыгранному им,— она невинная жертва.

[1] Маковицкий Д. П. У Толстого — «Литературное наследство». т. 90, кн. 1, с. 235.

[2] Сергеенко П. А. Как живет и работает гр. Л. Н. Толстой.— М. 1908, с. 77.

Илья Толстой значительно ближе к подлиннику — его Мешков, подобно Гимеру, мелкий чиновник, побуждаемый к инсценировке самоубийства теми же мотивами — страшные «запои», причиняющие страдания его жене, нищета, «дно», откуда он бессилен выбраться. Будучи гораздо ближе в главном и второстепенном к тем реальным событиям, которые вдохновили его, Илья Львович отступает от них в одном. Подобно Толстому, он также изображает свою героиню Елену Мешкову «невинной», она не участвовала в симуляции мужа, что придает всему повествованию большую драматичность и значительность. Этот существенный идейный и эстетический элемент повести, идущий от драмы «Живой труп», позволяет утверждать, что в разработке сюжета Илья Львович шел вслед за своим отцом. Однако одним сюжетом они воспользовались «по-разному». И. Толстой написал бытовую повесть, обнаружив дар живого и занимательного повествования, знания «дна», психологии «униженных» обитателей московских каморок, углов. Но в сфере его внимания — только история одной жизни, одной трудной судьбы, и поэтому его произведение не таит в себе той огромной взрывчатой силы, тех глубоких социальных обобщений, нравственных коллизий, которые составляют содержание бессмертной драмы Льва Толстого. Тем не менее «Труп» — наиболее законченное и значительное из всего написанного И. Толстым.

И на чужбине он порой испытывал влечение к литературному творчеству. Брату Сергею он в июне 1923 года сообщал: «Написал три сценария... и один роман, но пока не закончил», а спустя много лет поделился с сестрой Татьяной своими планами: «Хочу писать, может быть, рассказы и даже роман, а может быть кое-что поглубже» *(ГМТ)*. Многое помешало этому щедро наделенному талантами человеку исполнить свои замыслы, но, конечно, прежде всего губительные условия существования в Америке, состояние отчаяния, безнадежности, страшного одиночества, в котором он там находился. Как-то Т. Л. Сухотина, говоря о брате, с грустью заметила: «Какой даровитый человек, с какими хорошими задатками, и всю жизнь пропустил меж пальцев» *(ГМТ)*. С этими словами можно было бы согласиться, если б Илья Толстой не написал замечательной книги «Мои воспоминания», в которой ярко, с большой изобразительной силой воссоздал особый яснополянский мир и запечатлел неповторимый облик великого художника слова.

С. Розанова



МОИ ВОСПОМИНАНИЯ

ГЛАВА I

Предания

Ясная Поляна! Кто дал тебе твое красивое имя? Кто первый облюбовал этот дивный уголок и кто первый любовно освятил его своим трудом? И когда это было?

Да, ты действительно ясная — лучезарная. Окаймленная с востока, севера и заката дремучими лесами Козловой засеки, ты целыми днями смотришься на солнце и упиваешься им.

Вот оно всходит на самом краю засеки, летом немножко левее, зимой ближе к опушке, и целый день, до вечера, бродит оно над своей излюбленной Поляной, пока не дойдет опять до другого угла засеки и не закатится.

Пусть бывали дни, когда солнца не было видно, пусть бывали туманы, грозы и бури, но в моем представлении ты останешься навсегда ясной, солнечной и даже сказочной.

И пусть этот луч солнца, который я вижу на Ясной Поляне, любовно позолотит эту книгу моих воспоминаний.

Когда-то Ясная Поляна была одним из сторожевых пунктов, охранявших Тулу от нашествия татар. Когда надвигались их конные полчища, лес «засекали, то есть рубили и клали макушками навстречу врагу. Это образовывало непроходимую чащу, через которую никакая конница пробраться не могла. На перемычках, где леса не было, выкапывали огромные рвы и насыпали валы. Остатки такого вала еще до сих пор видны между Ясной Поляной и Тулой.

Прошли века. Татарские набеги давно уже забыты. Засека переходит во владение казны, а на Ясной Поляне вырастает деревня и усадьба князей Волконских[1]. При замужестве княжны Марии Николаевны Волконской Ясная Поляна переходит в род графов Толстых[2], и 28 августа 1828 года в Ясной Поляне рождается младший сын семьи Толстых — Левочка — впоследствии один из величайших писателей — Лев Николаевич Толстой.

Прежде чем говорить о своих личных воспоминаниях, приведу несколько семейных преданий, собранных мною частью со слов отца, частью из других источников.

В двадцати верстах от Ясной Поляны, в селе Солосовке, жил милейший человек, недавно умерший, Александр Павлович Офросимов. Об этом типичном «форменном русском барине» я мог бы написать целую книгу. Изредка он «по соседству» наезжал навестить Льва Николаевича, которого он глубоко уважал, но больше всего я с ним сблизился уже в зрелом возрасте, постоянно встречаясь с ним в Туле. Его, как любителя цыган, описал отец в «Живом трупе», и ему принадлежит название «Похоронная», которое он дал одной из известных разухабистых цыганских песен[3]. Как-то я из Тулы ехал в Ясную. Офросимов останавливает меня на лестнице гостиницы.

— Илюша, к отцу едешь?

— Да.

— Поезжай, поезжай. Да скажи ему: Лев Николаевич форменный поэт, Офросимов сказал, понимаешь,— форменный поэт.

— Хорошо, дядя Саша, скажу.

Вот этого дядю Сашу, как его звали все мои братья, я как-то спросил, как познакомился мой отец с Берсами.

— Это дружба старинная. Не с Берсами он сначала познакомился, и познакомился не твой отец, а твой дедушка, покойный Николай Ильич, с дедушкой твоей матушки, с покойным Александром Михайловичем Исленьевым. А как это было — я тебе расскажу.

Дядя Саша говорил с некоторой нарочитой хрипотой в голосе, как любили говорить многие старинные бары.

— Мой покойный батюшка, Павел Александрович Офросимов, подарил твоему дедушке, Николаю Ильичу Толстому, черно-пегого выжлеца *. Николай Ильич поехал в засеку на выводок волков. Помкнули ** по-матерому. Он, конечно, дал прямика верст на двадцать. Выжлец за ним и увязался и отбился от дому, а на другой день выжлец этот прибился к усадьбе Александра Михайловича Исленьева в Красном, под Сергиевским. Вон куда махнул! Александр Михайлович видит — собака офросимовская, и послал выжлеца с письмом в Солосовку к моему покойному отцу. Батюшка, Павел Александрович, посмотрел и пишет Александру Михайловичу: этот выжлец не мой, а подарил я его графу Николаю Ильичу. Вот с тех пор граф Николай Ильич и познакомился с Исленьевым. Через этого черно-пегого выжлеца — офросимовского.

Моего прадеда Исленьева, о котором рассказывал Офросимов, я помню. Он жил больше восьмидесяти лет, и я еще помню, как он стариком, в ермолке, ездил с папа́ верхом с борзыми.

О нем рассказывали, что это был необычайный карточный игрок. Он проигрывал и выигрывал целые состояния и страсть к картам сохранил до конца своей жизни.

Все его дети были незаконно прижиты им от княгини Козловской и поэтому носили вымышленную фамилию Иславиных.

Есть предание, что как-то, играя в карты с Исленьевым, князь Козловский предложил ему поставить на карту узаконение всех его детей:

— Побей карту — и все твои дети будут законными князьями Козловскими.

Александр Михайлович побил эту карту, но от узаконения своих детей благородно отказался.

О родителях отца осталось очень мало преданий. О Николае Ильиче я знаю только, что он был когда-то

---

* гончего кобеля (*Прим. автора*).

** Погнали(*Прим. автора*).

офицером, в 1813 или 1814 году был взят в плен французами и в Париже разговаривал лично с Наполеоном[4]. Он умер скоропостижно, когда моему отцу было девять лет.

О бабушке, Марии Николаевне, рожденной княжне Волконской, известно еще меньше. Она умерла, когда отцу было только два года, и он знал о ней только из рассказов своих родных.

Говорят, что она была небольшого роста, некрасива, но необычайно добра и талантлива, с большими ясными и лучистыми глазами.

Сохранилось предание, что она умела рассказывать сказки, как никто, и папа̀ говорил, что от нее его старший брат Николай унаследовал свою талантливость[5].

Ни о ком папа̀ не говорил с такой любовью и почтением как о своей «маменьке». В нем пробуждалось какое-то особенное настроение, мягкое и нежное. В его словах слышалось такое уважение к ее памяти, что она казалась нам святой.

Самые интересные предания — это были предания о так называемом «американце» Толстом[6].

Он приходился моему отцу двоюродным дядей. Многое из того, что о нем рассказывали, вероятно, несколько преувеличено, может быть, кое-что и вымышлено, но я расскажу все, что я о нем знаю, так, как слышал сам.

Когда-то он предпринял путешествие вокруг света и поехал в Америку. Плыли, конечно, на парусах. Дорогой Толстой устроил бунт против капитана корабля и был высажен на какой-то необитаемый остров. Там он прожил больше года и познакомился и сдружился с крупной обезьяной. Говорят даже, что эта обезьяна служила ему женой.

Наконец корабль вернулся, и за ним выслана была шлюпка. Обезьяна, успевшая за это время к нему привязаться, видя, что он уезжает, кинулась в воду и поплыла за лодкой. Тогда Толстой спокойно взял ружье, прицелился и застрелил свою верную подругу. Предание еще добавляет, что он ее, мертвую, вытащил из воды, взял на корабль, велел зажарить и съел.

Когда в детстве я учил историю Иловайского[7], меня всегда раздражало, что, рассказывая о разных мифических преданиях старины, он в конце главы добавлял: «А впрочем, все это должно отнести к области баснословных преданий». Боюсь, что и это предание баснословное. Толстой был высажен с корабля где-то на Алеутских островах, где обезьян нет. Грибоедов в «Горе от ума» упоминает о нем: «Вернулся алеутом».

Но вот еще о нем же. Когда он вернулся из своего путешествия в Россию, он привез с собой огромного крокодила. Крокодил этот ел только живую рыбу и предпочитал осетров и стерлядей. Толстой ходил тогда по всем друзьям и знакомым занимать деньги на покупку этой рыбы.

— Да ты убей крокодила,— посоветовал ему кто-то.

Однако такого простого разрешения этого вопроса Толстой принять не мог, и, вероятно, он разорился бы на этом крокодиле окончательно, если бы крокодил в конце концов не околел сам.

Он был очень талантлив, был прекрасным музыкантом и силачом. Когда он дирижировал оркестром и приходил в пафос, он хватал огромную бронзовую канделябру и ею, как палочкой, продолжал дирижировать.

Как-то на балу подходит к нему какой-то из его приятелей, отводит его в сторону и просит его быть его секундантом в дуэли. Толстой, конечно, соглашается, и дуэль назначается в восемь часов утра следующего дня. Условлено было, что ровно в семь его приятель заедет к нему с пистолетами и они вместе поедут за город.

Так и сделали. В семь часов приятель заезжает к Толстому и к ужасу своему видит, что Толстой еще спит в кровати.

— Вставай скорей, одевайся.

— Что? Куда?

— Разве ты забыл, что в восемь часов я дерусь, а ты обещал быть моим секундантом?

— Ты дерешься? С кем?

Приятель назвал фамилию.

— С NN? Ах да, впрочем, успокойся, я его уже давно убил.

Оказалось, что Толстой ночью поехал к этому человеку, вызвал его, убил его на заре, вернулся домой и спокойно лег спать.

Дочь «американца» Толстого, Прасковья Федоровна, была замужем за московским губернатором Перфильевым. С ней мой отец был когда-то очень дружен, и брат отца Сергей Николаевич был даже в нее влюблен настолько, что он на руке своей выжег ее инициалы: французские буквы P. T. Вышло рискованное на французском языке созвучие. (Honni soit qui mal y pense [*].)

По странной игре случайности Прасковья Федоровна имела у себя в доме обезьянку Яшку, которую она, говорят, любила больше всего на свете. Об этом Яшке рассказывал нам папá.

Отнести ли к области преданий то, что я в детстве слышал о детстве и молодости папá и дяди Сережи? (Сергее Николаевиче Толстом.)

Эти предания уже ближе по времени, и поэтому в них уже «баснословного» ничего нет.

В «Книге вопросов», которая была у сестры Тани, на вопрос: «Где вы родились?» — отец ответил: «В Ясной Поляне, на кожаном диване» [8].

Этот заветный кожаный диван орехового дерева, на котором родились и мы, трое старших детей, всегда стоял и сейчас стоит в комнате отца.

Дома, в котором отец родился и провел свое детство, я, к сожалению, никогда вблизи не видал. Он стоял между двумя флигелями и был продан на снос за пять тысяч рублей ассигнациями родственником отца, Валерианом Петровичем Толстым, в то время как отец был на военной службе на Кавказе. Истории продажи старого дома я точно не знаю [9].

Отец говорил об этом неохотно, и поэтому я никогда не решался подробно расспросить его, как это случилось. Говорили, что это было сделано для покрытия его карточных проигрышей. Отец сам рассказывал мне, что одно время он сильно играл в карты, помногу проигрывал и что его имущественные дела были очень запутаны.

* Стыдно тому, кто плохо подумает.

На месте, где стоял этот дом, отец насажал деревьев, кленов и лиственниц. Когда кто-то спросил отца, где была спальня его матери, в которой он родился, он, подняв голову, указал на макушку сорокалетней лиственницы.

— Вот там, около самой макушки этого дерева, я и родился,— сказал он.

Дом этот был перенесен целиком верст за двадцать от Ясной, и я видел его только раз, и то мельком, проезжая мимо него на охоте. В нем было тридцать шесть комнат. Теперешний ясненский дом вырос из одного из двух каменных двухэтажных флигелей, который постепенно, по мере роста семьи, пристраивался.

Папá редко рассказывал о своем детстве. Иногда вспоминал он о своей бабушке, Пелагее Николаевне. Она, по-видимому, была старуха с причудами, и он, кажется, не очень ее любил. Он вспоминал, что она любила засыпать под рассказы сказок и для этого купила себе слепого сказочника. Ей это было удобно, потому что при нем, слепом, она не стеснялась раздеваться и ложиться в кровать. А сказочник, как Шехерезада, рассказывал монотонным, певучим голосом одну сказку за другой и только прислушивался к ее дыханию. Когда она засыпала, он бесшумно уходил и на другой вечер продолжал свою сказку как раз с того места, где она заснула вчера. «И взял Аладин свою волшебную лампу, и пошел он...» — и т. д. опять, пока графиня не уснет.

У мамá преданий было меньше, и все ее предания были моложе.

Она была дочь дворцового врача Берса и родилась в Москве в Кремле. Ее предания скорее сводились к практическим жизненным устоям, которые она внесла в Ясную Поляну и которых держалась твердо и до конца.

Надо каждый день «заказывать» обед. Надо носить башмаки с французскими каблуками. Летом надо варить варенье и мариновать грибы. Для того чтобы моль не ела одежду, надо перекладывать ее табаком и пересыпать камфарой. Когда чьи-нибудь именины или рожденье, надо чтобы был традиционный сладкий пирог, а к чаю — крендель. Когда приезжают го-

сти, надо к закуске подавать селедку н сыр. Когда прольется на скатерть вино, надо засыпать это место солью. К рождеству должна быть елка и т. д. Этнм устоям охотно подчинялась вся семья. Тем более охотно, что вся тяжесть нх ложилась главным образом на самое мама́, а остальным онн доставлялн только приятность.

ГЛАВА II

Характеристика детей. Впечатления раннего детства. Мама́. папа́, бабушка, Ханна, три Дуняши, начало учения, школа

Воспоминания детства — это звездное небо. Вот онн блестят, эти бесчисленные золотые точки,— одни ярче, другие тусклее, одни кажутся ближе, другне дальше — но все они недостижимы, и все они одинаково ласково мигают и манят. В детскнх воспоминаннях нет последовательности. Что было раньше, что после — не все ли равно? Это — было. И звездочка эта блестит, и она уже далеко.

Вот как отец описывает нашу семью в одном из писем к своей двоюродной тетке, Александре Андреевне Толстой.

«Старший [Сергей] белокурый,— не дурен. Есть что-то слабое и терпеливое в выражении и очень кроткое. Когда он смеется, он не заражает, но когда он плачет, я с трудом удержнваюсь, чтобы ие плакать. Все говорят, что он похож на моего старшего брата. Я боюсь верить. Это слишком бы было хорошо. Главная черта брата была не эгоизм и не самоотвержение, а строгая середина. Он не жертвовал собой никому, но никогда ннкому не только не повредил, но не помешал. Он и радовался и страдал в себе одном. Сережа умен — математический ум и чуток к нскусству, учится прекрасно, ловок прыгать, гимнастика, но gauche * и рассеян. Самобытного в нем мало. Он зависит от физического. Когда он здоров и нездоров, это два различные мальчика.

* неловок *(фр.)*.

Илья, третий. Никогда не был болен. Ширококост, бел, румян, сияющ. Учится дурно. Всегда думает о том, о чем ему не велят думать. Игры выдумывает сам. Аккуратен, бережлив: «мое» для него очень важно. Горяч и violent*, сейчас драться; но и нежен и чувствителен очень. Чувствен — любит поесть и полежать спокойно. Когда он ест желе смородинное и гречневую кашу, у него губы щекотит. Самобытен во всем. И когда плачет, то вместе злится и неприятен, а когда смеется, то и все смеются. Все непозволенное имеет для него прелесть, и он сразу узнает. Еще крошкой, он подслушал, что беременная жена чувствовала движенье ребенка. Долго его любимая игра была то, чтоб подложить себе что-нибудь круглое под курточку и гладить напряженной рукой и шептать, улыбаясь: «Это бебичка». Он гладил также все бугры в изломанной пружинной мебели, приговаривая: «бебичка». Недавно, когда я писал истории в «Азбуку», он выдумал свою: «Один мальчик спросил: «Бог ходит ли...? Бог наказал его, и мальчик всю жизнь ходил...»

Если я умру... Илья погибнет, если у него не будет строгого и *любимого* им руководителя.

Летом мы ездили купаться; Сережа верхом, а Илью я сажал к себе за седло. Выхожу утром, оба ждут. Илья в шляпе, с простыней, аккуратно, сияет, Сережа откуда-то прибежал, запыхавшись, без шляпы. «Найди шляпу, а то я не возьму». Сережа бежит туда, сюда. Нет шляпы. «Нечего делать, без шляпы я не возьму тебя.— Тебе урок,— у тебя всегда все потеряно». Он готов плакать. Я уезжаю с Ильей и жду, будет ли от него выражено сожаление. Никакого. Он сияет и рассуждает об лошади. Жена застает Сережу в слезах. Ищет шляпу — нет. Она догадывается, что ее брат[1], который пошел рано утром ловить рыбу, надел Сережину шляпу. Она пишет мне записку, что Сережа, вероятно, не виноват в пропаже шляпы, и присылает его ко мне в картузе. (Она угадала.) Слышу по мосту купальни стремительные шаги, Сережа вбегает. (Дорогой он потерял записку.) И начинает рыдать. Тут и Илья тоже, и я немножко.

* вспыльчив *(фр.)*.

Таня — восемь лет. Все говорят, что она похожа на Соню, и я верю этому, хотя это также хорошо, но верю потому, что это очевидно. Если бы она была Адамова старшая дочь и не было бы детей меньше ее, она была бы несчастная девочка. Лучшее удовольствие ее возиться с маленькими. Очевидно, что она находит физическое наслаждение в том, чтобы держать, трогать маленькое тело. Ее мечта, теперь сознательная,— иметь детей. На днях мы ездили с ней в Тулу снимать ее портрет. Она стала просить меня купить Сереже ножик, тому другое, тому третье. И она знает все, что доставит кому наибольшее наслаждение. Ей я ничего не покупал, и она ни на минуту не подумала о себе. Мы едем домой. «Таня, спишь?» — «Нет».— «О чем ты думаешь?» — «Я думаю, как мы приедем — я спрошу у мама́, был ли Леля хорош, и как я ему дам, и тому дам, и как Сережа притворится, что он не рад, а будет очень рад». Она не очень умна, она не любит работать умом, но механизм головы хороший. Она будет женщина прекрасная, если бог даст мужа. И вот готов дать премию огромную тому, кто из нее сделает *новую женщину*.

Четвертый — Лев. Хорошенький, ловкий, памятливый, грациозный. Всякое платье на нем сидит, как по нем сшито. Все, что другие делают, то и он, и все очень ловко и хорошо. Еще хорошенько не *понимаю*.

Пятая — Маша, два года, та, с которой Соня была при смерти. Слабый, болезненный ребенок. Как молоко, белое тело, курчавые белые волосики; большие, странные голубые глаза; странные по глубокому, серьезному выражению. Очень умна и некрасива. Это будет одна из загадок. Будет страдать, будет искать, ничего не найдет; но будет вечно искать самое недоступное.

Шестой — Петр * — великан. Огромный, прелестный беби, в чепце, вывертывает локти, куда-то стремится. И жена приходит в восторженное волнение и торопливость, когда его держит; но я ничего не понимаю. Знаю, что физический запас есть большой. А есть ли еще то, для чего нужен запас — не знаю. От

* Умер в 1873 году (*Прим. автора*).

этого я не люблю детей до двух, трех лет — не понимаю»[2].

Письмо это написано в 1872 году. В то время мне было шесть лет. Приблизительно с этого времени начинаются мои воспоминания. Кое-что помню и раньше.

Когда мне было четыре года, нас было четверо детей: Сережа, Таня, я и Лева. Я помню, как Леве (мы его называли Лелей) прививали оспу. Помню, что это было наверху в угловой комнате, помню, что ему делали больно и что он неистово орал.

Потом я помню, как в балконной комнате у старинного столика красного дерева стоял папá и с кем-то спорил о франко-прусской войне[3]. Он был на стороне французов и верил, что они победят. В то время мне было около четырех лет.

Еще помню я, как мы с Сережей достали оловянных колпачков от винных бутылок и внизу, рядом с комнатой со сводами, вырезали из этих колпачков монетки. Сережа, который был старше меня на три года, уже умел писать и выцарапывал на них 1870.

Мы, дети, жили сначала наверху в угловой комнате. Мамá с папà в своей спальне. Кабинет папá был внизу под большой террасой, а рядом с ним, внизу же, была комната, где жила Татьяна Александровна с Натальей Петровной[4].

У мамà не было своей комнаты. В гостиной в углу стоял маленький письменный столик, где она заказывала обед, записывала покупки и «переписывала». Что она «переписывала», я долго не знал. Я знал только, что это было что-то очень нужное и важное.

Папá днем уходил в свой кабинет и «занимался», и тогда мы не должны были шуметь и никто не смел к нему входить. Чем он там «занимался», мы, конечно, не знали, но с самого раннего детства мы привыкли его уважать и бояться.

Мамá — это другое дело. Она — наша, и она тоже боится папá. Она должна все для нас делать. Она следит за нашей едой, она шьет нам рубашки, лифчики и штопает наши чулки, она бранит нас, когда мы по росе намочим башмаки, она «переписывает», она — все. Что бы ни случилось: «Я пойду к мамá». «Мамá,

меня Таня дразнит».— «Позови ее сюда». «Таня, не дразни Илюшу, он маленький». «Где мама?» На кухне, или шьет, или в детской, или переписывает. Ее легкие частые шаги то и дело раздаются по всем комнатам дома, и везде она успевает все сделать и обо всех позаботиться. Я не знал тогда, что мама́ часто просиживала за «переписыванием» до трех-четырех часов утра и что она восемь раз переписывала своей рукой всю «Войну и мир»[5] и, вероятно, еще больше раз переписала составленные отцом «Азбуки», «Книги для чтения» и роман «Анну Каренину»[6].

Никому из нас в голову не могло прийти, чтобы мама́ могла когда-нибудь устать, или быть не в духе, или чтобы мама́ что-нибудь захотела для себя. Мама́ живет для меня, для Сережи, для Тани, для Лели, для всех нас, и другой жизни у нее и не может и не должно быть.

Вспоминая о мама̀ теперь, когда мне уже за шестьдесят лет, я часто думаю: какая это была удивительно хорошая женщина, удивительная мать и удивительная жена. Не ее вина, что из ее мужа впоследствии вырос великан, который поднялся на высоты, для обыкновенного смертного недостижимые. Не ее вина, что он шагнул так, что она невольно осталась далеко позади него, и не ее вина, что, когда он, в середине восьмидесятых годов, захотел переменить свою жизнь и уйти от нее, она не могла перенести разлуки с ним и уговорила его остаться. Не ее вина также и та, что у нее в то время было на руках восемь человек детей, и в том числе грудной ребенок.

Отец женился на моей матери, когда ему было уже тридцать пять лет, а ей восемнадцать. Для него она тогда была почти ребенок, Сонечкой Берс. И Сонечкой она для него и осталась надолго. Разница лет никогда не сглаживается. Когда мне было пятьдесят лет, а моей матери семьдесят — я все же был для нее тем же Илюшей, каким я был и в детстве. Также и в отношениях моего отца и матери. Ее молодость, ее экспансивность, женственность и необычайное самоотречение дали ему двадцать лет безоблачного семейного счастья. Лучшей жены он не желал и не мог желать. Он ее воспитал на свой лад и внушил ей те понятия,

которые в то время казались ему правильными. Он идеализировал ее в образах своих романов, отчасти в Наташе и в Долли. Знал ли он, что придет время, когда он от прежних своих идеалов отречется и вызовет к жизни другие, более высокие и бесплотные.

И женился ли бы он на ней и был ли бы он счастлив в те первые двадцать лет женатой жизни, если бы Сонечка Берс из Наташи Ростовой вдруг преобразилась в проповедницу чистого христианства, опрощения и платонического брака, он, который мечтал тогда об увеличении своего состояния, скупал дешевые земли у самарских башкир и заставил ее родить тринадцать человек детей.

Как это далеко от того, к чему впоследствии пришел отец!

Помню я, как папа́ иногда ездил по делам в Москву. В те времена он еще носил в Москве сюртук, сшитый у лучшего в то время французского портного Айе. Помню я, как он, вернувшись из Москвы, с восторгом рассказывал мама́, как он был у генерал-губернатора, князя Владимира Андреевича Долгорукова, и как князь сказал ему, что, когда Таня (которой было в то время лет семь-восемь) вырастет, он устроит для нее бал. Как странно это кажется теперь! И странно то, что Долгорукий свое слово действительно сдержал и Таня была у него на балу, но это было уже в то время, когда отец пережил свой духовный переворот и от светской жизни и балов ушел безвозвратно.

Говорю это не в осуждение кого-либо, а лишь для того, чтобы опровергнуть всякие осуждения как отца, так и матери. «Tout comprendre c'est tout pardonner» *.

Как часто я слышал эти слова из уст отца!

С самого раннего моего детства и до переезда нашей семьи в Москву, то есть до 1881 года, вся моя жизнь протекла почти безвыездно в Ясной Поляне.

Росли мы так.

Главный человек в доме — мама́. От нее зависит все. Она заказывает Николаю-повару обед, она отпускает нас гулять, она всегда кормит грудью какого-нибудь маленького, и она целый день торопливыми шага-

* Все понять — все простить *(фр.)*.

ми бегает по дому. С ней можно капризничать, хотя иногда она бывает сердита и наказывает.

Она все знает лучше всех людей. Знает, что надо каждый день умываться, за обедом надо есть суп, надо говорить по-французски, учиться надо, не ползать на коленках, не класть локти на стол, и если она сказала, что нельзя идти гулять, потому что сейчас пойдет дождь, то это уж наверное так будет и надо ее слушаться. Когда я кашляю, она дает мне лакрицу или капли «Датского короля», и я поэтому очень люблю кашлять. Когда мама́ уложит меня в постель и уйдет наверх играть с папа́ в четыре руки, я долго-долго не могу заснуть, и мне делается обидно, что меня оставили одного, и я начинаю кашлять и не успокоюсь до тех пор, пока няня не сходит за мама́, и я сержусь, что она долго не идет.

И я ни за что не засну, пока она не прибежит и не накапает в рюмку ровно десять капель и не даст их мне.

Папа́ умнее всех людей на свете. Он тоже все знает, но с ним капризничать нельзя.

Позднее, когда я уже умел читать, я узнал, что папа́ «писатель». Это было так: мне как-то понравились какие-то стихи. Я спросил у мама́: «Кто написал эти стихи?» Она мне сказала, что их написал Пушкин и что Пушкин был великий писатель. Мне стало обидно, что мой отец не такой. Тогда мне мама́ сказала, что и мой отец известный писатель, и я был этому очень рад.

За обедом папа́ сидит против мама́, и у него своя круглая серебряная ложка. Когда старушка Наталья Петровна, которая жила при Татьяне Александровне внизу, нальет себе в стакан квас, он берет его и выпивает сразу, а потом скажет: «Извините, Наталия Петровна, я нечаянно»,— и мы все очень довольны и смеемся, и нам странно, что папа́ совсем не боится Натальи Петровны. А когда бывает «пирожное», кисель, то папа́ говорит, что из него хорошо клеить коробочки, и мы бежим за бумагой, и папа́ делает из нее коробочки.

Мама́ за это сердится, а он ее тоже не боится.

Иногда с ним бывает очень весело.

Он лучше всех ездит верхом, бегает скорее всех, и сильнее его никого нет.

Он почти никогда нас не наказывает, а когда он смотрит в глаза, то он знает все, что я думаю, и мне делается страшно.

Я могу солгать перед мама́, а перед папа́ не могу, потому что он все равно сразу узнает. И ему никто никогда не лжет.

И все наши секреты он тоже знает. Когда мы играли в домики под кустами сирени, у нас было три больших секрета, и никто, кроме Сережи, Тани и меня, этих секретов не знал. Вдруг папа́ пришел и сказал, что он знает все три наши секрета и что все они начинаются на букву «б», и это была правда. Первый секрет был, что у мама́ скоро будет «бебичка», второй, что Сережа влюблен в «баронессу», а третий я теперь не помню.

Кроме папа́ и мама́, у нас была тетенька Татьяна Александровна Ергольская. Она жила с Натальей Петровной внизу, в угловой комнате, и там был большой образ в серебряной ризе.

Тетенька всегда лежала, и, когда мы приходили к ней, она угощала нас вареньем из зеленой вазочки. Она была крестной матерью Сережи и любила его больше всех.

Потом она умерла, и нас повели к ней в комнату, когда она лежала в гробу, вся восковая. Около нее и около черного образа горели восковые свечи, и было очень, очень страшно. Мама́ говорила, что не надо бояться, и она и папа́ не боялись, а мы жались в кучку и стояли около самой мама́.

Тетенькина комната была низенькая, и против окна был колодезь, глубокий, глубокий, и он тоже страшный. Мама́ говорила, что к нему не надо подходить, потому что можно в него упасть и утонуть. Раз туда упало ведро, и его было трудно достать.

Когда приехала к нам англичанка Hannah Tarsey, я точно не знаю[7]. Я, вероятно, был тогда еще очень мал.

Она была полугувернанткой, полубонной и долго жила у нас. Вероятно, лет десять. Из рук няни Марии Афанасьевны я прямо попал к ней. Всегда ровная, добрая и веселая, Hannah осталась в моей памяти светлым воспоминанием. Мы ее любили и слушались. Как

я научился английскому языку, я не помню. Кажется, что я начал говорить по-английски одновременно с русским. «Wash your hands, the breakfast is ready» * и другие слова детского обихода пришли ко мне сами, и я их никогда не выучивал.

На рождестве, к елке, она делала нам plum pudding **. Он подавался к столу, облитый ромом и зажженный, весь в огне. Когда мы с ней гуляли по саду, мы вели себя хорошо и не пачкались в траве, а когда раз послали с нами Дуняшу, мы убежали от нее в кусты. Она нам кричала: «Дети, по дорожкам, по дорожкам»,— и мы с тех пор прозвали ее «Дуняша по дорожкам». Другая Дуняша, горничная, все забывала и называлась «Дуняша позабылась», а третья Дуняша, жена приказчика Алексея Степаныча, называлась «Дуняша, мама́ пришла за делом».

Она жила во флигеле внизу и всегда запиралась на замок. Когда мы с мама́ приходили к ней, мы стучали в дверь и кричали: «Дуняша, мама́ пришла за делом».

Тогда она отпирала клеенчатую дверь и впускала нас. Мы любили пить у нее чай с вареньем. Она давала варенье на блюдечке, и у нее была только одна серебряная ложечка, маленькая и тоненькая, вся изжеванная. Мы знали, почему ложка такая: свинья нашла в лоханке и изжевала.

Раньше я был маленький, а потом, когда мне стало пять лет, я начал учиться с мама́ читать и писать.

Сначала я научился по-русски, а потом уже по-французски и по-английски.

Арифметике меня учил сам папа́.

Я слышал раньше, как он учил Сережу и Таню, и я очень боялся этих уроков, потому что иногда Сережа не понимал чего-нибудь и папа́ говорил ему, что он нарочно не хочет понять. Тогда у Сережи делались странные глаза, и он плакал. Иногда я тоже чего-нибудь не понимал, и папа́ сердился и на меня. С начала урока он всегда бывал добрый и даже шутил, а потом, когда делалось трудно, он начинал объяснять, а мне становилось страшно, и я ничего не понимал.

---

* Мойте руки, завтрак готов *(англ.)*.

** сливовый пудинг *(англ.)*

Когда мне было шесть лет, я помню, как папá учил деревенских ребят [8].

Их учили в «том доме» *, где жил Алексей Степаныч, а иногда и в нашем доме, внизу.

Деревенские ребята приходили к нам, и их было очень много. Когда они приходили, в передней пахло полушубками, и учили их всех вместе и папá, и Сережа, и Таня, и дядя Костя [9]. Во время уроков бывало очень весело и оживленно.

Дети вели себя совсем свободно, сидели где кто хотел, перебегали с места на место и отвечали на вопросы не каждый в отдельности, а все вместе, перебивая друг друга и общими силами припоминая прочитанное. Если один что-нибудь пропускал, сейчас же вскакивал другой, третий, и рассказ или задача восстанавливались сообща.

Папá особенно ценил в своих учениках образность и самобытность их языка.

Он никогда не требовал буквального повторения книжных выражений и особенно поощрял все «свое».

Я помню, как один раз он остановил мальчика, бегущего в другую комнату.

— Ты куда?

— К дяденьке, мелку откусить.

— Ну беги, беги. Не нам их учить, а учиться у них надо,— сказал он кому-то, когда мальчик отошел.— Кто из нас сказал бы так? Ведь он не сказал — взять— или — отломить, á сказал точно — «откусить», потому что именно откусывают мел от большого куска зубами, а не ломают его.

Раз папá заставил меня учить одного мальчика азбуке. Я очень старался, а он никак не мог ничего понять. Тогда я рассердился и начал его бить, и мы подрались и оба заплакали.

Папá подошел к нам и сказал мне, чтобы я больше никогда не учил, потому что я не умею. Я, конечно, обиделся и пошел к мамá и сказал ей, что я не виноват, потому что у Тани и у Сережи хорошие ученики, а мой глупый и гадкий [10].

---

* Так назывался каменный флигель. *(Прим. автора.)*

ГЛАВА III

Впечатления детства

Детство! Почему твои впечатления так свежи, так ярки? Мне уже больше шестидесяти лет, я живу сейчас в чужой стране, далеко от всего мне родного, и все же я вижу тебя перед собой и слышу твое благоухание. Благоухание — да! Не только в переносном смысле, но даже и в прямом. В ребенке пять чувств его играют первенствующую роль, и после зрения — обоняние, конечно, главное.

Если я хочу перенестись в прошлое, ничто не заставляет меня его переживать более ярко, чем память запаха.

Начало мая, мама́ достала из сундука наши летние полотняные куртки и панталоны и примеряет их на нас. По всему дому пахнет камфарой.

Мы выросли; в некоторых иадо выпустить рубцы, иекоторые с Сережи перешивают на Илюшу, с Илюши иа Лелю. Выставляются зимние рамы, в комнатах делается светлее и пахиет летом.

Мы бежим в летних костюмах иа лужайку перед домом и рвем цветы — желтые пахучие лютики. В аллеях только что высохли ручьи, кое-где в канаве еще лежит снег. Цветут медуичики. Через день, через два распустятся фиалки. Темные душистые фиалки растут только иа одном месте — перед самым домом между кустами сирени. Мы уже забыли о том, что нельзя пачкать колен, и ползаем по лугу и из травы выбираем пучки низкорослых цветочков. Когда внесешь их в комнату, они пахнут так сильно, что мама́ говорит, что их нельзя держать иочью в спальне.

Кто-то сказал, что показались сморчки. Днем запрягают катки, и мы все едем в засеку. Земля еще мягкая, и местами колеса далеко уходят в землю. К самой опушке подъехать иельзя — там еще лежит снег. Мы выскакиваем из линейки и вперегонки бежим в лес. Пахнет перепрелой листвой. Аукаемся. Кто-нибудь иашел сморчок и зовет остальиых. Сбегаемся, копаемся в листве, перелезаем через огромые коряги и сухие сучья, иа медуички и лесиые фиалки уже иикто

не обращает внимания, забыто все, кроме этих маленьких, торчащих на длинных ножках сморчков. Кажется, что они от тебя прячутся, укрываются листьями и мхом, хоронятся под сушняком, и сколько радости и торжества, когда его наконец разыщешь и положишь в корзинку. И он пахнет так же, как пахнет листва, как пахнет весь лес и мои почерневшие пальцы и руки.

Лето! Рано утром вскакиваем, одеваемся и бежим на конюшню. Там пахнет лошадью и сеном. Кучер Филипп Родивонович уже седлает. Для меня белый с розовыми глазами «Колпик» уже подседлан потником, Сереже — маленький, горячий киргизенок «Шарик», для папа́ — огромная английская кровная кобыла «Фру-Фру»[1]. Мы садимся на лошадей и едем к дому.

Папа́ уже ждет на крыльце. Едем купаться на Воронку. Едем не дорогой, а лесной тропинкой. Мокрые от утренней росы ветки поминутно хлещут по лицу. Придерживаешь рукой шляпу и нагибаешься к челке лошади. У купальни привязываем лошадей к березкам, рысью бежим по мосткам и скорей, скорей раздеваемся. В купальне два отделения — один ящик маленький и мелкий для детей и большая купальня для взрослых. Прыгаешь прежде в ящик и окунаешься. Вода пахнет тем особенным речным запахом, которым пахнут реки только в России. Говорят, вода пахнет рыбой. Как это неверно! Рыба, может быть, иногда пахнет водой, но только гораздо хуже, а у воды свой запах, чистый и свежий.

Папа́ уже плывет снаружи,— в реке. Сережа тоже.

— Илюша, плыви сюда!

Собираешься с духом и выплываешь — скорей к берегу. Глаза выпучены от напряжения, вода лезет в рот и нос, а все-таки доплыли, и теперь уже не так страшно плыть назад.

Одеваемся, папа́ подсаживает меня на лошадь, и галопом подымаемся по горе.

На полпути между домом и купальней есть небольшая лесная поляна. Летом она усеяна незабудками и временами вся голубая. На углу этой поляны со стороны усадьбы стоят несколько дубов. Почва под ними какая-то странная, черная и состоит из мелкого метал-

лического угля. Такая же почва местами и на поляие. Вероятно, когда-то здесь плавили руду.

Тропинка, по которой мы ездили купаться, проходила как раз между этнми дубами и пересекалась местами выступавшнмн иаружу корявыми кореиьями.

Сколько раз, проезжая между этими дубами верхом, я больио ушибал себе об их стволы колеии!

Как далек был тогда от мысли отец, что через сорок лет в холодиый ноябрьский день придут сюда ясеискне мужики с лопатами и ломами, разроют черную землю и что потом огромная толпа людей принесет сюда его тело н опустнт его в могилу[2].

Нашел ли он наконец заветную палочку н зиает ли ои волшебные слова, на ней иаписаииые? Хочу верить, что — да!

Но не буду раскидываться. Назад, назад к детству.

Мие подарили сетку для ловлн бабочек. Николай Николаевич Страхов подарил мие чудиую книжку — «Атлас бабочек» с картиниками и иаучил меня их сушить для коллекции. Каждая бабочка иарисоваиа в красках и имеет латинское название. Я с утра до ночи бегаю по лесам и лугам и ловлю бабочек. Сережа тоже. У него книга жуков, н мы тоже ловим н их. Лето в разгаре. Мы бегаем по пояс в высокой траве. Нет, это ие трава, это почтн сплошиые цветы — желтые, розовые, красные, сиине, белые,— какая красота, какое благоухание! Местами уже иачали покос. Деревеиские бабы и девки в цветиых сарафаиах н красных платках трясут н копият сеио.

Разбежимся и со всего маху кииемся в копиу. Сено трещит и пахиет. Пахнет одуряюще. Влезешь на воз н едешь в сеииой сарай.

Боже, сколько дивиых воспомниаиий связаио у меия с запахом сеиа!

И работы иа покосах с отцом, уже в восьмидесятых годах, и ночевкн в копие сена иа берегу болота, и ночевки в сеиных сараях в деревиях во время охоты, и запах того же сена в детской, где тюфякн иаши были тоже набиты сеиом и тоже трещалн н пахли, особеиио когда нх раз в месяц иабивалн свежнм сеном[3].

Летом босые деревенские девочки приносили в тарелочках и деревянных чашках белые грибы и землянику.

Придут и молча выстроятся у крыльца — трогательные, жалкие.

— Софья Андреевна, ягоды принесли.

Мама́ выходит и начинает торговаться.

— Тебе гривенник, твоя тарелочка поменьше — тебе семь копеек, тебе пятачок.

Платочки, в которых были завязаны тарелочки, развязываются, и все ягоды ссыпаются в одно большое блюдо и уносятся на ледник. Опять запахи, опять волшебные духи! А как пахли сырые белые грибы и подберезовики! А рыжики! А опенки!

Мама́ в саду под липами варит варенье. В жаровне горит и пахнет уголь. Варенье густо закипело, поднимаются кверху розоватые пенки. Вокруг слетаются и жужжат пчелы и осы. Мы тоже, как эти пчелы, вбираем в себя запах сладкого и ждем «пенок».

— Пенки к чаю,— строго говорит мама́,— сейчас нельзя перед обедом портить аппетит.

— Мама́, только немножко, только попробовать.

— Нельзя, сказано вам.

Но мы знаем, что это «нельзя» ничего не значит. И в конце концов получаем пенки, и даже немного варенья.

Подходит осень. В августе начинают поспевать яблоки, и начинается выискивание лучших яблонь и собирание падали. Сада сорок десятин. Несколько хороших грушовок и аркатов в клинах. В большом саду у гумна амченка *, в молодом саду желтый аркат, который папа́ любит. Для него мы тоже приносим. Но для себя у каждого из нас где-нибудь в укромном уголку сада своя «кладовая». В большом саду главный шалаш, и там сидят садовники. Вся усадьба пахнет яблоками и сухой соломой. Купанье кончилось, но грибы во всем разгаре. Кто больше наберет? Вокруг Ясной Поляны верст на пять нет ни одного уголка, который я бы не вылазил по многу, многу раз в раннем детстве за грибами и бабочками, а позднее на охоте с ружьем и собакой.

* От Амченска — Мценск, Орловской губ. *(Прим. автора.)*

Положишь несколько коричневых яблок в корзинку и на весь день забываешь обо всем в мире и радуешься. Чему? Тогда я не знал. Теперь я понимаю эту радость.— Это была радость жизни, и своей и окружающей.

Могучая, чистая, ничем не омраченная радость детства.

ГЛАВА IV

Дворня. Николай-повар. Алексей Степанович. Агафья Михайловна. Марья Афанасьевна. Сергей Петрович

Я застал еще то время, когда нам служили свои дворовые, из бывших наших крепостных. Теперь все они сошли в могилу, но я хочу о них вспомнить.

НеразДельно с первыми воспоминаниями детства встает передо мной образ моей няни, Марии Афанасьевны Арбузовой. Она была бывшей крепостной Воейковых. Об этих Воейковых я знал только, что после смерти дедушки Николая Ильича Воейков был одно время опекуном Ясной Поляны, и после его опекунства многое из имения исчезло. Старик Николай-повар говорил, что в старину у нас были пуды серебряной посуды и после Воейкова ничего не осталось. Потом какой-то другой, сумасшедший, Воейков жил в Ясной Поляне уже при мама́. О нем я знал, что он вытащил из-под дома бешеную собаку и она его не укусила.

Марья Афанасьевна была типичная нянюшка. Маленькая, кругловатая, с черным чепчиком на голове, добрая, бесцветная, иногда ворчливая. Она вынянчила нас, пятерых старших детей.

Почему-то я помню ее сидящей со сложенными на коленях руками, около стола, на котором горит сальная свечка. Когда свеча закоптит, няня берет щипцы и снимает нагар. Иногда же она «снимает» просто пальцами. Послюнявит, снимет и опять послюнявит.

— Няня, молока.

— Что ты, Илюша, бог с тобой, спать надо, лежи.

— Молока-а-а-а.

Этот раз уже громче и со слезами.

Няня боится, что я разбужу Танечку, и подает мне стакан.

Mamá рассказывала мне, что я всегда, напившись, бросал стакан на пол. Я делал это так хитро и быстро, что невозможно было поймать мое движение. В конце концов мне купили серебряный стакан. Он долго потом сохранялся у mamá в шифоньерке. И он был весь избит и измят от моего постоянного кидания его на пол.

Как я кидал стакан, я не помню.

У Марии Афанасьевны были ключи от кладовой, и мы любили забегать к ней и выпрашивать у нее «минзюминдаль».

Ее сын, Сергей Петрович Арбузов, служил у нас много лет лакеем, и с ним потом (в 1881 году) отец ходил в Оптину пустынь[1]. Он был по профессии столяр, страдал запоем и носил ярко-рыжие баки.

Другой ее сын, Павел, сапожник, жил в деревне и был первым учителем моего отца, когда он начал увлекаться сапожным ремеслом.

Другой кит, на котором стояла Ясная Поляна в моем детстве, это был старик повар, Николай Михайлович Румянцев.

Когда-то, лет за двадцать до моего рождения, он был крепостным музыкантом-флейтистом у князя Николая Сергеевича Волконского. Крепостной оркестр играл по вечерам в липовой аллее. Когда mamá вышла замуж, она еще застала скамейки в саду, на которых этот оркестр размещался.

Потом Николай потерял передние зубы и с ними потерял «амбушюру»[2]. Его перевели в кухонные мужики.

Я часто воображал себе душевную драму бедного Николая, в летний день чистящего картошку в темной сырой кухне и слушающего доносящиеся до него звуки какого-нибудь вальса. Он прислушивается к знакомой ему мелодии флейты, которую теперь играет кто-то другой, более счастливый, чем он; по углам его беззубого рта появляются глубокие, горькие складки.

Когда отец женился и привез в Ясную Поляну молоденькую, неопытную Софью Андреевну, Николай был уже у него поваром. До женитьбы отца он получал жалованье пять рублей в месяц, а после mamá назначила уже шесть рублей, и на этом жалованье он про-

жил до конца, то есть приблизительно до конца 80-х годов.

Николай-повар был типичный крепостной со всеми их качествами и недостатками.

Разницы между крепостным состоянием и освобождением он не замечал. Иногда даже, когда он напивался, и мама́ его бранила, и когда на его место приходила готовить его жена, он начинал вдруг негодовать и проклинать «свободу».

— Не тогда крепость была, а вот она теперь. Выпил рюмочку, и уже кричат — пьян! Нам тогда лучше было. Держали нас строго, баловаться не давали и опекали хорошо. Бывало, знаешь, что не пропадешь с голоду. А теперь выгонят меня отсюда — куда я пойду от своих господ?

Господ он уважал до низкопоклонства и боялся. Он был один из тех людей, которых я застал еще довольно много и которые совершенно не радовались воле.

Детьми мы часто, бывало, забегали к Николаю на кухню и выпрашивали у него чего-нибудь: морковку, кусочек яблочка или пирожок. Поворчит, а все-таки даст.

Особенно вкусны бывали его левашники.

Эти левашники делались, как пирожки, из раскатанного теста, и внутри их было варенье. Чтобы они не «садились», Николай надувал их с уголка воздухом. Не через соломинку, а прямо так, губами. Это называлось «Les soupirs de Nicolas» *.

Раз наш учитель-француз, m-r Nief, убил в саду козюлю (гадюку), отрезал ей голову, и чтобы доказать нам, детям, что она сама не ядовита, он решил ее изжарить и съесть.

Мы вместе с ним пошли на кухню.

Он подошел к Николаю Михайловичу и, показывая ему козюлю, которая висела в его руке, ломаным русским языком стал просить его дать ему сковородку. Мы притаились в дверях и ждали, что будет.

Николай Михайлович долго не мог понять, что ему говорил француз. Наконец, когда дело объяснилось, он взял из угла «чапельник» и, замахнувшись над головой m-r Nief'a, начал ему кричать: «Пошел вон, не-

* «Вздохи Николая» *(фр.)*.

христь, дам я тебе барскую посуду поганить, вон иди. Намедни белку принес жарить, теперь вовсе козюлю. Иди вон».

— Qu'est ce qu'il dit, qu'est ce qu'il dit? * — спрашивал нас m-r Nief, смущенно пятясь, а мы были рады и со смехом побежали рассказывать об этом мама́.

Милый, бесхитростный старик, как мало я тогда ценил твою беззаветную преданность, твою трудную безрадостную работу, твою долю в жизни всей нашей семьи!

После Николая Михайловича на его место поступил его сын — Семен Николаевич, крестник мама́, милый и достойный человек, товарищ моих детских игр. Под контролем моей матери он с нежной заботливостью готовил отцу вегетарианское питание, и не будь его, кто знает, быть может мой отец и не дожил бы до своего преклонного возраста.

За последние годы отец чувствовал себя хорошо только в Ясной Поляне, и всякий раз, как уезжал и попадал на непривычное ему питание, он заболевал гастрическими недомоганиями.

Алексей Степанович Орехов, тоже из крепостных, был ясенский дворовый.

Когда отец был в Севастополе[3], он брал его с собой в виде казачка.

Я помню, как отец рассказывал мне, что во время осады Севастополя в четвертом бастионе он жил с товарищем, у которого тоже был лакей. И этот лакей был ужасный трус. Когда его посылали в солдатский котел за обедом, он все время уморительно пригибался и прятался от летающих снарядов и пуль, а Алексей Степанович не боялся и шел смело.

Поэтому Алексея никогда никуда не посылали, а посылали того труса, и все офицеры выходили смотреть, как он крался, на каждом шагу припадая к земле и кланяясь.

Я застал Алексея Степановича яснополянским приказчиком (управляющим). Он жил в «том доме» с Дуняшей.

* Что он говорит, что он говорит? *(фр.)*

Он был человек степенный, ровиый, и мы, дети, его очеиь уважали и удивлялись, что папа́ говорит ему «ты».

Дальше я расскажу о его смерти.

Сиачала в «этом доме» иа кухие, а потом на дворие жнла старушка Агафья Михайловиа. Высокая, худая, с большнми породнстыми глазами и прямыми, как у ведьмы, седеющими волосами, она была немножко страшная, ио больше всего странная.

Давио, давио оиа была крепостной горничной у моей прабабушки графини Пелагеи Николаевиы Толстой. Оиа любила рассказывать про свою молодость.

«Я красивая была. Бывало, съедутся в большом доме господа. Графиня позовет меня. Строгая была барыня, но любила меия, царство ей небесное: «Гашет, фамбр де шамбр, аппортэ муа уи мушуар» *. А я: «Тут свит, мадам ля коитесс» **. А оии на меия смотрят, глаз не сводят. Я иду во флигель, а меия иа дорожке караулят, перехватывают. Сколько раз я их обманывала. Возьму да н побегу кругом, через канаву. Я этого н тогда не любила. Так девицей и осталась».

После смертн моей бабушкн Агафья Михайловиа попала почему-то на дворню и ходила за овцами. И оиа так полюбнла овец, что потом всю жизиь ие могла есть баранины.

После овец оиа полюбила собак, и я ее помию уже только в этот период ее жизни.

Собаки были для нее все, поэтому мы ее изывалн «собачьей гувериаиткой».

Оиа жила вместе с ними в страшиой вонн и грязи и всю свою душу отдала на иих.

У нас всегда были легавые, гончие и борзые, н эта псария, иногда очеиь миогочислеииая, всегда управлялась Агафьей Михайловной, которой давался в помощиики какой-нибудь мальчишка, большей частью всегда иеповоротливый и глупый.

С памятью об этой своеобразной и умиой старухе у меия связаио миого иитересиых воспоминаний. Большинство нз иих запечатлелось у меня в связн с рассказами о ией моего отца. Всякую иитересиую психологн-

* «Девушка, принесите мне носовой платок» *(фр.)*.
** «Сейчас, графиия» *(фр.)*.

ческую черту он умел подметить и выделить, и эти-то черточки, сообщенные им большею частью случайно, счастливо запали в моей памяти. Он рассказывал, например, как Агафья Михайловна как-то жаловалась ему на бессонницу. С тех пор как я ее помню, она болела тем, что «растет во мне береза, от живота кверху, и подпирает в грудь и дышать от этой березы нельзя».

Жалуется она на бессонницу, на березу: «Лежу я одна, тихо, только часы на стене тикают: кто ты, что ты, кто ты, что ты — я и стала думать: кто я, что я? и так всю ночь об этом и продумала».

— Подумай, ведь это гноти сеаутон — познай самого себя, ведь это Сократ! — говорил Лев Николаевич, рассказывая об этом и восторгаясь.

По летам приезжал к нам брат мама́ Степа, учившийся в то время в училище правоведения. Осенью он с отцом и с нами ездил на охоту с борзыми, и за это Агафья Михайловна его любила.

Весной у Степы были экзамены.

Агафья Михайловна это знала и с волнением ждала известий, выдержит он или нет.

Раз она зажгла перед образом свечку и стала молиться о Степиных экзаменах.

В это время она вспомнила, что борзые у нее вырвались и что их до сих пор нет дома. «Господи, забегут куда-нибудь, бросятся на скотину, беды наделают. Батюшка, Николай-угодник, пускай моя свечка горит, чтоб собаки скорей вернулись, а за Степана Андреевича я другую куплю. Только это я подумала, слышу, в сенцах собаки ошейниками гремят, пришли, слава богу. Вот что значит молитва».

Другой любимец Агафьи Михайловны был частый наш гость, молодой человек Миша Стахович.

— Вот, графинюшка, что вы со мною сделали, — укоряла она сестру Таню, — познакомили меня с Михаилом Александровичем, я в него и влюбилась на старости лет, вот грех-то.

Пятого февраля, в свои именины, Агафья Михайловна получила от Стаховича поздравительную телеграмму.

Ее принес нарочный с Козловки.

Когда об этом узнал папá, он шутя сказал Агафье Михайловне: «И не стыдно тебе, что из-за твоей телеграммы человек пер ночью по морозу три версты?»

— Пер, пер! Его ангелы на крылушках несли, а не пер... вот от приезжей жидовки три телеграммы да о Голохвастихе каждый день телеграммы — это не пер? а мне поздравление — так пер,— разворчалась она, и действительно, нельзя было не почувствовать, что она была права. Эта единственная в году телеграмма, адресованная на псарню, по тому счастью, которое она доставила Агафье Михайловне, конечно, была много важнее разных извещений о бале, даваемом в Москве в честь дочери еврейского банкира, или о приезде в Ясную Ольги Андреевны Голохвастовой.

Когда Алексей Степанович умирал, он лежал больной совсем один в своей комнате, и Агафья Михайловна подолгу сиживала у него, ухаживала за ним и занимала его разговорами. Он болел долго, кажется, раком желудка.

Его жена, «Дуняша, мамá пришла за делом», умерла на несколько лет раньше его.

Вот в один из длинных зимних вечеров, когда Алексей Степанович лежал, а Агафья Михайловна сидела у него и поила его чаем, они разговорились о смерти и условились, что тот из них, кто будет умирать раньше, расскажет другому, хорошо ли умирать.

Когда Алексей Степаныч ослабел совсем и когда стало ясно, что смерть близка, Агафья Михайловна не забыла об этом разговоре и спросила его, хорошо ли ему?

— Очень хорошо, Агафья Михайловна,— ответил он, и это были чуть ли не последние его слова (1882 год).

Она любила про это вспоминать, и я этот рассказ слышал и от нее, и от отца.

Он всегда страшно чутко прислушивался к смерти и, где мог, ловил мельчайшие подробности того, что переживают умирающие.

В его душе этот рассказ связывался с памятью его старшего брата Дмитрия, с которым он условился, что тот из них, кто раньше умрет, после смерти придет и расскажет, как он живет «там».

Но Дмитрий Николаевич умер на пятьдесят лет раньше отца и не приходил к нему ни разу.

Агафья Михайловна любила не одних только собак. У нее была мышь, которая приходила к ней, когда она пила чай, и подбирала со стола хлебные крошки.

Раз мы, дети, сами набрали земляники, собрали в складчину шестнадцать копеек на фунт сахару и сварили Агафье Михайловне баночку варенья. Она была очень довольна и благодарила нас.

— Вдруг,— рассказывает она,— хочу я пить чай, берусь за варенье, а в банке мышь. Я его вынула, вымыла теплой водой, насилу отмыла, и пустила опять на стол.

— А варенье?

— Варенье выкинула, ведь мышь поганый, я после него есть не стану.

Агафья Михайловна умерла в начале девяностых годов. Тогда охотничьих собак в Ясной уже не было, но около нее ютились какие-то дворняжки, которых она оберегала и кормила до последних своих дней.

ГЛАВА V

Яснополянский дом. Портреты предков. Кабинет отца

Я помню яснополянский дом еще в том виде, в каком он был в первые годы после женитьбы отца.

В 1871 году, когда мне было пять лет, к нашему дому начали пристраивать залу и кабинет.

Я помню, как работали каменщики, помню, как при закладке дома положили под угол жестяную коробочку с серебряными деньгами, как пробивали в старом доме двери, и особенно ясно помню, как делали паркет. Я любил сидеть на полу с столярами и следить, как они прилаживали дубовые дощечки, выстругивали их, намазывали жидким пахучим клеем и туго загоняли молотками в пазы.

Когда паркет кончили и натерли воском, он был такой скользкий, что по нем было страшно ходить.

А когда он начал ссыхаться, то часто он громко стрелял, как из ружья, и если в комнате никого не было, то становилось жутко, и я убегал.

В зале по стенам развесили старые портреты дедов.

Они были немножко страшные, и я их сначала тоже боялся, но потом мы привыкли к ним, и одного из них, моего прадеда, Илью Андреевича Толстого, я даже полюбил, потому что говорили, что я на него похож. Он жил в селе Глухие Поляны, тоже Тульской губернии.

У него было очень добродушное, толстое лицо. Про иего папá рассказывал по преданиям, что он посылал стирать белье в Голландию; для этого специально у него снаряжались подводы, которые возили это белье туда и обратно по нескольку раз в год. Вина у него были только французские, хрусталь — богемский. Он был страшный хлебосол, веселый и щедрый. Вся округа съезжалась к нему в гости, он всех закармливал и запаивал и на своем веку прожил огромное состояние своей жены. Это был тип старого графа Ростова из «Войны и мира», вероятно, еще более яркий, чем его описал отец.

Рядом с ним висел портрет другого моего прадеда, князя Николая Сергеевича Волконского, отца моей бабки, с черными густыми бровями, в седом парике и красном кафтане.

Этот Волкоиский выстроил все постройки Ясной Поляны. Он был образцовый хозяин, умный и гордый, и пользовался громадным почетом среди всей округи.

На другой стене, между дверьми, весь простенок занимает большой портрет слепого старика, князя Горчакова, отца моей прабабки Пелагеи Николаевны Толстой, жены Ильи Андреевича.

Он сидит у полукруглого столика с опущенными веками, и около него, с двух сторон, лежат носовые платки, которыми он вытирал свои слезящиеся глаза.

Рассказывали про него, что он был очень богат и очень скуп. Он любил считать деньги и целыми днями пересчитывал свои ассигнации.

А когда ослеп, он заставлял одного из своих приближенных, которому одному только доверял, прииосить к нему заветиую шкатулку красного дерева, отпирал ее своим ключом и на ощупь сиова и снова пересчитывал старые, мятые бумажки.

А в это время доверенный его незаметно выкрадывал деньги и на их место клал газетную бумагу.

И старик перебирал эту бумагу тонкими, трясущимися пальцами и думал, что он считает деньги.

Дальше висят портреты монахини с четками, матери Горчакова, урожденной княжны Мордкиной (1705 года), потом жены Николая Сергеевича Волконского, рожденной княжны Трубецкой, и отца Волконского, того самого, который рассадил яснополянский парк, «пришпекты» и липовые аллеи.

Внизу, под залой, рядом с передней, папá устроил себе кабинет. В стене он велел сделать полукруглую нишу и в ней поместил мраморный бюст своего любимого покойного брата Николая. Этот бюст сделан за границей с маски, и папá говорил нам, что он очень похож, потому что его делал хороший скульптор по указаниям самого папá [1].

У него доброе и немножко жалкое лицо. Волосы причесаны по-детски гладко, с пробором на боку, усов и бороды нет, и весь он белый, чистый, чистый. Кабинет папá перегорожен пополам большими книжными шкапами, в которых много, много разных книг. Чтобы шкапы не падали, они связаны между собой большими деревянными брусками, и между ними сделана тонкая березовая дверь, за которой папашин письменный стол и его полукруглое старинное кресло.

Один из этих брусков цел до сих пор. Мне и теперь было бы страшно на него смотреть, потому что я знаю, что папá одно время хотел на нем повеситься [2].

Но об этом после, после... сейчас не надо...

На стенах оленьи рога, привезенные отцом с Кавказа, и одна оленья голова, набитая в виде чучела.

На эти рога он вешает полотенце и шляпу. Тут же на стене висят портреты Диккенса, Шопенгауэра, Фета в молодости и известная группа писателей из кружка «Современника» 1856 года [3]. На ней Тургенев, Островский, Гончаров, Григорович, Дружинин и отец, совсем еще молодой, без бороды, в офицерском мундире.

Утром папá выходит из спальни, которая наверху в углу дома, в халате и с свалянной в кучу, нечесаной бородой, идет вниз одеваться.

Потом он выходит из кабинета свежий, бодрый в серой блузе и идет в залу пить кофе.

Мы в это время завтракаем.

Когда гостей нет, он сидит в зале недолго, берет с собою стакан чаю и уходит к себе.

А если есть гости или друзья, он начинает разговаривать, увлекается и никак не может уйти.

Заткнув одну руку за кожаный пояс, а в другой держа перед собой серебряный подстаканник с полным стаканом чая, он останавливается у дверей и часто подолгу, иногда по полчаса стоит на одном месте, не замечая, что чай его давно остыл, и все говорит, говорит, и почему-то как раз в эту минуту разговор делается особенно интересен и оживлен. И все мы знаем это место на пороге и отлично знаем, что, когда папá, с чаем в руках, решительно идет к двери,— значит, он сейчас остановится, чтобы сказать свое заключительное, последнее слово — и тут-то начнется самое интересное.

Наконец папá уходит заниматься. Мы разбегаемся зимой по классным комнатам, а летом в сад или на крокет, мамá садится в зале шить что-нибудь для малышей или переписывает то, что она не успела кончить вчера ночью, и до трех-четырех часов в доме полная тишина.

Потом папá выходит из кабинета и отправляется на прогулку. Иногда с ружьем и собакой, иногда верхом, а иногда и просто пешком в Казенную засеку. В пять звонят в колокол, который висит на сломанном суку старого вяза против дома, мы бежим мыть руки и собираемся к обеду. Иногда папá запаздывает, и его поджидают. Он приходит немножко сконфуженный и извиняется перед мамá, наливает себе неполную серебряную рюмку травнику и садится за стол.

Он очень голоден и ест жадно, все, что попадается под руку. Мамá его останавливает, просит не наедаться одной кашей, потому что будут еще котлеты и зелень,— «у тебя опять печень заболит», но он не слушает ее и просит еще и еще, пока не наестся досыта. Потом он рассказывает впечатления своей прогулки, где он поднял выводок тетеревов, какие новые тропинки он разыскивал в засеке за «Кудеяровым колодцем», как молодая лошадь, которую он объезжал, стала понимать шенкель и повод,— все это ярко и интересно, и время проходит весело и оживленно.

— Мама́, а какое нынче пирожное? — вдруг спрашивает Таня, всегда смелая н незавнснмая.

— Ильюшнно любимое — блннчнкн с вареньем,— серьезно отвечает мама́, не замечая в тоне Танн оттенка шуткн, повторяемой слншком часто.

Я снжу рядом с папа́ н боюсь взять больше двух блннчнков. Зато варенья можно взять побольше, потому что его можно сейчас же закрыть другнм блнном н свернуть в трубку так, что будет незаметно. Только что я прнготовнл все, хочу есть, папа́ незаметно протягнвает руку, отннмает тарелку н говорнт: «Ну, теперь довольно». И я не знаю, что мне делать: плакать нлн смеяться. Хорошо, что папа́ взглянул мне в глаза н засмеялся,— а то я бы разревелся.

После обеда папа́ опять уходнт к себе чнтать какую-ннбудь кннгу, потом в восемь часов подают чай, н начннаются самые лучшне вечернне часы, когда все собнраются в зале, большне разговарнвают, чнтают вслух, нграют на фортепьяно, а мы нлн слушаем большнх, нлн затеваем что-ннбудь свое, веселое, н с трепетом ждем, что вот-вот старнннные англнйские часы на площадке лестннцы щелкнул, засnпят н звонко и медленно пробьют десять.

— А может быть, мама́ не заметнт? Она сиднт в маленькой гостнной н переписывает.

— Детн, спать пора, прощайтесь!

— Сейчас, мама́, пять мнннуток только.

— Идите, ндите, пора, а то завтра опять вас не подымешь, учнться надо.

Прощаемся не спеша, нща какой-ннбудь задержкн, н ндем внна под своды. И обидно, что мы еще маленькне н должны уходнть,— а большне могут снделть н не ложнться сколько хотят.

Что они там делают без нас?

Наверное, вот теперь как раз, когда мы ушлн, у ннх начинается самое веселое.

Недаром папа́ всегда любнт говорнть: «Когда я вырасту большой». Он шутнт, потому что ему ннчего не нужно, он уже большой н у него всё есть, а мне так всего этого хочется!

У него трн ружья, кннжалы, собакн, верховая лошадь, он ннкогда не учнтся, а я еще долго буду малень-

кнй и буду спать в детской, в темноте, с Марией Афаиасьевной, которая уже погаснла сальную свечку и велнт мне не ворочаться.

Заплакать?

Нет, ие иадо. Лучше закроюсь с головой и засиу.

И ие успеешь закрыть глаза и забыться, как уже утро — веселое н ясное.

Сколько хорошего впереди: сейчас оденусь, побегу в сад, там мы с Таней вырыли в земле подвал н кладовую. Потом побегу ловнть бабочек в густой траве около «Чепыжа».

Надо непременно поймать «Махаоиа». У Сережи есть один, а у меня нет. Потом буду учиться, но это ннчего, об этом не надо думать, а потом опять завтрак, купанье, обед...

Как жизиь хороша! Как ярко горнт солнце! Как громко поет под окном соловей! Как много-миого хорошего впереди...

ГЛАВА VI

Папа́. Религия

По своему рожденню, по воспитанию и по манерам отец был иастоящнй аристократ. Несмотря на его рабочую блузу, которую ои неизменно иосил, несмотря иа его полное пренебреженне ко всем предрассудкам барства, он барнном был, н барнном ои остался до самого конца своих дней.

Лнтературиые критнкн любят вндеть его автопортрет в Пьере Безухове и в Левине.

Как он всегда раздражался, когда его спрашнвалн, правда лн, что ои в Левнне опнсал себя!

Ои говорнл, что тип создается пнсателем из целого ряда лнц, и поэтому он ннкогда не может и не должен быть портретом определенного человека.

Вот что по этому поводу ои пишет еще в 1865 году одной барыне в ответ на ее вопрос: кто такой киязь Болкоиский?

«Андрей Болконский — инкто, как и всякое лнцо романиста, а ие писателя личностей или мемуаров. Я бы стыдился печататься, ежелн бы весь мой труд со-

стоял в том, чтобы списать портрет, разузнать, запомнить»[1].

Если можно найти много характерных черт, напоминающих отца в Безухове и Левине, то насколько же еще ближе к нему подходят типы князя Андрея и особенно отца его, старого князя Болконского. Та же аристократическая гордость, почти спесь, та же внешняя суровость и та же трогательная застенчивость в проявлении нежности и любви.

За всю мою жизнь меня отец ни разу не приласкал.

Это не значит, чтобы он меня не любил. Напротив, я знаю, что он любил меня, бывали периоды, когда мы были очень близки друг другу, но он никогда не выражал своей любви открытой прямой лаской и всегда как бы стыдился ее проявления. В нашем детстве всякие проявления нежности назывались «телячьими ласками».

Должен сказать, что к концу жизни отец стал значительно мягче. Он был нежен с моим младшим братом Ванечкой и был нежен с дочерьми, особенно с покойной сестрой моей Машей. Она как-то умела подойти к нему просто, как к любимому старику-отцу, она, бывало, ласкала и гладила его руку, и он принимал ее ласки так же просто и отвечал на них.

Но с нами, сыновьями, почему-то это не выходило так. Взаимная любовь подразумевалась, но не высказывалась. Бывало, в детстве ушибешься — не плачь, ноги озябли — слезай, беги за экипажем, живот болит — вот тебе квасу с солью — пройдет,— никогда не пожалеет, не поласкает. Если нужно сочувствие, нужно «пореветь» — бежишь к мама́. Она и компрессик положит и приласкает и утешит.

Позднее, когда отец становился стар и немощен, как иногда хотелось мне его приголубить, пригреть, как, бывало, делала сестра Маша,— но нет — я чувствовал, что это не выйдет естественно, и боялся.

Выше я упоминал о барстве и гордости отца. Боюсь быть неправильно понятым и хочу объяснить, что я под этим подразумеваю.

Под словом «барство» я разумею известную утонченность манер, внешнюю опрятность и в особенности тонкое понимание чувства чести.

Слово «барин» понемногу уходит в область истории. Его заменило слово «интеллигент», но во времена молодости моего отца и даже моей юности это слово выражало вполне определенное понятие и имело хорошее значение. Это было то, что так метко выражается пословицей: «Попа и в рогоже узнаешь».

Бывало, лакей Сергей Петрович идет докладывать отцу:

— Лев Николаевич, вас внизу кто-то спрашивает.

— Кто такое?

— «Барин какой-то», или: «мужчина», или: «человек какой-то».

Сергей Петрович различал понятия «барин», «мужчина», «человек» по внешнему виду, я же употребил слово «барин» в приложении к отцу, понимая его в полном его объеме.

И гордость отца была тоже чисто барская — благородная. Много пришлось ему от этой гордости страдать. И в молодости, когда у него не хватало денег проигрывать в карты и равняться в кутежах с богачами аристократами, и когда он пробивал себе литературную карьеру и вызывал на дуэль Тургенева [2], и когда жандармы производили обыск в Ясной Поляне [3] и он, оскорбленный, чуть не уехал навсегда за границу, и когда в Москве генерал-губернатор князь Долгорукий прислал к нему своего адъютанта, требуя от него сведений о живущем в его доме сектанте Сютаеве [4], и когда ненавистники его упрекали в том, что он, проповедуя опрощение, сам продолжает жить в роскоши в Ясной Поляне, и когда правительство и церковь осыпали его клеветами и называли безбожником... много, много мучила его гордость, много заставила она его пережить и передумать, и, может быть, эта же благородная гордость духовная немало поспособствовала тому, что из него вырос тот человек, каким он стал во второй половине своей жизни.

Я же описываю отца таким, каким он был сорока пяти лет, и вполне понятно, что тогда он не был таким, каким его теперь знает мир.

Я помню отца до того, как он начал писать «Анну Каренину», приблизительно таким, каким его написал

Крамской [5]. В то время у него была недлинная борода, темные, немного вьющиеся к концам волосы и быстрые, очень уверенные движения. Он был очень силен и довольно ловок. С детства он приучал нас к гимнастике, учил плавать, кататься на коньках и ездить верхом. И здесь часто проявлялась та же его суровость. «Не могу» или «устал» для него не существовало.

— Плыви,— и он отталкивал меня в глубокое место реки, конечно, следил, чтобы я не утонул, но не помогал и подбадривающе хвалил, если я, наполовину захлебнувшись, с вытаращенными от страха глазами, доплывал до берега.

Или, бывало, едем верхом. Отец переводит лошадь на крупную рысь. Я стараюсь за ним поспеть. Чувствую, что теряю равновесие. С каждым толчком рыси сбиваюсь все больше и больше. Чувствую, что пропал. Надо лететь. Еще несколько бесполезных судорожных движений — и я на земле.

Отец останавливается.

— Не ушибся?

— Нет,— стараюсь отвечать твердым голосом.

— Садись опять.

И опять той же крупной рысью он едет дальше, как будто ничего и не произошло.

Наше религиозное воспитание ничем не отличалось от обыкновенного религиозного воспитания детей того времени.

Ни папа́, ни мама́ в церковную религию особенно не верили, но и не отрицали ее, ездили в церковь и молились потому, что все так делали, и потому, что все учат детей религиозности, учили ей и нас.

Столпом православия в Ясной Поляне была тетушка Татьяна Александровна, во времена моего раннего детства уже дряхлая старушка, бывшая воспитательница отца.

У нее в углу у окна стояли огромные старинные, почерневшие иконы, перед которыми всегда горела лампадка, и мы приходили в ее комнату с чувством мистического страха и уважения.

Когда оиа умерла, иас водили к ией «прощаться». Ее гроб стоял углом перед этими икоиами, и чувство мистического страха еще усилилось.

Вслед за Татьяиой Алексаидровиой в этой комиате жила другая тетушка, Пелагея Ильииичиа, тоже богомольиая, и тоже горела у иее лампадка, и оиа тоже умерла там и лежала в гробу.

Поздиее в этой комиате жили гориичные, но чувство жуткости, связаииое с этой комиатой, осталось у меия иавсегда. Думая об этой комиате, я и сейчас представляю себе эти страшиые икоиы, покойииц и слышу удушливый запах ладаиа.

По вечерам мама́ заставляла иас молиться и помииать всех иам близких людей, «папа́, мама́, братьев, сестер и всех православиых христиаи», и иакануие праздииков приезжали к иам священиики и служили всеиощиую. Во время маслеиицы ели блииы, а потом подавались капуста, жареиные иа пахучем постиом масле картошки, и чай и кофе пили с миидальиым молоком.

На страстной красили яйца и иочью, под светло Христово воскресение ездили в церковь.

Это бывало очеиь торжествеиио и весело. Большей частью пасха приходилась во время весеиией распутицы.

Иногда, когда пасха бывала раииия, ездили иа саиях — розвальиях. Сиег уже иаполовиию растаял. Дорога, покрытая коричиевым лошадииым иавозом, выпятилась бугром. Местами проложеи свежий следок сбоку дороги. Кое-где сиег уже слиия́л, и полозья тащатся по грязи. В иизииах стоит вода и бегут ручьи. У лошадей круто и коротко подвязаиы хвосты. Темио, и от бессоииой иочи пробирает дрожь.

У церкви видиы огоиьки, и вокруг стоят пустые подводы. На паперти стоят иищие и слепые.

Пробираемся сквозь толпу вперед к левой стороие церкви. На клиросе уже стоит сосед Алексаидр Николаевич Бибиков с сыиом Николеиькой. Мужики в поддевках иа чистых холщовых рубахах, с причесаииыми и примазаииыми волосами, бабы и девки в красивых цветных платках, с бусами иа шее. Пахиет воском, ладаиом и дублеиым полушубком. Служба торжествен-

ная. То и дело передаются к иконостасу свечи. Задний человек постукивает переднего тоненькой копеечной свечою по плечу: «Николаю-угоднику». Этот берет свечу и также постукивает ею по плечу следующего и т. д., пока наконец свеча не доходит до иконостаса и не кладется на горящий уже десятками свечей и сплошь залитый воском подсвечник перед иконой.

— «Божьей матери», «спасителю», «чудотворцу»...

Подходит двенадцать часов. У всех в руках зажженные свечки. Начинается шествие вокруг церкви мимо старых заросших могил. Перед входом в церковь священник гнусавым голосом провозглашает: «Христос воскресе», толпа опять втискивается в церковь, и начинается долгое, утомительное служение. Наконец служба кончена, идем к священнику христосоваться, христосуемся между собой и с некоторыми мужиками и бабами и, счастливые, едем домой.

Уже рассвело. Лошади бегут домой веселее, вода и ручьи уже не страшны, и настроение такое радостное и торжественное, что забыты и усталость и сон, и только боимся, как бы мама не хватилась и не послала нас слишком скоро спать.

А сколько впереди радости! Разговляться, катать яйца, христосоваться со всеми своими и целую неделю не учиться.

Понятие о боге у меня всегда было очень смутное и путаное. Конечно, он прежде всего старый, с длинной, белой бородой, и очень сердитый. Я никогда не мог ему простить, как строго он обошелся с Адамом и Евой. За то, что они съели пополам одно яблочко с какого-то особенного дерева познания добра и зла, он выгнал их из рая и велел вечно страдать и работать в «поте лица». По-моему, это было слишком жестоко. Потом потоп, когда он всех людей, кроме Ноя, утопил. Потом, как он велел Аврааму убить своего единственного сына. Хорошо, что он вовремя показал ему на агнца в кустах, а то бы это было ужасно.

Я тоже не мог никогда понять, почему бог так любил Соломона, который наделал столько гадостей и имел бесчисленное множество жен, жалко мне было и жены Лота, и бедной рабыни Агари, которая родила

Аврааму прекрасного сына и которую он потом прогнал и сменил на старуху Сарру.

И чем больше я узнавал Священное писание, тем непонятнее оно для меня становилось.

Сначала я старался верить и понимать, задавал разные вопросы мамá, потом батюшке, который приезжал к нам давать уроки, но объяснения их меня не удовлетворяли, и я все больше и больше запутывался.

Когда я наконец дошел до катехизиса Филарета и до церковного служения, я уже запутался окончательно.

«Вера есть уповаемых извещение, вещей обличение невидимых». Такие вещи я уже не старался понимать и только с тоской заучивал их наизусть. Не понимал я и «Символ веры», и «Св. троицу», и почему я должен думать, что это вино и просфора обращаются в тело Христово, и почему я должен непременно это тело есть и кровь пить,— одним словом, в этом отношении у меня в голове стояла путаница безнадежная, и я только потому старался в эту путаницу верить, что в нее верили папá, мамá, тетушка, няня, Николай-повар и вообще все.

Об Иисусе Христе у меня тоже были смутные впечатления. Он, сын старого бога, родился, и бог сделал с ним то, что чуть-чуть не сделал Авраам со своим сыном,— он пожертвовал его за грехи нас, людей. Опять та же жестокость и бессердечность бога, которую я не мог понять.

И зачем нужна была эта жертва любимого сына? Неужели бог, который все может, не мог устроить как-нибудь иначе? Очень важно было то, что Христос крестился у Иоанна Крестителя, еще важнее были его чудеса, а главное, конечно, было его воскресение, когда он восстал из гроба и опять поднялся на небо.

Чему Христос учил — это не важно. Он ведь был сыном бога, и у него со своим отцом были свои отношения — вроде того, как у нас с папá. Никто не смеет относиться к папá так, как мы, его дети. Христос относился к богу, как к отцу, а мы так относиться к богу не смеем. Нас он накажет и после смерти пошлет в ад, где живут одни черти, заставит нас лизать раскаленные сковородки и ходить по красным углям.

Тут мое детское воображение непременно переносило меня в кухню, где у плиты висели огромные черные сковороды, и я вспоминал, как Николай-повар доставал из-под плиты горящий уголек, подбрасывал его в руке несколько раз и от него закуривал свою самокрученую цигарку. Меня всегда поражало, как он мог это делать не обжигая рук, и меня это немножно утешало,— стало быть, угли не так уже страшны, но лизать сковороды — это, должно быть, ужасно!

ГЛАВА VII

Учение. Детские игры. Архитектор виноват. Прохор. Анковский пирог

Понятно, что, будучи сам воспитан в традициях старинного барства, отец пожелал и своим детям дать настоящее «барское» воспитание. Надо дать им знание наивозможно большего количества языков, надо дать им хорошие манеры, и надо, насколько возможно, охранить детей от всякого внешнего постороннего влияния. Современные гимназии никуда не годятся, поэтому надо учить детей дома и дома же довести их до университета.

Такова была воспитательная программа отца, которую он и провел с братом Сережей и сестрой Таней до конца, а со мной, к сожалению, лишь до пятого класса гимназии.

Начало нашего учения положили папá и мамá сами. Мамá учила русскому и французскому, а папá учил меня арифметике, латинскому и греческому.

Та же разница, которая существовала во всем остальном, проявлялась и в уроках. С мамá можно было иногда посматривать в окно, можно задавать посторонние вопросы, можно было делать стеклянные глаза и ничего не понимать, но с папá было не то,— с ним надо было напрягать все свои силы и не развлекаться ни минутки. Он учил прекрасно, ясно и интересно, но, как и в верховой езде, он шел крупной рысью все время, и надо было за ним успевать во что бы то ни стало. Вероятно, благодаря его разумному началу

я, вообще плохой ученик, всегда шел по математике прекрасно и математику любил.

Между тем семья наша все росла. Появилась на свет Маша, потом Петя, Николенька, мама́ иногда перебаливала и сбивалась с ног от работы, и скоро родителям пришлось пригласить для нас гувернеров и гувернанток.

Первый наш гувернер был немец Федор Федорович Кауфман, довольно простой, примитивный и грубоватый человек. Его приемы воспитания были чисто немецкие, с дисциплиной и наказаниями. Иногда, даже тайком от отца, он пускал в ход линейку и ставил меня и Сережу в угол на колени по целым часам. Он первый внушил мне отвращение к учению, отвращение, которое я впоследствии никогда побороть не мог. Федор Федорович прожил у нас около трех лет, после него поступил к нам швейцарец m-r Rey, молодой, красномордый, вечно пивший вино, которое он держал у себя в комнате, и тоже грубый и тупой.

Никогда не прощу я ему его наказания «Une page à copier, deux pages à copier» * и т. д., пока к воскресенью не наберется на целую тетрадь. Все равно безнадежно. Все воскресенье пропало, и все равно всего не перепишешь. А остальные братья и сестры бегают, играют в крокет, едут купаться, идут за грибами... M-r Rey только укрепил семена, посеянные Федор Федоровичем, и уже окончательно сделал из меня ненавистника учения.

Кроме того, у сестер бывали француженки-гувернантки, и несколько лет у нас жили русские учителя, которые помогали Сереже готовиться к экзамену зрелости и учили также Таню, меня, Леву и Машу. Раз в неделю из Тулы приезжал учитель музыки А. Г. Мичурин, и когда Таня подросла, к ней также приезжал учитель рисования.

Таким образом, у нас постепенно образовался целый домашний университет. Уроки были расписаны по часам, и в учебное время, то есть зимой, мы все, как в гимназии, весь день переходили с одного урока на другой. В промежутках между уроками мы ходили гулять,

* Переписать одну страницу, переписать две страницы *(фр.)*.

катались на коньках и с гор, бегали на лыжах и выдумывали разные игры в доме.

Одной из главных забот родителей в те первые годы нашего воспитания было охранение нас от всякого внешнего постороннего влияния. Весь мир разделялся на две части: мы с одной стороны, и все остальное — с другой. Мы — особенные люди, и равных нам нет. Мы — это папа́, мама̀, Кузминские, дядя Сережа Толстой и его дети, тетя Маша, некоторые редкие в то время гости — больше никто. Остальные все — это существа низшие, которые должны нам служить, должны работать, но от которых надо держаться подальше и особенно не брать с них примера. Ковырять в носу может деревенский мальчишка, но не мы. У них могут быть грязные руки и рваные панталоны, они могут грызть семечки и выплевывать шелуху на пол, они могут драться и ругаться, но для нас все это «shocking» *. Конечно, в этом грешила больше мама́, но и папа́ также ревниво оберегал нас от обращения с деревенскими и немало способствовал тому барству и ни на чем не основанному самообожанию, которое такое воспитание в нас внедрило и от которого мне было очень трудно избавиться.

Чем больше давать детям игрушек, тем бессодержательнее становятся их игры. Купленные игрушки приучают к трафарету и убивают в детях изобретательность.

Запас наших детских игрушек пополнялся раз в год, на елке. Большей частью на елку приезжали к нам Дьяковы — Дмитрий Алексеевич, друг юности отца и мой крестный отец, с взрослой уже дочерью Машей и гувернанткой Софешей.

Лучшие игрушки привозились ими. Елка была годовым торжеством. За месяц до рождества мама́ ездила в Тулу и привозила целый короб деревянных куколок, скелетников, как мы их называли, и начиналось одевание этих скелетиков мама́, нами и девочками. Для этого у нее в комнате целый год собираются остатки разных материй, обрезки лент, косячки бархата и ситца. Она торжественно приносит в залу большой

* неприлично *(англ.)*.

чериый узел, и все мы, сидя у круглого стола, с иголками в руках сосредоточенно шьем разные юбочки, рубашечкн, панталончнкн и шапочки, украшаем их золотымн галунами и лентами и радуемся, когда нз голых деревяшек с глупыми раскрашеииыми лицами делаются нарядные краснвые мальчнки и девочки, н кажется даже, что, когда онн одеты, нх лица делаются умнее и у каждого появляется свое, очеиь ннтересиое выраженне.

Куколки эти предиазиачалнсь для раздачи деревенским детям, н их обыкновенио приготовлялось штук тридцать или сорок. Затем начиналось золочеине орехов н прнвязывание леиточек к разиым картонажам, расписным пряинкам, крымским яблокам и конфектам. Своих подарков мы никто не знаем.

В сочельинк вечером прнезжают священиики и служат всенощную. В деиь рождества мы с утра одеты по-празднчиому, н в зале иа месте обедеиного стола стонт огромиая густая елка, от которой на всю комнату приятно пахнет лесиой хвоей.

Обедаем торопясь, только бы поскорее коичнть, н бежнм в свон комнаты.

В это время двери залы запираются, и «большне» убирают елку и раскладывают по столикам иаши подаркн. Волнение наше было такое, что мы уже не можем сидеть иа месте, двадцать раз подбегаем к дверн, спрашиваем — скоро ли готово, подсматриваем в ключевнну, н время кажется длинным-длинным.

После обеда в передней толпнлась куча деревенских ребят в полушубочках н кафтаичнках, бабы и иесколько мужиков. Пахло от них дублеиым мехом и потом.

Наконец все готово. Двери залы отпираются, в одну дверь втнскивается толпа деревенскнх, в другую, из гостиной, вбегаем мы.

Огромная елка до потолка блестнт зажжениыми свечами н золотыми безделушками. Пахнет хвойным деревом и смолой. Вдоль стены иашн столикн с подарками: цветная почтовая бумага, сургуч, пенал, это почтн всегда дарилось всем, ио вот дьяковскне подарки. Огромиая кукла, «закрывающая глаза», н если ее потянуть за два шнурочка с голубыми бисеринкамн на

концах, которые у нее привязаны между ногами, она кричала «папа» и «мама». Детская кухня, кастрюлечки, сковороды, тарелки и вилки, медведь на колесиках, качающий головой и мычащий, заводные машинки, разные всадники на лошадях, мышки, паровики и чего-чего только нам не дарили. У Сережи ружье, которое громко стреляет пробкой, и жестяные часы с цепочкой. В это время больше раздают деревенским детям скелетики, пряники, орехи и яблоки. Их впустили в другие двери, и они стоят кучей с правой стороны елки и на нашу сторону не переходят. «Тетенька, мне, мне куколку! Ваньке уже давали. Мне гостинцу не хватило».

Мы с гордостью хвалимся перед деревенскими ребятами своими подарками. Мы — особенные, и поэтому вполне естественным кажется, что у нас настоящие подарки, а у них только скелетики. Они должны быть счастливы и этим. О том, что они могли нам завидовать, и в голову не приходило.

Иногда в это время с деревни приходили ряженые с гармоникой, и начиналась пляска, а раз даже папá сам нарядился поводырем и водил по зале медведя,— Николая-повара, одетого в вывернутую наизнанку енотовую шубу[1]. «А ну-ка, Миша, попляши, а ну-ка покажи, как бабы с огорода горох воруют, а ну-ка покажи, как старый дед с печи падает, а как деревенские девки белятся, румянятся, а ну-ка, давай поборемся»,— и медведь плясал и ползал за горохом и падал, и боролся, и проделывал все штуки, которые в то время проделывались ручными медведями и их поводырями.

Как мы, бывало, любили этих «Мишек», когда они заходили к нам в усадьбу. Позднее правительство запретило водить медведей, и я всегда об этом жалел.

Мамá рассказывала, что в день моего рождения, в воскресенье всех святых, 22 мая 1866 года, она утром ездила с папá к обедне, и, вернувшись домой, они застали на усадьбе поводыря с медведем, а к вечеру того же дня родился я. Не потому ли я всегда так любил медведей?

Однако радость, доставленная новыми игрушками, никогда долго не продолжалась. Игрушки пробуждали в нас нехорошее чувство собственности и зависти и в конце концов быстро ломались и уничтожались. Ка-

жется, единственная игрушка, которая продержалась у нас долго, это были солдатики, турецкие и русские, которых Дьяковы подарили мне и Сереже и которыми мы играли целую зиму. Мы выстраивали их полками по противоположным концам нашей большой залы и сами, лежа на полу на животах, катали картечины во вражеские армии и истребляли их.

— Неужели Лев Николаевич допускал, чтобы дети его играли в войну? — спросит меня читатель.

— Да, в то время он в этом не видел ничего плохого и никогда не думал нас в этих играх останавливать.

Другая интересная игра, которую выдумала Таня, была «Ульверстон». Это было, когда Таня прочла какой-то глупый переводный английский роман и решила этот роман разыграть «в театре» бумажными куколками[2].

Всех героев романа мы вырезали ножницами из цветных картинок модного журнала. Мы вырезали эти фигурки величиной меньше вершка так, чтобы голова фигурки выходила из куска руки или шеи модной картинки, а туловище — из части цветного рукава кофты и юбки. Поэтому все фигурки были разного цвета и их легко было различать. Главную роль романа играл Ульверстон. Какие у него были приключения, я сейчас уже не помню, но главное место пьесы было то, где он говорил ей: «Я одинок и скучаю»,— и предлагал ей быть его женой. Эти слова за него всегда говорила Таня с особенным чувством, и мы с замиранием сердца ожидали этих слов и, конечно, сочувствовали безнадежной любви бедного Ульверстона.

Раз застал нас за этой игрой папá. Мы лежали на животах в зале звездой вокруг нашего театра и передвигали фигурки. Папá посмотрел, взял один из старых модных журналов и ушел в гостиную. Через несколько минут он вернулся и принес нам фигурку мальчика, которого он целиком вырезал из женской декольтированной груди и плеч. Получилась фигурка вся розовая, телесного цвета, голая.

— Кто же это, папá? — спросили мы в недоумении.

— А это пусть будет Адольфик.

Такой роли в романе не было. Но мы, конечно, сейчас же выдумали Адольфику роль, развили ее, и ско-

ро Адольфик сделался нашим любимым героем, даже лучше самого Ульверстона.

Детство — это ряд увлечений. Не знаю, так ли это с другими, но со мной это было, несомненно, так. Да и одно ли детство, не вся ли жизнь? Но об этом после когда-нибудь.

Первую нашу елку я помню в балконной комнате, в которой последние годы был кабинет отца.

Потом помню елку в только что выстроенной и еще не совсем отделанной зале.

Мне было пять лет.

В этот раз мне подарили большую фарфоровую чайную чашку с блюдцем. Мама́ знала, что я давно мечтал об этом подарке, и приготовила мне его к рождеству.

Увидав чашку на своем столике, я не стал рассматривать остальных подарков, схватил ее обеими руками и побежал ее показывать.

Перебегая из залы в гостиную, я зацепился ногой за порог, упал, и от моей чашки остались одни осколочки.

Конечно, я заревел во весь голос и сделал вид, что расшибся гораздо больше, чем на самом деле.

Мама́ кинулась меня утешать и сказала мне, что я сам виноват, потому что был неосторожен.

Это меня рассердило ужасно, и я начал кричать, что виноват не я, а противный архитектор, который сделал в двери порог, и если бы порога не было, я бы не упал.

Папа́ это услыхал и начал смеяться: «Архитектор виноват, архитектор виноват»,— и мне от этого стало еще обиднее, и я не мог ему простить, что он надо мной смеется.

С этих пор поговорка «архитектор виноват» так и осталась в нашей семье, и папа́ часто любил ее повторять, когда кто-нибудь старался свалить вину на другого.

Когда я падал с лошади, потому что она спотыкалась или потому что кучер плохо подвязал потник, когда я плохо учился, потому что учитель не умеет объяснить урока, когда во время отбывания воинской повинности я запивал и винил в этом военную службу,— во

всех таких случаях папа́ говаривал: «Ну да, я знаю, архитектор виноват»,— и приходилось всегда с ним соглашаться и замолчать.

Таких поговорок, взятых из жизни, у папа́ было много [3].

Была у него еще поговорка «для Прохора».

О происхождении этой поговорки, кажется, где-то, чуть ли не в каком-то письме, он рассказывал сам.

В детстве меня учили играть на фортепьяно.

Я был страшно ленив и всегда играл кое-как, лишь бы отбарабанить свой час и убежать.

Вдруг как-то папа́ слышит, что раздаются из залы какие-то бравурные рулады, и не верит своим ушам, что это играет Илюша.

Входит в комнату и видит, что это действительно играю я, а в окне плотник Прохор вставляет зимние рамы.

Тогда только он понял, почему я так расстарался.

Я играл «для Прохора».

И сколько раз потом этот «Прохор» играл большую роль в моей жизни, и отец упрекал меня им.

Было у отца еще хорошее слово, которое он часто пускал в ход.

Это «анковский пирог».

У мамашиных родителей был знакомый доктор Анке (профессор университета), который передал моей бабушке, Любови Александровне Берс, рецепт очень вкусного именинного пирога. Выйдя замуж и приехав в Ясную Поляну, мама́ передала этот рецепт Николаю-повару.

С тех пор как я себя помню, во всех торжественных случаях жизни, в большие праздники и в дни именин, всегда и неизменно подавался в виде пирожного «анковский пирог». Без этого обед не был обедом и торжество не было торжеством. Какие же именины без сдобного кренделя, посыпанного миндалем, к утреннему чаю и без анковского пирога к вечеру?

То же самое, что рождество без елки, пасха без катания яиц, кормилица без кокошника, квас без изюминки...

Без этого уже ничего не останется святого.

Всякие семейные традиции — а их много внесла в нашу жизнь мама́ — назывались «анковским пирогом».

Папа́ иногда добродушно подтрунивал над «анковским пирогом», под этим «пирогом» подразумевая всю совокупность мамашиных устоев, но в те далекие времена моего детства он не мог этого пирога не ценить, так как благодаря твердым устоям мама́ у нас была действительно образцовая семейная жизнь, которой все знающие ее завидовали.

Кто знал тогда, что придет время, когда отцу «анковский пирог» станет невыносимым и что в конце концов он превратится в тяжелое ярмо, от которого отец будет мечтать во что бы то ни стало освободиться [4].

ГЛАВА VIII

Тетя Таня. Дядя Костя. Дьяковы. Урусов

Очень яркую роль в жизни всей нашей семьи играла младшая сестра моей матери, Татьяна Андреевна Кузминская,— тетя Таня. Последние годы своей жизни она прожила с одним из своих внуков в осиротевшей Ясной Поляне и не так давно умерла [1].

Милая тетенька, с любовью призываю тебя украсить мою повесть,— без тебя она была бы не полна.

Тетя Таня почти каждое лето приезжала с семьей в Ясную Поляну и жила во флигеле. Семья ее состояла из нее, ее мужа Александра Михайловича, старших дочерей, Даши (умершей ребенком на Кавказе), Маши, Веры, с которыми мы были очень дружны, и четырех сыновей. Маша и Вера были подругами наших игр, в детстве они составляли как бы часть нашей семьи; мальчики же все были значительно моложе и в моем детстве и юности никакой роли не играли.

Более пленительной женщины, чем тетя Таня, я не знал. Она никогда не была красива в обыкновенном смысле этого слова. У нее был слишком большой рот, немного слишком убегающий подбородок и еле-еле заметная неправильность глаз, но все это только сильнее подчеркивало ее необыкновенную женственность

и привлекательность. Французы выражают это словом charmante *.

Тетя Таня была для нас почти второй матерью. Иногда мама́ и тетя Таня сменяли друг друга в кормлении грудных детей. Я не помню себя без тети Тани.

Мама́ мы любили,— тетю Таню обожали; мама́ была с нами всегда,— тетя Таня только летом; мама́ заставляла нас учиться и иногда бранила,— тетя Таня доставляла только удовольствия: мама́ была будни,— тетя Таня праздник.

Еще детьми слышали мы о том, что у тети Тани был когда-то «роман» с дядей Сережей (Сергеем Николаевичем Толстым). Подробности этого интересного романа мне неизвестны, но вот что я знаю.

Начну издалека, с конца сороковых годов.

Мой отец и Сергей Николаевич молодые люди: Левочке двадцать лет, Сережа двадцать два. Левочке, как младшему, принадлежит родовое имение, Ясная Поляна, Сереже — Пирогово, черноземное имение Крапивенского уезда, в тридцати пяти вертах от Ясной Поляны и в пятидесяти верстах от Тулы.

Сергей Николаевич, красавец собой, бывший императорский стрелок, увлекается цыганами, проводит с ними дни и ночи и одно время даже увлекает с собой младшего брата Левочку. Цыгане — это сборное место золотой молодежи. Шампанское (только шампанское, но не водка, боже упаси пить водку, водку пьют только дворники) льется рекой. «Не вечерняя», «Снова слышу», «Голубой платочек» и другие, в то время модные песни сводят их с ума.

Тульский хор соперничает с московским и петербургским. Заядлые «любители» едут из Москвы в Тулу слушать какую-нибудь Фешу или Машу. В Туле только умеют петь настоящие старинные песни.

Шопены, Моцарты, Бетховены — все это выдумано, все это искусственно и скучно, единственная музыка в мире — это цыганская песня. Так думал дядя Сережа тогда, и вряд ли он изменился в этом отношении и позднее.

В конце концов Сергей Николаевич влюбился в цы-

* очаровательная *(фр.)*.

ганку Машу Шишкину и много лет жил с ней гражданским браком.

Между тем мой отец уехал на Кавказ, участвовал в Севастопольской кампании, потом ездил за границу[2], был мировым посредником при освобождении крестьян в 1861 году и в 1862 году женился и привез в Ясную свою молодую жену.

Все это время Сергей Николаевич продолжал жить в Пирогове. Он не был повенчан с Марией Михайловной, которая жила в Туле, но у них было уже несколько человек детей, и если он откладывал свой брак с ней, то только потому, что он считал это пустой формальностью, в которую он не верил и которую можно было всегда легко совершить.

В то время он уже отстал от юношеских кутежей и имел дивный конный завод, псовую охоту, занимался хозяйством и, будучи человеком необычайной гордости и стыдясь за свою сожительницу-цыганку, вел замкнутую семейную жизнь, никого из своих соседей не посещая и не приглашая никого к себе. Единственное место, куда он ездил, и то всегда один, без жены,— это была Ясная Поляна.

И вот встретил Сергей Николаевич Татьяну Андреевну, в то время незамужнюю восемнадцатилетнюю девушку — и оба сразу же друг в друга безумно влюбились.

Это было как налетевший ураган, который все кружит и сметает на своем пути, как стихия, которой нет преграды, это была та «одна» любовь, которая никогда не повторяется, не проходит и не забывается.

Такая любовь не знает преград, потому что их не может быть, так же как не может быть борьбы, ибо всякая борьба против нее бесполезна.

Решено было жениться, и день свадьбы был назначен.

Сергей Николаевич поехал в Тулу, для того чтобы как-нибудь покончить с Марией Михайловной, дать ей денег, обеспечить ее детей и вернуть ее в табор.

В глубине души он, конечно, чувствовал, что поступает нехорошо, но он отгонял от себя эти мысли и, как всегда в таких случаях, уверял себя, что иного выхода нет. Цыганка в конце концов с своей долей примирит-

ся, он наградит ее щедро, а жертвовать счастьем своим и Татьяны Андреевны он не имеет права и не должен.

Он подъехал к дому перед рассветом. В доме было темно и тихо. Он вылез из коляски и осторожно заглянул в дверь ее комнаты. В углу, против образа, мигала лампадка, а на полу, на коленях стояла Мария Михайловна и молилась.

В эту же ночь Сергей Николаевич послал Татьяне Андреевне письмо о том, что Мария Михайловна в отчаянии и что он не может сразу с ней порвать; недолго после этого он женился на Марии Михайловне и узаконил ее детей.

Тетя Таня во время своего романа с Сергеем Николаевичем принимала яд, была опасно больна, но выздоровела и потом вышла замуж за своего двоюродного брата Александра Михайловича Кузминского[3].

Был ли бы Сергей Николаевич счастливее, если бы он в ту ночь не заглянул в комнату Марии Михайловны и не видал ее молитвы?

Был ли бы он счастливее, если бы женился на Татьяне Андреевне?

Мне кажется, что взаимные чувства дяди Сережи и тети Тани никогда не умерли. Когда дядя Сережа приезжал в Ясную Поляну и они встречались, я всегда видел в их глазах тот особенный огонек, который скрыть нельзя. Им удалось, может быть, заглушить пламя пожара, но загасить последние его искры они были не в силах.

Да можно ли было не любить тетю Таню? Всегда веселая, красивая, умная, затейливая, самобытная и, главное,— женщина с ног до головы. С ней мы играли с утра до ночи в крокет, с ней ходили удить рыбу, с ней ездили верхом на охоту с борзыми, с ней соперничали, кто больше наберет грибов, с нею — все. Она была и тетенькой, и лучшим нашим товарищем. Мы считали большим счастьем, когда тетенька звала нас к себе «в тот дом» обедать.

Как она пела!

Теперь я сознаю, что у нее голос был небольшой и не совсем устойчивый. Но в детстве, если бы кто-нибудь мне сказал, что можно петь лучше, чем тетя Таня, я не поверил бы. Часто ей аккомпанировал папа́.

Я, как сейчас, вижу перед собой его согнутую над клавишами, напряженную от старания спину и стоящую около него красивую, вдохновленную тетю Таню, с высоко поднятыми бровями, горящим взглядом, и я слышу ее чистый, немного вибрирующий голос. Когда приезжал к нам Иван Сергеевич Тургенев и тетя Таня пела, я был уверен, что Тургенев скажет, что он лучшей певицы никогда не слыхал (я не знал тогда, что Тургенев был другом знаменитой Виардо). Я был удивлен, что он мало ее похвалил, и приписал это его непониманию.

С тех пор я слышал много хороших певиц, но и теперь скажу, что ни одна из них не производила на меня такого впечатления, как тетя Таня. В особенности в период моего перехода из детства в юношество.

Боже мой, что она со мной делала!

И без того в душе бурлят какие-то неясные соблазнительные переживания, и без того ходишь как заряженная батарея, не зная, как разрядить свои сокрытые силы, и без того снятся наяву заманчивые образы,— а тут еще это пение! Мазурка Глинки, или «Дубрава шумит», или «Чудное мгновенье», или «Когда в час веселый»!![4]

Лето, окна открыты, все собрались в большой зале, папá садится аккомпанировать, все замерли, у тетеньки сильней заблестели глаза, папá, сгорбившись над клавишами, берет первые аккорды,— и начинается.

Как часто я не выдерживал и со слезами на глазах выбегал на балкон. А тут — звездное небо и луна, тяжелые тени ложатся от лип на луг и в сиреневых кустах перекликаются соловьи.

Внутреннее электричество напрягается еще сильнее. Куда деваться? Куда бежать?

А из комнаты несется чистое серебристое сопрано: «И божество, и вдохновенье, и жизнь, и слезы, и любовь»[5].

И чувствуешь, что это божество где-то есть, и есть и вдохновенье, и жизнь, и слезы, и любовь уже есть, хотя пока еще мне самому неведомая; она есть, и я хочу ее. Больно и сладко, а главное — жутко, потому что знаешь, что нет исхода и не может его быть.

Блаженные годы, когда внутренние силы еще не растрачены и когда душа ничем еще не запятнана...

Как прекрасны, как заманчивы тогда неведомые дали!

Когда отец женился на мама́, ему было тридцать четыре года, а тетя Таня была еще подростком, почти еще девочкой. Хотя с годами разница лет немного сглаживается, но все же всегда чувствовалось, что папа́ смотрел на тетю Таню немножко покровительственно, как на младшую, а она любила и уважала его, как старшего. Благодаря этому между ними установились очень хорошие, прочные отношения, которые сохранились до последних лет. На всякие неожиданные вспышки тетенькиной непосредственности, вызванные какими-нибудь мелкими хозяйственными неприятностями, папа́ всегда отвечал добродушным юмором, шуткой и всегда доводил ее до того, что она начнет улыбаться, сначала немножко надуто, а потом расплывется совсем и захохочет вместе с ним. В отличие от мама́, тетенька понимала шутки и умела на них отвечать.

Позднее, уже взрослым человеком, я часто задавал себе вопрос: был ли папа́ влюблен в тетю Таню? И я думаю теперь, что да.

Прошу читателя понять меня. Я разумею не пошлую влюбленность в смысле стремления к обладанию женщиной — такого чувства мой отец, конечно, не мог иметь к тете Тане,— я разумею тут то вдохновенное чувство восхищения, которое доступно только чистой душе поэта. Для такого восхищения образ женщины является лишь оболочкой, которую он сам облекает в волшебные ризы, наделяет ее чертами и красками из сокровищницы своей души. Мечта бесплотна, и только пока она бесплотна — она прекрасна. Прикоснись к мечте — и она исчезнет. Так дивный сон исчезает в одно мгновение при пробуждении.

То чувство, которое, как мне кажется, отец испытывал к тете Тане, французы называют «amitié amoureuse»*. К сожалению, они это чувство испошлили, часто придавая ему остроту неестественную. Я даже думаю, что в отце это чувство было настолько чисто, что он даже сам не отдавал себе в нем отчета. Он настолько идеализировал свою супружескую и семейную жизнь,

* любовь, основанная на дружбе (*фр.*).

что вопрос иной любви для него никогда даже не существовал. Он любил мою мать со всей силой своей страстной натуры и никогда не изменял ей даже в мыслях, но мог ли он изгнать из души своей мечту?

— Я смешал вместе Софью Андреевну и Татьяну Андреевну, переболтал их и сделал из них Наташу,— говорил он, шутя[6].

Нет сомнения, что тетя Таня более подходила к типу Наташи, чем моя мать.

Читая «Войну и мир», я ее вижу и с сестрами, и на охоте, и я слышу ее пение под дядюшкину гитару, да, это она — тетя Таня, и она делает все, как делала бы тетя Таня. И я спрашиваю себя: мог ли художник создать такой дивный женский образ, не любя его? Конечно, нет, такую мечту не любить невозможно,— и в этом вся разгадка.

А вот еще маленькая подробность, которая также заставляла меня не раз задуматься.

Что натолкнуло отца на идею «Крейцеровой сонаты»?

Конечно, в ней есть много из его личной женатой жизни. Но мать никогда не подавала ему повода к открытой ревности. Она никогда не изменяла ему «хотя бы даже прикосновением руки».

Кто тот скрипач, с которым она играла и из-за которого Позднышев убил свою жену?

Давно, давно, вероятно, еще в конце семидесятых годов, приехал в Ясную Поляну скрипач Ипполит Нагорнов — брат мужа моей двоюродной сестры Вари (дочери Марии Николаевны Толстой).

Не стану его описывать, потому, что он уже описан в «Крейцеровой сонате» с поразительной точностью. Он кончил Парижскую консерваторию с золотой медалью, имел дивного Страдивариуса, носил волосы, причесанные a la capoule *, и яркие парижские галстуки, ходил, виляя женственным задом, и имел пошлое, сластолюбивое лицо.

Играл он действительно божественно. Никогда ни один скрипач не производил на меня такого впечатления, как Зипа, как мы его называли. Аккомпанировал

---

* челкой *(фр.)*.

ему большей частью папа́ сам. Иногда он играл дуэты с голосом, причем пела тетя Таня. И пусть меня простит милая тетенька, но кажется, что она с ним слегка кокетничала. Нагорнов побыл в Ясной Поляне несколько дней и после того исчез навсегда, конечно не подозревая, что когда-нибудь он будет призван вдохновить одно из лучших произведений Толстого. Кажется, он жил недолго и умер молодым.

Ревновал ли тогда отец тетю Таню?

Если можно ревновать мечту, то, конечно, да.

С внешней стороны отношения отца с тетей Таней были чисто братские. Они были друг для друга Левочка и Таня, и такими они и остались до конца.

Мечта увяла, но не разбилась.

С самого раннего детства я помню дядю Костю Иславина. Он был дядей моей матери и старым другом детства папа́.

Только позднее я узнал, что дядя Костя не был законным сыном моего прадеда Александра Михайловича Исленьева и что вся его жизнь была разбита тем, что он не имел ни состояния, ни какого-нибудь общественного положения.

Приезжал дядя Костя всегда неожиданно и любил удивить своим приездом. Как-то возвращаемся мы с прогулки и слышим, что в зале кто-то очень хорошо играет на фортепьяно.

Папа́ сейчас же догадался, что «это Костенька», и побежал наверх.

Входим — музыка прекратилась, а в углу комнаты стоит на голове дядя Костя.

Или утром выходим пить чай и видим — дядя Костя сидит за столом и важно читает газету. И никто не заметил, когда он приехал и когда он успел умыться и так тщательно расчесать на две стороны свою красивую белокурую бороду.

Дядя Костя для нас был примером благовоспитанности и светскости.

Никто не говорил так по-французски, как он, никто не умел так красиво поклониться, вовремя сказать слово привета и быть всегда только приятным. Даже

тогда, когда он делал кому-нибудь из нас замечание по поводу манер, оно выходило у него так мягко, что оставалось только хорошее впечатление.

Он приезжал к нам к рождеству или по поводу какого-нибудь семейного торжества, часто гостил подолгу.

При переезде нашей семьи в Москву дядя Костя вместе с мама́ устраивал квартиру, давал ей советы на первых порах ее светской жизни и был ей во многом очень полезен[7]. Сам он был в восторге и священнодействовал.

Нас, детей, он всегда очень любил.

Мне он говорил, что он в моем характере и внешности видит соединение типичных черт обоих моих дедов, Толстого и Исленьева.

Дядя Костя был выдающийся по способностям музыкант. Николай Рубинштейн, с которым он был когда-то близок, пророчил ему блестящую артистическую карьеру. Но, к сожалению, дядя Костя по этому пути не пошел, и до конца своей жизни он остался неудачником, вечно одиноким и материально нуждающимся.

Папа́ через Каткова устроил его на службу в редакцию «Московских ведомостей», и он прослужил там довольно долго. Потом он пристроился смотрителем Шереметевской больницы, и там же он скончался в 1903 году.

После него не осталось никаких вещей. Даже носильного белья почти не было. Оказалось, что все, что он имел, он раздавал бедным. И никто из его знакомых, которые встречали его изредка в великосветских салонах, всегда прекрасно одетого, и никто из его близких и не подозревал, что у этого красивого и приветливого старика только и есть то, что на нем надето, и что все остальное он раздает таким же несчастным, как он сам.

Из гостей самого раннего периода нашего детства мы больше всех любили Дьяковых.

Дмитрий Алексеевич был так же, как и дядя Костя, одним из самых старых друзей отца. Мы удивлялись, когда папа́ рассказывал нам, что он помнил его совсем худым молодым человеком. Трудно было этому

верить, потому что в то время толще Дмитрия Алексеевича мы не знали никого. У него был такой упругий и круглый живот, что он мог одним напряжением брюшных мускулов отбросить от себя человека, как резиновый мячик.

Во время его приездов весь дом оживлялся его добродушным юмором и бывало весело, как никогда. Бывало, слушаешь его и все время ждешь: вот-вот состронт что-нибудь — и все рады и хохочут, и папá больше всех. Один раз — это было за обедом — наш лакей Егор, «по случаю приезда гостей» надевший на себя красную жилетку, подавая бланманже, услыхал какую-то дьяковскую остроту и до того расхохотался, что поставил блюдо на другой стол и, к общей радости всех нас, убежал из залы.

Иногда Дмитрий Алексеевич пел с тетей Таней дуэты Глинки, и это выходило действительно очень хорошо.

— Каков Дьяков, как он поет,— радовались мы и просили его петь еще и еще.

С папá, кроме личной дружбы, его сближали интересы хозяйственные.

У Дьяковых было большое, прекрасно устроенное имение в Новосильском уезде, в котором он вел образцовое хозяйство.

В те далекие времена, о которых я вспоминаю, папá тоже очень увлекался хозяйственными интересами и уделял им много внимания. Им посажены, на моей памяти, громадный яснополянский яблочный сад и несколько сот десятин березовых и хвойных лесов, а в начале семидесятых годов он в течение целого ряда лет увлекался дешевыми покупками самарских земель и разводкой там табунов степных лошадей и овец.

По своим убеждениям Дьяков никогда не был близок моему отцу, хотя сочувствовал ему; его практический ум и способность видеть жизнь в комическом, а не в трагическом свете мешали ему разделять новое мировоззрение отца. Я объясняю себе их прочную дружбу старинной юношеской связью. Папá очень дорожил своими старыми друзьями и умел их любить сердечно и горячо.

Из этого периода жизни вспоминаю еще князя Сергея Семеновича Урусова.

Это был человек очень странный и своеобразный. Ростом он был почти великан. Во время Севастопольской кампании он командовал полком и, говорят, отличался полным бесстрашием. Он выходил из траншей и, весь в белом, гулял под дождем снарядов и пуль.

Рассказывают, и помнится даже, что этот рассказ я от него слышал сам, когда после тяжелой Севастопольской осады он должен был передать свой полк одному генералу, немцу и педанту, и когда этот генерал, производивший смотр, придрался к одному из солдат за то, что у него отпоролась на мундире пуговица, Урусов скомандовал этому солдату: «Пали в него!» И солдат выстрелил, но, конечно, промахнулся.

За это Урусов чуть не был разжалован, но както образом он получил помилование. Во время Севастопольской осады он предлагал союзникам, во избежание кровопролития, решить спор шахматной игрой.

Он был хороший шахматист и легко давал моему отцу вперед коня.

Мы, дети, немножко боялись его, потому что у него в петлице висел георгиевский крест, говорил он густым басом, и очень уж он был велик.

Несмотря на свой рост, он носил еще огромные каблуки и как-то даже выбранил меня за то, что я их не носил. «Как можно себя так безобразить,— сказал он, показывая на мои башмаки.— Красота мужчины в росте, непременно надо носить каблуки».

Каким-то путем, при помощи высшей математики, он вычислял продолжительность жизни каждого человека и уверял, что знает, когда умрут мои родители, но это он держал в тайне и никому не говорил.

По убеждениям своим он был глубоко православный человек и мистик.

Я не знаю, имел ли он влияние на отца в то время, когда начались его религиозные искания и когда он прежде всего обратился к церкви, но я допускаю возможность, что в это время Урусов мог иметь некоторое значение[8].

ГЛАВА IX

Поездка в Самару

Довольно яркие, хотя несколько отрывистые и непоследовательные воспоминания остались у меня от трех наших летних поездок в самарские степи.

Папа́ ездил туда еще до своей женитьбы, в 1862 году, потом, по совету доктора Захарьина, у которого он лечился, он был на кумысе в 1871 и 1872 году, и, наконец, в 1873 году мы поехали туда всей семьей.

К тому времени папа́ купил в Бузулукском уезде несколько тысяч десятин земли, и мы ехали уже в свое новое имение на «хутор».

Я почему-то особенно ясно помню нашу первую поездку.

Мы ехали через Москву, на Нижний Новгород, и оттуда до Самары по Волге, на чудном пароходе общества «Кавказ и Меркурий».

Капитан парохода, очень милый и любезный человек, оказался севастопольцем, товарищем моего отца по Крымской кампании.

Мимо Казани мы проехали днем.

Пока пароход стоял у пристани, мы втроем, папа́, Сережа и я, пошли бродить по пригороду, около пристани.

Папа́ хотелось хоть издали взглянуть на город, где он когда-то жил и учился в университете, и мы не заметили, как в разговоре время прошло и мы забрели довольно далеко.

Когда мы вернулись, оказалось, что наш пароход давно уже ушел, и нам показали вдали на реке маленькую, удаляющуюся точку.

Папа́ стал громко ахать, стал спрашивать, нет ли других пароходов, отходящих в ту же сторону, но оказалось, что все пароходы других обществ ушли еще раньше и нам предстояло сидеть в Казани и ждать до следующего дня.

А у папа́ и денег с собой не было.

Папа́ стал ахать, а я, конечно, заревел, как теленок.

Ведь на пароходе уехали мама́, Таня и все наши, а мы остались одни.

Меня иачали утешать,— собралась сочувствующая публика.

Вдруг кто-то заметил, что наша точка, наш пароход, на который мы все время смотрели, стал увеличиваться, расти, расти,— и скоро стало ясно, что ои повернул иазад и идет к иам.

Через несколько минут он подошел к пристани, принял нас, и мы поехали дальше.

Папá был страшно сконфужен любезностью капитаиа, вернувшегося за ним по просьбе мамá, хотел заплатить за сожженные дрова деньги и не знал, как его отблагодарить.

Теперь, когда пароход за ним вернулся, он ахал еще гораздо больше, чем тогда, когда ои уходил, и был сконфужен ужасно.

От Самары мы ехали сто двадцать верст иа лошадях в огромной карете-дормезе, запряженной шестериком, с форейтором, и в иескольких парных плетушках.

В карете сидела мамá, которая тогда кормила маленького моего брата Петю (умершего осенью этого же года), и младшие: Леля и Маша, а мы с Сережей и Таней перебегали, то в плетушку к папá, то на козлы, то на двухместное сиденье, похожее на пролетку, прикрепленное сзади кузова кареты.

В Самаре мы жили иа хуторе, в плохоньком деревянном домике, и около нас, в степи, были разбиты две войлочные кибитки, в которых жил иаш башкирец Мухамедшах Романыч с своими женами.

По утрам и вечерам около кибиток привязывали кобыл, их доили закрытые с головой женщины, и оии же, в кибитке, хоронясь от мужчии за пестрой ситцевой занавеской, делали кумыс.

Кумыс был невкусиый, кислый, ио папá и Степа его любили и пили помногу.

Придут они, бывало, в кибитку, садятся скрестивши ноги на подушки, разложенные полукругом на персидском ковре, Мухамедшах Романыч приветливо улыбается своим безусым старческим ртом, и из-за занавески иевидимая женская рука пододвигает полный кожаный турсук кумыса.

Башкирец болтает его особенной деревянной мешалкой, берет ковш карельской березы и начииает

торжественно наливать белый, пенистый напиток по чашкам.

Чашки тоже карельской березы, но все разные. Есть большие, плоские, другие — маленькие и глубокие.

Папа́ берет самую большую чашку обеими руками и, не отрываясь, выпивает ее до конца.

Романыч наливает опять и опять, и часто за один присест он выпивает по восемь чашек и больше.

— Илья, что ты не пьешь? Попробуй, что за прелесть,— говорит он мне, протягивая полную до краев чашу,— ты только выпей сразу, потом сам будешь просить.

Я делаю над собой усилие, выпиваю несколько глотков и сейчас же выскакиваю из кибитки, чтобы выплюнуть их,— настолько мне противен и запах и вкус этого кумыса.

А папа́ и Степа пьют его по три раза в день.

В это время отец очень интересовался хозяйством, и в особенности лошадьми.

В степи ходили наши «косяки» кобыл, и с каждым косяком ходил свой жеребец.

Лошади были самые разнообразные.

Были английские скаковые кобылы, были производители старинных растопчинских кровей, были рысаки и были башкиры и аргамаки.

Впоследствии завод наш разросся до четырехсот голов, но пошли голодные года, лошади стали падать, и в восьмидесятых годах это дело как-то растаяло незаметно.

Только в Ясной Поляне остались приведенные из Самары лошади, удивительно доброезжие, на которых мы много лет ездили и потомки которых живы до сих пор.

В это лето папа́ устроил скачки.

Вымерили и опахали плугом круг в пять верст и дали знать всем соседям, башкирам и киргизам, что будут скачки с призами.

Призы были: ружье, шелковый халат и серебряные часы.

Здесь я должен оговориться: скачки устраивались у нас и во второй наш приезд в Самару, в 1875 году,

и возможно, что я что-нибудь перепутаю и расскажу здесь о том, что было во второй раз. Но это не важно[1].

Дня за два до назначенного дня к нам стали съезжаться башкиры с своими кибитками, женами и лошадьми.

В степи, рядом с кибиткой Мухамедшах Романыча, вырос целый поселок войлочных кибиток, и около каждой из них были устроены земляные печки для варки еды и коновязи.

Степь оживилась.

Около кибиток стали шнырять покрытые с головой, прячущиеся женщины, стали разгуливать важные и степенные башкирцы, и по полям с диким гиканьем понеслись тренируемые скакуны.

Два дня готовились к скачкам и пировали.

Пили бесконечное количество кумыса, съели пятнадцать баранов и лошадь, безногого английского жеребенка, откормленного специально для этой цели.

По вечерам, когда зной спадал, все мужчины в своеобразных пестрых халатах и шитых тюбетейках собирались вместе и устраивалась борьба.

Папа́ был сильнее всех и на палке перетягивал всех башкирцев.

Только русского старшину, в котором было около восьми пудов веса, он перетянуть не мог. Бывало, натянется, приподымет его от земли до половины, кажется, вот-вот старшина встанет на ноги, все ждут с замиранием сердца, вдруг, смотришь, старшина всем своим весом плюхается на землю, а папа́ подният и стоит перед ним, улыбаясь и пожимая плечами.

Один из башкирцев хорошо играл на горле, и папа́ всякий раз заставлял его играть.

Это искусство очень своеобразное.

Человек ложится на спину, и в глубине его горла начинает наигрывать органчик, чистый, тонкий, с каким-то металлическим оттенком. Слушаешь и не понимаешь, откуда берутся эти мелодичные звуки, нежные и неожиданные.

Очень немногие умеют играть на горле, и даже в те времена говорили, что среди башкир это искусство уже исчезало.

В день скачек все поехалн на круг, жеищины в крытой карете, а мужчииы верхами.

Лошадей собралось много, проскакали дистанцню в двадцать пять верст в тридцать девять минут, и наша лошадь взяла второй приз.

После этого мы с папа́ езднли иа Каралык в гости к башкирцам, и они иас угощалн бараньим супом.

Хозяин брал куски баранины рукамн и раздавал всем гостям.

А когда один нз гостей-башкнрцев отказался от угощенья, хозяин этим жнрным куско́м баранины, как губкой, вымазал ему все лицо, и тогда тот взял и ел.

Мы ходнлн в степн смотреть башкирские табуны.

Папа́ похвалнл одиу буланую лошадь, а когда мы собнрались ехать домой, то эта лошадь оказалась привязанной около нашей оглоблн.

Папа́ был скоифужен, но отказаться — значило бы обндеть хозяина, н мы должны были подарок принять. После пришлось этого башкирца отдарить червонцами.

Звали его Нникитой Андреевнчем.

Несколько раз бывал у нас в гостях другой башкнрец, Михаил Иванович. Папа́ любил нграть с ними в шашки.

Во время игры Миханл Иваныч приговаривал: «Думить надо, баальшой думнть надо!» — но часто, несмотря на свое думанье, он попадался, и папа́ его запирал, а мы радовалнсь н хохотали.

Мы жнлн с немцем Федором Федоровичем в пустом амбаре, в котором по ночам пнщалн н бегали крысы.

В степях, часто близко от дома, разгулнвали стада красавцев дудаков (дроф), н высоко под облаками реяли громадные черные беркуты.

Несколько раз папа́, Федор Федорович н Степа пробовали нх стрелять, но они были очень осторожны, и подойти к ннм было почти невозможно.

Однн раз только Федору Федоровнчу удалось както незаметно подкрасться к дудаку нз-за стада овец и подранить его.

Когда его привелн к дому живого, держа с двух сторон за крылья, все мы вместе с папа́ выбежали навстречу, н это было такое торжество, что я помню его до сих пор.

Миого лет спустя ко мне заезжал старый, разбитый параличом Федор Федорович, и мы с ним еще раз вспоминали об этом событин, которое он помннт так же, как и я.

С хутора папа́ несколько раз ездил за лошадьми на ярмарки в Бузулук и в Оренбург.

Я помню, как в первый раз привели к нам целый табун совершенно диких степняков. Их пустили в огороженный двор.

Когда их стали ловить укрючинамн, иесколько лошадей с разбега перемахнули через земляную кирпичную стеиу и ускакали в степь.

Башкирец Лутай помчался за ними верхом на лучшем нашем скакуне н поздно ночью пригнал их иазад.

Этот же башкнрец и объезжал самых иепокорных дикарей.

Лошадь ловили укрюком, крячили губу, надевали на нее уздечку, двое мужчин держали ее за удила н за уши, башкирец вскакивал, кричал «пускай», и, ие задерживая лошади, он исчезал на ней в степи.

Через несколько часов он возвращался шагом на взмыленной лошади, которая уже покорялась ему, как старая.

В другой раз папа́ привел из Оренбурга чудного белого бухарского аргамака и пару осликов, которых мы потом взяли в Ясиую н на которых ездили верхом несколько лет.

Папа́ их назвал: «Бисмарк» и «Макмагон».

Во вторую нашу поездку в Самару, в 1875 году, папа́ ездил в Бузулук к какому-то старцу-отшельиику, прожнвшему двадцать пять лет в пещере [2].

Ои узнал о нем из рассказов местиых крестьян, которые его чтили, как святого.

Я тогда очень просился ехать вместе с ним, но папа́ меия ие взял из-за того, что в это время у меня сильно болели глаза.

Я думаю, что этот отшельник не представлял особенного интереса как проповедник, потому что я совсем не помню, что рассказывал о нем папа́.

В первый год нашей жнзии на хуторе в Самарской губернии был сильнейшнй неурожай, и я помню, как папа́ ездил по деревням, сам ходил по дворам и запи-

сывал имущественное положение крестьян[3]. Я помню, что в каждом дворе он прежде всего спрашивал хозяев, русские они или молокане, и что он с особенным интересом беседовал с иноверцами о вопросах религии.

Любимый его собеседник из крестьян — это был степенный и умный старик Василий Никитич, живший в ближайшей к нам деревне Гавриловке.

Приезжая в Гавриловку, папа́ всегда останавливался у него и подолгу с ним беседовал.

Я не помню, о чем они разговаривали, так как в это время я был еще мал и меня ни голод народный, ни религиозные разговоры не занимали. Я помню, только, что Василий Никитич на каждом шагу повторял слово «двистительно»[4] и что он говорил, что он «нашел средствие в чаю», к которому всегда подавался идеально чистый, белый мед.

ГЛАВА X

Игры, шутки отца, чтение, учение

С тех пор как я себя помню, наша детская компания разделялась на две группы — больших и маленьких — big ones и little ones.

Большие были — Сережа, Таня и я. Маленькие — брат Леля и сестра little Ма́ша, которая называлась так в отличие от моей двоюродной сестры big Маши Кузминской.

Мы, старшие, держались всегда отдельно и никогда не принимали в свою компанию младших, которые ничего не понимали и только мешали нашим играм.

Из-за маленьких надо было раньше уходить домой, маленькие могут простудиться, маленькие мешают нам шуметь, потому что они днем спят, а когда кто-нибудь из маленьких из-за нас заплачет и пойдет к мама́ жаловаться, большие всегда оказываются виноваты, и нас из-за них бранят и наказывают.

Ближе всего и по возрасту и по духу я сходился с сестрой Таней. Она на полтора года старше меня, черноглазая, бойкая и выдумчивая. С ней всегда весело, и мы понимаем друг друга с полуслова.

Мы знаем с ней такие вещи, которых, кроме нас, никто понять не может.

Мы любили бегать по зале вокруг обеденного стола. Ударишь ее по плечу и бежишь от нее изо всех сил в другую сторону.

— Я последний, я последний.

Она догоняет, шлепает меня и убегает опять.

— Я последняя, я последняя.

Раз я ее догнал, только размахнулся, чтобы стукнуть — она остановилась сразу лицом ко мне, замахала ручонками перед собой, стала подпрыгивать на одном месте и приговаривать: «А это сова, а это сова».

Я, конечно, понял, что если «это сова», то ее трогать уж нельзя, с тех пор это так и осталось навсегда. Когда говорят: «А это сова»,— значит, трогать нельзя.

Сережа, конечно, этого не мог бы понять. Он начал бы долго расспрашивать и рассуждать, почему нельзя трогать сову, и решил бы, что это совсем неостроумно. А я понял сразу, что это даже очень умно, и Таня знала, что я ее пойму. Поэтому только она так и сделала.

Нас с Таней понимал как следует только один па́па, и то не всегда. У него были свои очень хорошие штуки, и кое-чему он нас научил.

Была, например, у него «Нумидийская конница».

Бывало, сидим мы все в зале, только что уехали скучные гости — все притихли,— вдруг па́па соскакивает со стула, подымает кверху одну руку и стремглав бежит галопом вприпрыжку вокруг стола. Мы все летим за ним и так же, как он, подпрыгиваем и машем руками.

Обежим вокруг комнаты несколько раз и, запыхавшись, садимся опять на свои места совсем в другом настроении, оживленные и веселые. Во многих случаях Нумидийская конница действовала очень хорошо. После нее забывались всякие ссоры и обиды и страшно скоро высыхали слезы.

Хороши были тоже некоторые шуточные стихи, которые мы в детстве слышали от отца.

Не знаю, откуда он их взял, но помню только, что нас они забавляли страшно.

Вот они:

Die angenehme Winterzeit *
Ist очень карашо,
Beiweilen wird's ein wenig kalt **,
Небось будет тепло.
Auch wenn man noch nach Hause kommt,
Da steht der Punsch bereit;
Ist das nicht очень карашо
An kalter Winterzeit! ***

Другое стихотворение, произносимое тоже на ломаном немецком языке, читалось так:

«Тохтор, тохтор Hüppenthal,
Как тэбэ менэ не жаль.
Ты мнэ с голоду морришь,
Трубку курить не велишь».
«Паастой, паастой, паастой...»

Эти стихи пускались в ход в разных случаях жизни и отлично действовали, когда иногда, ни с того ни с сего у кого-нибудь из нас бывали «глаза на мокром месте».

В этот же период нашего детства мы увлекались чтением Жюля Верна.

Папа́ привозил эти книги из Москвы, и каждый вечер мы собирались, и он читал нам вслух «Детей капитана Гранта», «80 000 верст под водою», «Путешествие на луну», «Три русских и три англичанина» и, наконец, «Путешествие вокруг света в 80 дней».

Этот последний роман был без иллюстраций. Тогда папа́ начал нам иллюстрировать его сам.

Каждый день он приготовлял к вечеру подходящие рисунки пером, и они были настолько интересны, что нравились нам гораздо больше, чем те иллюстрации, которые были в остальных книгах.

Я как сейчас помню один из рисунков, где изображена какая-то буддийская богиня с несколькими головами, украшенными змеями, фантастичная и страшная.

Отец совсем не умел рисовать, а все-таки выходило хорошо, и мы все были страшно довольны.

* Приятное зимнее время *(нем.)*.
** порой становится немного холодновато *(нем.)*.
*** Когда приходишь домой, уж пунш стоит готовый; разве это не... в холодную зимнюю пору! *(нем.)*

Мы с нетерпением ждали вечера и все кучей лезли к нему через круглый стол, когда, дойдя до места, которое он иллюстрировал, он прерывал чтение и вытаскивал из-под книги свою картинку[1]. После Жюля Верна, уже при французе Nief'e, нам читали «Les trois Mousquetaires» Дюма, и папá сам вычеркивал те места, которые нельзя было слушать детям.

Нас интересовали эти запретные страницы, в которых говорилось о любовных интригах героев, нам хотелось их прочесть тайком, но мы этого делать не решались.

Выше я упомянул про нашу любимую англичанку Ханну.

После нее у нас жила краснощекая молоденькая Дора, потом Emily, Carry, и последняя англичанка ушла уже тогда, когда выросли мои младшие братья, Андрей и Михаил.

При нас, мальчиках, когда мы стали подрастать, первое время, как я говорил выше, жил немец, дядька Федор Федорович Кауфман.

Не могу сказать, чтобы мы его любили.

Единственная его хорошая черта была разве та, что он был страстный охотник.

По утрам он резко сдергивал с нас одеяло и кричал: «Auf, Kinder, auf» *,— а днем мучил немецкой каллиграфией.

У него были гладко причесанные густые темные волосы.

Раз ночью я проснулся и увидал сквозь сон, что Федор Федорович сидит с голой, как арбуз, головой и бреется. Я испугался, а он сердито велел мне отвернуться и спать.

Утром я не знал, видел ли я сон, или это было наяву.

Оказалось, что Федор Федорович носил парик и тщательно это скрывал.

После Федора Федоровича к нам поступил на несколько лет швейцарец m-r Rey, и уже после него

* Вставайте, дети, вставайте (*нем.*).

француз-коммунар, m-r Nief, тот самый, который приносил в кухню жарить белку и козюлю.

По-русски m-r Rey и m-r Nief назывались просто «Посерев» и «Посинев», и эти названия очень подходили к обоим, потому что первый ходил всегда в сером, а второй в синем.

Когда во Франции вышла амнистия, m-r Nief уехал в Алжир, и только тогда мы узнали, что его настоящая фамилия была vicomte de Montels.

Вспомнив о m-r Nief'е, я хочу рассказать об одном забавном случае, отчасти его характеризующем.

Как-то мы сидели за вечерним чаем, и папа́ просматривал полученные с почты «Московские ведомости».

Сообщалось о покушении на жизнь покойного императора Александра II[2].

Так как в числе других с нами сидел и m-r Nief, папа́ стал читать, переводя статью с русского языка на французский.

Дойдя до того места, где говорилось — «но господь сохранил своего помазанника», папа́, прочтя: «Mais le bon Dieu a conservé son, son...» — замялся, очевидно ища французское слово «помазанник». «Son sang froid» *,— подсказал m-r Nief совершенно серьезно.

Все расхохотались, и чтение газеты на этом кончилось.

Выше я рассказал о том, как в раннем детстве папа́ учил меня арифметике. После, кажется, лет с тринадцати, я стал учиться с ним по-гречески.

Он сам научился греческому языку на моей памяти. Я помню, с каким увлечением и настойчивостью он за это принялся, и в шесть недель он добился того, что свободно читал и переводил Геродота и Ксенофонта.

С этого-то Ксенофонта мы с ним и начали.

Он объяснил мне азбуку и сразу заставил читать Анабазиз. Сначала было трудно. Я сидел с стеклянными глазами, иногда принимался реветь, но кончилось тем, что я все-таки понял, что надо, и научился.

Так же я научился и латыни.

---

* Свое хладнокровие *(фр.)*.

Когда в 1881 году я держал вступительный экзамен в классической гимназии Поливанова, я удивил всех учителей тем, что, не зная совсем грамматики, я читал и переводил классиков гораздо лучше, чем требовалось.

В этом я вижу доказательство того, что своеобразная система преподавания отца была правильна.

Ведь так же точно, позднее, он научился древнееврейскому языку и знал его настолько хорошо, что свободно разбирался в нужных местах Ветхого завета и иногда предлагал своему учителю, раввину Минору, собственные объяснения некоторых текстов.

ГЛАВА XI

Верховая езда, зеленая палочка, коньки

Первая моя детская страсть была верховая езда.

Я помню то время, о котором пишет мой отец в письме, приведенном в начале этих записок, когда он сажал меня в седло впереди себя и когда мы ездили с ним купаться на Воронку.

Я помню, как я трясся на рыси, помню, как в лесу падала с меня шляпа и Сережа или Степа слезал с лошади и подымал ее, и особенно помню запах лошади, когда я подходил к ней и лакей Сергей Петрович брал меня за ногу и вскидывал на седло.

Я хватался тогда за спасительную холку и обеими руками держался крепко, крепко.

Потом мы подъезжали к купальне, привязывали лошадей к березкам и рысью бежали по мосткам.

Папа́ и Степа бросались вниз головой прямо в реку, а мы барахтались в купальне и разглядывали маленьких рыбок и длинноногих резвых пауков, которые бегали по воде и почему-то не тонули.

Папа́ научил нас плавать, и, когда мы начали «выплывать» из купальни, мы хвалились этим всем, и нам казалось, что это большая храбрость

Первые наши верховые лошади были «Колпик» и «Каширский». Федор Федорович их назвал «der Kolpinka und der Kassaschirski».

На белом «Колпике» я первый раз поехал один, и с тех пор я стал уже ездить самостоятельно.

Иногда папа́ брал нас с собой кататься, и тогда мы ездили далеко.

Я не могу забыть, как один раз он меня измучил.

Узнав, что он едет кататься, я упросил его взять меня с собой. Под ним была крупная английская кобыла, и мне подседлали одним потником, без стремян, самарского гнедого, того, который взял на скачках второй приз.

Он был очень приятен в езде, но спина у него была худая и вострая.

И вот мы поехали.

Как только место ровное, папа́ пускает лошадь крупной рысью, а я трясусь за ним.

Едем все дальше, дальше, заехали верст за пять от дома. Я устал, мочи нет, а он все дальше, дальше. Оглянется на меня, спросит: «Ты не устал?» — я, конечно, говорю, что нет, и опять дальше.

Объехали всю засеку, заехали за Грумонт, по каким-то тропинкам, оврагам — и когда я наконец приехал домой, я еле слез с лошади и после того дня три ходил совершенно разбитый, и все наши смеялись надо мной и называли меня «John Gilpin».

John Gilpin был герой одного смешного английского рассказа[1]. Его понесла лошадь, и он никак не мог ее остановить и скакал что-то ужасно долго, и были с ним разные приключения. Когда его сняли с лошади, он ходил раскорякой. Мы любили картинки к этой книге, из которых я помню одну, изображавшую John Gilpin'а скачущим, с слетающим с него париком, а другую — когда он с лысой головой и с согнутыми коленками слез с лошади.

С поездками на купальню у меня связано несколько интересных воспоминаний.

Прежде всего сказка о «зеленой палочке». С правой стороны «купальной дороги», в вершине оврага, есть место с насыпной почвой и тропинкой между дубами. Это место описано мною выше.

Вот тут-то, по рассказам папá, его брат Николенька закопал таинственную зеленую палочку, с которой он связал свою наивно-детскую легенду: «Если кто-нибудь из муравейных братьев найдет эту палочку, тот будет счастлив сам и силою любви осчастливит всех людей»[2].

Проезжая по этому месту, папá любил нам рассказывать эту сказку, которую он рассказывал с особой нежностью, и мне помнится даже, что один раз я стал расспрашивать его, какая это палочка на вид, и собрался было идти с лопатой ее искать.

Другое воспоминание вот какое.

Едем мы купаться.

Папá обращается ко мне и говорит:

— Знаешь, Илюша, я нынче очень доволен собой. Три дня я с нею мучился и никак не мог заставить ее войти в дом. Не могу, да и только. Все выходит как-то не то.

А нынче я вспомнил, что во всякой передней есть зеркало, а на каждой даме есть шляпка.

Как только я это вспомнил, так она у меня пошла и пошла и сделала все как надо. Кажется, пустяки — шляпка, а в этой-то шляпке, оказывается, все.

Восстанавливая в памяти этот разговор, я думаю, что отец мне говорил о той сцене из «Анны Карениной», когда Анна приходила на свидание с сыном.

Хотя в окончательной редакции романа в этой сцене ничего не говорится ни о шляпе, ни о зеркале (упомянута только густая черная вуаль), но я предполагаю, что в первоначальном виде, работая над этим местом, отец мог подвести Анну к зеркалу и заставить ее поправить или снять шляпу.

Я помню, с каким увлечением папá мне это рассказывал, и мне теперь странно, что он делился такими тонкими художественными переживаниями с семилетним мальчиком, который в то время едва ли мог ему сочувствовать.

Впрочем, такие вещи бывали с ним не раз.

Как-то я слышал от него очень интересное определение того, что нужно писателю для его работы:

— Ты не можешь себе представить, что значит настроение,— говорил он.— Иногда бывает так, что вста-

нешь утром бодрый, свежий — голова ясная,— начинаешь писать, выходит умно, последовательно,— на другой день перечтешь и приходится все выкинуть, потому что все хорошо, а главного-то и нет. Нет воображения, нет талантливости, нет того «чего-то», того «чуть-чуть», без чего весь твой ум ничего не стоит[3]. В другой раз встанешь, не выспавшись, нервы натянуты — ну, думаешь, нынче буду писать хорошо. И действительно, пишешь красиво, образно, воображения сколько хочешь,— пересмотришь — и опять никуда не годится, потому что написано глупо. Краски есть, а ума не хватило.

Только тогда может выйти хорошо, когда ум и воображение в равновесии. Как только одно из двух пересилило — так все пропало,— бросай и начинай сызнова.

И действительно, в работах отца не было конца переделкам. И его трудоспособность в этом отношении была удивительна.

Кроме поездок верхом и охоты, мы страшно увлекались катанием на коньках и крокетом.

Как только замерзал пруд, мы надевали коньки и все свободное от уроков время проводили на льду.

За уроками не сидится, смотришь поминутно в заиндевевшие окна. На них мороз разрисовал какие-то папоротниковые ветки, какие-то кружева, полоски и звездочки. С утра из-за этих узоров солнце кажется ярко-красным. В комнатах горят и трещат печи. На дворе холодно. Истопник Семен приносит лишнюю вязанку мерзлых березовых дров и с шумом сбрасывает ее на пол.

Наконец завтрак. «Lavez vos mains» *, и мы бежим наверх. Мама́ у самовара пьет кофе. Она никогда не завтракает. Рассаживаемся, едим торопясь и пулей бежим вниз одеваться. Полушубки, валенки, шапки с наушниками, берем коньки в руки и — под гору к пруду.

Monsieur Nief, в коротеньком черном полушубке, жмется от мороза, потирает руки и приговаривает: «Oh que les russes sont frileux» **. Почему он, замер-

* Мойте ваши руки *(фр.)*.
** О, как зябки русские *(фр.)*.

зая сам, виной в зябкости русских, непонятно, но это и не интересно. Надеваем коньки, и начинается беготня. Дорожки на пруду расчищены большим кругом, но мы сами поделали лабиринты, переулочки и тупички и по ним вертимся. Приходят папа́ и мама́ и тоже надевают коньки. Ноги зябнут, пальцы онемели, но я молчу, потому что боюсь, что пошлют домой греться. Увлекаются все. Давно пора идти домой, но мы выпрашиваем еще несколько минут, еще немножечко. С деревни прибежали ребятишки и дивуются на нашу ловкость. Щекочет самолюбие, и начинаешь выкидывать всякие фокусы, пока не упадешь и не расшибешь себе нос.

— Домой пора!

Дома оказывается, что, несмотря на наушники, побелело ухо. Папа́ берет снег и безжалостно его трет. Ох, как больно! Но надо терпеть, реветь нельзя, а то завтра оставят меня дома.

В начале зимы, когда лед был еще не прочен, нам не позволяли кататься по «большому» пруду, и мы отправлялись на «нижний», который был меньше и, главное, мельче.

По поводу этого «нижнего» пруда папа́ рассказывал такой случай.

Когда он был маленький, к ним в Ясную приезжал гостить их знакомый, Володенька Огарев.

Это был мальчик самонадеянный, полный важности и презрения ко всему, что не он.

Когда дети Толстые повели его показывать парк, он, подойдя к «нижнему» пруду, с важностью спросил:

— Это что?

— Пруд.

— Как пруд? Это — лужа, я сейчас ее перепрыгну.

Дети подзадорили его:

— А ну-ка, прыгни.

Володенька разбежался с бугра и прыгнул.

Конечно, он попал в самую середину и, вероятно, утонул бы, если бы бывшие тут покосницы не вытащили его граблями.

После этого спесь с Володеньки была уже сбита.

На этом же пруду я раз устроил преподленькую штуку, за которую мне сильно досталось.

Мы пришли кататься на коньках, и с нами вместе прибежало человек пять деревенских ребят, моих ровесников. Лед был тонок, и все время то тут, то там слышались раскатистые, металлические потрескивания. Мне вздумалось испытать его прочность, я собрал всех ребят в кучу и велел им по команде «раз, два, три» изо всех сил подпрыгнуть.

Сам я отошел в сторону.

Мальчики подпрыгнули, лед под ними обломился, и они всей кучей пошли ко дну.

К счастью, это было на мелком месте, около хвоста, и все кончилось благополучно.

Ребят отвели к нам в дом, высушили, дали им горячего чая, а меня наказали.

На большом пруду у нас была устроена деревянная гора и всю зиму расчищались дорожки.

Самый резвый наш бегун был брат Сережа.

Один раз на перекрестке Сережа не успел увернуться, и мы с Таней на страшном ходу столкнулись и упали. Сережа внизу, а мы сверху. Встаем — видим, Сережа лежит весь синий и дрыгает ногами. Сейчас же его подняли и повели домой.

Он шел бодро, сам нес свои коньки, но ничего не помнил и не соображал. Спросили: какой нынче день?

— Не знаю...

Он даже забыл, что было воскресенье и что мы поэтому не учились. Сейчас же послали в Тулу за доктором, поставили ему к ушам пиявки, и он заснул на целые сутки. Через день он встал совсем здоровым.

А в другой раз восьмилетний брат Леля увидал расчищенную большую прорубь, подернутую тонким свежим льдом, и покатился по ней на коньках. К счастью, лед проломился только на другом конце, где он мог ухватиться за край ручонками. Бабы, полоскавшие белье около другой проруби, увидали, что он тонет, и вынули его.

Сейчас понесли его в мокром полушубочке домой, растерли спиртом, и сколько же тут было аханий и оханий!.. Чуть-чуть не утонул!

Там ведь место глубокое.

ГЛАВА XII

Охота

С самого раннего детства мы увлекались охотой.

Любимую собаку отца, ирландского сеттера Дору, я помню с тех пор, как помню себя.

Помню, как подавали к дому тележку, запряженную какой-нибудь смирной лошадью, и мы ехали на болото, на «Дегатину» или в Малахово.

На сиденье садился папа́, иногда мама́ или кучер, а я с Дорой усаживался в ногах.

Подъезжая к болоту, папа́ слезал, ставил свое ружье на землю и, держа его левой рукой, начинал его заряжать.

Сначала он сыпал в оба ствола порох, потом вкладывал войлочные пыжи и заколачивал их шомполом. Шомпол ударялся о пыж и упруго, с каким-то металлическим звоном, подскакивал кверху.

И папа́ бил им до тех пор, пока он не выскочит совсем из дула.

Тогда он сыпал дробь и также запыживал и ее. Дора в это время вертелась около нас и, широко размахивая пушистым хвостом, нетерпеливо визжала.

Когда папа́ шел по болоту, мы ехали по берегу, немного сзади его, и я с замиранием сердца следил за понском собаки, за взлетом бекасов и за выстрелами.

Иногда папа́ стрелял недурно, хотя часто горячился и тогда пуделял отчаянно.

Весной мы любили ходить с ним на тягу.

Часто мы стояли в «Заказе», близко от «зеленой палочки», но любимым нашим местом был «пчельник» за Воронкой.

Там в старину стояли наши пчелы, и в низенькой, закопченной избушке жил кривой пчеляк Семен.

Осенью, во время пролета вальдшнепов, папа́ увлекался охотой за ними, и между ним и нашим учителем-немцем, Федором Федоровичем, возникало соревнование.

Федор Федорович большей частью ходил «zur Eisenbahn» * к тому месту, где казенную засеку пересекает

* к железной дороге *(нем.)*.

железиая дорога, а папа́ любил больше места за Вороикой.

К обеду оба возвращались, хвалнлись добычей н делнлись впечатлеииямн.

Когда Федор Федорович убивал меиьше, чем папа́, то ои оправдывался тем, что папа́ ходит с собакой, а он без собаки.

Один раз вышло наоборот.

Папа́ решил в этот день не ходить иа охоту и позволил Федору Федоровичу взять с собой Дору.

Когда Федор Федорович уже ушел, папа́ ие вытерпел, взял ружье н, инкому ннчего не говоря, пошел в засеку.

К обеду оба вериулись, н папа́ принес иа два вальдшнепа больше, чем Федор Федорович.

Оказалось, по его словам, что без собакн вальдшнепы вылетают блнже н стрелять их гораздо легче.

Таким образом, Федор Федоровнч был развеичан и мы, дети, торжествовалн.

Недолгое время, года два или три, я, уже юношей, ходил на ружейиую охоту вместе с папа́.

У него тогда была черно-пегая Булька, а у меия иеобычайно умный и самостоятельный маркловский Малыш.

Когда папа́ уже броснл охоту, Малыш всегда сопровождал его в прогулках, и папа́ очеиь его любил н никогда без иего не выходнл.

Он рассказывал нам, как Малыш приходил к иему в комнату н приглашал его на прогулку.

В обычный для прогулкн час дверь кабинета открывалась, н Малыш тихо входнл в комиату.

Еслн ои видел, что папа́ сиднт за столом и заиимается, он конфузливо косился и крался неслышными шагами, прнподымая иогти н ступая на одни пятки. Когда папа́ иа него взглядывал, он отвечал иезаметиым движеньем прута (хвоста) и ложился под стол.

— Точно он зиает, что я заият и нельзя мие мешать,— говорнл папа́, удивляясь его деликатиости.

Но любнмая наша охота была с борзымн в иаездку.

Какое это было счастье, когда утром лакей Сергей

Петрович будил нас рано-рано пред рассветом, со свечкой в руках.

Мы вскакивали бодрые и счастливые, дрожа всем телом от утреннего озноба, наскоро одевались и выбегали в залу, где кипел самовар и уже ждал нас папа̀.

Иногда мама́ выходила в халате и надевала на нас лишние пары шерстяных чулок, фуфайки и варежки.

— Левочка, ты в чем поедешь? — обращалась она к папа́.— Смотри, нынче холодно, ветер. Опять в одном кузминском пальто? * Поддень хоть что-нибудь, ну для меня, пожалуйста.

Папа́ делает недовольное лицо, но наконец подчиняется, подпоясывает серое короткое пальто и выходит.

Начинает светать, к дому подводят верховых лошадей, мы садимся и едем к «тому дому» или на дворню за собаками.

Агафья Михайловна уже волнуется и ждет нас на крыльце.

Несмотря на утренний холод, она ходит простоволосая, раздетая, в распахнутой черной кофте, из-под которой виднеется иссохшая засыпанная нюхательным табаком грязная грудь, и костлявыми узловатыми руками выносит ошейники.

— Опять накормила? — строго спрашивает папа́, глядя на вздутые животы собак.

— Ничего не кормила, по корочке хлеба только дала.

— А отчего же они облизываются?

— Вчерашний овсяночки немного оставалось.

— Ну вот, опять будет протравливать русаков,— это невозможно с тобой! Что ты, назло мне это делаешь?

— Нельзя же, Лев Николаевич, целый день собаке не евши пробегать, право,— огрызается Агафья Михайловна и сердито идет надевать на собак ошейники.

---

* Это было любимое отцовское пальто. Когда-то было куплено у А. М. Кузминского. Оно было светло-серое и отличалось тем, что было впору каждому человеку. На моей памяти его вывертывали наизнанку два раза. *(Прим. автора.).*

— Этот на Крылатку, этот на Султана, на Милку...

В углу, под одеялом, лежит дымчатый Туман, и когда к нему подходят, он махает правилом (хвостом) и рычит.

Я глажу его по шелковистой короткой шерсти, а он весь напруживается и рычит как-то ласково и шутливо.

— Тумашка, Тумашка.

— Ррр... ррр... ррр...

— Тумашка, Тумашка...

— Ррр... ррр...

Как кошка, которая мурлычет.

Наконец собаки собраны, некоторые на сворах, другие бегут так, и мы крупным шагом выезжаем через Кислый Колодезь, мимо Рощи в поле.

Папа́ командует: «Разравнивайся»,— указывает направление, и мы все рассыпаемся по жнивам и зеленям, посвистывая, вертясь по крутым подветренным межам, прохлопывая арапниками кусты и зорко всматриваясь в каждую точку, в каждое пятнышко на земле.

Впереди что-то белеется. Начинаешь присматриваться, подбираешь поводья, осматриваешь сворку, не веришь своему счастью, что наконец-то наехал зайца.

Подъезжаешь все ближе, ближе, всматриваешься — оказывается, что это не заяц, а лошадиный череп.

Досадно!

Оглядываешься на папа́ и на Сережу.

«Видели ли они, что я принял эту кость за русака?»

Папа́ бодро сидит на своем английском седле с деревянными стременами и курит папиросу, а Сережа запутал сворку и никак не может ее выправить.

«Нет, слава богу, никто не видел, а то было бы стыдно!»

Едем дальше.

Мерный шаг лошади начинает закачивать; дремлется, становится скучно, что ничего не выскакивает, и вдруг, обыкновенно в ту же минуту, когда меньше всего этого ждешь, впереди тебя, шагах в двадцати, как из земли, выскакивает русак.

Собаки увидали его раньше меня, рванулись и уже скачут.

Начинаешь неистово орать. «Ату его, ату его»,—и, не помия себя, изо всех сил колотишь лошадь и летишь.

Собаки спеют, угоика, другая, молодые, азартиые Султан и Милка проносятся, догоняют опять, опять, проиосятся, и наконец старая мастерица Крылатка, скачущая всегда сбоку, улавливает момеит,— бросок — и заяц беспомощио кричит, как ребеиок, а собаки, впившись в него звездой, начинают растягивать его в разиые стороны.

— Отрыш, отрыш.

Мы подскакиваем, прикалываем зайца, раздаем собакам «пазаики» *, разрывая их по пальцам и бросая нашим любимцам, которые ловят их на лету, и папа́ учит иас «торочить» русака в седло.

Едем дальше.

После травли стало веселей, подъезжаем к лучшим местам около Ясеиок, около Ретиики.

Русаки вскакивают чаще, у каждого из нас есть уже торока [1], и мы начинаем мечтать о лисице.

Лисицы попадаются редко.

Тогда, большей частью, отличается Тумашка, который стар и важен.

Зайцы ему надоели, и за ними скакать он не старается.

Зато за лисицей он скачет изо всех сил, и почти всегда ловит ее он.

Домой мы возвращаемся поздно, часто в темиоте.

Выторачиваем зайцев и раскладываем их в передней на полу.

Мама́ спускается с лестницы с маленькими детьми и ворчит на то, что мы опять окровеиили пол, но папа́ на нашей стороне, и мы иа пол не обращаем внимаиия.

«Что нам какие-то пятна, когда мы затравили восемь русаков и одну лисицу! И устали».

Одии раз на охоте папа́ поссорился с Степой.

Это было около Ягодного, верстах в двадцати от дома.

Степа ехал по редкому березняку.

* **Пазанки** — последний сустав задней ноги зайца. *(Прим. автора.)*

Из-под него выскочил русак, Степа спустил собак, и мы русака затравили.

Подскакивает папá и начинает горячо упрекать Степу за то, что он травил в лесу.

— Ведь этак всех собак перебьешь о деревья, разве можно такие вещи делать!

Степа стал возражать, оба загорячились, наговорили друг другу колкостей, и Степа, обидевшись, передал своих собак Сереже, а сам молча поехал домой.

Мы разравнялись по полю и поехали в другую сторону.

Вдруг видим, из-под Степы вскочил русак.

Он вздрогнул, пришпорил лошадь, крикнул: «Ату его»,— хотел было поскакать, но, очевидно вспомнив, что он с Левочкой в ссоре, сдержал свою лошадь (скаковая Фру-Фру) и, не оглядываясь, молча, тихим шагом поехал дальше.

Русак повернул к нам, мы спустили собак и затравили его.

Когда заяц был второчен, папá вспомнил о Степе, и ему стало совестно за свою резкость.

— Ах, как нехорошо это вышло, ах, как неприятно,— говорил он, глядя на удаляющуюся в поле точку, надо его догнать. Сережа, догони его и скажи, что я прошу его не сердиться и вернуться, а что русака мы затравили! — крикнул он вдогонку, когда Сережа, обрадованный за Степу, пришпорил лошадь и уже поскакал.

Скоро Степа вернулся, и охота продолжалась до вечера весело и без всяких других приключений.

Еще интереснее были охоты по пороше. Волнения начинались еще с вечера.

Утихнет ли погода? Перестанет ли за ночь падать снег? Не подымется ли метель?

Рано утром мы, полуодетые, выбегали в залу и всматривались в горизонт.

Если линия горизонта очерчена ясно — значит тихо и ехать можно; если горизонт сливается с небом — значит в поле зáметь и ночные следы занесены.

Ждем папа́, иногда решаемся послать его будить и наконец собираемся и едем.

Эта охота особенно интересна тем, что по следу русака видишь всю его ночную жизнь.

Видишь его след, когда он с вечера встал и, голодный, спешил на кормежку.

Видишь, как он разрывал занесенные снегом зеленя, срывал попутные полынки, садился, играл и наконец наевшись и набегавшись, решительно повернул на дневную лежку.

Тут начинаются его хитрости. Он двоит, сметывает, опять двоит или даже троит, опять сметывает, и, наконец убедившись, что он достаточно напутал и скрал след, он выкапывает себе под теплой подветренной межой ямку и ложится.

Наехав на след, надо поднять руку с арапником и таинственно, протяжно засвистеть.

Тогда подъезжают остальные охотники, папа́ едет впереди по следу и разбирает его, а мы, затаив дыханье и волнуясь, крадемся сзади.

Один раз мы затравили по пороше в один день двенадцать русаков и двух лисиц.

Не помню точно, когда папа́ бросил охоту. Кажется, что это было в середине восьмидесятых годов, тогда же, когда он сделался вегетарианцем [2].

Двадцать восьмого октября 1884 года он пишет моей матери из Ясной Поляны: «...поехал верхом, собаки увязались со мной. Агафья Михайловна сказала, что без своры бросятся на скотину, и послала со мной Ваську. Я хотел попробовать свое чувство охоты. Ездить, искать по сорокалетней привычке очень приятно. Но вскочил заяц, и я желал ему успеха. А главное, совестно» [3].

Но и после охотничья страсть в нем не угасала.

Когда, во время прогулки, весной он слышал свист и хорканье вальдшнепа, он прерывал начатый разговор, подымал голову кверху и, с волнением хватая своего собеседника за руку, говорил: «Слушайте, слушайте,— вальдшнеп, вот он».

В девяностых годах, когда он жил в моем имении Чернского уезда и устраивал там столовые для голо-

дающих, с ним случилась неприятная и трогательная история.

Он любил ездить по деревням верхом на моем охотничьем Киргизе, и часто с ним увязывалась моя борзая собака Дон, которая привыкла к лошади и всегда за ней ходила.

Едет он раз по полю и слышит, что недалеко от него крестьянские ребятишки кричат: «Заяц, заяц!»

— Смотрю,— рассказывает он мне,— к лесу скачет русак. От меня далеко, так что затравить его немыслимо.

Захотелось мне посмотреть скачку Дона, я не вытерпел и показал ему русака. Тот заложился, и представь себе мой ужас, когда он стал его догонять.

Я взмолился. Уйди, ради бога, уйди!..

Смотрю, Дон его уже мотает на угонках. Что мне делать?

К счастью, тут уже близко опушка. Русак ввалился в куст и ушел. Но если бы он поймал его, я был бы в отчаянье.

Я не хотел огорчать отца и не сказал ему, что Дон пришел домой только через час после его приезда, весь в крови, раздутый, как бочка.

Очевидно, он поймал зайца в кустах и там же его съел.

Но папá об этом, слава богу, не узнал.

Это — единственный секрет, который я сумел от него скрыть навсегда.

ГЛАВА XIII

«Анна Каренина»

Я чуть помню тот ужасный случай самоубийства нашей соседки, которым отец потом воспользовался при описании смерти Анны Карениной.

Это было в январе 1872 года.

У нашего соседа Бибикова (отца слабоумного Николеньки, который приезжал к нам на елки) была экономка Анна Степановна Зыкова[1].

Из ревности к гувернантке она, на станции Ясенки, бросилась под поезд и была задавлена насмерть. Я помню, как кто-то приезжал к нам в Ясную и рас-

сказывал об этом папа́ и как он сейчас же поехал к Бибикову и в Ясенки и там присутствовал на судебно-медицинском вскрытии.

Мне кажется, что я даже немножко помню лицо Анны Степановны, круглое, доброе и простоватое.

Я любил ее за ее добродушную ласку и очень жалел, когда узнал об ее смерти. Мне было непонятно, как мог Александр Николаевич променять такую хорошую женщину на какую-то другую.

Я помню, как отец в 1871 и 1872 годах писал свою «Азбуку» и «Книги для чтения», но совсем не помню того, как он начал «Анну Каренину». Вероятно, я об этом тогда и не знал.

Какое дело семилетнему мальчику до того, что пишет его отец?

Только позднее, когда это слово стало слышаться чаще и когда начались чуть не ежедневные посылки и получки корректур, я понял, что «Анна Каренина» есть название романа, над которым работают одинаково и папа́ и мама́.

Работа мама̀ казалась мне даже больше папашиной, потому что она занималась на наших глазах и работала гораздо дольше его.

Она сидела в гостиной, около залы, у своего маленького письменного стола, и все свободное время она писала.

Нагнувшись над бумагой и всматриваясь своими близорукими глазами в каракули отца, она просиживала так целые вечера и часто ложилась спать поздней ночью, после всех.

Иногда, когда что-нибудь бывало написано совершенно неразборчиво, она шла к папа̀ и спрашивала его.

Но это бывало очень редко, потому что мама́ не любила его беспокоить.

В таких случаях папа́ брал рукопись, немножко недовольным голосом говорил: «Что же тут непонятного?» — начинал читать, но на трудном месте запинался и сам иногда с большим трудом разбирал или, скорее, уже догадывался о том, что было им написано.

У него был плохой почерк и ужасная манера вписывать целые фразы между строк, в уголках листа, а иногда даже и поперек.

Часто мама́ натыкалась на грубые грамматические ошибки, указывала их отцу и поправляла.

Когда началось печатание «Анны Карениной» в «Русском вестнике», корректуры в длинных гранках присылались отцу почтой, и он их пересматривал и исправлял.

Сначала на полях появляются корректорские значки, пропущенные буквы, знаки препинания, потом меняются отдельные слова, потом целые фразы, начинаются перечеркивания, добавления,— и в конце концов корректура доводится до того, что она делается вся пестрая, местами черная и ее уже в таком виде посылать нельзя, потому что никто, кроме мама́, во всей этой путанице условных знаков, переносов и перечеркиваний разобраться не может.

Всю ночь мама́ сидит и переписывает все начисто.

Утром у нее на столе лежат аккуратно сложенные, исписанные мелким, четким почерком листы и приготовлено все к тому, чтобы, когда «Левочка встанет», послать корректуры на почту.

Утром папа́ берет их опять к себе, чтобы пересмотреть «в последний раз» — и к вечеру опять то же самое: все переделано по-новому, все перемарано.

— Соня, душенька, прости меня, опять испортил всю твою работу, больше никогда не буду,— говорил он, с виноватым видом показывая ей запачканные места, — завтра непременно пошлем, — и часто бывало, что это «завтра» повторялось неделями и месяцами [2].

— Мне только одно местечко посмотреть,— утешал сам себя папа́, потом увлекался и переделывал опять все сызнова.

Бывали даже случаи, что, послав корректуру почтой, отец на другой день вспоминал какие-нибудь отдельные слова и исправлял их по телеграфу.

Несколько раз из-за этих переделок печатание романа в «Русском вестнике» прерывалось, и иногда он не выходил по нескольку месяцев [3].

Когда отец работал уже над восьмой частью «Анны Карениной», в России шла турецкая война [4].

Предвестником ее была необычайно красивая комета 1876 года и целый ряд необычайно красивых северных сияний, которыми мы любовались целую зиму.

В этом огненном ночном блеске и в сиянии яркой хвостатой звезды было что-то стихийное и зловещее.

Во время войны папа́ и все наши домашние, даже мы, дети, очень ею интересовались.

Когда приходили из Тулы газеты, кто-нибудь из старших читал их вслух и весь дом собирался слушать.

Всех генералов мы знали не только по имени и отчеству, но и в лицо, так как портреты их были и в календарях, на лубочных картинах и даже на шоколадных конфектах.

Дьяковы подарили нам к елке целый полк игрушечных солдат, турок и русских, и мы целые дни играли ими в войну.

Наконец мы узнали, что в Тулу пригнали целую партию пленных турок, и вместе с папа́ мы поехали их смотреть.

Я помню, как мы вошли в какой-то большой двор, огороженный каменной стеной, и увидали сразу несколько крупных, красивых людей в красных фесках и широких синих шароварах.

Папа́ смело подошел к ним и начал разговаривать.

Некоторые умели говорить по-русски и стали просить папирос. Папа́ дал им папирос и денег.

Потом он стал их спрашивать, как им живется, подружился с ними и заставил двух больших бороться на поясах. Потом турок боролся с русским солдатом.

— Какие красивые, милые и кроткие люди,— говорил папа́, уходя от них, а мне казалось странным, что он так хорошо отнесся к тем самым страшным туркам, которых надо бояться и бить, потому что они режут болгар и бьют наших.

В последней части «Анны Карениной» отец, описывая конец карьеры Вронского, отнесся неодобрительно к добровольческому движению и славянским комитетам, и из-за этого у него вышло недоразумение с Катковым.

Я помню, как папа́ сердился, когда Катков отказался поместить эти главы целиком, просил его или часть выкинуть, или смягчить и в конце концов возвратил рукопись и поместил в своем журнале небольшую заметку, в которой говорилось, что со смертью героини роман, собственно говоря, кончен, но что далее следует

эпнлог листа в два, в котором, по плану автора, рассказывается то-то и то-то, н что, быть может, автор «разовьет эти главы к особому нзданию своего романа»[5].

Благодаря этому случаю отец поссорился с Катковым и после этого уже больше с ним ие сходился.

Между прочим, по поводу Каткова мие припомниается одно очень характерное определение отца: он говорил, что большей частью люди, владеющне лнтературиой формой, совершенно ие умеют говорить, н наоборот — людн красноречнвые совсем не могут писать.

Как прнмер первых он приводил Каткова, который, по его словам, в разговоре мямлил, запннался и двух слов связать не умел, а ко вторым он причислял миогих известных ораторов, и в том числе Ф. Н. Плевако.

Заканчнвая эту главу, мне хочется сказать несколько слов о том, как отец сам отиосился к «Анне Каренной».

В 1877 году ои пишет в письме к Н. Н. Страхову: «Успех последиего отрывка «Аниы Карениной» тоже, признаюсь, порадовал меня. Я никак этого ие ждал и, право, удивляюсь н тому, что такое обыкновеиное н *ничтожное* нравится»[6].

В 1875 году он пнсал Фету:

«Я два месяца ие пачкал рук чернилами н сердца мыслями, теперь же берусь за *скучную, пошлую «Каренниу»* с однмм желаннем поскорее опростать себе место — досуг для другнх заиятий, но только не педагогических, которые люблю, ио хочу бросить. Оин слишком много берут времени»[7].

В 1876 году ои пнсал Н. Н. Страхову:

«Я с страхом чувствую, что перехожу на летнее состоянне: мне *противно то,* что я напнсал, н теперь у меня лежат корректуры иа апрельскую киижку, н боюсь, что не буду в силах поправнть нх. *Все* в них *скверно,* н все иадо переделать и переделать: все, что напечатаио, и все перемарать, и все бросить н отречься н сказать: виноват, вперед не буду, и постараться напнсать что-нибудь новое, уж не такое нескладное н нитоиисемное»[8].

Так относнлся отец к своему роману во время его писаиия.

После много раз я слышал от иего отзывы еще гораздо более резкие.

— Что тут трудного написать, как офицер полюбил барыню,— говаривал он,— ничего нет в этом трудного, а главное, ннчего хорошего. Гадко и бесполезно!

Я вполне уверен в том, что, если бы отец мог, он давно уннчтожил бы этот роман, который он никогда не любнл н к которому всегда относнлся отрицательно.

ГЛАВА XIV

Почтовый ящик

Летом, когда в Ясной съезжались две семьи, наша н Кузмннскнх, когда оба дома бывалн полны народа, своих н гостей, у нас устраивался Почтовый ящик.

Он зароднлся очень давно, когда я был еще совсем маленькнй и только что научился пнсать, и существовал с перерывами до середины восьмндесятых годов [1].

Внсел он на площадке, над лестннцей, рядом с большнмн часами, и в него каждый опускал свои произведения: стнхн, статьи н рассказы, написанные в теченне недели на злобы дня.

По воскресеньям все собирались в зале у круглого стола, ящнк торжественно отпнрался, н кто-нибудь нз старших, часто даже сам папа́, чнтал его вслух.

Все статьи былн без подписей, и был уговор не подсматрнвать почерков,— но, несмотря на это, мы всегда почтн без промаха угадывали авторов нлн по слогу, илн по его смущению, или, наоборот, по натянуто-равнодушному выражению его лица.

Когда я был мальчиком и в первый раз напнсал в Почтовый ящнк французскне стнхи, я так смутился, когда нх чнтали, что спрятался под стол н просндел там целый вечер, пока меня оттуда не вытащилн насильно.

После этого я долго не писал ннчего и всегда больше любнл слушать чужое, чем свое.

Все «событня» нашей яснополянской жизнн так нлн иначе откликались в Почтовом ящике, и никому, даже большим, не было пощады.

В Почтовом ящике выдавались все секреты, все влюбления, все эпизоды нашей сложной жизни и добродушно осмеивались и живущие и гости.

К сожалению, многое из ящика пораспропало, часть сохранилась у некоторых из нас в списках и в памяти, и я не могу восстановить всего, что было в нем интересного. Вот некоторые вещи, наиболее интересные (из эпохи восьмидесятых годов).

«Старый хрен» продолжает спрашивать. Почему, когда в комнату входит женщина или старик, всякий благовоспитанный человек не только просит его садиться, но уступает ему место?

Почему приезжающего в деревню Ушакова или сербского офицера не отпускают без чая или обеда?

Почему считается неприличным позволить более старому человеку или женщине подать шубу и т. п.

И почему все эти столь прекрасные правила считаются обязательными к другим, тогда как всякий день приходят люди и мы не только не велим садиться и не оставляем обедать или ночевать и не оказываем им услуг, но считаем это верхом неприличия.

Где кончаются те люди, которым мы обязаны?

По каким признакам отличаются одни от других?

И не скверны ли все эти правила учтивости, если они не относятся ко всем людям? Не есть ли то, что мы называем учтивостью, обман,— и скверный обман?

Лев Толстой».

«Спрашиваю:

«Что *ужаснее: скотский* падеж для скотопромышленников или *творительный* для гимназистов?»

Л. Толстой».

«Каких лет следует жениться и выходить замуж?» [2] «Таких лет, чтобы не успеть влюбиться ни в кого прежде, чем в свою жену или мужа» [3].

Л. Толстой».

«Просят ответить в будущий раз на следующий вопрос.

Почему Устюша, Маша, Алена, Петр и пр.[4] должны печь, варить, мести, выносить, подавать, принимать... а господа есть, жрать, сорить, делать нечистоты и опять кушать?

Л. Толстой».

«Из апрельского номера «Русской старины» 2085 года. Жизнь обитателей России 1885 года можно по дошедшим до нас богатым материалам этого времени восстановить приблизительно в следующем виде. Возьмем хоть ту местность Ясной Поляны, в которой теперь находится дом собрания. Местность эта была обитаема в 1885 году семьюдесятью семействами благородных тружеников, поддерживавших в то время, несмотря на тяжесть условий, свет истинного просвещения — науки общежития и труда для другого и искусств возделывания полей, постройки жилищ, воспитывания домашних животных — и двумя семействами совершенно одичавших людей, потерявших всякое сознание не только любви к ближнему, но и чувства справедливости, требующего обмена труда между людьми. Семьдесят семейств, просвещенных по тому времени людей, жили на тесной улице, работая, и старый и малый, с утра до вечера и питаясь одним хлебом с луком, не имея возможности заснуть в день более трех-четырех часов и вместе с тем отдавая все, что у них требовали, тем, которые брали это у них, кормя и помещая у себя странников и прохожих людей и развозя больных и отдавая своих лучших людей в солдаты, то есть в рабство тем, которые этого у них требовали. Два же дикие семейства жили отдельно от них среди просторных тенистых садов в двух огромных, равняющихся величине пятнадцати домов образованных жителей и держали себе до сорока человек людей, занятых только тем, чтобы кормить, возить, одевать, обмывать эти два дикие семейства. Занятие диких семейств состояло преимущественно в еде, разговорах, одеванье и раздеванье, игрании на инструментах, странных сочетаний звуков и в чтении или любовных историй или в заучивании самых бессмысленных, ни на что не нужных правил и часто самых кощунственных сочинений, называемых священными история-

ми и катехизисами. Удивительно было то, что люди этих диких семейств эту самую свою развращенную праздность называли трудом, часто даже тяготились им и всегда гордились своим невежеством и праздностью. Жизнь диких семейств состояла в том, что...[5].

Л. Толстой».

«Одна дама садилась в пролетку и была в затруднении, куда положить пальто, так как было жарко. Заметив это, кучер сказал: «Пожалуйте, сударыня, мне».

— Куда?

— Под ж . . у.

Все присутствующие застыдились.

Дамы в 1885 году носят турнюры и не стыдятся.

Один помещик взял из деревни лакея для выезда и гулянья в ливрее за барышнями. Выйдя из магазина с бывшим с ними кавалером, барышни не нашли бывшего лакея. Они стали оглядываться и дожидаться. Лакей вышел из ворот.

— Где ты был? — спросила одна девица.

— Для сабе ходил,— отвечал лакей.

Барышни чуть не умерли от стыда.

Дамы, девицы, господа, женатые и холостые, заставляют чужих людей убирать свои комнаты со всем, что включено в это понятие. И не стыдятся.

Л. Толстой».

«Какое сходство между ассенизационной бочкой и светской барышней? И ту и другую вывозят по ночам.

Л. Толстой».

«Какая бы была разница, если бы Илья не бегал за лисицами и волками, а лисицы и волки бегали бы сами по себе, а Илья бегал бы по дорожке от флигеля [до] дома?

Никакой, кроме удобства и спокойствия лошадей.

Л. Толстой».

У тети Тани, когда она бывала не в духе из-за пролитого кофейника или проигранной партии в крокет, была привычка посылать всех к черту. На это Лев Николаевич написал рассказ «Сусойчик».

«Дьявол — не главный дьявол, а один из ординарных дьяволов, тот, которому поручено заведование общественными делами, называемый «Сусойчик», был очень встревожен 6 августа 1884 года. С утра стали являться к нему посланные от Татьяны Андреевны Кузминской.

Первый пришел Александр Михайлович, второй — Миша Иславин, третий — Вячеслав, четвертый — Сережа Толстой и под конец Лев Толстой-старший, в сообществе князя Урусова. Первый посетитель, Александр Михайлович, не удивил Сусойчика, так как он часто, исполняя поручение супруги, являлся к Сусойчику.

— Что? опять жена прислала?

— Да, прислала,— застенчиво сказал председатель окружного суда, не зная, как подробнее объяснить причину своего посещения.

— Частенько жалуешь. Что надо?

— Да ничего особенного, кланяться велела,— с трудом отступая от истины, промямлил Александр Михайлович.

— Ну хорошо, хорошо, бывай чаще, она у меня работница хорошая.

Не успел Сусойчик проводить председателя, как явилась молодежь, смеясь, толкаясь, прячась друг за друга.

— Что, молодцы, моя Танечка прислала? Ничего, и вам побывать не мешает. Кланяйтесь Тане, скажите, что я ей всегда слуга. Бывайте, приведется, и Сусойчик пригодится.

Только раскланялась молодежь, как явился и Лев Толстой, старик, с князем Урусовым.

— А-а, старичок! Вот спасибо Танечке. Давно уж не видал старичка. Жив-здоров? Чего надо?

Лев Толстой в смущении переминался с места на место.

Князь Урусов, вспомнив дипломатические приемы, выступил вперед и объяснил появление Толстого его желанием познакомиться с самым старым и верным другом Татьяны Андреевны.

— Les amis de nos amis sont nos amis *.

* Друзья наших друзей — наши друзья *(фр.)*.

— Так, ха, ха, ха,— сказал Сусойчик.— За нынешний день надо наградить ее. Прошу вас, князь, передайте ей знаки моего благоволения.

И он передал ордена в сафьяновой коробке. Ордена составляют: ожерелье из хвостов чертенят для ношения на шее и две жабы: одну для ношения на груди, другую — на турнюре.

Лев Толстой (старый)».

«ИДЕАЛЫ ЯСНОЙ ПОЛЯНЫ

Лев Николаевич.— 1. Нищета, мир и согласие. 2. Сжечь все, чему поклонялся,— поклониться всему, что сжигал.

Софья Андреевна.— 1. Сенека. 2. Иметь сто пятьдесят малышей, которые никогда бы не становились большими.

Татьяна Андреевна.— 1. Вечная молодость. 2. Свобода женщин.

Илья.— Тщательно скрыть, что есть сердце, и делать вид, что убил сто волков.

Big * Маша.— Общая семья, построенная на началах грации и орошаемая слезами умиления.

M-me Seuron.— Изящество.

Вера. — Дядя Ляля **.

Князь Урусов.— Расчет в крокет и забыть все земное.

Всех малышей.— Напихиваться целый день всякой дрянью и изредка, для разнообразия, зареветь благим матом.

Таня.— Стриженая голова. Душевная тонкость и постоянно новые башмаки.

Лёля.— Издавать газету «Новости».

Княгиня Оболенская.— Счастье всех и семейность вокруг.

*Little *** Маша.*— Звуки гитарных струн.

Трифоновна.— Ихняя свадьба.

---

* Большая — это Маша Кузминская. *(Прим. автора.)*

** То есть Лев Николаевич. *(Прим. автора.)*

*** Маленькая — это Маша Толстая. *(Прим. автора.)*

ТЕТЕ ТАНЕ

При погоде при прекрасной
Жили счастливо все в Ясной,
Жили, веселясь.
Вдруг пришло на мысль Татьяне,
Что во Ясной во Поляне
Нельзя вечно жить.
Говорит себе Татьяна:
«Нужно поздно или рано
Детям аттестат.
Отдам девочек в науку,
Произведу во всяку штуку,
Будут за мамзель».
Накупили книг, тетрадей,
Рады ль девочки, не рады,
Стали обучать.
И учились без печали,
Но когда закон начали,
Дело не пошло.
Никак Маша не усвоит,
А уж Вера в голос воет:
Не люблю закон.
И, бедняжка, разбирая
Смысл изгнания из рая,
Вера говорит:
«Нам велят учить закон,
Как Адама выгнал вон
Вместе с Евой бог.
А учить это обидно,
Потому что ясно видно,
Что не надо знать».
— Ведь за что изгнан Адам? —
Говорит сама мадам,—
За curiosité.*—
Они много уж узнали,
Их за то взашей прогнали,
А я не хочу.
И не знает теперь мать,
Что на это отвечать,
Точно, мудрено!

Вот нас с Машей осуждают
И к Василию не пускают
Яблоки трясти.
А в раю было не то,
Ничего не заперто,
Кушай сколько хошь.

Лев Толстой.

---

* любопытство *(фр.)*.

Что сильней, чем смерть и рок,—
Сладкий анковский пирог.

Л. Толстой».

«ТЕТЯ СОНЯ И ТЕТЯ ТАНЯ. И ВООБЩЕ, ЧТО ЛЮБИТ ТЕТЯ СОНЯ И ЧТО ЛЮБИТ ТЕТЯ ТАНЯ

Тетя Соня любит шить белье, broderie anglaise * и разные красивые работы. Тетя Таня любит шить платья и вязать. Тетя Соня любит цветы, и ранней весной на нее находят порывы заниматься ими. Она принимает на себя озабоченный вид, копается в клумбах, призывает садовника и поражает тетю Таню латинскими названиями всех цветов, и тетя Таня думает: «И все-то она знает».

Тетя Таня говорит, что терпеть не может цветов и что этой дрянью не стоит заниматься, а сама секретно ими любуется.

Тетя Соня купается в сером костюме и входит в купальню степенно, по ступенькам, вбирая в себя дух от холода, потом прилично окунется, войдя в воду, и тихими плавными движениями плывет вдаль.

Тетя Таня надевает изодранный клеенчатый чепец с розовыми ситцевыми подвязушками и отчаянно сигает в глубину и мгновенно, неподвижно ложится на спину.

Тетя Соня боится, когда дети прыгают в воду.

Тетя Таня срамит детей, если они боятся прыгать.

Тетя Соня, надев очки, забрав малышей, решительным шагом идет в посадку, говоря: «Малышечки, мои дружочки, от меня не отставать»,— и любит не спеша ходить по лесу и набирать подберезники, не пренебрегая и волвянками, говоря: «Дети, непременно волвянки берите, ваш папаша их очень солеными любит, и до весны все поприестся».

Тетя Таня, собираясь в лес, приходит в волнение, что кто-нибудь помешает ей или увяжется за ней, и когда малыши действительно увязываются, то она говорит строго: «Бегите, но чтобы я вас не видела, и если пропадете, не реветь».

---

* английское шитье *(англ.)*.

Она быстро обегает все леса и овраги и любит набирать подосиновики. У ней всегда в кармане пряники.

Тетя Соня в затруднительных обстоятельствах думает: «Кому я больше нужна? кому я могу быть полезна?»

Тетя Таня думает: «Кто мне нынче нужен? кого мне куда послать?»

Тетя Соня умывается холодной водой. Тетя Таня боится холодной воды.

Тетя Соня любит читать философию и вести серьезные разговоры и удивить тетю Таню страшными словами и достигает вполне своей цели.

Тетя Таня любит читать романы и говорить о любви.

Тетя Соня терпеть не может разливать чай.

Тетя Таня тоже не любит.

Тетя Соня не любит приживалок и юродивых.

Тетя Таня их очень любит.

Тетя Соня, играя в крокет, всегда находит себе и другое занятие, как-то: посыпать песком каменистое место, чинить молотки, говоря, что слишком деятельна и не привыкла сидеть сложа руки.

Тетя Таня с озлоблением следит за игрой, ненавидя врагов и забывая все остальное.

Тетя Соня близорука и не видит паутины по углам и пыли на мебели. Тетя Таня видит и велит сметать.

Тетя Соня обожает малышей, тетя Таня далеко не обожает их.

Когда малыши ушибаются, тетя Соня ласкает их, говоря: «Матушки мои, голубчик мой, вот постой, мы этот пол прибьем — вот тебе, вот тебе». И малыш и тетя Соня с ожесточением бьют пол.

Тетя Таня, когда малыши ушибаются, начинает с озлоблением тереть ушибленное место, говоря: «Чтоб вас совсем, и кто вас только родил! И где эти няньки, черт их возьми совсем! Дайте хошь холодной воды, что все рот разинули».

Когда дети больны, тетя Соня мрачно читает медицинские книги и дает опиум. Тетя Таня, когда заболевают дети, выбранит их и дает масло.

Тетя Соня любит иногда нарядиться во что-нибудь необыкновенное и в воскресенье, войдя скорым шагом

в залу к обеду, всех поразить. Тетя Таня тоже любит нарядиться, но во что-нибудь, что ее молодит.

Тетя Соня любит иногда сделать прическу угнетенной невинности и тогда принимает на себя вид обиженной кругом судьбой и людьми, а вместе с тем такой кроткой, невинной женщины, с косою на затылке и гладко причесанными волосами впереди, что думаешь: «Боже, кто ее мог обидеть, кто этот злодей, и могла ли она перенести это». И слезы навертываются на глаза при одной такой мысли.

Тетя Таня любит высокую прическу, открыть затылок и низко спущенные волосы на лбу, воображая, что тогда глаза кажутся больше, и часто моргает ими.

Тетя Таня всякую ссору любит запечатать.

Тетя Соня после ссоры любит начать говорить, как будто ни в чем не бывало.

Тетя Соня ничего не кушает по утрам, а если и сварит когда-нибудь себе яички, то, по первому желанию другого, уступает их. Тетя Таня, вставши, думамает: «Чем бы барыне угоститься?»

Тетя Соня кушает скоро, маленькими кусочками, как будто клюет, низко нагибаясь к тарелке. Тетя Таня набивает себе рот и, когда на нее глядят во время еды, делает вид, что она ест только так, потому что надо, а что ей совсем не хочется.

Тетя Соня любит сесть за фортепьяно и играть и петь малышам ровным голосом: «Гоп, гоп, гоп, эй, ступай в галоп».

И малыши резвятся. Тетя Таня терпеть не может примешивать к малышам музыку, но не прочь, чтобы и ее малыши тут же плясали, но скрывает это.

Тетя Соня шьет детям платья, припуская на рост на пятнадцать лет.

Тетя Таня кроит узко, и после первой стирки надо перешивать.

Тетя Соня уважает засидки. Тетя Таня терпеть их не может.

Тетя Соня постоянно о ком-нибудь беспокоится, в особенности когда кто-нибудь уехал на время из дому. Тетя Таня, раз отпустивши, старается забыть об этом и никогда не беспокоится.

Тетя Соня, пользуясь какой-нибудь радостью или весельем, тотчас примешивает к нему чувство грусти. Тетя Таня пользуется счастьем всецельно.

Тетя Соня очень деликатно относится к чужой собственности, и так, когда у тети Тани пирог с грибами, она спросит: «Танечка, я вас не обижу?» (Когда дело идет о чужой собственности, тетя Соня переходит на «вы») — и с сими словами берет горбушечку. Тетя Таня в отчаянии и убедительно просит серёдочку, но тщетно, просьба остается без последствий.

Когда же у тети Тани нет свежего хлеба к чаю, она спрашивает у тети Сони: «У вас нынче свежий?» — и, не дождавшись ответа, берет хлеб, нюхает его, нюхает и масло, бросает все в сторону и кричит: «Вечно кислый хлеб, вечно масло коровой пахнет»,— и ест все-таки чужой хлеб и чужое масло.

Чья нога меньше, тети Танина или тети Сонина, еще не разрешено».

«ЧЕМ ЛЮДИ ЖИВЫ В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

Лев Николаевич жив тем, что будто бы нашел разгадку жизни.

Александр Михайлович жив тем, что бывают летние месяцы отдыха.

Софья Андреевна жива тем, что она жена знаменитого человека и что существуют такие мелочи, как, например, землянка, на которые можно тратить свою энергию.

Татьяна Андреевна жива тем, что умеет нравиться, веселиться и заставить себя любить.

Таня Толстая жива тем, что она недурна собой и что существует такое благо, как замужество.

Сергей Львович жив тем, что думает когда-нибудь зажить иною жизнью.

Илья Львович жив надеждой на семейное счастье.

M-me Seuron жива тем, что жив ее Альсидушка.

Big Маша жива тем, что она — центр внимания яснополянской молодежи.

Little Маша жива тем, что на свете есть некто Ванечка Мещерский.

Вера Кузминская жива тем, что существует массе-дуан и разные другие сладости, а также и тем, что у ней есть сестрица Маша.

Алкид жив тем, что за него думает и чувствует его мать.

Леля жив тем, что мало заставляют учиться».

Через неделю, в ответ на эту статью появилось:

«ЧЕМ ЛЮДИ МЕРТВЫ В ЯСНОЙ

Лев Николаевич мертв, когда едет в Москву и когда в Москве, выходя гулять, получает разные грустные впечатления.

Софья Андреевна мертва, когда малышечки больны и когда Илья в бабки играет.

Александр Михайлович мертв, когда он из Ясной уезжает.

Татьяна Андреевна, когда Александр Михайлович уезжает и когда в крокет проигрывает.

Таня мертва, когда мамаша сватает ее за Федю Самарина.

Сережа мертв тем, что Алена уехала.

Илья мертв тем, что греческая грамматика наступает.

Леля — тем, когда зайца протравит и когда Кузминовы * уезжают.

Вера мертва тем, что закон божий надо отвечать и что крыжовник сошел.

Little Маша мертва тем, что у Ванечки Мещерского бабушка померла».

Часто в Ясную заходил полуюродивый сумасшедший Блохин. У него была мания величия, основанная на том, что он «всех чинов окончил» и равен императору Александру II и богу. Поэтому он жил исключительно для «разгулки времени», имел «открытый банк де-

* Так называли Кузминских.

нег» и называл себя князем и кавалером всех орденов. Когда его спрашивали, почему у него нет денег и он просит подаяния, он наивно улыбался и, не смущаясь, отвечал, что вышла задержка в получении, но что он «доложил» и на днях получит. К этому Блохину, описанному в скорбном листе под № 22, отец приравнивает многих яснополянских больных, которых всех он считает опасными и нуждающимися в радикальном лечении, а самого Блохина он приравнивает к грудной девочке Саше, и одного его он считает возможным выписать как рассуждающего вполне последовательно.

«СКОРБНЫЙ ЛИСТ ДУШЕВНОБОЛЬНЫХ ЯСНОПОЛЯНСКОГО ГОСПИТАЛЯ

№ 1. [Лев Николаевич]. Сангвинического свойства. Принадлежит к отделению мирных. Больной одержим манией, называемой немецкими психиатрами «Weltverbesserungswahn» *. Пункт помешательства в том, что больной считает возможным изменить жизнь других людей словом. Признаки общие: недовольство всеми существующими порядками, осуждение всех, кроме себя, и раздражительная многоречивость, без обращения внимания на слушателей, частые переходы от злости и раздражительности к ненатуральной слезливой чувствительности. Признаки частные: занятие несвойственными и ненужными работами, чищенье и шитье сапог, кошение травы и т. п. Лечение: полное равнодушие всех окружающих к его речам, занятия такого рода, которые бы поглощали силы больного.

№ 2. [Софья Андреевна]. Находится в отделении смирных, но временами должна быть отделяема. Больная одержима манией: Petulantiatoropigis maxima **. Пункт помешательства в том, что больной кажется, что все от нее всего требуют и она никак не может успеть все сделать. Признаки: разрешение задач, которые не заданы; отвечание на вопросы, прежде чем

* мания исправления мира (*нем.*).
** величайшая необузданность (*лат.*) торопыги.

они поставлены; оправдание себя в обвинениях, которые не деланы, и удовлетворение потребностей, которые не заявлены. Больная страдает манией блохиобаиковской. Лечение: напряженная работа. Диета: разобщение с легкомысленными и светскими людьми. Хорошо тоже действуют в этом случае в умеренном приеме воды кузькиной матери.

№ 3. [Александр Михайлович Кузминский]. Больной страдал прежде заматорелым mania Senatorialis ambitiosa magna *, усложненной mania emolumentum pecuniorum **, и находится в процессе излечения. Страдания больного в настоящую минуту выражаются желанием соединить должность своего собственного дворника с званием председателя. Общие признаки: тишина, недоверие к себе. Частые признаки: бесполезное копание земли и столь же бесполезное чтение производств в газетах и изредка мрачное настроение, выражающееся взрывами. Лечение: большее вникновение в вопросы жизни, большее сообразование с нею жизни, большая кротость и бо́льше доверия к себе во имя тех начал, которые он считает истинными.

№ 4. [M-me Seuron]. Больная страдает манией «comilfotis simplex» ***, усложненной остатками «sacracordia catholica» ****. Признаки болезни общие: неясность взгляда на жизнь и твердость и непоколебимость приемов. Поступки лучше слов. Признаки частные: разговоры легкие, жизнь строгая. Больная в сильной степени заражена общей манией блохиобаиковской (см. ниже). Лечение: нравственность и любовь сына. Предсказания благоприятные.

№ 5. [Екатерина Николаевна Кашевская] [?]. Мания «seuronofilia maxima» *****. Болезнь весьма опасная. Лечение радикальное — выйти замуж.

№ 6. [Татьяна Андреевна Кузминская]. Больная одержима манией, называемой «mania demoniaca complicata» ******, встречающейся довольно редко и представляющей мало вероятности исцеления. Больная

* сильнейшая мания сенаторского величия (*лат.*).
** мания наживы (*лат.*).
*** обыкновенной добропорядочности (*искаж. лат.*).
**** католического ханжества (*искаж. лат.*)
***** острое сейронелюбие (*лат.*).
****** тяжелой манией одержимости бесом (*лат.*).

принадлежит к отделенню опасных. Происхожденне болезни: незаслуженный успех в молодостн и привычка удовлетвореииого тщеславня без иравствениых основ жнзин. Признаки болезии: страх перед мннмыми, личиыми чертямн н особениое пристрастие к делам их, ко всякого рода нскушенням: праздности, к роскоши, к злостн. Забота о той жнзин, которой иет, и равнодушне к той, которая есть. Больиая чувствует себя постояино в сетях дьявола, любит быть в его сетях и вместе с тем бояться его. Больная в высшей степеии страдает повальиой маииен блохииизма (см. инже). Исход болезни сомннтельный, потому что исцеление от страха дьявола и будущей жизии возможно только при отречеиии от дел его. Дела же его заиимают всю жнзнь больной. Лечение двоякое: или совершениое предание себя дьяволу и делам его, с тем чтобы больиая изведала горечь нх, нли совершенное отчуждеиие больиой от дел дьявола. В первом случае хороши бы были раньше два большне прнема компрометирующего кокетства, два мнллнона денег, два месяца полиой праздности и привлеченне к мнровому судье за оскорблеиие. Во втором случае: трн нлн четыре ребеика с кормлением их, полная заиятий жизнь н умствеииое развитие. Диета — в первом случае: трюфели и шампаиское, платье все из кружев, три новых в деиь. И во втором — щн, каша, по воскресеньям сладкие ватрушкн и платье одного цвета и покроя иа всю жизнь.

№ 7. [Брат Сережа]. Больиой одержим манией, иазываемой «пустобрех universitelis libertatis» *. Больиой прннадлежнт к отделеиню ие вполие смнриых. Признаки общие: желаине знать то, что зиают другне людн н чего ему самому ие иужно зиать, и нежелаине знать то, что ему нужно зиать. Призиаки частиые: гордость, самоуверенность н раздражнтельиость. Больиой ие вполне еще исследован, но подвержеи, кроме того, в снльиейшей степеии маиии киязя Блохниа (см. инже). Леченне: вынуждеииая работа, а главное — служба или любовь илн то и другое. Днета: меньше доверня к знаиню и больше исследоваиня приобретенных знанни.

* университетской свободы (*искаж. лат.*).

№ 8. [Илья]. Mania Prochoris egoistika complisata *. Больной прннадлежнт к разряду небезопасных. Пункт помешательства в том, что весь мир сосредоточнвается в нем н что, чем ннже и бессмысленнее те занятня, которыми он занят, тем озабоченнее весь мнр этимн занятиями. Прнзнакн общие: больной не может ннчем заннматься, еслн не присутствует удивляющийся Прохор. Но так как удивляющнхся Прохоров тем меньше, чем выше разряд занятнй, то больной постоянно спускается на низшую степень занятнй. Прнзнаки частные: больной возбуждается до самозабвення всяким одобреннем н падает до апатни без одобрення. Больной в сильнейшей степени заражен блохинской эпндемией. Болезнь опасная, нсход двоякнй: первый — илн больной привыкнет подчиняться суду нязшего сорта — Прохоров, постоянно поннжаясь по мере легкостн их одобрения, второй же — это может отвратнть больного, н он попытается найтн интерес в деятельностн самоудовлетворяющей и независнмой от Прохоров. Леченне невозможно. Диета: воздержанне от общества людей, стоящнх ннже по образованню.

№ 9. [Князь Л. Д. Урусов]. Больной одержим сложной болезнью, называемой mania metaphisica **, усложненной гипертрофией разложившегося честолюбня vanitas diplomatica highlifica ***. Больной страдает постоянно несоответствием своих прнвычек с представленнем о законах мнра. Признакн общие: унынне и желанне казаться веселым и бодрым, любовь к уединению. Прнзнакн частные: впаденне в старые привычки н недовольство собой. Излишнее раздраженне и возбужденне прн передаче своих мыслей. Леченне одно н, несомненно, действительное: оставленне службы, соедннение с семьей.

№ 10. [Сестра Таня]. Больная одержнма манней, называемой «Капннсто-Мещернана simplex» ****, состоящая в совершенном прекращенни всякой умственной и духовной деятельности и в страстном ожнданин звонков у дверей нли под дугой для возбуждеиия жнз-

* тяжелая маиия прохоровского эгоизма (*лат.*).

** метафизическая мання (*лат.*).

*** великосветское дипломатическое тщеславие (*искаж. лат.*).

**** простая (*лат.*).

ни посредством тщеславия. Признаки общие: сонливость, невнимание ко всему окружающему или сверхъестественное возбуждение. Подчинение своей воли воле других людей, по летам и развитию стоящих ниже себя. Признаки частные: порывистые и судорожные движения ног при звуках музыки, причем особенное искривление плеч и стана. Больная подвержена сильно князь-блохинской эпидемии. Лечение: раннее вставание, физический труд, ежедневно до сильного пота; правильное распределение дня для умственного, художественного и физического труда и подчинение себя руководителю. Диета: отсутствие халата и зеркала и угощения. При исполнении этого режима исход болезни благоприятный.

№ 11. [Маша Кузминская] [?]. Больная поступила недавно в Ясную Поляну, потому еще мало исследована, но данные диагноза следующие: mania Капнисто-Мещернана Петерсбуржиана, усложненная гипертрофией modesticae *. Признаки общие: безжизненность, вялость и мечтания о кавалерах. Те же судорожные движения ног при звуках музыки, хотя и без искривления тела. В сильной степени подвержена блохинскому simplex (см. ниже). Лечение радикальное. Воды кузькиной матери, сильная любовь к хорошему человеку.

№ 12. [Брат Лева]. Больной находится на испытании. До сих пор в больном очень выразились признаки мании, называемой русскими психиатрами «ерностфихотность», то есть пункт его помешательства состоит в том, что нужно не самое дело, не самое чувство, не самое знание, а что-то такое, что было бы похоже на дело, на чувство, на знание. Признаки частные: желание казаться всезнающим и быть замеченным всеми. Болезнь не очень опасная. Лечение, к которому и приступлено: унижение.

№ 13. [Вера Шидловская] [?]. Больная находится на испытании. Принадлежит к разряду вполне смирных. Признаки, заставляющие держать больную в госпитале, только следующие: пристрастие к лампадкам, узким носкам, ленточкам, турнюрам и т. д., заражена

* скромности (*лат.*).

эпндемией князя Блохнна. Лечеине ие иужно, только диета: разобщенне с поврежденными и больиая может быть совершеиио выписаиа.

№ 14. [Вера Кузмииская]. Опасная. Больная страдает манней, называемой португальскнми пснхиатрами «mania grubiana honesta maxima» *. Пункт помешательства: иаружность и мысль, что все заняты этой иаружностью. Прнзнакн: робость, тишнна и взрыв грубостн. Эпидемия князя Блохниа в сильной степеин. Лечение: нежность и любовь. Предсказання благопрнятные.

№ 15. [Сестра Маша] [?]. Больиая страдает маиией, иазываемой англнйскнми пснхиатрамн «mania anglica as you like-иость» **.

Пункт помешательства: что надо делать не то, что самой хочется, а что хочется другнм. Эпндемня князя Блохина в малой степенн. Леченне: доверне к тому, что в глубние души совесть счнтает хорошнм, н недоверне к тому, что считается таковым другнми.

№ 16. [Миша Кузмииский]. Больиой иаходится на нспытании. Пункт помешательства: рубли и дядя Ляля. Прниадлежнт к разряду вполие безопасных. Отчасти только заражеи блохиизмом. Исцеленне возможно.

№ 17 ***. На испытаини. Пуикт: застегнваине пуговнц. Заражеине блохнизмом.

№№ 18, 19, 20. На испытанни, только слабо заражены блохиизмом.

№ 21. [Грудиая сестра Саша]. Находнтся у кормнлнцы. Вполне здорова и может быть безопасно вынисана. В случае же пребываиня в Ясной Поляие тоже подлежнт несомиеиному заражеиию, так как скоро узиает, что молоко, употребляемое ею, куплеио от ребеика, рождеииого от ее кормилнцы.

№ 22. [Сумасшедшнй Блохнн]. Киязь Блохии. Военный киязь, всех чннов окончнл, кавалер ордеиов Блохнна. Пуикт помешательства один: что другие люди должны работать для иего, а он — получать деиьгн, открытый баик, экнпажи, дома, одежду н всякую сладкую жнзнь н жить только для разгулки времеии. Больной не опасный н вместе с № 21 может быть выпнсан.

* сильнейшая мания откровенной грубости *(лат.)*.

** английская мания *(лат.)* каквамугодности *(искаж. англ.)*.

*** 17, 18, 19, 20 — маленькие дети. *(Прим. автора.)*

Что жизнь его, князя Блохина, «для разгулки времени», а всех других трудовая, объясняет князь Блохин весьма последовательно тем, что он окончил всех чинов, жизнь же праздная других ничем и никак не объясняется.

№ 23. [Дядя Сергей Николаевич]. Больной исследован уже прежде и вновь поступил в Яснополянский госпиталь. Больной не безопасен. Больной страдает манией, называемой испанскими психиатрами «mania katkoviana antica nobilis Rusica» * и застарелой бетховенофобией.

Признаки общие: больной после принятия пищи испытывает непреодолимое желание слушать «Московские ведомости» и не безопасен в том отношении, что при требовании чтения «Московских ведомостей» может употреблять насилие. После же вечернего принятия пищи при звуках «Пряхи» ** становится тоже не безопасен, топая ногами, махая руками и испуская дикие звуки. Признаки частные: не может брать карт все вместе, а берет каждую порознь. Каждый месяц, неизвестно для чего, ездит в местечко, называемое Крапивна ***, и там проводит время в самых несвойственных ему странных занятиях. Озабочен красотой женщин. Лечение: дружба с мужиками и общение с нигилистами. Диета: не курить, не пить вино и не ездить в цирк.

Л. Толстой».

СТИХОТВОРЕНИЕ ОТЦА, ПОСВЯЩЕННОЕ СЕСТРЕ ТАНЕ

Поутру была как баба,
А к обеду цвету краба.
Отчего метаморфоза?
Что из бабы стала роза.
Дело, кажется, нечисто:
Есть участие Капниста ****

---

* Катковская мания древлероссийского дворянского благородства (*лат.*).

** Русская песня. (*Прим. автора.*)

*** Сергей Николаевич был уездным предводителем дворянства. (*Прим. автора.*)

**** Таня в это время выезжала и часто бывала в доме графа Капниста. (*Прим. автора.*)

СТИХОТВОРЕНИЕ В. В. ТРЕСКИНА

Смело на ящик Почтовый критику стал я писать.
Мало пришлось мне хвалить, ругать же пришлося довольно.
В яд постоянно макал я перо, никого не жалея,
Но отчего же тайная робость объемлет меня?
Страшно под мышкой тошнит, и коленка вздохнуть не дает мне.
Боги, откройте причину тоски моей томной!
Чу, отозвалися боги, н рек мне Зевес-громовержец:
«Жалкий ты критик! Иль ты не знаешь, что ныне
Страхов в Ясной живет, Николай Николаевич, критик:
Быстро к тебе устремясь, он мгновенно тебя изничтожит
И на могиле твоей эпитафию злую напишет,
Дабы пример твой несчастный иным послужил бы наукой...»
Зевс уж давно замолчал. Ночи тень одевала природу,
Я ж все сидел, трепетал. Наконец, успокоясь, решился
Все, что случилось со мной, вам поведать плохими стихами.

ГЛАВА XV

Сергей Николаевич Толстой

Я помню дядю Сережу с раннего моего детства. Он жил в Пнрогове и бывал у нас довольно часто.

Черты его лнца былн те же, что и у моего отца, но весь он был тоньше и породистее. Тот же овал лица, тот же нос, те же выразительные глаза и те же густые, навнсшие брови, но разница между его лнцом и лицом моего отца была только та, что отец в те далекне времена, когда он заннмался своей внешностью, всегда мучнлся свонм безобразием, а дядя Сережа считался н действнтельно был красавцем.

Вот как отец говорит о дяде Сереже в своих отрывочных воспомннаниях: «Николеньку я уважал, с Мнтенькой я был товарнщем, но Сережей я восхищался н подражал ему, любнл его, *хотел быть им.* Я восхнщался его красивой наружностью, его пением,— он всегда пел,— его рнсованнем, его веселнем н, в особенности, как нн странно это сказать, его непосредственностью, его эгонзмом. Я всегда себя помннл, себя сознавал, всегда чуял, ошнбочно нли нет то, что думают обо мне н чувствуют ко мне другне, н это портнло мне радостн жнзнн. От этого, вероятно, я особенно любнл в другнх протнвоположное этому — непосредственность, эгоизм. И за это любил особенно Сережу — слово *любил* неверно.

Николеньку я любил, а Сережей восхищался, как чем-то совсем мне чуждым, непонятным. Это была жизнь человеческая, очень красивая, но совершенно непонятная для меня, таинственная и потому особенно привлекательная. На днях он умер, и в предсмертной болезни и умирая, он был так же непостижим мне и так же дорог, как и в давнишние времена детства. В старости, в последнее время он больше любил меня, дорожил моей привязанностью, гордился мной, желал быть со мной согласен, но не мог, и оставался таким, каким был: совсем особенным, самим собою, красивым, породистым, гордым и, главное, до такой степени правдивым и искренним человеком, какого я никогда не встречал. Он был, что был, ничего не скрывал и ничем не хотел казаться. С Николенькой мне хотелось быть, говорить, думать; с Сережей мне хотелось только подражать ему. С первого детства началось это подражание...» [1]

Мы очень любили, когда подкатывала к дому тройка, чудесная, в наборной сбруе с бубенчиками, запряженная в коляску, и выходил из нее дядя Сережа, в черной широкополой фетровой шляпе и длинном черном пальто, барственный и красивый.

Папá выходил к нему из своего кабинета и здоровался с ним за руку, а мамá, радостная, выбегала в переднюю и расспрашивала его о здоровье Марьи Михайловны и детей и бежала в кухню заказать повару лишнее блюдо «для гостей».

Дядя Сережа никогда не был нежен с детьми; казалось, скорее, что он нас только терпит, а не любит, но мы относились к нему всегда с особенным подобострастием, которое, как я теперь понимаю, происходило отчасти от его аристократической внешности, а главное, от того, что он называл папá Левочкой и относился к нему так, как папá относился к нам.

Он не только не боялся его совсем, но он всегда поддразнивал его и спорил, как старший с младшим.

И мы это чувствовали.

Ведь всем известно было, что резвее черно-пегой Милки и ее дочери Крылатки нет на свете собак. От них ни один заяц не уходит.

А дядя Сережа говорил, что у нас русак тупой, а вот степной русак — это дело другое, и ни Милка, ни Крылатка степного русака не достанет.

Мы слушали и не знали, кому верить,— дяде Сереже или папа́.

Один раз дядя Сережа поехал с нами на охоту. Затравили несколько русаков — ни один не ушел,— и дядя Сережа совсем этому не удивился, и все-таки спорил, что это только потому, что у нас зайцы плохие.

И так мы не узнали, прав он или нет.

А может быть, и прав, потому что он был охотник, больше чем папа́, и затравил много волков, а папа̀ при нас не затравил ни одного.

А теперь папа́ держит собак, потому что у него есть Агафья Михайловна, а дядя Сережа совсем бросил охоту, потому что нельзя держать собак.

«После освобождения крестьян нельзя охотиться, людей нет, мужики с кольями сгоняют охотников с зеленей, разве можно что-нибудь теперь делать? Жить нельзя в деревне».

Иногда летом мы всей семьей ездили к дяде Сереже в гости.

До Пирогова надо было ехать полями тридцать пять верст.

По дороге мы проезжали мимо Ясенков и Колпны...

Там где-то, по рассказам мама́, папа̀ защищал на суде солдата, который оскорбил офицера[2].

Его осудили и тут же на поле расстреляли. И было жутко об этом думать.

Может быть, это и было по закону, но нам, детям, это было непонятно.

Дальше дорога шла мимо Озерок, мимо таинственного бездонного озера, провала, потом через Коровьи Хвосты, Сорочинку и, наконец, у одиноко стоящей в поле часовни сворот с большой дороги влево, и вдали, за Упой, виднеется красивая церковь, усадьба и в глубине ее интересный, какой-то особенной архитектуры, двойной каменный дом.

Подъезжаешь, и чувствуется совсем особенный, непривычный для нас оттенок строгого барства, не такого, как в Ясной, а какого-то особенного, пироговского. Это барство уже чувствуется, когда едешь по селу и

мужики подобострастно останавливаются и кланяются, и по взглядам баб и ребятишек, провожающих нас глазами, и по тому, как увидавший нас издали поваренок стремительно бежит к дому доложить, что едут гости, и по всему виду усадьбы с свежеподстриженными кустами и чисто выметенным и посыпанным свежим песком подъездом.

Из передней входишь в зимний сад, в котором растут в огромных кадках лимонные деревья, в зале стоит чучело матерого волка, а за диваном, на каком-то возвышении, спит свернувшаяся клубком, совсем как живая, лисица.

Нас встречают милая, вечно ласковая Марья Михайловна, ее дочери: Вера, ровесница Тани, и две маленькие, Варя и Маша.

Услыхав движение, выходит из своей комнаты дядя Сережа.

Комната его особенная, около залы.

Он в ней и спит и сидит целый день за счетами, высчитывая доходы имения и сводя бухгалтерию, сложную, трудную и понятную только ему одному.

В эту комнату надо входить быстро, скорей, скорей захлопывая за собой дверь, чтобы не влетела в это время муха. Из-за мух в этой комнате никогда не выставляются зимние рамы, и никто, кроме самого дяди Сережи, ее не убирает.

Хозяева рады гостям, встречают нас приветливо, и дядя Сережа всегда почти сейчас же начинает рассказывать Левочке о своих хозяйственных неудачах.

— Хорошо тебе, как птице небесной, ни сеять, ни жать, написал роман и покупаешь себе в Самаре новые имения, а ты похозяйничал бы тут. Ведь я опять прогнал приказчика, обворовал меня кругом. Теперь опять Василий управляет, а мы без кучера.

Папá улыбается, переводит разговор на другое, а мы, дети, чувствуем, что все это так и должно быть, потому что Василий, живший у дяди Сережи кучером много лет, редко сидел на козлах и почти всегда заменял того или другого проворовавшегося приказчика.

Удивительно, до чего дядя Сережа во многих чертах своего характера напоминал старика князя Болконского.

Нет сомнения в том, что этот тип не списан с него. Ведь в то время, когда писалась «Война и мир», дядя Сережа был еще молодым человеком.

Мне приходилось говорить об этом с его старшей дочерью Верой Сергеевной, и мы оба удивлялись пророческому ясновидению моего отца, который в мельчайших подробностях нарисовал отношения князя к своей любимой дочери княжне Марье, дяди Сережи к Вере.

Те же уроки математики, та же застенчивая, нежная любовь, скрытая под личиной равнодушия и часто внешней жестокости, то же глубокое понимание ее души и та же несокрушимая барская гордость, отграничивающая себя и ее неприступной стеной от всего остального мира.

Более яркого воплощения типа старика Болконского я никогда не мог себе представить.

При исключительной порядочности и честности, дядя Сережа скрывал только одно свое качество: он до застенчивости скрывал свое чуткое сердце, и если иногда оно вырывалось наружу, то только в исключительных случаях и то помимо его воли.

В нем особенно ярко проявлялась семейная черта, свойственная отчасти и моему отцу,— это страшная сдержанность в выражении сердечной нежности, скрываемой часто под личиной равнодушия, а иногда даже неожиданной резкости.

Зато в смысле сарказма и остроумия он был необычайно самобытен.

Одно время он в течение нескольких зим жил с семьей в Москве.

Как-то, после исторического концерта Антона Рубинштейна [3], на котором дядя Сережа был с дочерьми, он приехал к нам в Хамовники пить чай.

Отец стал расспрашивать его, понравился ли ему концерт.

— Помнишь ты, Левочка, поручика Гимбута, который был лесничим около Ясной? Я как-то спросил его, какая самая счастливая минута его жизни. И знаешь, что он мне ответил? «Когда я был кадетом, бывало, положат меня на лавку, спустят штаны и начнут сечь.

Секут, секут,— как перестанут — вот это и есть самая счастливая минута».

Вот в антрактах, когда Рубинштейн переставал играть, тогда только я и чувствовал себя хорошо.

Не щадил он иногда и отца.

Как-то, охотясь с легавой около Пирогова, я заехал к дяде Сереже переночевать.

За чаем зашел разговор об отце.

Не помню, по какому поводу, дядя Сережа начал говорить, что Левочка гордый.

— Ведь это он так проповедует про смирение да непротивление, а сам он гордый.

Был у Машеньки-сестры лакей Фома.

Бывало напьется, пойдет под лестницу, задерет ноги кверху и лежит. Приходят к нему: «Фома, тебя графиня зовет».

А он: «Пущай сама придет, коль нужно».

Так же и Левочка...

Когда Долгорукий послал к нему своего чиновника Истомина попросить его, чтоб он пришел к нему поговорить о сектанте Сютаеве[4], ты знаешь, как он ему ответил? «Пусть сам придет». Ну разве это не Фома?

Нет, Левочка очень гордый, он ни за что не пойдет, да так и надо, тут ни при чем смиренье.

В последние годы жизни Сергея Николаевича отец был с ним особенно дружен и любил делиться с ним своими мыслями.

Как-то он дал ему одну из своих философских статей и просил его прочесть и сказать свое мнение.

Дядя Сережа добросовестно прочел всю книгу и, возвращая ее, сказал:

— Помнишь, Левочка, как мы, бывало, езжали на перекладных? Осень, грязь замерзла колчами, сидишь в тарантасе, на жестких дрожинах, бьет тебя то о спинку, то о бока, сиденье из-под тебя выскакивает, мочи нет — и вдруг выезжаешь на гладкое шоссе, и подают тебе чудную венскую коляску, запряженную четвериком хороших лошадей... Так вот, читая тебя, только в одном месте я почувствовал, что пересел в коляску. Это место — страничка из Герцена, которую ты приводишь, а все остальное — твое,— это колчи и тарантас.

Говоря такие вещи, дядя Сережа, конечно, знал, что отец за это не обидится и будет вместе с ним от души хохотать.

Ведь действительно трудно было сделать вывод более неожиданный, и, конечно, кроме дяди Сережи, никто не решился бы сказать отцу что-нибудь подобное.

Рассказывал дядя Сережа, как он встретил где-то на железной дороге незнакомую даму, из сорта навязчивых вагонных собеседниц.

Узнав, что с ней едет граф Толстой, брат знаменитого писателя, она пристала к нему с расспросами о том, что теперь пишет Лев Николаевич и пишет ли что-нибудь сам Сергей Николаевич.

— Что пишет брат — не знаю, а я, сударыня, кроме телеграмм, ничего не пишу,— коротко ответил дядя Сережа, чтобы как-нибудь отвязаться.

— Ах, как жаль! Да, бывает же в жизни, что одному брату дано все, а другому ничего,— сочувственно заметила дама и замолчала.

Вопрос, поставленный Сергею Николаевичу вагонной дамой, невольно возникает у людей, хорошо знавших этого необычайно умного и своеобразного человека.

Ведь действительно, если бы он писал, он мог бы дать очень многое.

У него было что писать.

Сидя в своей комнатке годами, он все время думал и жил своей, замкнутой в себе жизнью.

Часто вдруг ни с того ни с сего он начинал громко ахать и кричать: «Ай, ай, ай, ай, ай... ай...»

И домашние его за несколько комнат слышали эти стоны и знали, что это «ничего» — значит, он что-то подумал.

И только редко, редко, когда приезжал кто-нибудь из близких ему людей, он увлекался и в ярком, образном разговоре развивал свои мысли и наблюдения, всегда оригинальные, меткие и продуманные.

Дядя Сережа думал только для себя, и как «непосредственный эгоист» (как характеризует его мой отец в приведенном выше отрывке его воспоминаний) он не чувствовал потребности делиться своими переживаниями с другими.

И в этом было его несчастье.

Он лишен был того чувства удовлетворения, которое испытывает писатель, выливая избыток себя на бумагу, и без этого предохранительного клапана он перегрузил себя и сделался умственным аскетом.

В своих воспоминаниях Афанасий Афанасьевич Фет необычайно метко характеризует тип всех трех братьев Толстых:

«Я убежден, что основной тип всех трех братьев Толстых тождествен, как тождествен тип кленовых листьев, невзирая на все разнообразие их очертаний. И если бы я задался развить эту мысль, то показал бы, в какой степени у всех трех братьев присуще то страстное увлечение, без которого в одном из них не мог бы проявиться поэт Л. Толстой. Разница их отношений к жизни состоит в том, с чем каждый из них отходил от неудавшейся мечты. Николай охлаждал свои порывы скептической насмешкой, Лев уходил от несбывшейся мечты с безмолвным укором, а Сергей — с болезненной мизантропией.

Чем более у подобных характеров первоначальной любви, тем сильнее, хотя на время, сходство с Тимоном Афинским»[6].

Зимой 1901—1902 года мой отец был в Крыму и там долго лежал больной между жизнью и смертью.

Дядя Сережа, чувствовавший себя уже слабым, не решился выехать из Пирогова и, сидя дома, с тревогой следил за ходом болезни по письмам, которые ему писали некоторые члены нашей семьи, и по газетным бюллетеням.

Когда отец начал поправляться, я уехал домой и по пути из Крыма заехал в Пирогово, чтобы лично рассказать дяде Сереже о ходе болезни и о тогдашнем состоянии отца.

Я помню, с какой радостью и благодарностью он меня встретил.

— Ах, как хорошо, что ты заехал. Ну рассказывай, рассказывай. Кто при нем? Все? А кто за ним больше ходит? Дежурите по очереди? И по ночам тоже? Он не может вставать? Да, да, вот это хуже всего.

Ведь и мне скоро придется умирать, годом раньше, годом позже, это не важно, а вот лежать беспомощным,

всем в тягость, всё за тебя делают, подымают, сажают — это ужасно.

Ну, как же он это выносит? Ты говоришь, привык? Нет, я не могу себе представить, чтобы Вера меняла на мне белье, мыла бы меня. Она, конечно, скажет, что ей это ничего, а для меня это ужасно.

А что, он боится смерти? Говорит, что нет? Может быть — ведь он сильный, он может в себе победить этот страх, да, да... пожалуй, он не боится, а все-таки...

Ты говоришь, что он борется с этим чувством?.. Ну, конечно, как же не бороться!..

Я хотел поехать к нему, а потом думаю: где мне? сам еще свихнусь, вместо одного больного два будет.

Да, ты мне много рассказал, тут всякая мелочь интересна.

— Страшна не смерть, а страшна болезнь, беспомощность и, главное, боязнь, что ты в тягость другим, Это ужасно, ужасно.

Дядя Сережа умер в 1904 году от рака лица.

Вот как рассказывала мне о его кончине моя тетка Мария Николаевна.

Почти до последнего дня он был на ногах и никому не позволял за собой ухаживать.

Он был в полной памяти и сознательно готовился к смерти.

Кроме домашних, старушки Марии Михайловны и дочерей, при нем была его сестра, монахиня Мария Николаевна, и с часу на час ждали приезда моего отца, за которым послали в Ясную нарочного.

Пред всеми стоял тяжелый вопрос, пожелает ли умирающий перед смертью причаститься святых тайн,

Зная безверие Сергея Николаевича, никто не решался с ним об этом заговорить, и несчастная Мария Михайловна ходила около его комнаты, мучилась и молилась.

Моего отца ждали с нетерпением, но втайне боялись его влияния и мечтали о том, чтобы Сергей Николаевич пригласил священника до его приезда.

— И каково же было наше изумление и радость,— рассказывала мне Мария Николаевна,— когда Левочка, выйдя из его комнаты, передал Марии Михайловне, что Сережа просит послать за священником.

Не знаю, что они говорили до этого, но когда Сережа сказал, что он хочет приобщиться, Левочка ответил ему, что это очень хорошо, и сейчас же пришел к нам и передал его просьбу *.

Отец пробыл в Пирогове около недели и уехал за два дня до кончины дяди.

Когда он получил телеграмму об ухудшении его состояния, он поехал к нему опять, но не застал его в живых.

Он вынес его тело из дома на своих руках и сам нес его в церковь.

Вернувшись в Ясную, он с трогательной нежностью рассказывал о своей разлуке с этим «непостижимым и дорогим ему братом, совсем чуждым и вместе с тем бесконечно близким и родным».

ГЛАВА XVI

Фет. Страхов. Ге

— Что это за полусабля? — спросил молодой гвардейский поручик Афанасий Афанасьевич Фет у лакея, входя в переднюю к Ивану Сергеевичу Тургеневу в Петербурге в середине пятидесятых годов.

— Это полусабля графа Толстого, и они у нас в гостиной ночуют. А Иван Сергеевич в кабинете чай кушают,— ответил Захар.

— В продолжение часа, проведенного мною у Тургенева,— рассказывает Фет в своих воспоминаниях,— мы говорили вполголоса из боязни разбудить спящего за дверью графа.

— Вот все время так,— говорил с усмешкой Тургенев,— вернулся из Севастополя с батареи, остановился у меня и пустился во все тяжкие. Кутежи, цыгане и карты во всю ночь. А затем до двух часов спит как убитый. Старался удерживать его, но теперь махнул рукой...

* Я не думаю, чтоб Сергей Николаевич перед смертью изменил свое отношение к обрядам. Мне кажется, что, как с его стороны, так и со стороны моего отца, не отговаривавшего его, это было уступкой, сделанной только для успокоения тех, кому это было так дорого. *(Прим. автора.)*

— В этот же приезд мы и позиакомилнс с Толстым, но знакомство это было совершенно формальное, так как я в то время еще не чнтал нн одной его строки н даже не слыхал о нем как о литературном имени, хотя Тургеиев толковал о его рассказах из детства [1].

Вскоре после этого отец сошелся с Фетом довольио близко, и между ними завязалась прочная, долголетняя дружба н переписка, длившаяся почтн до смертн Афанасия Афанасьевича [2].

Только в последние годы жизнн Фета, когда отцом всецело овладели его новые идеи, совершеиио чуждые всему миросозерцаиню Афаиасия Афаиасьевнча, оии охладелн друг к другу и видались реже.

С первых шагов их знакомства дорогн обоих шлн параллельно.

Познакомнлись они оба молодыми офицерами н начинающимн литераторами.

Потом оба жеинлись (Фет зиачнтельно раиьше отца) и оба поселились в деревие.

Фет жнл на своем хуторе Степаиовка, Мценского уезда, недалеко от нмеиия Тургенева Спасское-Лутовииово, и одно время к иему съезжались в гости мой отец с старшим братом Николаем и Иваи Сергеевич.

Там они охотились за тетеревами н часто перекочевывали оттуда в Спасское и нз Спасского в Ннкольско-Вяземское к моему дяде Николаю Николаевичу.

У Фета же в Степановке произошла ссора отца с Тургеиевым [3].

Еще до проведення железиой дорогн, когда ездили на лошадях, Фет, по путн в Москву, всегда заворачнвал в Ясную Поляиу к отцу, н эти заезды сделались траднциоиными.

После, когда прошла железиая дорога и отец был уже жеиат, Афанаснй Афаиасьевич тоже иикогда не миновал нашей усадьбы, н еслн это когда н случалось, то отец пнсал ему горячие упрекн, и он, как внноватый, извннялся.

В те далекне времеиа, о которых я говорю, отца связывали с Фетом интересы н литературиые н хозяйствениые.

Любопытны некоторые письма отца, относящиеся к шестндесятым годам.

Например: в 1860 году он пишет целое рассуждение о только что вышедшем романе Тургенева «Накануне», и в конце его приписка: «Что стоит коновальский лучший инструмент? Что стоят пара ланцетов людских и банки?» [4].

В другом письме отец пишет: «С этой почтой пишу Ивану Ивановичу в Никольское, чтобы он послал за кобылой... О цене все-таки вы напишите», и рядом с этим — «ты нежная»... да и все прелестно. Я не знаю у вас лучшего. Прелестно все» (стихотворение Фета «Отсталых туч над нами пролетает последняя толпа») [5].

Но не только общность интересов сближала моего отца с Афанасием Афанасьевичем.

Причина их близости заключалась в том, что они, по выражению отца, «одинаково думали *умом сердца*».

«Но мне вдруг из разных незаметных данных ясна стала ваша глубоко родственная мне натура — душа»,— пишет отец Фету в 1876 году [6], и в том же году осенью он повторяет: «удивительно, как мы близко родня по уму и сердцу» [7].

Отец говаривал про Фета, что главная заслуга его — это что он мыслит самостоятельно, своими, ниоткуда не заимствованными мыслями и образами, и он считал его наряду с Тютчевым в числе лучших наших поэтов. Часто, бывало, и после смерти Фета он вспоминал некоторые его стихотворения и, обращаясь почему-то ко мне, говорил: «Илюша, скажи это стихотворение — «Я думал,— не помню, что думал» или «Люди спят...» [8]. Ты, наверное, его знаешь». И он с восторгом вслушивался, подсказывал лучшие места, и часто на его глазах показывались слезы.

Я помню посещения Фета с самой ранней поры моего детства.

Почти всегда он приезжал с своей женой Марьей Петровной и часто гостил у нас по нескольку дней.

У него была длинная черная седеющая борода, ярко выраженный еврейский тип лица и маленькие женские руки с необыкновенно длинными выхоленными ногтями.

Он говорил густым басом и постоянно закашливался заливистым, частым, как дробь, кашлем. Потом он отдыхал, низко склонив голову, тянул протяжно гм... гмммм, проводил рукой по бороде и продолжал говорить.

Иногда он бывал необычайно остроумен и своими остротами потешал весь дом.

Шутки его были хороши тем, что они выскакивали всегда совершенно неожиданно даже для него самого.

Сестра Таня умела необыкновенно похоже передразнивать, как Фет декламировал свои стихи:

«И вот портрет, и схооже и несхооже, гм... гм...

Где схоодство в нем, несхоодство где найти... гм... гм... гм... гмммм».

В раннем детстве поэзия интересует мало.

Стихи выдуманы для того, чтобы нас, детей, заставлять их заучивать наизусть.

Пушкинское «Прибежали в избу дети» и лермонтовский «Ангел» мне надоели настолько, когда я их учил, что потом долго я не брался за поэзию и на всякие стихи дулся, как на наказание.

Не странно поэтому, что я в детстве Фета совсем не любил и считал, что он дружен с папа́ только потому, что он «смешной».

Только много позднее я его понял как поэта и полюбил его так, как он этого достоин.

Вспоминаю еще посещения Николая Николаевича Страхова.

Это был человек чрезвычайно тихий и скромный.

Он появился в Ясной Поляне в начале семидесятых годов и с тех пор приезжал к нам почти каждое лето, до самой своей смерти.

У него были большие, удивленно открытые серые глаза, длинная борода с проседью, и, когда он говорил, он к концу своей фразы всегда конфузливо усмехался: ха, ха, ха...

Обращаясь к папа́, он называл его не Лев Николаевич, как все, а Лёв Николаевич, выговаривая «е» мягко.

Жил он всегда внизу, в кабинете отца, и целый день, не выпуская изо рта толстую, самодельную папиросу, читал или писал.

За час до обеда, когда к крыльцу подавали катки, запряженные парой лошадей, и вся наша компания собиралась ехать на купальню, Николай Николаевич выходил из своей комнаты в серой мягкой шляпе, с полотенцем и палкой в руках, и ехал с нами.

Все без исключения, и взрослые и дети, любили его, и я не могу себе представить случая, чтобы он был кому-нибудь неприятен.

Он умел прекрасно декламировать одно шуточное стихотворение Козьмы Пруткова «Вянет лист» [9], и часто мы, дети, упрашивали его и надоедали до тех пор, пока он не расхохочется и не прочтет нам его с начала до конца.

«Юнкер Шмит, честное слово, лето возвратится»,— кончал он с ударением, и непременно на последнем слове, улыбался и говорил: ха, ха, ха!..

Страхову принадлежат первые и лучшие критические работы по поводу «Войны и мира» и «Анны Карениной» [10].

Когда издавались «Азбука» и «Книги для чтения», Страхов помогал отцу в их издании [11].

По этому поводу между ним и моим отцом возникла переписка, сначала деловая, а потом уже философская и дружественная [12].

Во время писания «Анны Карениной» отец очень дорожил его мнением и высоко ценил его критическое чутье.

«Будет с меня и того, что вы так понимаете меня»,— пишет ему отец в одном из своих писем в 1872 году (по поводу «Кавказского пленника») [13].

В 1876 году, уже по поводу «Анны Карениной», отец пишет:

«Вы пишете: так ли вы понимаете мой роман и что я думаю о ваших суждениях. Разумеется, так. Разумеется, мне невыразимо радостно ваше понимание; но не все обязаны понимать, как вы» [14].

Но не одна только критическая работа сблизила Страхова с отцом.

Папа́ вообще не любил критиков и говаривал, что этим делом занимаются только те, которые сами ничего не могут создать.

«Глупые судят умных»,— говорил он про профессиональных критиков.

В Страхове он больше всего ценил глубокого и вдумчивого мыслителя.

Даже в разговорах, когда, бывало, отец задавал ему какой-нибудь научный вопрос (Страхов был по образованию естественник), я помню, с какой необыкновенной точностью и ясностью он излагал свой ответ.

Как урок хорошего учителя.

«Знаете ли, что меня в вас поразило более всего? — пишет ему отец в одном из писем,— это выражение вашего лица, когда вы раз, не зная, что я в кабинете, вошли из сада в балконную дверь. Это выражение чуждое, сосредоточенное и строгое, объяснило мне вас (разумеется, с помощью того, что вы писали и говорили). Я уверен, что вы предназначены к чисто философской деятельности... У вас есть одно качество, которого я не встречал ни у кого из русских: это — при ясности и краткости изложения, мягкость, соединенная с силой: вы не зубами рвете, а мягкими сильными лапами»[15].

Страхов был «настоящим другом» моего отца (как он назвал его сам), и я о нем вспоминаю с глубоким уважением и любовью[16].

Наконец я подошел к памяти самого близкого к отцу по духу человека, к памяти Николая Николаевича Ге.

«Дедушка Ге», как мы его звали, познакомился с отцом в 1882 году.

Живя у себя на хуторе в Черниговской губернии, он как-то случайно прочел статью отца «О переписи»[17], нашел в ней решение тех самых вопросов, которые в это же время мучили и его, и, не долго думая, собрался и прилетел в Москву.

Я помню его первый приезд, и у меня осталось впечатление, что он и мой отец с первых же слов поняли друг друга и заговорили на одном языке.

Так же, как мой отец, Ге в это время переживал тяжелый душевный кризис, и, идя в своих исканиях почти тем же путем, которым шел и отец, он пришел к изучению и новому уразумению Евангелия.

«К личности Христа,— пишет о нем моя сестра Татьяна в посвященной ему статье «Друзья и гости Ясной Поляны»,— он относился со страстной и нежной любовью, точно к близко знакомому человеку, любимому им всеми силами души. Часто, при горячих спорах Николай Николаевич вынимал из кармана Евангелие, которое всегда носил при себе, и читал из него подходящие к разговору места.

«В этой книге все есть, что нужно человеку»,— говаривал он при этом.

Читая Евангелие, он часто поднимал глаза на слушателя и говорил, не глядя в книгу. Лицо его при этом светилось такой внутренней радостью, что видно было, как дороги и близки сердцу были ему читаемые слова.

Он почти наизусть знал Евангелие, но, по его словам, всякий раз, как он читал его, он вновь испытывал истинное духовное наслаждение. Он говорил, что в Евангелии ему не только все понятно, но что, читая его, он как будто читает в своей душе и чувствует себя способным еще и еще подниматься к богу и сливаться с ним»[18].

Приехав в Хамовники, Николай Николаевич предложил отцу написать портрет моей сестры Тани.

— Чтобы отплатить вам за то добро, которое вы мне сделали,— сказал он.

Папа́ попросил его лучше написать мою мать; и на другой же день Ге привез краски, холст и начал работать.

Не помню, сколько времени он писал, но кончилось тем, что, несмотря на тысячи замечаний, которые сыпались со всех сторон от сочувствующих его работе зрителей, которые Ге внимательно выслушивал и принимал во внимание, а может быть, и благодаря этим замечаниям, портрет вышел неудачен, и Николай Николаевич сам его уничтожил.

Как тонкий художник, он не мог довольствоваться только внешним сходством и, написав «барыню в бар-

хатном платье, у которой сорок тысяч в кармане», он сам возмутился и решил все переделать сызнова.

Только через несколько лет, узнав мою мать ближе и полюбив ее, он написал ее почти во весь рост с моей младшей двухлетней сестрой Сашей на руках[19].

Дедушка часто приезжал гостить к нам в Москве и в Ясной, и с первого же знакомства он сделался у нас в доме совсем своим человеком.

Когда он писал отцовский портрет в его кабинете в Москве, папá так привык к его присутствию, что совершенно не обращал на него внимания и работал, как будто его не было в комнате[20]. В этом же кабинете дедушка и ночевал.

У него было удивительно милое, интеллигентное лицо.

Длинные седеющие кудри, свисающие с голого черепа, и открытые умные глаза придавали ему какое-то древнебиблейское, пророческое выражение.

Во время разговоров, когда он разгорался,— а разгорался он всегда, как только вопрос касался евангельского учения или искусства,— он, со своими горящими глазами и энергичными размашистыми жестами, производил впечатление проповедника, и странно, что даже в те времена, когда мне было шестнадцать — семнадцать лет и когда вопросы веры меня совсем не интересовали, я любил слушать проповеди «дедушки» и ими не тяготился.

Вероятно, оттого, что в них чувствовались громадная искренность и любовь.

Под влиянием отца Николай Николаевич снова принялся за художественную работу, которую он до этого одно время совсем забросил, и последние его вещи — «Что есть истина?», «Распятие» и другие — являются уже плодом его нового понимания и объяснения евангельских сюжетов, отчасти навеянного ему моим отцом.

Прежде чем начинать картину, он долго вынашивал ее в душе и всегда устно и письменно делился своими замыслами с отцом, который глубоко ему сочувствовал и искренне восторгался его тонким пониманием и мастерством.

Дружба Николая Николаевича была дорога отцу.

Это был первый человек, всецело разделявший его убеждения и в то же время любивший его нелицемерно.

Став на путь искания истины и посильно ей служа, они находили друг в друге поддержку и делились родственными переживаниями.

Как отец следил за художественными работами Ге, так и Ге никогда не упускал ни одного слова, написанного отцом, сам списывал его рукописи и умолял всех присылать ему все, что будет нового.

Одновременно оба они бросили курить и сделались вегетарианцами.

Они сошлись даже и в любви и признании необходимости физического труда.

Оказалось, что Ге умел прекрасно класть печи и у себя на хуторе исполнял печные работы для своих домашних и крестьян.

Узнав это, отец попросил его сложить печку у одной ясенской вдовы, для которой он выстроил глинобитную избу.

Дедушка надел фартук и пошел работать.

Он был за мастера, а отец помогал ему в виде подмастерья.

Николай Николаевич скончался в 1894 году.

Когда пришла в Ясную телеграмма о его смерти, мои сестры, Татьяна и Маша, были так поражены, что не могли решиться передать это известие отцу.

Тяжелую обязанность показать ему телеграмму должна была взять на себя мама́.

ГЛАВА XVII

Тургенев

Я не буду рассказывать о тех недоразумениях, которые были между моим отцом и Тургеневым и которые закончились их полным разрывом в 1861 году.

Фактическая сторона этой истории известна всем, и повторять ее незачем [1].

По общему мнению, ссора между двумя лучшими писателями того времени произошла на почве их литературного соревнования.

Против этого общепризнанного взгляда я должен возразить, и, прежде чем я расскажу о том, как Тургенев приезжал в Ясную Поляну, я хочу, насколько сумею, выяснить настоящую причину постоянных размолвок между этими двумя хорошими и сердечно любившими друг друга людьми, размолвок, доведших их до ссоры и взаимных вызовов.

Насколько я знаю, у моего отца во всей его жизни ни с кем, кроме Тургенева, не было крупных столкновений,— Тургенев в письме к моему отцу (1856 г.) пишет: «...Вы единственный человек, с которым у меня произошли недоразуменья»[2].

Когда отец рассказывал о своей ссоре с Иваном Сергеевичем, он винил в ней только себя. Тургенев, тотчас после ссоры, письменно извинился перед моим отцом и никогда не искал себе оправданий.

Почему же, по выражению самого Тургенева, «созвездия» его и моего отца «решительно враждебно двигались в эфире»?

Вот что пишет об этом моя сестра Татьяна в своей книге:

«...О литературном соревновании, мне кажется, не могло быть и речи. Тургенев с первых шагов моего отца на литературном поприще признал за ним огромный талант и никогда не думал соперничать с ним. С тех пор как он еще в 1854 году писал Колбасину: «Дай только бог Толстому пожить, а он, я твердо надеюсь, еще удивит нас всех»[3],— он не переставал следить за литературной деятельностью отца и всегда с восхищением отзывался о ней.

«Когда это молодое вино перебродит,— пишет он в 1856 году Дружинину,— выйдет напиток, достойный богов»[4].

В 1857 году он пишет Полонскому:

«Этот человек пойдет далеко и оставит за собой глубокий след»[5].

А между тем эти два человека никогда друг с другом не ладили...

Читая письма Тургенева к отцу, видишь, что с самого начала их знакомства происходили между ними недоразумения, которые они всегда старались сгладить и забыть, но которые через некоторое время—

иногда в другой форме — опять поднимались, и опять приходилось объясняться и мириться.

В 1856 году Тургенев пишет отцу:

«Ваше письмо довольно поздно дошло до меня, милый Лев Николаевич... Начну с того, что я весьма благодарен Вам за то, что Вы его написали, а также и за то, что Вы отправили его ко мне; я никогда не перестану любить Вас и дорожить Вашей дружбой, хотя — вероятно, по моей вине — каждый из нас, в присутствии другого, будет еще долго чувствовать небольшую неловкость... Отчего происходит эта неловкость, о которой я упомянул сейчас,— я думаю, Вы понимаете сами. Вы единственный человек, с которым у меня произошли недоразуменья; это случилось именно от того, что я не хотел ограничиться с Вами одними простыми дружелюбными сношениями — я хотел пойти далее и глубже; но я сделал это неосторожно, зацепил, потревожил Вас и, заметивши свою ошибку, отступил, может быть, слишком поспешно; вот отчего и образовался этот «овраг» между нами.

Но эта неловкость — одно физическое впечатление — больше ничего; и если при встрече с Вами у меня опять будут «мальчики бегать в глазах», то, право же, это произойдет не оттого, что я дурной человек. Уверяю Вас, что другого объяснения придумывать нечего. Разве прибавить к этому, что я гораздо старше Вас, шел другой дорогой... Кроме, собственно, так называемых литературных интересов — я в этом убедился,— у нас мало точек соприкосновения; вся Ваша жизнь стремится в будущее, моя вся построена на прошедшем... Идти мне за вами — невозможно; Вам за мною — также нельзя. Вы слишком от меня отдалены, да и, кроме того, Вы слишком сами крепки на своих ногах, чтобы сделаться чьим-нибудь последователем. Я могу уверить Вас, что никогда не думал, что Вы злы, никогда не подозревал в Вас литературной зависти. Я в Вас (извините за выражение) предполагал много бестолкового, но никогда ничего дурного; а Вы сами слишком проницательны, чтобы не знать, что если кому-нибудь из нас двух приходится завидовать другому,— то уже, наверное, не мне» [6].

В следующем году он пишет отцу письмо, которое,

как мне кажется, служит ключом к пониманию отношений Тургенева к отцу.

«Вы пишете, что очень довольны, что не послушались моего совета — не сделались только литератором. Не спорю — может быть, вы и правы, только я, грешный человек, как ни ломаю себе голову, никак не могу придумать, что же вы такое, если не литератор: офицер? помещик? философ? основатель нового религиозного учения? чиновник? делец? Пожалуйста, выведите меня из затруднения и скажите, какое из этих предположений справедливо? Я шучу,— а в самом деле мне бы ужасно хотелось, чтобы вы поплыли наконец на полных парусах» [7].

Мне кажется, что Тургенев как художник видел в моем отце только его огромный литературный талант и не хотел признавать за ним никакого *права* быть чем-либо другим, кроме как художником-литератором. Всякая другая деятельность отца точно обижала Тургенева,— и он сердился на отца за то, что отец не слушался его советов и не отдавался исключительно одной литературной деятельности. Он был много старше отца, не побоялся считать себя по таланту ниже его и только одного от него требовал: чтобы отец положил все силы своей жизни на художественную деятельность. А отец знать не хотел его великодушия и смирения, не слушался его, а шел той дорогой, на которую указывали ему его духовные потребности. Вкусы же и характер самого Тургенева были совершенной противоположностью характеру отца. Насколько борьба вообще воодушевляла отца и придавала ему сил—настолько она была несвойственна Тургеневу» [8].

Будучи вполне согласен со взглядами моей сестры, я добавлю их фразой покойного Николая Николаевича Толстого, который говорил, что «Тургенев никак не может помириться с мыслью, что Левочка растет и уходит у него из-под опеки».

В самом деле, когда Тургенев был уже известным писателем, Толстого еще никто не знал и, по выражению Фета, только «толковали о его рассказах из «Детства».

Я представляю себе, с каким скрытым благоговением должен был в это время относиться к Тургеневу совсем еще юный, начинающий писатель.

Тем более что Иван Сергеевич был большим другом его старшего и любимого брата Николая.

В подтверждение этого моего мнения привожу отрывок из письма В. П. Боткина, близкого друга отца и Ивана Сергеевича, к А. А. Фету, написанного непосредственно после их ссоры:

«Я думаю, что, в сущности, у Толстого страстно любящая душа и он хотел бы любить Тургенева со всею горячностью, но, к несчастью, его порывчатое чувство встречает одно кроткое, добродушное равнодушие. С этим он никак не может помириться» [9].

Сам Тургенев рассказывал, что в первые времена их знакомства отец следовал за ним по пятам, «как влюбленная женщина», а он одно время начал его избегать, боясь его оппозиционного настроения.

Я боюсь утверждать, но мне кажется, что так же, как Тургенев не хотел ограничиваться «одними простыми дружелюбными отношениями», так и мой отец слишком горячо относился к Ивану Сергеевичу, и отсюда-то и проистекло то, что они никогда не могли встретиться без того, чтобы не поспорить и не поссориться.

Моего отца, быть может, раздражал слегка покровительственный тон, принятый Тургеневым с первых дней их знакомства, а Тургенева раздражали «чудачества» отца, отвлекавшие его от его «специальности — литературы».

В 1860 году, еще до ссоры, Тургенев пишет Фету: «...А Лев Толстой продолжает чудить. Видно, так уже написано ему на роду. Когда он перекувырнется в последний раз и станет наконец на ноги?» [10].

Так же отнесся Тургенев и к «Исповеди» моего отца, которую он прочел незадолго до своей смерти. Обещав ее прочесть, «постараться понять» и не «сердиться», он «начал было большое письмо в ответ... «Исповеди», но не кончил потому, чтобы не впасть в спорный тон» [11].

В письме к Д. В. Григоровичу он назвал эту вещь, построенную, по его мнению, на неверных посылках, «отрицанием всякой живой человеческой жизни» и «своего рода нигилизмом» [12].

Очевидно, что Тургенев и тогда не понял, насколько сильно завладело отцом его новое мировоззрение, и он готов был и этот порыв причислить к его всегдашним чудачествам и кувырканиям, к которым он когда-то причислял его занятия педагогией, хозяйством, изданием журнала и проч.

Иван Сергеевич был в Ясной Поляне на моей памяти три раза [13].

Два раза в августе и в сентябре 1878 года, и в третий и последний раз в начале мая 1880 года.

Все эти приезды я помню, хотя возможно, что некоторые мелочи я могу перепутать.

Я помню, что, когда мы ждали Тургенева, это было целое событие, и больше всех волновалась мамá. От нее мы узнали, что папá был с Тургеневым в ссоре и когда-то вызывал его на дуэль и что теперь он едет, вызванный письмом папá, чтобы с ним мириться.

Тургенев все время сидел с папá, который в эти дни даже не «занимался», и раз, как-то в середине дня, мамá собрала всех нас, в необычный час, в гостиную, где Иван Сергеевич прочел свой рассказ «Собака» [14].

Я помню его высокую, мощную фигуру, седые, шелковистые, желтоватые волосы, несколько разгильдяйную мягкую походку и тонкий голос, совершенно не соответствующий его величавой внешности.

Он смеялся с заливом, чисто по-детски, и тогда голос его становился еще тоньше.

Вечером, после обеда, все собрались в зале.

В это время в Ясной гостили дядя Сережа (брат отца), князь Леонид Дмитриевич Урусов (тульский вице-губернатор), дядя Саша Берс с молоденькой женой, красавицей грузинкой Патти, и вся семья Кузминских.

Тетю Таню попросили петь.

Мы с замиранием сердца слушали и ждали, что скажет о ее пении Тургенев, известный знаток и любитель.

Он, конечно, похвалил и, кажется, искренне.

После пения затеяли кадриль.

Во время кадрили кто-то спросил у Тургенева, танцуют ли еще французы старую кадриль, или же все танцы сводятся к канкану. Тургенев сказал: «Старый канкан вовсе не тот неприличный танец, который те-

перь танцуют в кафешантанах; старый канкан приличный и грациозный танец». И вдруг Иван Сергеевич встал, взял за руку одну из дам и, заложив пальцы за проймы жилета, по всем правилам искусства, отплясал старинный канкан с приседаниями и выпрямлением ног.

Все хохотали, и больше всех хохотал он сам [15].

После чая «большие» начали о чем-то говорить, и между ними завязался горячий спор. Больше всех горячился и нападал на Тургенева князь Урусов.

Это было то время, когда в отце уже началось его «духовное рождение» (как он называл этот период сам), и князь Урусов был одним из первых его искренних единомышленников и друзей.

Не помню, что доказывал князь Урусов, сидя у стола против Ивана Сергеевича и широко размахивая рукой, как вдруг случилось что-то необыкновенное: из-под Урусова выскользнул стул, и он, как сидел, так и опустился на пол с вытянутой вперед рукой и грозяще приподнятым указательным пальцем.

Нисколько не смутившись, он, сидя на полу и жестикулируя, продолжал начатую фразу.

Тургенев взглянул на него сверху вниз и неудержимо расхохотался.

— Он меня убивает, il m'assomme, этот Трубецкой,— визжал он, сквозь смех путая фамилию князя.

Урусов чуть-чуть не обиделся, но потом, видя, что хохочут и другие, поднялся и рассмеялся сам.

В один из вечеров сидели в маленькой гостиной за круглым столом.

Была чудная летняя погода.

Кто-то предложил (кажется, мама́), чтобы каждый из присутствующих рассказал самую счастливую минуту своей жизни.

— Иван Сергеевич, начинайте вы,— сказала она, обращаясь к Тургеневу.

— Самая счастливая минута моей жизни была та, когда я по глазам любимой женщины впервые узнал, что она меня любит,— сказал Иван Сергеевич и задумался.

— Сергей Николаевич, теперь ваша очередь,— сказала тетя Таня, обращаясь к дяде Сереже.

— Я скажу вам только на ухо,— ответил дядя Сережа, улыбаясь своей умной саркастической улыбкой. — Самая счастливая миута жизни...— дальше он говорил шепотом, иагнувшись к самому уху Татьяны Адреевиы, и что он сказал, я не слыхал.

Я видел только, как тетя Таня отшатнулась от иего и засмеялась.

— Ай, ай, ай, вы вечно что-нибудь такое скажете, Сергей Николаевич! Вы невозможный человек.

— Что сказал Сергей Николаевич?— спросила мама́, иикогда ие понимавшая шуток.

— Я после скажу тебе.

На этом начатая затея и оборвалась.

В третий приезд Тургеиева я помию тягу.

Это было второго или третьего мая 1880 года.

Мы пошли всей компанией, то есть папа́, мама́ и мы, дети, за Вороику.

Папа́ поставил Тургеиева иа лучшее место, а сам стал шагах в полутораста от иего иа другом коице той же поляиы.

Мама̀ стояла с Тургеиевым, а мы, дети, иевдалеке от них развели костер.

Папа́ стрелял несколько раз и убил двух вальдшиепов, а Ивану Сергеевичу ие везло, и ои все время завидовал счастью отца.

Накоиец, когда стало уже темнеть, иа Тургеиева иалетел вальдшиеп, и ои выстрелил.

— Убили?— крикиул отец с своего места.

— Камнем упал, пришлите собаку подиять,— ответил Иван Сергеевич.

Папа́ послал иас с собакой, Тургеиев указал иам, где искать вальдшиепа, ио как мы ии искали, как ии искала собака — вальдшиепа не было.

Наконец подошел Тургенев, пришел папа́ — вальдшнепа нет.

— Может быть, подраиили, мог убежать,— говорил папа́, удивляясь,—не может быть, чтобы собака ие иашла, она не может ие найти убитую птицу.

— Да иет же, Лев Николаевич, я видел ясио, говорю вам, камнем упал, не раиеиый, а убитый иаповал, я зиаю разницу.

— Но почему же собака его не находит?— не может быть,— что-нибудь не то.

— Не знаю, но только скажу вам, что я не лгу, камнем упал,— настаивал Тургенев.

Так вальдшнепа и не нашли, и остался какой-то неприятный осадок, как будто кто-то из двух не совсем прав. Или Тургенев, говоря, что он убил вальдшнепа наповал, или папá, утверждая, что собака не может не найти убитой птицы.

И это случилось как раз тогда, когда обоим так хотелось избежать всяких недоразумений.

Ведь для этого они даже избегали серьезных разговоров и проводили время только в приятных развлечениях...

Вечером, прощаясь с нами, папá тихонько шепнул нам, чтобы мы утром пораньше пошли опять на это место и поискали бы *хорошенько.*

И что же оказалось?

Вальдшнеп, падая, застрял в развилине, на самой макушке осины, и мы насилу его оттуда вышибли.

Когда мы торжественно принесли его домой, это было целое событие, которому папá и Тургенев радовались еще гораздо больше, чем мы.

Оба они оказались правы, и все кончилось к обоюдному удовольствию.

Иван Сергеевич ночевал внизу, в кабинете отца.

Когда все разошлись, я проводил его в его комнату, и пока он раздевался, я посидел на его постели и завел разговор об охоте.

Он спросил меня, умею ли я стрелять?

Я ответил, что да, но что я не хожу на охоту, потому что у меня плохое одноствольное ружье.

— Я подарю вам ружье,— сказал он,— у меня в Париже их два, и одно из них мне совсем не нужно. Оно недорогое, но хорошее. Когда я в следующий раз приеду в Россию, я привезу его.

Я сконфузился, благодарил и был страшно счастлив, что у меня будет «центральное» ружье.

К сожалению, после этого Тургенев в России больше не был [16].

Ружье, о котором он говорил, я впоследствии хотел выкупить у его наследников не как «центральное», а как «тургеневское», но мне это не удалось.

Вот все, что я помню об этом милом, наивно-сердечном, с детскими глазами и детским смехом, человеке, и в моем представлении величие его сливается с обаянием добродушия и простоты.

В 1883 году папá получил от Ивана Сергеевича его последнее, предсмертное письмо, написанное карандашом, и я помню, с каким волнением он его читал. А когда пришло известие о его кончине, папá несколько дней только об этом и говорил и везде, где мог, выискивал разные подробности о его болезни и последних днях.

Кстати, раз мне пришлось упомянуть об этом письме Тургенева, я хочу сказать, что папá искренно возмущался, когда слышал в применении к себе заимствованный из этого письма эпитет «великий писатель земли Русской» [17].

Он вообще всегда ненавидел избитые эпитеты, а этот он даже считал нелепым.

— Почему «писатель земли»? В первый раз слышу, чтобы был писатель земли. Бывает же, что привяжутся люди к какой-нибудь бессмыслице и повторяют ее без всякой надобности.

Выше я привел выдержки из писем Тургенева, из которых видно, с каким неизменяемым постоянством он превозносил литературные дарования отца.

К сожалению, я не могу сказать того же про отношение к Тургеневу моего отца.

Страстность его натуры проявилась и здесь.

Личные отношения мешали ему быть объективным.

В 1867 году по поводу только что появившегося романа «Дым» он пишет Фету: «В «Дыме» нет ни к чему почти любви и нет почти поэзии. Есть любовь только к прелюбодеянию, легкому и игривому, и потому поэзия этой повести противна... Я боюсь только высказывать это мнение, потому что я не могу трезво смотреть на автора, *личность которого не люблю*» [18].

В 1865 году он пишет тому же Фету: «Довольно» мне не понравилось. Личное — субъективное хоро-

шо только тогда, когда оно полно жизни н страсти, а тут субъективиость, полиая безжизнениого страдаиия»[19].

В 1883 году, осенью, уже после смерти Тургеиева, когда вся наша семья переехала на зиму в Москву, отец остался в Ясиой Поляне одии, в обществе Агафьн Михайловиы, и начал уснлеино перечитывать всего Тургеиева.

Вот что он в это время пишет моей матери:

«...О Тургеневе все думаю и ужасно люблю его, жалею н все читаю. Я все с иим живу. Непремеино или буду читать, или иапншу н дам прочесть о ием. Скажн так Юрьеву...»[20].

«...Сейчас читал тургеневское «Довольно». Прочтн' что за прелесть...»[21].

К сожалеиию, предполагавшееся публичиое чтеиие отца о Тургеневе ие состоялось.

Правительство, в лнце миинстра графа Д. А. Толстого, запретило ему прннести эту последнюю дань своему умершему другу, с которым он всю жнзнь ссорился только потому, что ои ие мог быть к иему равиодушеи.

ГЛАВА XVIII

Гаршин

Мои воспомииания о Всеволоде Михайловиче Гаршине отиосятся к периоду моего детства, н поэтому оии, к сожалению, ие полиы и отрывочиы.

Он посетил Ясиую Поляиу раииеи весной 1880 года.

Впоследствии я узиал из его биографии, что в эту же весну ои из Тулы попал в Харьков н там был помещеи в психнатрическую лечебинцу.

Такнм образом, объясияются некоторые шероховатостн в поведеиии этого скромного н мнлого человека и броснвшиеся иам в глаза странности, благодаря которым я его и запомннл при первом же его появлеиии в Ясной Поляие.

Ннкому из иас в то время ие пришло в голову, что перед иами человек больиой, возбуждеииый иадвигающейся болезиью и потому ие вполне нормальный.

Мы объяснили себе его странности простым чудачеством.

Мало ли у нас в Ясной перебывало чудаков!

Это было в шестом часу вечера.

Мы сидели в зале за большим столом и кончали обед.

Подавая последнее блюдо, лакей Сергей Петрович доложил отцу, что внизу его дожидается какой-то «мужчина».

— Что ему надо? — спросил папа́.

— Он ничего не сказал, хочет вас видеть.

— Хорошо, я сейчас приду.

Не доев пирожного, папа́ встал из-за стола и пошел вниз по лестнице.

Мы, дети, тоже повскакали с своих мест и побежали за ним.

В передней стоит молодой человек, довольно бедно одетый и не снимая пальто.

Папа́ здоровается с ним и спрашивает: «Что вам угодно?»

— Прежде всего мне угодно рюмку водки и хвост селедки,— говорит человек, глядя в глаза отца смелым лучистым взглядом, наивно улыбаясь.

Никак не ожидавший такого ответа, папа́ в первую минуту как будто даже растерялся.

Что за странность? человек трезвый, скромный, на вид, по-видимому, интеллигентный, что за дикое знакомство?

Он взглянул на него еще раз своим глубоким, пронизывающим взглядом, еще раз встретился с ним глазами и широко улыбнулся.

Улыбнулся и Гаршин, как ребенок, который только что наивно подшутил и смотрит в глаза матери, чтобы узнать, понравилась ли его шутка.

И шутка понравилась.

Нет, конечно, не шутка, а понравились глаза этого ребенка — светлые, лучистые и глубокие.

Во взгляде этого человека было столько прямоты и одухотворенности, вместе с тем столько чистой, детской доброты, что, встретив его, нельзя было им не заинтересоваться и не пригреть его.

Вероятно, это же почувствовал и Лев Николаевич.

Сказав Сергею подать водки и какой-нибудь закуски, он отворил дверь в кабинет и попросил Гаршина снять пальто и взойти.

— Вы, верно, озябли,— ласково сказал он, внимательно вглядываясь в гостя.

— Не знаю, кажется, немножко озяб, ехал долго.

Выпив рюмку водки и закусив, Гаршин назвал свою фамилию и сказал, что он «немножко» писатель.

— А что вы написали?

— «Четыре дня». Этот рассказ был напечатан в «Отечественных записках» [1]. Вы, верно, не обратили на него внимания.

— Как же, помню, помню. Так это вы написали, прекрасный рассказ. Как же, я даже очень обратил на него внимание. Вот как, стало быть, вы были на войне?

— Да, я провел всю кампанию [2].

— Воображаю, сколько вы видели интересного. Ну, расскажите, расскажите, это очень интересно.

И отец стал расспрашивать Гаршина последовательно и подробно о том, что ему пришлось видеть и пережить.

Папа́ сидел рядом с ним на кожаном диване, а мы, дети, расположились вокруг.

Я, к сожалению, не помню точно этого разговора и не берусь его передать.

Я помню только, что было очень и очень интересно.

Того человека, который удивил нас в передней, теперь уже не было.

Перед нами сидел умный и милый собеседник, ярко и правдиво рисовавший нам картины пережитых ужасов войны, и рассказы его были так увлекательны, что мы весь вечер просидели с ним, не отрывая от него глаз и слушая.

Припоминая этот вечер теперь, когда я уже знаю, что бедный Всеволод Михайлович был в то время на границе тяжелого психического недуга, и ища в своем впечатлении о нем признаков этого заболевания, могу сказать, что некоторая его ненормальность проявилась разве только в том, что он говорил слишком много и слишком интересно.

С ярко горящими, широко открытыми глазами, он выбрасывал нам одну картину за другой, и чем больше он говорил, тем образнее и выразительнее становилась его речь.

Когда он временами замолкал, выражение его лица изменялось, и на нас опять смотрел милый и кроткий ребенок.

Я не помню, ночевал ли он в Ясной или уехал в этот же день.

Через несколько дней он приехал к нам опять, но на этот раз верхом на неоседланной лошади.

Мы увидали его из окна едущим по прешпекту.

Он разговаривал сам с собой и как-то странно и широко размахивал руками.

Подъехав к дому, он слез с лошади, держа ее в поводу, потребовал у нас карту России. Кто-то спросил его, зачем она ему нужна?

— Мне надо посмотреть, как мне проехать в Харьков, я еду в Харьков к матери.

— Как, верхом?

— Ну да, верхом, что же тут удивительного?

Мы достали атлас, вместе с ним разыскали Харьков, он записал попутные города, простился и уехал.

Впоследствии оказалось, что Гаршин приезжал к нам на лошади, которую он каким-то путем выпряг у тульского извозчика.

Хозяин лошади, не подозревавший того, что он имеет дело с человеком больным, потом долго его разыскивал и с трудом отобрал свою лошадь назад.

После этого Гаршин исчез.

Как он добрался до Харькова и как он попал там в больницу, я уже не знаю.

Через несколько лет вышли две тоненькие книжки его рассказов[3].

Я прочел их, когда был уже взрослым юношей, и нечего мне говорить о том впечатлении, которое они на меня произвели.

Неужели это написал тот человек с особенными глазами, который сидел тогда в кабинете на кожаном диване и рассказывал так много и интересно?

Да, да, конечно, это он, и в этих двух книжечках я узнаю его.

Но теперь детская, мнмолетиая симпатня к незнакомцу, случайно промелькиувшему, переходит в глубокую любовь к человеку и художиику, и мие дорого, что в моей памяти остались хотя бы этн отрывочные и грустные воспомииаиия.

Еще раз мие посчастлнвилось видеть Гаршина у нас в Москве [4].

Это было приблизительио за год до его смерти.

Кажется, что в это время отца ие было дома и его приияла мать.

Он был грустеи и молчалив и пробыл у иас недолго.

Я помию, что мамá спросила его, отчего ои так мало пишет.

— Разве можио писать, когда весь деиь я заият своей службой, от которой болит и тупеет голова,— ответил ои с горечью и задумался.

Мамá стала расспрашивать его о его частной жнзии и отиеслась к иему очеиь тепло и сочувствеиио.

Меия и тогда поразнли его большие красивые глаза, глубоко оттеиеиные длиииыми ресиицами, и я невольио сравиил их с темн глазами, которые я у иего видел раньше.

Оии были все те же; но тогда в иих светилась энергия и смелость, а теперь оии были грустиые и задумчивые.

Жизиь отняла у иих блеск и взамеи его заволокла их пелеиой печали.

И эта печаль чувствовалась во всем его существе.

С иим хотелось говорнть тихо и ласково и хотелось как-иибудь пригреть и прнласкать его.

Когда я узиал о его коичине, я ие удивился.

Такие люди подолгу ие живут.

Отвечая по своему разумеиию иа этот вопрос, который поставила Гаршиину моя мать: почему ои мало писал,— я повторил бы то, что говорил Тургеиев про покойиого Николая Николаевича Толстого, брата моего отца:

«Гаршии писал мало, потому что у иего были все качества, ио ие было тех недостатков, которые иужиы для того, чтобы быть большим писателем».

ГЛАВА XIX

Первые «темные». Убийство Александра II. Шпион

Революционное движение, приведшее Россию к 1 марта 1881 года, почти не касалось Ясной Поляны, и мы знали о нем только по газетным описаниям разных покушений, которые в то время повторялись чуть не каждый год.

Иногда к папá приезжали какие-то «темные» люди, которых он принимал у себя в кабинете и с которыми всегда горячо спорил.

Большею частью эти лохматые, немытые посетители показывались в Ясной только один раз и, не встретив сочувствия отца, исчезали навсегда.

Возвращались только те, которые заинтересовывались новыми для них христианскими идеями отца, и я еще с детства помню некоторых «нигилистов», которые впоследствии часто появлялись в Ясной и под влиянием отца совершенно отпали от террора. Не признавая насилия, отец не мог одобрять террористических методов революционеров. Глубоко веря в принцип непротивления, он априорно считал, что насилие не может привести к добру.

«Революционер и христианин,— говорил отец,— стоят на двух крайних точках несомкнутого круга. Поэтому их близость только кажущаяся.

В сущности, более отдаленных друг от друга точек нет.

Для того чтобы им сойтись, надо вернуться назад и пройти весь путь окружности».

Мы узнали об убийстве Александра II так[1].

Первого марта папá, по обыкновению своему, ходил перед обедом гулять на шоссе.

После снежной зимы началась ростепель.

По дорогам были уже глубокие просовы, и лощины набухли водой.

По случаю плохой дороги в Тулу не посылали, и газет не было.

На шоссе папá встретил какого-то странствующего итальянца с шарманкой и гадающими птицами.

Он шел пешком из Тулы.

Разговорились: «Откуда? Куда?»

— Из Туль, дела плох, сам не ел, птиц не ел, царя убиль.

— Какого царя, кто убил? когда?

— Русский царь, Петерсбург, бомба кидаль, газет получаль.

Придя домой, папа́ тут же рассказал нам о смерти Александра II, и пришедшие на другой день газеты с точностью это подтвердили.

Я помню, какое удручающее впечатление произвело на отца это бессмысленное убийство. Не говоря уже о том, что его ужасала жестокая смерть царя, «сделавшего много добра и всегда желавшего добра людям, старого, доброго человека» [2], он не мог перестать думать об убийцах, о готовящейся казни и «не столько о них, сколько о тех, кто готовился участвовать в их убийстве, и особенно Александре III» [3].

Несколько дней он ходил задумчивый и пасмурный и наконец надумал написать новому государю Александру III письмо.

Много было разговоров о том, в каком тоне писать это письмо, писать ли его с обычным воззванием, требуемым этикетом, или просто с обращением, общепринятым между простыми смертными, написать ли его своей рукой или дать его переписать жившему у нас в то время переписчику Александру Петровичу Иванову,— посылали в Тулу за хорошей бумагой, письмо перемарывалось и переписывалось начисто несколько раз,— и наконец папа́ послал его в Петербург Н. Н. Страхову, с просьбой передать его государю через К. П. Победоносцева [4].

Как крепко он верил тогда в силу своего убеждения! Как он надеялся, что преступников — не простят, нет, на это он не надеялся, а хоть не казнят!

И он с трепетом следил за газетами и все надеялся и ждал, пока не прочел, что всех участников этого дела повесили.

После отец узнал, что Победоносцев даже и не передал письма по назначению, а вернул его обратно, потому что, как он писал в письме к отцу, он «по своей вере» не мог исполнить этого поручения [5].

Письмо это попало в руки государя через одного знакомого. Говорят, что, прочтя его, Александр III сказал:

— Если бы преступление касалось меня лично, я имел бы право помиловать виновных, но за отца я этого сделать не могу.

Я помню, что эта казнь нескольких человек, и в том числе женщины, поразила не только отца, но и нас, детей.

Со временем количество «темных», посещавших Ясную Поляну, стало постепенно увеличиваться.

Теперь среди них революционеров почти не было, а большинство из них были уже или единомышленники отца, или люди ищущие, пришедшие к нему за советом и нравственной помощью.

Сколько таких людей у него перебывало!

Всех возрастов и всех профессий.

Сколько людей, глубоко убежденных и искренних, и сколько фарисеев, ищущих только того, чтобы потереться около имени Толстого и извлечь из этого какую-нибудь выгоду.

Сколько оригиналов — почти юродивых.

Был, например, и жил довольно долго в Ясной Поляне какой-то старый швед, который и зиму и лето ходил босой и полураздетый [6].

Его принцип был «опрощение» и приближение к природе.

Одно время он заинтересовал отца, но кончилось тем, что он в своем «опрощении» зашел слишком далеко, сделался циничен и просто непристоен, и его пришлось из дома выгнать.

В другой раз явился господин, питавшийся одни раз в два дня. Он приехал в Ясную в тот день, когда ему есть не полагалось.

Целый день, начиная с утра, у нас еда не сходила со стола, пили чай, кофе, завтракали, обедали, опять пили чай с печеньями и хлебом,— а он сидел в стороне и ни до чего не прикасался.

— Я вчера ел,— говорил он скромно, когда ему что-нибудь предлагали.

— Что же вы съедаете в те дни, когда едите? — спросил кто-то.

Оказывается, что он съедает только один фунт хлеба, один фунт овощей и один фунт фруктов[7].

— И не очень худой,— удивлялся на него отец.

Бывал еще довольно часто у отца высокий блондин — морфинист Озмидов, доказывавший христианское учение математическими формулами; был никудышник брюнет Попов, жил на деревне и работал выкрещенный еврей Файнерман и, наконец, появился подосланный Третьим отделением шпион Симон.

Как-то летом, гуляя по саду, мы наткнулись на молодого человека, сидящего на канаве и спокойно курящего папироску.

Наши собаки кинулись к нему и залаяли.

Мы исподтишка подтравили собак, а сами убежали в другую сторону.

Через несколько дней этот же молодой человек встретился с нами опять на дороге, недалеко от дома.

Увидав нас, он приветливо поздоровался и вступил с нами в разговор.

Оказалось, что он поселился на деревне, в избе одного из наших дворовых, и живет здесь на даче с своей невестой Адей и ее матерью.

— Заходите попить чайку,— обратился он ко мне.— Мне скучно, посидим, поболтаем, я вам кое-что расскажу, и, кстати, вы поможете мне в одном деле. Я на днях собираюсь жениться, а у меня нет шафера. Я надеюсь, что вы не откажете сделать мне это удовольствие.

Предложение было заманчиво, и я согласился.

Через несколько дней Симон успел настолько очаровать меня, что мы сделались большими друзьями, и я каждый день ходил к нему в гости и часто подолгу у него засиживался.

В день свадьбы я отпросился у родителей на целый день, надел чистую курточку и был очень горд своей ролью шафера.

Вернувшись из церкви, мы обедали у молодых и пили за их здоровье наливку.

Заметив мое увлечение новым знакомством, мама́ насторожилась и стала меня сдерживать.

Одним из ее аргументов против Симона было то, что порядочный человек, принимающий у себя мальчи-

ка, должен по правилам вежливости прежде всего познакомиться с родителями.

— Не могу же я пускать сына к человеку, которого я совсем не знаю.

Я передал это Симону, и он в тот же день пошел к мама́ и извинился за то, что не представился ей раньше.

После этого он познакомился с отцом и стал иногда бывать у нас в доме.

К нему привыкли и принимали его просто и ласково, как своего человека.

Иногда он принимал участие в полевых работах отца и, казалось, вполне разделял его убеждения.

Осенью, уезжая из Ясной Поляны, он пришел к отцу и искренне покаялся в своем преступлении. Он сознался отцу, что он был шпионом, командированным Третьим отделением для наблюдения за ним и за всеми остальными посетителями Ясной Поляны.

Другой человек, появившийся в Ясной Поляне значительно позднее Симона и игравший тоже довольно некрасивую роль, был тульский острожный священник, периодически наезжавший в Ясную Поляну для религиозных собеседований с отцом[8].

Своим лжелиберальным тоном он вызывал отца на откровенности и делал вид, что очень интересуется его идеями.

— Что за странный человек,— удивлялся на него отец,— и, кажется, искренний.

Я спрашивал, не поставит ли ему в вину его начальство то, что он так часто ко мне ездит,— он на это не обращает никакого внимания.

Я, наконец, стал думать, что он ко мне подослан нарочно, и высказал ему это предположение, но он уверяет, что он бывает у меня по своему собственному почину.

Впоследствии оказалось, что синод, после отлучения отца от церкви, ссылался на этого священника, который бесплодно «вразумлял» Льва Николаевича по его поручению.

В последний раз он был у отца уже после его отлучения, во время одной из его болезней.

Ему сказали, что папа́ болен и принять его не может.

Это было летом.

Священник сел на террасе и заявил, что он не уедет, пока лично не повидается с Львом Николаевичем.

Прошло часа два — он упорно сидит и не уезжает.

Пришлось объясниться с ним очень резко и попросить его уехать.

С тех пор я его уже не видал ни разу.

ГЛАВА XX

Конец 1870-х годов. Перелом. Шоссе

Подхожу теперь к периоду нравственного перелома в жизни отца и с ним и перелома всей нашей семейной жизни.

Скажу сначала, как я себе этот перелом объясняю.

Отцу под пятьдесят лет. Пятнадцать лет безоблачного семейного счастья пролетели как одно мгновение. Многие увлечения уже пережиты. Слава уже есть, материальное благосостояние обеспечено, острота переживаний притупилась, и он с ужасом сознает, что постепенно, но верно подкрадывается конец.

Два брата его, Дмитрий и Николай, умерли молодыми от чахотки. Он сам часто болел на Кавказе, и призрак смерти его пугает. Он регулярно ездит в Москву к знаменитому профессору Захарьину и, по его совету, едет в самарские степи на кумыс. Одно лето он проводит там один, потом покупает там имение, разводит там огромный конный завод (опять увлечение), и три лета подряд вся семья ездит на несколько месяцев в самарские степи на кумыс.

Между тем «опостылевшая» ему «Анна Каренина» подходит к концу.

Надо опять что-то писать. Но что? Несмотря на восторженные отзывы критики Страхова [1], Громеки [2] и др., он сам в глубине души чувствовал, что «Анна Каренина» слабее «Войны и мира». Многие типы «Войны и мира» повторяются в «Анне Карениной» и теряют в яркости. Наташа поблекла в Кити, Платона Каратаева, отца и сына Болконских нет (сама «Анна Каренина», дав имя роману, не создала бессмертного литера-

турного типа, как типы Наташи и княжны Марьи), и нет того эпического гомеровского размаха, который так удивительно вылился в его первой поэме. Что писать дальше? Неужели еще раз повторять те же типы в иной перестановке и напрягать опять свое воображение и память, создавая новые художественные положения и новые психологические переживания.

Он начинает порывисто искать. Одно время ему кажется, что он может увлечься эпохой декабристов. Он изучает материалы и даже набрасывает начало нового романа[3].

Но нет, новый замысел недостаточно его завлекает, другие, более глубокие вопросы встают перед ним, и он начинает метаться.

В молодости своей он одно время сильно увлекался идеями Руссо и вообще философией.

По его кавказским дневникам видно, как часто он размышлял о религии и о боге.

По природе своей он был человек с глубокими религиозными задатками, но до сих пор он только искал, но ничего определенного еще не нашел.

В церковную религию он верил, как верит в нее большинство, не углубляясь и не размышляя. Так верят все, так верили его отцы и деды, и пусть это так и будет.

Но вот настало время, когда увлечения уже более не наполняют его жизни и впереди пустота, старость, страдания и смерть.

Он видит себя над глубокой пропастью, и две мыши, белая и черная (дни и ночи), неустанно и верно подтачивают тот корень, на котором он держится, и он видит зияющую под ним пропасть и ужасается.

Что делать? Куда деваться? Неужели нет спасения?

Присужденный к смерти часто прибегает к самоубийству. Уж не лучше ли не дожидаться, пока белая и черная мыши завершат свою роковую работу, и не лучше ли покончить сразу, без пытки ожидания?

Переживания последних лет жизни Гоголя во многом очень сходны с переживаниями отца. Та же разочарованность, тот же беспощадный и правдивый анализ самого себя и то же безысходное отчаяние.

Гоголь сжег вторую часть «Мертвых душ», потому что, озарениый новым светом, он перестал видеть те красоты, которые его раньше привлекали. Если бы отец мог в то время сжечь «Аину Карениину», он также не задумался бы это сделать, н рука его, предающая пламени работу миогих лет, не дрогнула бы.

— Ничего иет ин трудиого, ни хорошего в описании любовиых похождений дамы н офнцера,— говорил он об «Аиие Карениной».

Разница между Гоголем н отцом лишь та, что несчастный Нколай Васнльевич так н умер в отрнцаинн н не дорос, не дожнл до положнтельного миросозерцаиия, а отец, благодаря своей огромной жизненной силе, воле н уму, пережнл свой десятнлетиий нравственный кризнс и создал нз него свое «духовиое воскресеиие».

Недаром отец в то время с увлеченнем перечитывал гоголевскую «Переписку с друзьями» и умилялся ей[4].

Духовный перелом отца нельзя рассматривать как нечто иовое в его жизни и иеожнданное. Этн сомиения и нскаиия суть лишь продолженне того непрестаиного искаиия, которое началось с его юиошеских лет, проходит через всю его жизнь и было лишь частично и времеино заглушено его художественной деятельностью и увлеченнем новой для него семейной жизнью.

Напомню попутно, что отец мой не знал семейной жизни в детстве. Он не помнил своей матерн н лишнлся отца, когда ему было только девять лет.

Привыкшнй всю жизнь побеждать н властвовать, отец вдруг вндит себя перед чем-то непобеднмым.

Неужелн смерть есть смерть — н больше ничего? Он н раньше задумывался над этнм вопросом.

В «Трех смертях» художник, живущий в нем, подсказал ему ответ на этот вопрос, но теперь ему этого ответа было мало.

Конечно, чем блнже к природе, тем смерть становнтся проще н естественней; смерть чваиной барыни ужасна, смерть мужика примиряюща, смерть березки даже краснва, но все же это — смерть.

И не столько смерть страшна, сколько ужасен непрестанный страх смертн.

Внешнего спасения нет, но внутреннее спасение должно быть, и его надо найти.

Надо прежде всего найти бога.

Позволю себе привести здесь один дивный рассказ, который я когда-то слышал из уст Горького. Рассказ этот как нельзя лучше живописует тогдашний период исканий моего отца.

Жил где-то в глуши Костромской губернии мужик. Был он богат, имел постоялый двор, несколько упряжек лошадей, красавицу жену, хороших детей, был церковным старостой, отлил для церкви тысячепудовый колокол и был счастлив и всеми чтим.

И вот повторилась с ним история Иова. Случился пожар, падеж скота, жена и дети умерли от эпидемии, и остался мужик нищим и одиноким.

И пошел мужик к попу и говорит ему: «Батюшка, я богом недоволен. Жил я праведной жизнью, жертвовал на церковь, ходил к обедне, и вот я наказан. За что?»

— Приходи ко мне в церковь после вечерни,— сказал поп,— я скажу тебе тогда, что делать.

И вот пришел мужик после вечерни в церковь, и поп велел ему остаться в церкви всю ночь — и молиться иконам.

Остался мужик в церкви один, кругом темно. Только на паперти перед иконой мигает восковая свечка. Мужик стал на колени и начал молиться. Промолился всю ночь. Последняя свечка догорела и погасла, а мужик все молится — и так до рассвета, до восхода солнца.

Когда в церкви стало светло, мужик встал на ноги и подошел к иконе вплотную. Видит, доска, а на доске нарисована картина. Пощупал — доска. Ковырнул краску ногтем, под краской дерево. Посмотрел на иконостас — везде те же крашеные доски.

В это время щелкнул дверной замок, и вошел поп.

— Ну что, помолился, раскаялся?

— Нет, батюшка, не раскаялся. Не нашел я тут бога, не бог это, а доски размалеванные.

— Ах ты, кощунственник этакий,— закричал на него поп,— уходи вон отсюда да не показывайся мне на глаза, а то полиции донесу, и будешь ты в остроге сидеть.

Ушел мужик из церкви и пошел куда глаза глядят...

Увлечение отца православной церковью длилось, насколько я помню, около полутора года.

Я помню тот недолгий период его жизни, когда каждый праздник он ходил к обедне, строго соблюдал все посты и умилялся словам некоторых действительно хороших молитв.

С этого времени мы всё чаще и чаще стали слышать от него разговоры о религии.

Кто бы ни приехал в Ясную Поляну, тульский ли губернатор Ушаков, редстокист ли граф Бобринский[5], Страхов, Фет, Раевский, Петр Федорович Самарин, Урусов — все равно,— разговор непременно переходил на религиозные темы, и подымались нескончаемые споры, в которых отец часто бывал резок и неприятен. Вместе с папа́ стали богомольнее и мы.

Раньше мы постились только на первой и последней неделе великого поста, а теперь, с 1877 года, мы стали поститься все посты сплошь и ревностно соблюдали все церковные службы.

Летом, успенским постом, мы говели.

Я помню, как возили нас в церковь на катках (линейке), и мы все были тогда в повышенном религиозном настроении: вспоминали грехи и торжественно готовились к исповеди.

В этот год лето было дождливое и грибное.

По дороге в церковь, по большаку, росло необычайно много шампиньонов, и мы останавливались, набирали их в шляпы и привозили домой.

Летом 1879 года у нас в Ясной Поляне гостил рассказчик былин Щеголенков.

Его звали по отчеству — Петровичем.

Его манера пересказывать былины была похожа на пение слепых, но в его голосе не было той противной гнусоватости, которая в них действовала на меня всегда отталкивающе.

Почему-то я помню его сидящим на каменных ступенях, на балконе, против кабинета отца.

Когда он рассказывал, я любил разглядывать его длинную, жгутами свившуюся седую бороду, и его бесконечные повести мне нравились.

В них чувствовалась глубокая старина и веками нарощенная здравая мудрость народа.

Папá слушал его с особенным интересом, каждый день заставлял рассказывать его что-нибудь новое, и у Петровича всегда что-нибудь находилось.

Он был неистощим.

Из его рассказов отец впоследствии заимствовал несколько сюжетов для своих народных повестей («Чем люди живы», «Три старца»).

Мне трудно теперь разбираться в детских переживаниях того времени.

Я помню только общее впечатление, которое сводилось к тому, что папá стал не тот и что-то с ним делается.

Весною 1878 года, великим постом, папá говел, а летом он был в Оптиной пустыни у старца отца Амвросия. В эти годы он был там дважды — в 1877 и 1881 году[6].

Второй раз ходил он пешком с лакеем Сергеем Петровичем Арбузовым, который сам вызвался идти с ним в качестве товарища, в лаптях, с котомкой за плечами, и, несмотря на натертые на ногах мозоли, о путешествии своем он сохранил самые лучшие воспоминания.

Но монастырь и сам знаменитый отец Амвросий разочаровали его жестоко.

Придя туда, они, конечно, остановились в страноприимном доме, в грязи и во вшах, обедали они в страннической харчевне и как рядовые паломники должны были беспрекословно терпеть и подчиняться казарменной дисциплине монастыря.

— Приходи сюда, садись тут, вот твоя койка, старик,— и т. д.

Сергей Петрович, чтивший «графа», как может чтить только человек, родившийся еще во времена крепостного права, в конце концов не мог выдержать такого обращения с своим кумиром и, несмотря на просьбы отца не говорить, кто он, проболтался одному из монахов.

— А вы знаете, кто этот старик со мной? Это сам Лев Николаевич Толстой.

— Граф Толстой?

— Да.

И вдруг все изменилось.

Монахи прибежали к отцу.

— Ваше сиятельство, пожалуйте в гостиницу, для вас отвели лучший номер, ваше сиятельство, что прикажете сготовить вам покушать,— и т. д.

Такое чинопочитание и, с одной стороны, грубость, с другой — низкопоклонство произвели на отца очень отрицательное впечатление.

Не изгладилось оно и после свидания его с Амвросием, в котором он ничего особенно хорошего и достойного не нашел.

Он вернулся из Оптиной пустыни недовольный, и вскоре после этого мы все чаще и чаще стали слышать от него сначала осуждение, а потом и полное отрицание всяких церковных обрядов и условностей.

Православие отца кончилось неожиданно.

Был пост. В то время для отца и желающих поститься готовился постный обед, для маленьких же детей и гувернанток и учителей подавалось мясное.

Лакей только что обнес блюда, поставил блюдо с оставшимися на нем мясными котлетами на маленький стол и пошел вниз за чем-то еще.

Вдруг отец обращается ко мне (я всегда сидел с ним рядом) и, показывая на блюдо, говорит:

— Илюша, подай-ка мне эти котлеты.

— Левочка, ты забыл, что нынче пост,— вмешалась мама́.

— Нет, не забыл, я больше не буду поститься и, пожалуйста, для меня постного больше не заказывай.

К ужасу всех нас он ел и похваливал.

Видя такое отношение отца, скоро и мы охладели к постам, и наше молитвенное настроение сменилось полным религиозным безразличием.

Я рассказываю о нравственных переживаниях отца эпизодами, так, как они представлялись тогда тринадцатилетнему мальчику. В мою задачу не входит анализ той огромной и интенсивной работы ума, которую он в это время совершил. Пусть те, которые этим интересуются, прочтут книгу Бирюкова[7], или, еще лучше, пусть они прочтут труды моего отца самого. Там они

увидят, почему отец не мог помириться с церковью и с ее искажением учения Христа.

Разочаровавшись в церкви, отец заметался еще больше. Начался в высшей степени мрачный период сжигания кумиров.

Он, идеализировавший семейную жизнь, с любовью описавший барскую жизнь в трех романах и создавший свою, подобную же обстановку, вдруг начал ее жестоко порицать и клеймить; он, готовивший своих сыновей к гимназии и университету по существующей тогда программе, начал клеймить современную науку; он, ездивший сам за советами к доктору Захарьину и выписывавший докторов к жене и детям из Москвы, начал отрицать медицину; он, страстный охотник, медвежатник, борзятник и стрелок по дичи, начал называть охоту «гонянием собак»; он, пятнадцать лет копивший деньги и скупавший в Самаре дешевые башкирские земли, стал называть собственность преступлением и деньги развратом; и, наконец, он, отдавший всю жизнь изящной литературе, стал раскаиваться в своей деятельности и чуть не покинул ее навсегда.

Я помню, что этот период исканий отца отразился на моей личной жизни очень тяжело. Мне было тогда тринадцать-четырнадцать лет. Я переживал трудный переход из детства в юность. Я помню, что я сознал его только тогда, когда он уже давно совершился.

Мне стало жаль своего детства, и я заплакал.

Насколько мое детство было светло и безоблачно, настолько же сумрачна была пора отрочества.

Есть ли это общий удел всех, или у каждого человека эта пора протекает различно — не знаю. В это время характер человека складывается, и мальчик особенно нуждается в руководстве, а я это руководство потерял. Оно раздвоилось. Все новые, следовавшие одно за другим открытия отца противоречили старым устоям, в которых мы выросли, и я метался, как магнитная стрелка между двумя полюсами, сбиваясь со стороны в сторону, беспомощно крутясь. Эта неустойчивость так и осталась в моем характере надолго, не навсегда ли?

Весь мир разделился для меня тогда на два лагеря.

Папá — с одной стороны, а мамá и все остальные люди — с другой. Куда перейти?

И вот случилось со мной то, что и должно было случиться с мальчиком моих лет. Я стал брать и от отца и от матери только то, что мне было выгодно и нравилось, и откидывать то, что мне казалось тяжелым. Охота меня увлекает — я буду охотиться; пирожное сладко — я его хочу; учение скучно и трудно — я не хочу учиться, потому что папá говорит, что наука не нужна, я пойду на деревню кататься с гор на скамейках с деревенскими ребятишками, потому что папá говорит, что они лучше нас, господ.

Но что должна была переживать в это время моя мать! Она любила его всем своим существом. Она почти что создана им. Из мягкой и доброкачественной глины, какою была восемнадцатилетняя Сонечка Берс, отец вылепил себе жену такою, какой он хотел ее иметь, она отдалась ему вся и для него только жила — и вот она видит, что он жестоко страдает, и, страдая, он начинает от нее отходить дальше и дальше, ее интересы, которые раньше были их общими интересами, его уже не занимают, он начинает их критиковать, начинает тяготиться общей с ней жизнью. Наконец, начинает пугать ее разлукой и окончательным разрывом, а в это время у нее на руках огромная и сложная семья. Дети от грудных до семнадцатилетней Тани и восемнадцатилетнего Сережи.

Что делать? Могла ли она тогда последовать за ним, раздать все состояние, как он этого хотел, и обречь детей на нищету и голод?

Отцу было в то время пятьдесят лет, а ей только тридцать пять. Отец — раскаявшийся грешник, а ей не в чем раскаиваться. Отец — с его громадной нравственной силой и умом, она — обыкновенная женщина; он — гений, стремящийся объять взглядом весь горизонт мировой мысли, она — рядовая женщина с консервативными инстинктами самки, свившей себе гнездо и охраняющей его.

Где та женщина, которая поступила бы иначе? Я таких не знаю ни в жизни, ни в истории, ни в литературе.

В этом случае мою мать можно пожалеть, но осуждать нельзя.

Она была счастлива в первые годы своей замужней жизни, но после 1880-х годов счастье ее померкло и никогда больше не возвратилось.

Но больше всего, конечно, страдал сам отец.

Он стал необщителен, сумрачен, раздражителен, часто из-за пустых мелочей ссорился с мама́, и из прежнего веселого и жизнерадостного руководителя и товарища он обратился в наших глазах в строгого проповедника и обличителя.

Все чаще и чаще слышали мы от него резкие порицания пустой, барской жизни, обжорства, обирания трудового народа и праздности.

«Мы вот сидим в теплых комнатах, а нынче на шоссе нашли замерзшего человека.

Он замерз потому, что никто не пустил его ночевать.

Мы объедаемся котлетами да разными пирожными, а в Самаре народ тысячами пухнет и умирает с голода.

Мы ездим на лошадях купаться, а у Прокофия околел последний мерин, и ему не на чем вспахать загон».

Не могу сказать, чтобы такие простые слова отца не были понятны даже для детей.

Мы, конечно, их понимали.

Но это мешало нашему эгоистичному детскому счастью и резко нарушало всю нашу жизнь.

Затевается в Ясной любительский спектакль, приехали две баронессы Менгден, Нуня Новосильцева, Кисленские, всем весело, игры, крокет, разговоры о влюбленни — вдруг придет папа́ и одним словом или, даже хуже, одним взглядом возьмет и испортит все. И становится скучно и иногда даже как будто немножко стыдно.

Лучше бы он не приходил.

И хуже всего то, что и он это чувствовал. И ему не хочется нарушать наше веселье,— ведь он нас всех очень любит,— а все-таки выходит так, что испортил.

Ничего не сказал, а подумал.

И мы все знаем, что. И от этого нам так неприятно.

Между тем жизнь нашей семьи, направленная по определенному руслу, продолжала течь и развиваться.

Все тот же Николай-повар, тот же «анковский пирог», перенесенный к нам из семьи Берсов и уже успевший пустить глубокие корни в Ясной Поляне, те же гувернеры и гувернантки, те же уроки, те же грудные дети, которых постоянно кормит мама́,— все эти незыблемые устои, на которые опиралась жизнь нашего муравейника, были еще прочны и так же, как и раньше, всем нам эгоистически необходимы.

Правда, чувствовалась некоторая тяжелая раздвоенность, чувствовалось, что чего-то главного стало не хватать, потому что папа́ все больше и больше стал от нас отходить, часто бывало очень и очень тяжело, но изменить жизнь так, как хотел этого он, мы не могли потому, что это казалось нам совершенно немыслимым.

В борьбе идеи с традициями, в борьбе «жизни по-божьи» с «анковским пирогом» случилось то, что всегда случается в подобных случаях в жизни людей: традиции победили, а идеи сделали только то, что они своей горечью немножко испортили сладость нашего пирога.

Как можно было совместить жизнь «по-божьи», жизнь странников и мужиков, которыми так восхищался папа́, с теми непогрешимыми основами, которые были внушены нам с самой нашей колыбели: с непременной обязанностью есть за обедом суп и котлеты, с говорением по-английски и по-французски, с приготовлением нас в гимназию и университет?

И часто нам, детям, казалось, что не мы не понимаем папа́, а как раз наоборот: он нас перестал понимать, потому что он занят чем-то «своим».

Это «свое» были его новые мысли и кучи книг, которые появились у него в кабинете.

Он привез откуда-то целые горы разных прологов и поучений отцов церкви и целыми днями, запершись внизу, в своем кабинете, сидел, читал и что-то думал.

Иногда за обедом, или вечером за чаем, он заговаривал о своих мыслях, делился с нами или с случайными гостями своими новыми идеями, но мне и сейчас больно вспоминать эти жалкие его попытки заинтересовать других в том, что для него в то время было важнее самой жизни.

Тут готовится домашний спектакль, все увлечены приготовлениями. Кто-то в кого-то влюблен. Сережа упорно готовится к экзамену, мама́ озабочена тем, что у Андрюши зубы режутся и болит животик, мне подарили легавую собаку и ягдташ,— кому интересна нагорная проповедь и новое толкование религии Христа?

Вспоминая это время, я с глубоким ужасом представляю себе его душевное состояние.

Придя к полному отрицанию всего того, чему он до этого молился, придя к отрицанию той патриархальной барской жизни, которую он только что с любовью описывал и которую создал себе сам, придя к отрицанию всей своей предыдущей деятельности, начиная с войны и кончая литературной славой, семьей и религией,— как ужасно должно было быть для него его одиночество.

И оно было еще ужаснее тем, что это было одиночество человека в чуждой ему толпе.

Начав с отрицания и еще не найдя тех положительных начал любви, которые впоследствии дало ему изучение Евангелия и которые легли в основу всего его миросозерцания, он метался, как человек, приговоренный к смерти, и в продолжение двух лет боролся с искушением самоубийства.

Тогда он — «счастливый человек прятал от себя шнурок, чтобы не повеситься на перекладине, между шкапами, в своей комнате, где (он) каждый вечер бывал один, раздеваясь, и перестал ходить с ружьем на охоту, чтобы не соблазниться слишком легким способом избавления себя от жизни»[8].

И когда он, не выдерживая натиска мучивших его мыслей, выливал их пред нами, мы испуганно сторонились, чтобы он не испортил нам наше детское эгоистическое счастье.

Правда, иногда он вникал в нашу жизнь, интересовался нашими уроками и старался применяться к нашему пониманию, но чувствовалось, что он это делает искусственно, натянуто, не как отец, а как учитель. Он это сознавал и сам.

В одном из писем к В. И. Алексееву, относящемуся к 1882 году, описывая жизнь семьи, он говорит: «Сережа много занимается и верит в университет.

Таня полудобрая, полусерьезная, полуумная — не делается хуже,— скорее делается лучше. Илюша ленится, растет, и еще душа в нем задавлена органическими процессами. Леля и Маша мне кажутся лучше. Они не захватили моей грубости, которую захватили старшие, и мне кажется, что они развиваются в лучших условиях...»[9]

Я привел это трогательное по своему самоосуждению письмо для того, чтобы показать, как чутко и совестливо отец относился к нашему воспитанию и как мучили его периоды отчужденности, когда внутренняя борьба настолько отвлекала его от семьи, что он не находил в себе сил относиться к ней так, как бы он этого хотел.

А мы не понимали его.

Велико одиночество писателя, когда он отходит от жизни и мыслью витает в мире образов и впечатлений, но насколько же суровей одиночество мыслителя! Его мир не может быть воплощен в виде образов, ибо мысль и плоть нередко враждебны друг другу. Мыслителю нет возврата к жизни, ибо, чем глубже он мыслит, тем далее он от жизни уходит, и горе мыслителю, связанному тленными узами земли!

Когда-то мой отец как художник интуитивно создал бессмертного Платона Каратаева. Теперь он вернулся к тому же Каратаеву уже не как художник, а как мыслитель.

Почему мы, так называемые интеллигенты, так боимся смерти и почему Каратаев относится к ней так просто? Где тут разгадка? Неужели это потому, что у Каратаева есть вера, которой у нас нет? Неужели Каратаев знает того самого бога, которого я ищу?

И вот начался период увлечения отца простым народом.

Около каменных ворот яснополянской усадьбы проходит старая Екатерининская большая дорога, так называемая Московско-Киевская «муравка». В старину это была одна из главных российских артерий. По ней ходила почта, по ней носились ямские тройки, ползли бесконечные обозы, сновали казенные курьеры, и по ней же ездили и русские цари. Я застал в живых и хорошо помню старого ясенского ямщика Павла Шентя-

кова, который когда-то возил по этой дороге царя Николая I.

Позднее большая дорога была заменена каменным шоссе, которое местами шло с ней параллельно, местами же немного от нее отклонялось. С проведением железной дороги значение шоссе, как колесного пути, значительно уменьшилось.

Шоссе это проходит от Ясной в одной версте под самым горизонтом и видно из окон большой залы. По этому шоссе, а иногда даже и по старой дороге испокон веков хаживали странники, калики перехожие и паломники-богомольцы.

Кто дал обет сходить в Иерусалим или к Троице; кто просто пожелал перед смертью сподобиться посетить святые места; мужчины, женщины, старые, молодые, здоровые, немощные шли, иногда в одиночку, но большей частью группами, кто на север, кто на юг, зимой и летом, с палками в руках и котомками за плечами, питаясь Христовым именем и милостынею.

В то время, сорок лет тому назад, таких паломников было много, каждый день их проходило в ту и другую сторону по несколько групп.

Отец любил после занятий, то есть часа в четыре дня, или гулять, или ездить верхом. Вместо прежних катаний на купальню, вместо охоты он стал все чаще и чаще ходить пешком на шоссе. Гуляя по шоссе, он разговаривал со странниками и иногда встречал среди них чрезвычайно умных и интересных.

Опять открылась перед ним многовековая народная мудрость, так ярко и просто выраженная в дивных русских пословицах и поговорках, и чем дальше он в эту мудрость углублялся, тем более ему казалось, что в этой мудрости, быть может, и лежит разгадка к его мучительным сомнениям.

Вот что отец пишет об этом в «Исповеди»: «Но благодаря ли моей какой-то странной *физической любви к настоящему рабочему народу,* заставившей меня понять его и увидать, что он не так глуп, как мы думаем, или благодаря искренности моего убеждения в том, что я ничего не могу знать, как то, что самое лучшее, что я могу сделать — это повеситься,— я чуял, что если я хочу жить и понимать смысл жизни, то искать

этого смысла жизни мне надо не у тех, которые потеряли смысл жизни и хотят убить себя, а у тех миллиардов отживших и живых людей, которые делают жизнь и на себе несут свою и нашу жизнь»[10].

Хождение на шоссе стало теперь не только увлечением, но и потребностью.

— Иду на Невский проспект,— говорил он шутя и иногда пропадал до глубокой ночи.

— Встретил удивительного старика и дошел с ним до Тулы,— рассказывал он, возвратясь без обеда часов в десять вечера.

Его дневники того времени пересыпаны пословицами, выражениями чеканной народной мудрости и воли божьей, которые он среди этих странников собрал. Многие из его позднейших народных рассказов вдохновлены его друзьями с «Невского».

Да, эти люди знают бога. Несмотря на все их предрассудки, несмотря на веру в Николу-зимнего и Николу-вешнего, несмотря на веру в Иверскую, Казанскую и Троеручицу, они ближе к богу, чем мы. Они ведут рабочую, нравственную жизнь, и их простая мудрость во много раз выше всех ухищрений нашей культуры и философии.

И он, Лев Толстой, великий писатель, славный, богатый, образованный, не раз искренне завидовал этим нищим, оборванным, подчас голодным, но счастливым и внутренне спокойным людям.

Наряду с этим у него шла громадная кабинетная работа.

«Никогда в жизни я не работал так усиленно, как за эти десять лет»,— говорил он в одной из своих позднейших книг. Он изучал философию, богословие, Жития святых, историю церкви и все, что только можно было достать, касающееся жизни Христа и его учения. Он сам перевел Евангелие с греческого, сравнивал всевозможные контексты[11] и для этого изучил даже древнееврейский язык.

Я помню, как он настойчиво и постепенно добивался и как вырастало и складывалось его новое миросозерцание.

Так мы, бывало, детьми складывали кубики. Сначала хаос, кажется безнадежно. Но вот один кубик

подошел, второй уже легче находит свое место, что-то уже складывается — этот сюда, этот туда, вот этот трудно приладить, вертишь его много раз, наконец откладываешь его в сторону, берешься за другие, картина вырастает, пустоты заполняются, все становится яснее и понятнее, наконец картина вся, одно только место не заполнено, берешь отложенный в сторону, казавшийся трудным последний кубик, и он просто и ясно подходит к своему месту.

Я взял это детское сравнение, потому что лучшего сравнения к тому, как отец постепенно разбирался в понимании учения Христа, я не мог подобрать.

Первым его кубиком, то есть основой его нового понимания, была нагорная проповедь и учение о непротивлении злу. Как странно кажется теперь, что ему нужно было много лет, чтобы понять простые слова «не противься злу». Вот до чего затемняет учение Христа православная церковь с ее богослужением, символом веры, катехизисом и богословием.

Поняв этот основной тезис в его прямом значении, отец начал проверять все учение Евангелия сызнова и начал прикладывать к нему разрешение всех жизненных вопросов. Там, где казались противоречия, он изучал источники, и большей частью эти противоречия оказывались или неточностями, или ошибками перевода. И чем глубже он вникал, тем яснее и яснее ему все становилось и тем лихорадочнее и радостнее он складывал последние кубики, пока наконец не развернулась перед ним вся картина, ясная и несомненная.

Эта работа отца есть единственная в своем роде попытка подвести под учение Христа глубокое философское основание и приурочить его ко всем областям человеческой жизни, начиная с жизни личной и кончая жизнью общественной, экономической и даже политической.

Я уже сказал раз, что я всегда был неустойчив. Я никогда не гримировался в последователя отца, хотя всегда ему верил. Но чем старше я становлюсь, тем яснее мне становится его миросозерцание и тем ближе я к нему подхожу сам.

Между тем пропасть между отцом и остальной

семьей все более углубляется, и положение начинает осложняться.

Семья развивается и растет. У матери на руках восемь человек детей. Отец отошел в сторону и в воспитании детей уже участия не принимает. Мать начинает видеть, что она одна не в силах справиться с лежащим на ней бременем, и поднимается вопрос о переезде семьи в Москву, тем более что Сереже надо ходить в университет, Тане пора «выезжать», а Илюша дома лентяйничает, и надо его отдать в гимназию. А тут еще Лева и Маша, Андрюша, Миша и грудной Алеша.

— Хорошо говорить об идеях, но нельзя же детей оставить неучеными, недорослями, да и кормить их надо каждый день, и обшивать, и лечить. У Константина Ромашкина на деревне дети ходят никогда не мытые и с десяти лет идут пасти телят, а с тринадцати берутся за соху — неужели ты этого хочешь.

— У Константина дети с малых лет приучаются к труду и помогают родителям, а мы сами сидим на шее у мужика и воспитываем таких же, как мы, тунеядцев. Нынче утром я вижу — идет к дому по пришпекту наш портной.

— Куда ходил? — спрашиваю.

— Крючков на шубу не хватило, в Тулу бегал.

Он сбегал с утра в Тулу, пятнадцать верст и обратно, и будет весь день до ночи сидеть за работой, а наши дети не могут дойти до Воронки (река, где мы купались) и требуют, чтобы им запрягли лошадей. И Филипп запрягает, и лолдия сидит на козлах, пока господа прохлаждаются.

Такие разговоры между отцом и матерью происходили постоянно и по всякому поводу, и острота их возрастала.

Продолжалось то же катанье верхом, тот же крокет, то же пение по вечерам, зимой те же коньки, но папа́ с нами уже не было. Если он даже и молчал и не осуждал нас открыто, все же это осуждение в нем чувствовалось, и бывало неловко и нам, и ему самому.

Должен сказать, что, несмотря на властность его натуры, отец никогда никого не насиловал. Он никогда не бранил и не наказывал детей, и поэтому мы его

боялись и уважали гораздо больше, чем мать, которая когда и накричит, когда и по рукам отшлепает, а когда и поставит в угол.

Положение нас, детей, в этот период жизни было тоже очень трудное, потому что, в сущности, не было способа угодить отцу. Ну хорошо, я не поеду на катках купаться, я пойду пешком, но катки все равно поедут на купальню; я не буду объедаться за столом, а блинчики с вареньем все равно будут поданы. Я даже могу «не гонять собак», а потом? Все равно я не могу изменить всей своей жизни и не могу сделаться Ромашкиным. Не меня осуждет отец, а весь уклад нашей жизни, которую изменить я лично не могу. Не только не могу этого сделать я, но и он сам оказывается в этом бессилен.

Стремясь как-нибудь оправдать свою, как он считал, «праздную» барскую жизнь, отец начал усиленно заниматься физическим трудом. Он разбил свой день на несколько «упряжек» и стремился совместить физический труд с умственным [12]. Он пахал, косил, строил сараи и печи для мужиков, а зимой приходил к нему деревенский сапожник Павел (брат лакея Сергея Арбузова), и он занимался с ним в кабинете и учился тачать голенища и шить сапоги.

Мама́ смотрела на «чудачества» отца как на нечто преходящее, следила за его здоровьем, старалась готовить ему более питательную пищу и надеялась, что это пройдет.

Для отца положение получилось безвыходное.

Некоторые, в том числе и мой старший брат Сергей, думают, что отец сделал ошибку, не покинув семьи тогда же, то есть в самом начале 1880-х годов.

Я знаю, что вопрос об уходе стоял перед отцом в течение всех последних тридцати пяти лет его жизни, и я знаю, что он передумал его со всех сторон глубоко и добросовестно. И поэтому я считаю, что его решение было решение правильное и в то же время единственно возможное.

Как можно судить о поступках человека, не пережив всей мучительности его сомнений и не пройдя через всю глубину его мышления. Пусть судят его другие, я же ни матери, ни отца осуждать не смею, ибо я

знаю, что они оба хотели поступать и поступали, как им казалось лучше и честнее.

Одна из основных черт характера отца была беспощадная правдивость перед самим собой и ненависть к лицемерию.

И вот он роковым образом сам очутился в положении человека, живущего в явном противоречии со своими убеждениями, в положении кающегося грешника, продолжающего пребывать в грехе, в положении учителя, своей жизнью попирающего свое же учение.

Он говорил о преступности богатства и о вреде денег, а сам имел полумиллионное состояние, он говорил о простой рабочей жизни, а сам жил в хорошем барском доме, спал на дорогом матрасе и ел вкусную и сытную пищу; он осуждал земельную собственность и говорил о трех аршинах земли, а сам владел восемью тысячами десятин; семья его в одну неделю проживала больше, чем любая крестьянская семья могла прожить в год, в доме лакеи, горничные, повара, садовники, кучера и прачки...

Имеет ли он нравственное право проповедовать свои идеи, не следуя им сам?

Какой богатый материал он дает своим недоброжелателям для упреков его в лицемерии!

Продолжая жить в этих условиях с семьей, пользуясь роскошью и комфортом, не губит ли он этим и саму идею?

Что же делать? Уйти?

Это казалось бы самым простым и, может быть, единственным решением вопроса.

Но тут возникает другой длинный ряд вопросов, еще более сложных и тонких.

Имеет ли он право раздать всю свою собственность и оставить жену и детей нищими, быть может, даже голодными? Он сам воспитал их так, что они к лишениям не привыкли.

Отдать состояние жене?

Но если это состояние является бременем для него и если он считает его грехом, имеет ли он право это бремя и этот грех переложить со своих плеч на плечи жены?

Имеет ли право оставить тридцатипятилетнюю жену с огромной семьей одну, без нравственной поддержки и лишить ее своей любви?

Для нее он был все — вся жизнь ее, как в фокусе, сосредоточилась в нем одном. Без него для нее жизни не было, и он это знал.

Кроме того, и он любил ее всем своим существом.

Если он уйдет и пожертвует жизнью жены и семьи из-за того, чтобы на нем не лежал упрек в лицемерии, не будет ли это тщеславием с его стороны?

Сакья Муни, когда он познал, что есть на свете горе, и когда он почувствовал себя призванным идти в мир учить и утешать людей, ночью покинул свою молодую красавицу жену, не решившись даже разбудить ее и проститься, покинул дворец и богатства и сделался Буддой.

Если бы отец в то время покинул семью, его слава и популярность выросли бы в нечто легендарное, и он, конечно, сознавал и это.

Вероятно, не раз соблазняли его эти тщеславные сны, но он победил и их, и в этом я вижу громадную его заслугу.

В данном случае он поступил не так, как ему хотелось, не так, как было проще, а так, как он считал лучше.

Отец часто повторял мысль, что настоящая христианская жизнь должна быть возможна при всяких условиях, и сообразно с этим он начал приспособлять свою личную жизнь как мог.

Он смиренно обрек себя на осуждение, на бесчисленные компромиссы, на ряд нравственных пыток, но он взял свой крест мужественно и мужественно его понес.

Как жаль мне его, когда думаю, что ему не удалось донести его до конца.

Есть у Тагора потрясающий рассказ об индусе, который посвятил себя исканию истины и наконец сделался учителем [13].

Он стоял на берегу священной реки, когда подошла к нему его красавица жена и, целуя край его одежды, сказала:

— Учитель, я знаю, что ты отошел от плотской жиз-

ии и достиг высших ступеней мудрости; что ты прикажешь мне делать?

— Исчезни с моего пути навсегда,— сказал мудрец.

Ничего не говоря, женщина тихо спустилась по каменной лестнице, вошла в воду и медленно скрылась под водами Ганга.

Мудрец бесстрастно посмотрел на водяные лилии и лотосы, покрывавшие то место, где скрылась голова его жены, и спокойно ушел в горы продолжать великое дело спасения своей вечной души.

Меня пленяет красота этого рассказа, но я рад, что мой отец поступил не так, как поступил этот легендарный мудрец, и что он всем пожертвовал для спокойствия и счастья своей жены.

ГЛАВА XXI

Переезд в Москву. Сютаев. Перепись. Покупка дома. Федоров. Соловьев

Осенью 1881 года вся наша семья переселилась в Москву.

Переезд этот, являющийся логическим последствием всей нашей предыдущей жизни, оказался необходимым по следующим трем главным причинам.

Старший брат Сергей поступил в университет, и его нельзя было оставлять в Москве без надзора.

Сестру Таню пора вывозить в свет. Не дичать же ей, сидя в деревне, без порядочного общества.

Остальных детей воспитывать в Москве без помощи отца гораздо легче, чем в Ясной.

Летом мамá ездила в Москву, наняла квартиру в Денежном переулке, и осенью мы переехали.

В этом году, весной, я выдержал в Туле переходный экзамен из четвертого класса в пятый и должен был поступить в казенную гимназию.

Папá пошел к директору одной из московских казенных гимназий, с тем чтобы меня поместить, но вышло неожиданное затруднение: в числе бумаг, требуемых по правилам для моего поступления, отцу предложили подписать поручительство за мою благонадежность.

Он не захотел подписать эту бумагу, и из-за этого мне пришлось поступить в частную гимназию Поливанова, где меня приняли по экзамену, но без всяких лишних формальностей.

— Как я могу ручаться за поведение другого человека, хотя бы и родного сына? — говорил отец, возмущаясь. — Я объяснил директору, что глупо требовать от родителей такие подписки, он соглашается с тем, что это ненужная формальность, а в конце концов все-таки оказывается, что без этого принять мальчика нельзя.

С переездом в Москву всеми нами овладели новые впечатления городской жизни.

Каждый из нас увлекался по-своему.

Мама́ усиленно занялась устройством квартиры, покупкой мебели и под руководством дяди Кости сделала нужные светские визиты и наладила Танины выезды.

Сережа весь ушел в свой университет, а я, в промежутках между посещением гимназии и приготовлением уроков, играл с уличными ребятишками в бабки и к весне уже успел влюбиться в незнакомую гимназистку.

В эту зиму отец сошелся с сектантом Сютаевым, который его очень заинтересовал и имел на него несомненное влияние.

Это был простой крестьянин Тверской губернии, по ремеслу каменотес.

Отец узнал о нем еще в Самаре от Пругавина и сам поехал к нему в деревню.

После этого, зимой, Сютаев приехал в Москву и прожил у нас в Денежном переулке довольно долго.

На первый взгляд он произвел впечатление самого обыкновенного захудалого мужичка: жиденькая, грязноватого цвета, туго седеющая борода, засаленный черный полушубок, в котором он ходил и в комнате и на дворе, бесцветные небольшие глаза и типичная северная речь на «о».

Как всякий хороший степенный мужик, он имел способность держать себя просто и достойно, не смущаясь никаким обществом, а когда он говорил, то чувствовалось, что то, что он говорит, обдуманно им основательно и что поколебать его убеждения невозможно.

Сютаев сходнлся с монм отцом в очень многом.

— Удивительно,— говорил отец,— что мы с Сютаевым, совершенно различные, такие непохожне друг на друга люди, нн по складу ума, ии по степенн развнтня, шедшне совершенио разлнчиыми дорогамн, прншлн к одному н тому же совершеиио независнмо друг от друга.

Так же, как н отец, Сютаев отрицал церковь н обрядностн н так же, как н он, ои проповедовал братство, любовь и «жнзиь по-божьи».

— Все в табе,— говорил он,— где любовь, там и бог.

Как человек простой, ие поиимающий компромиссов, Сютаев отрицал всякое насилне и не допускал его даже как средство протнвлеиия злу.

Он прннципнальио отказывался от платежа всякнх повинностей, потому что оин идут иа содержание войска.

А когда полнцня опнсывала его нмущество и продавала скот, ои безропотио присутствовал при своем разореннн н ие сопротнвлялся.

— Их грех, пусть онн н делают. Сам ворота отворять ие пойду, а еслн им иадо, пусть ндут. Замков у меия нет,— говорнл он, рассказывая об этом.

Семья его разделяла его убеждеиия и жнла в своей общние, не прнзнавая лнчной собствениости.

Когда сыиа Сютаева забрали в солдаты, он отказался от присягн, потому что в Евангелин сказано «не клянись», и ие взял в руки ружья, потому что «от него кровью пахиет».

За это ои был зачислен в Шлнссельбургскнй дисциплииарный батальои и терпел там большне лишеиия.

Осуществление своего идеала «жизии по-божьи» Сютаев вндел в христнаиской общнне.

— Поле ие должны делить, лес не должны делить, дома не должны делнть. Тогда н замков не надо, сторожей ие иадо, торговли ие надо, судей не иадо, войны не иадо... у всех будет одио сердце, одна душа, не будет ии твоего, нн моего — все будет местное,— говорнл он, н в словах его чувствовалась глубокая вера в осуществимость этнх идеалов, почерпнутых им из Евангелия.

Отец настолько увлекался его проповедью, что часто сзывал на Сютаева гостей и заставлял его при них излагать свои взгляды.

Понятно, что появление такого человека в Москве, да еще в доме Толстого, обратило внимание администрации.

Генерал-губернатор князь Долгорукий послал к моему отцу элегантного жандармского ротмистра с поручением выведать у Льва Николаевича, какую роль играет в его доме Сютаев, каковы его убеждения и долго ли он пробудет в Москве.

Я не забуду, как отец принял этого жандарма в своем кабинете, потому что я никогда не думал, чтобы он мог до такой степени рассердиться.

Не подавая ему руки и не попросив его сесть, отец говорил с ним стоя.

Выслушав просьбу, он сухо сказал, что он не считает себя обязанным отвечать на эти вопросы.

Когда ротмистр начал что-то возражать, папа́ побледнел как полотно и, показывая ему на дверь, сдавленным голосом сказал:

— Уходите, ради бога, уходите отсюда поскорей,— я вас прошу уйти,— крикнул он, уже не сдерживаясь, и еле дав растерявшемуся жандарму выйти, он изо всех сил прихлопнул за ним дверь.

После он раскаивался в своей горячности, очень жалел, что не сдержался и поступил грубо с человеком, но все-таки, когда не унявшийся генерал-губернатор прислал к нему через несколько дней опять за тем же своего чиновника Истомина, он никаких объяснений ему не дал, сказавши коротко, что если Владимиру Андреевичу хочется его видеть, то никто не мешает ему приехать к нему самому.

Не знаю, чем бы кончилась эта история с придирками администрации, если бы Сютаев вскоре после этого не уехал.

В январе 1882 года отец участвовал в московской трехдневной переписи.

Он выбрал себе самый бедный район города Москвы около Смоленского рынка, заключающий в себе

Проточный переулок и знаменитые в то время ночлежные дома, Ржанову крепость и другие.

Я помню, как к нему приходили студенты, с которыми он подолгу говорил, запершись в своей комнате, и помню, как один раз он взял меня с собой осматривать ночлежный дом.

Мы ходили вечером по каморкам в страшной вони и грязи, и отец опрашивал каждого ночлежника, чем он живет, почему он попал сюда и сколько он платит и чем питается.

В общей комнате, куда пускали ночевать бесплатно, было еще хуже.

Там нечего было и спрашивать, потому что ясно было, что все это люди совершенно опустившиеся, и было только противно и страшно от этой кучи нищеты и гадости.

Я смотрел на папá и видел на его лице все то, что я чувствовал сам, но в нем было еще выражение страдания и сдержанной внутренней борьбы, и это выражение запечатлелось во мне, и я помню его до сих пор.

Чувствовалось, что и ему, так же, как и мне, хочется убежать отсюда поскорее, поскорее, и вместе с тем чувствовалось, что он не может этого сделать, потому что бежать некуда и, куда бы он ни убежал, впечатление виденного останется и будет продолжать его мучить все так же, если не больше.

И это действительно так и было.

Вот как он описывает свои переживания в статье «Так что же нам делать?» (1886):

«И прежде уже чуждая мне и странная городская жизнь теперь опротивела мне так, что все те радости роскошной жизни, которые прежде мне казались радостями, стали для меня мучением. И как я ни старался найти в своей душе хоть какие-нибудь оправдания нашей жизни, я не мог без раздражения видеть ни своей, ни чужой гостиной, ни чисто, барски накрытого стола, ни экипажа, сытого кучера и лошадей, ни магазинов, театров, собраний. Я не мог не видеть рядом с этим голодных, холодных и униженных жителей ляпинского дома. И не мог отделаться от мысли, что эти две вещи связаны, что одно происходит от другого. Помню, что как мне казалось в первую минуту это

чувство моей виновности, так оно и осталось во мне»[1].

Еще в 1881 году отец познакомился в Москве с двумя интересными лицами, с которыми он очень сошелся, с Владимиром Федоровичем Орловым и Николаем Федоровичем Федоровым[2]. Первого я меньше помню, а Федорова, бывшего библиотекаря Румянцевского музея, я вижу перед собой сейчас как живого.

Это был худенький среднего роста старичок, всегда плохо одетый, необычайно тихий и скромный. На шее, вместо воротника, он носил какой-то клетчатый серый шарфик и ходил зимой и летом в одном и том же старом коротеньком пальтеце.

У него было такое выражение лица, которое не забывается. При большой подвижности умных и проницательных глаз он весь светился внутренней добротой, доходящей до детской наивности.

Если бывают святые, то они должны быть именно такими.

Николай Федорович не только был органически неспособен причинить кому-нибудь зло, но я думаю, что и сам он был неуязвим для всякого зла, потому что он просто его не понимал.

Говорят, что он жил в какой-то каморке, настоящим аскетом, спал на голых досках, питался кое-чем и все отдавал бедным.

Насколько я помню, он никогда не спорил с отцом, и что еще замечательнее — это то, что отец, всегда пылкий и несдержанный в разговорах, выслушивал Николая Федоровича с особенным вниманием и никогда с ним не горячился.

Совсем не то бывало с Владимиром Соловьевым[3].

Одно время он посещал отца довольно часто, и я не помню случая, чтобы их свиданье кончалось без самых отчаянных споров. Всякий раз, встречаясь, они давали себе слово не горячиться, и всякий раз кончалось одним и тем же. Бывало, съедутся у нас гости, за вечерним чаем идет оживленная беседа, Соловьев шутит, всем весело,— вдруг, как бы нечаянно, подымается какой-нибудь отвлеченный вопрос, отец начинает говорить, обращаясь почему-то непременно в сторону Владимира Сергеевича Соловьева, тот начинает возра-

жать,— слово за слово,— и кончается тем, что оба вскакнвают со своих мест, и начииается ожесточеннейшнй спор. Длниная худая фнгура Соловьева с развевающимися красивыми волосами иачииает, как маятник, метаться по комнате, отец волиуется, голоса возвышаются, и до коица вечера разнять их уже невозможио.

Когда гости разъезжаются, отец выходит их провожать в передиюю, и, прощаясь с Соловьевым, задерживает в своей руке его руку и, глядя ему в глаза с виноватой улыбкой, просит его ие сердиться за его горячность.

И так всякий раз.

Соловьев, как мыслитель, инкогда ие был близок моему отцу, и очень скоро ои перестал его иитересовать совсем.

Отец считал его человеком «головиым» и примеиял к иему эпнтет «протоиереев сыи».

— Такнх много,— говорил ои.— «Протоиереев сын» — это человек, живущий нсключительио тем, что ему дает книга. Начитается и делает нз прочнтаииого выводы. А *своего собственного,* самого дорогого у иего ннчего иет. Есть и среди протонереевых детей умиые люди, как, иапример, Страхов, он был даже очень умен, и, если бы ои думал *от себя*, ои был бы велнк, а вот в этом н было его иесчастие, что ои тоже был «протонереев сын».

Это определеиие я слышал от отца уже несколько лет после смерти обоих помянутых выше лиц.

ГЛАВА XXII

Физический труд, сапоги, покос

В июле 1884 года отец пишет нашему бывшему учнтелю В. И. Алексееву:

«Теперь же я убедился, что показать путь может только жнзиь — пример жнзии. Действие этого примера очень не быстро, очень иеопределенно (в том смысле, что, думаю, инкак не можешь знать, на кого оно подействует), очень трудио; ио оио одно дает толчок. Прнмер, доказательство возможиостн христнанской,

то есть разумиой и счастливой, жизни при всех возможных условиях. Это одно двигает людей, и это одно нужно и мие и вам, и давайте помогать друг другу это делать» [1].

Пример жизни и разумная и счастливая жизнь при всех возможных условиях.

Вот единственное разрешение тех сложных вопросов, которые предстали отцу в то время, и по этому пути он направил свою жизнь и вел ее до роковой осеии 1910 года.

Несмотря иа огромную умственную работу, поглощавшую все его силы, отец причислял и себя к числу туиеядцев, живущих на хрипу рабочего народа, и для того чтобы хоть сколько-нибудь оправдать перед самим собою свою, как он называл, праздность, он взялся за физический труд, и с тех пор он его не бросал, пока ие ослабел настолько, что не мог уже работать.

В письме к Н. Н. Ге, от 21 июля 1891 года, он пишет: «И вы ие можете себе представить, как теперь, во время уборки, мне скверно, совестио, грустно жить в тех подлых, мерзких условиях, в которых я живу. Особенно вспоминая прежние года» [2].

Отец всегда любил физический труд как полезное, здоровое упражнение и как общение с природой.

Помимо того огромиого иравствеиного и воспитательиого значеиия, которое отец видел в физическом труде, ои его просто любил.

Ои увлекался самым процессом работы, изучал ее во всех мельчайших подробностях, и часто, я думаю, в ней ои иаходил тот спасительиый предохранительный клапан, который помогал ему переживать самые трудные минуты его жизни.

Отношение же его к труду как к религиозной обязаииости стало особенно ярко проявляться лишь с иачала 1880-х годов.

Я помию, как в первую же зиму нашей жизни в Москве ои ходил куда-то за Москву-реку к Воробьевым горам и там с мужиками пилил дрова.

Приходил он домой усталый, весь в поту, полный новых впечатлений здоровой, трудовой жизни и за обедом рассказывал иам о том, как работают эти люди, во сколько упряжек, сколько оии зарабатывают; и, ко-

нечно, он всегда сопоставлял трудовую жизнь и потребности своих пильщиков с нашей роскошью и барской праздностью.

Для того чтобы иметь возможность работать дома и использовать длинные, зимние вечера, отец начал учиться сапожному ремеслу.

Не знаю откуда, он разыскал себе сапожника, скромного чернобородого человека, типа положительных мастеровых, накупил инструментов, товару и в своей маленькой комнатке, рядом с кабинетом, устроил себе верстак.

Рядом с верстаком, у окна, была устроена оригинальная железная печурка, отопляемая керосиновой лампой, которая должна была одновременно согревать и вентилировать комнату.

Я помню, что, несмотря на это устройство, которым отец гордился как новшеством, в его крошечной низенькой мастерской всегда было душно и пахло кожей и табаком.

В определенные часы приходил сапожник, учитель с учеником садились рядом на низеньких табуретках, и начиналась работа: всучивание щетинки, тачание, выколачивание задника, прибивание подошвы, набор каблука и т. д.

Нетерпеливый по природе и страшно настойчивый, отец особенно упорно добивался достижения совершенства в некоторых технических трудностях ремесла. Я помню, как он радовался и гордился, когда наконец научился всучивать щетинку, приготовляя «конец», и забивать в подошвы деревянные гвозди.

Отец, всегда горячий в работе, брался за все непременно сам и ни за что не отставал, пока не добивался того, чтобы у него вышло все так же, как у учителя.

Сгорбившись над верстаком, он старательно готовил конец, всучивал щетинку, ломал ее, начинал сначала, кряхтел от напряжения и, как ученик, радовался всякому успеху.

— Позвольте, Лев Николаевич, я сделаю,— говорил сапожник, видя бесполезные усилия отца.

— Нет, нет, я сам! Ты делай свое, а я тоже буду делать свое, иначе не научишься.

Во время этих уроков к отцу часто приходили гости, и иногда в его уголке собиралось столько сочувствующих, что негде было повернуться.

Я тоже любил приходить к нему и часто просиживал с ним целые вечера.

Помню, как-то пришел к отцу муж моей двоюродной сестры Елизаветы Валериановны, князь Оболенский.

Отец в это время только что научился забивать гвозди в подошву.

Он сидел, зажав перевернутый сапог между коленями, и старательно загонял в красную, новую подошву деревянные шпильки.

Некоторые из них заминались, но большинство втыкались удачно.

— Смотрите, как хорошо выходит,— похвалился отец, показывая гостю свою работу.

— Что ж тут трудного? — сказал Оболенский полушутя.

— А вот попробуйте.

— Сколько угодно.

— Хорошо, но только с уговором: за каждый забитый вами гвоздь я вам плачу рубль, а за каждый сломанный вы мне платите гривенник, хорошо?

Оболенский взял сапог, шило и молоток, сломал подряд восемь гвоздей, рассмеялся своим добродушным смехом и под общий хохот заплатил в пользу сапожника восемьдесят копеек.

Научившись шить простые сапоги, отец начал уже фантазировать: шил ботинки и, наконец, брезентовые летние башмаки с кожаными наконечниками, в которых ходил сам целое лето.

(На фотографии того времени отец снят сидящим на террасе в таких самодельных башмаках.)

Помню я еще случай, связанный с единственным моим воспоминанием о поэте Якове Петровиче Полонском.

Сидим мы вечером около верстака и работаем.

(Я говорю мы, потому что я тоже научился этому ремеслу и одно время шил очень недурно.)

Приходит лакей Сергей Петрович и докладывает, что графа хочет видеть какой-то барин Потогонский.

— Что за Потогонский? Не знаю такого, проси сюда,— сказал отец.

Проходит по крайней мере минут пять.

Мы уже забыли о Потогонском, как вдруг слышим по коридору какие-то странные, как будто деревянные, неровные шаги.

Отворяется дверь, и появляется высокий седой старик на костылях.

Вглядевшись в лицо гостя и вдруг узнав его, отец вскочил и начал его целовать.

— Батюшки, Яков Петрович, так это вы, простите меня, ради бога, что я заставил вас пройти все эти лестницы, если бы я знал, я сошел бы к вам вниз, а то Сергей говорит — Потогонский. Я никак не мог догадаться, что это вы. Чем вас угостить?

— Ну, если так, так дайте мне потогонного, я с удовольствием выпью чаю,— сострил Полонский, отдуваясь от усталости и садясь на диван.

Действительно, бедному хромому старику, для того чтобы дойти до кабинета отца, надо было пройти одну двойную лестницу вверх, залу, потом несколько очень крутых ступенек вниз и еще длинный полуосвещенный коридор с разными заворотами и порогами.

Ни до этого, ни после мне Полонского видеть не пришлось, и я мало помню это свидание, потому что я почему-то скоро вышел из комнаты и при его разговоре с отцом не присутствовал[3].

Другой учитель — сапожник, который учил отца,— это был наш дворовый Павел Арбузов, сын няни Марии Афанасьевны и брат Сергея-лакея. С ним отец занимался одно время в Ясной Поляне.

Увлечение сапожным ремеслом кончилось как-то скоро.

Я думаю, что это отчасти из-за того нелепого освещения, которое дано было этому в некоторых слоях общества и которое не могло не раздражать отца и не огорчать его.

Летом отец работал в поле.

Узнав о бедственном положении какой-нибудь вдовы или больного старика, он брался работать в их пользу и за них пахал, косил и убирал хлеба.

В первое время в своих работах он был совершенно одинок, никто ему не сочувствовал, и большинство семьи относилось к его труду как к причуде, с оттенком соболезнования о том, что он тратит свои дорогие силы на такую тяжелую и непроизводительную работу.

Хотя к этому времени отец сделался гораздо мягче, меньше горячился в спорах, меньше осуждал, иногда даже бывал по-прежнему весел и общителен, но все же чувствовался резкий диссонанс между нашей жизнью, крокетом, гостями и постоянными развлечениями и напряженной работой отца, распределенной на упряжки, в кабинете и в поле, за письменным столом и за сохой.

Первый человек, из всей семьи в то время близко подошедший к отцу, была моя покойная сестра Маша.

В 1885 году ей было пятнадцать лет.

Она была худенькая, довольно высокая и гибкая блондинка, фигурой напоминавшая мою мать, а по лицу скорее похожая на отца, с теми же ясно очерченными скулами и светло-голубыми, глубоко сидящими глазами.

Тихая и скромная по природе, она всегда производила впечатление как будто немножко загнанной.

Она сердцем почувствовала одиночество отца, и она первая из всех нас отшатнулась от общества своих сверстников и незаметно, но твердо и определенно перешла на его сторону.

Вечная заступница за всех обиженных и несчастных, Маша всей душой ушла в интересы деревенских бедняков и, где могла, помогала своими слабыми физическими силенками и, главное, своим большим, отзывчивым сердцем.

В это время докторов в доме еще не было, и все больные из Ясной Поляны, а иногда и из ближайших соседних деревень обращались за помощью к Маше.

Часто она ходила навещать своих больных по избам, и до сих пор среди наших крестьян жива благодарность к ее памяти, и среди баб сохранилось твердое убеждение, что Марья Львовна «знала» и безошибочно могла определять, выздоровеет ли больной или нет.

В это же лето в Ясной Поляне появился молодой еврей Файнерман, в то время искренний последователь отца, бескорыстный и убежденный идеалист.

Он жил в деревне, работал для крестьян, не требуя за свой труд никакой платы, кроме самой простой, суровой пищи, и мечтал об учреждении христианской общины.

Для того чтобы не терпеть притеснений от администрации, он принял в нашей церкви крещение.

Одно время Файнерман был действительно так увлечен христианскими идеями, что поражал всех своей прямолинейностью и имел некоторое влияние даже на деревне, среди крестьян, в особенности среди молодежи.

У него была жена, красивая еврейка Эсфирь, и маленький ребенок, которые жили на деревне в избе и буквально голодали.

Файнерман приносил им куски хлеба, получаемые им за его труд, а часто, когда он работал для бедных крестьян, ему не давали ничего, и он голодал сам.

Эсфирь ходила по деревне, а иногда и по нашей усадьбе, как нищая, и, где могла, выпрашивала пищу себе и ребенку. Наконец она потребовала от мужа, чтобы он за свою работу брал хоть по крынке молока в день для ребенка. Он и это не счел возможным сделать, и кончилось тем, что его жена, будучи не в силах вести такую жизнь, разошлась с ним и куда-то ушла.

Один раз Файнерман зашел вечером к отцу, и он попросил его что-то прочесть ему вслух.

Вдруг, во время чтения, Файнерман побледнел и без чувств свалился на пол. Оказалось, что он целый день работал, ничего не ел и обессилел от голода.

На отца это произвело потрясающее впечатление, и он никогда не мог этого забыть.

— Мы, сытые, объедаемся и ничего не делаем, а этот человек целый день работал и падает от голода.

Какое яркое и ужасное сопоставление!

В другой раз, осенью, заезжий цыган выпросил у Файнермана последнюю его свитку. Подошла зима, и Файнерман остался совершенно раздетый, в одной посконной рубахе.

Конечно, об этом было много разговоров, н кончнлось тем, что кто-то сжалнлся н к знме его оделн даже лучше, чем он был до этого одет.

В этом году я прнехал в Ясную Поляну после экзаменов в начале нюня, тогда, когда вся семья была уже в сборе н летняя жнзнь шла своим обычным, проторенным путем.

Мне было девятнадцать лет, я счнтал себя женнхом и мечтал о том, чтобы, женнвшнсь, начать с женой новую жнзнь, соответствующую взглядам моего отца.

Мне некуда было девать свон снлы, н я пошел к отцу н сказал ему, что н я хочу работать н прошу его указать мне, что делать.

— Что же, прекрасно. Пойдн к Жаровой, у нее муж пошел на заработкн с прошлой знмы, и до снх пор его нет; она бьется одна, с детьмн, ей некому вспахать ее надел. Возьмн соху, запрягн Мордвнна н поезжай пахать, самое теперь время взмета пара.

Я так н сделал н довольно скоро вспахал несколько загонов за деревней, около «озера».

Я помню это новое для меня чувство полезной работы, приятное н успокоительное.

Чувствуешь себя, как лошадь, впряженным в соху, за которой ходншь, отрезая борозду за бороздой, думаешь свою неспешную думу, смотришь на лоснящуюся ленту земли, бесконечной полосой сбегающую с палнцы, на беспомощно нзвнвающнеся в свежей борозде мяснстые белые личннкн майскнх жуков, на грачей, совершенно не обращающнх на тебя вннмання и тут же вслед за сохой подбнрающнх все то, что она для ннх достает, н не замечаешь усталости, пока не подойдет время обеда нлн пока сумеркн не сгонят тебя домой.

Тогда перевертываешь соху, прнкручнваешь ее на сволоченькн, садншься боком на лошадь н едешь домой, побалтывая ногамн по обже н прнятно мечтая об еде н отдыхе.

Часто, отведя лошадь на конюшню, не дожидаясь домашннх, бежншь прямо в людскую, где за непокрытым столом обедают «людн», прнсажнваешься в уголке, между кучером н прачкой, н круглой деревянной ложкой хлебаешь холодный квас с толченым луком н

картошками или водяиую крутосолеиую мурцовку на зеленом масле.

К петрову дию мы иачали косить покос.

Обыкновеиио ясенские мужики убирали иаши луга из части.

Перед покосом оии собирались в артели по иескольку семейств, и каждая артель снимала свои покосы, которые косились исполу, из третьей части или двух пятых, смотря по качеству травы.

Наша артель состояла из двух крестьяи, высокого Василия Михеева, длиииоиосого коротыша Осипа Макарова, моего отца, Файиермаиа и меия.

Мы взялись косить молодой сад, за аллеями, н «прудище» на Вороике.

Я косил в пользу той же Жаровой, а отец и Файиермаи для кого-то еще.

Погода в это лето была жаркая, покос спешиый, потому что скоро стала подоспевать рожь, и подгоияла рабочая пора, и полевая трава, выгоревшая иа солнце, была сухая и жесткая, как проволока.

Только очеиь раио утром, с росой, оиа легче шла иа косу, и иадо было вставать с зарей, чтобы успевать выкосить иамечеииый иакаиуие урок.

Впереди всех шел лучший иаш косец Василий, потом Осип, папа́, Файиермаи и я.

Отец косил хорошо, ие отставал от других, хотя потел сильио и видимо уставал.

Глядя на меия, ои почему-то иаходил, что я кошу, как столяр, что-то иапомииающее столяра ои видел в изгнбе моей поясиицы и во взмахе косы.

Дием мы сушили траву и собирали ее в копиы, а по вечерией росе опять выходили с косами и работали до ночи.

По иашему примеру, рядом с иашей, составилась другая артель, миоголюдиая и веселая, к которой примкиули братья Сергей и Лев и сын иашей гувериаитки Alcide, очеиь милый малый, которого мужики прозвали Алдаким Алдакимовичем.

Сестра Маша была в иашей артели, а Таия и две двоюродные сестры Кузмииские были с иими.

Наша артель иазывалась «святой»—оиа была строгая и серьезиая,— ихияя легкомыслеииая и веселая.

У них по праздникам, а иногда и по будням, пропивались копны, были вечные песни и веселье, а у нас, святых, было чинно и, признаюсь, скучновато.

Признаюсь тоже, что иногда, когда у них пропивалась копна, брат Лев, который не пил водки, оставлял для меня свою порцию, и я с удовольствием временно изменял своим товарищам и выпивал его чашечку.

Это не мешало мне относиться к их артели свысока, тем более что их веселье кончилось бедой.

Пьяные мужики передрались, и главарь артели Семен Резунов переломил своему отцу, Сергею, руку.

Это лето, о котором я рассказываю, было исключительное тем, что увлечение работой захватило всех жителей ясиополянской усадьбы.

Даже мама́ выходила на покос в сарафане, с граблями, а мой дядя, Александр Михайлович Кузминский, человек немолодой и занимавший в то время видное общественное положение, докосился до того, что у него все руки были покрыты огромными водяными мозолями.

Конечно, далеко не все работающие разделяли убеждения отца и относились к труду идейно, но в то лето жизнь сложилась так, что работа завлекла всю нашу компанию и заинтересовала всех.

Почему, вместо того чтобы кататься верхом, играть и веселиться, косил шестнадцатилетний француз Alcide и другие, не придававшие труду никакого нравственного значения?

Единственное объяснение, которое я нахожу этой психологической загадке,— это та заразительная искренность, которая лежала в основе характера моего отца и которая не могла в той или иной форме не увлекать других, близко к нему прикасавшихся людей.

В это время приезжал к нам один из молодых последователей отца г.***[4].

Был самый разгар рабочей поры.

После завтрака вся наша компания собралась, и мы пошли к конюшне, где помещались рабочие инструменты.

В это время мы с отцом строили на деревне для одного из крестьян сарай.

Файнерман крыл у кого-то избу, а сестры вязали рожь.

Каждый взял, что ему нужно, мы с отцом — топоры и пилы, Файнерман — вилы, сестры — грабли, и пошли.

Г. *** пошел с нами.

Сестра Таня, всегда веселая и шутливая, видя, что г. *** идет с пустыми руками, обратилась к нему, называя его по имени и отчеству:

— Г. ***, а вы куда идете?

— На сэло.

— Зачем?

— Поомоогать.

— Чем же вы будете помогать? Ведь у вас ничего нет в руках, возьмите хоть вилы, будете подавать солому.

— Я буду помогать совэтом,— ответил г. *** своим ломаным, на английский манер, языком, совершенно не замечая ни иронии Тани, ни того, насколько он действительно смешон и бесполезен своими «совэтами» «на сэлэ», где люди работают и где ряженые в широких английских спортсменских костюмах могут только помешать и испортить дело.

Я с грустью вспоминаю об этом случае, чрезвычайно ярко характеризующем «толстовца», о котором идет речь.

Сколько таких «советчиков» на моей памяти прошло перед моими глазами.

Сколько их перебывало в Ясной Поляне!

И как мало среди них людей, действительно убежденных и искренних.

Многие резко свернули в сторону еще при жизни отца, а другие и до сих пор тщеславно хоронятся за его тень и только вредят его памяти.

Недаром отец говаривал про «толстовцев», что это наиболее чуждая и непонятная ему секта.

— Вот скоро я умру,— с грустью предсказывал он,— и будут люди говорить, что Толстой учил пахать землю, косить и шить сапоги,— а то главное, что я всю жизнь силюсь сказать, во что я верю и что важнее всего,— это они забудут.

ГЛАВА XXIII

Отец как воспитатель

Здесь я вернусь назад и постараюсь проследить то влияние, которое имел на меня отец как воспитатель, и припомню, насколько сумею, все то, что запечатлелось во мне в пору моего раннего детства и потом, в тяжелый период моего отрочества, который случайно совпал с коренной ломкой всего мировоззрения отца.

Выше я говорил об «анковском пироге», завезенном в Ясную Поляну моей матерью из семьи Берсов.

Возлагая этот пирог всецело на ответственность мама́, я был несправедлив, потому что у моего отца, ко времени его женитьбы, был свой «анковский пирог», которого он, может быть, не замечал, потому что слишком к нему привык.

Этот пирог — это был старинный уклад яснополянской жизни в том виде, в котором застал ее отец еще ребенком и который он мечтал впоследствии воскресить.

В 1852 году, стосковавшись на Кавказе и вспоминая об родной Ясной Поляне, он пишет своей тетушке Татьяне Александровне письмо, в котором рисует «счастье, которое его ожидает»:

«Вот как я его себе представляю:

После неопределенного количества лет, не молодой, не старый, я в Ясной Поляне, дела мои в порядке, у меня нет ни беспокойства, ни неприятностей.

Вы так же живете в Ясной. Вы немного постарели, но еще свежи и здоровы. Мы ведем жизнь, которую вели раньше,— я работаю по утрам, но мы видимся почти целый день.

Мы обедаем. Вечером я вам читаю что-нибудь интересное для вас. Потом мы беседуем, я рассказываю вам про кавказскую жизнь, вы мне рассказываете ваши воспоминания о моем отце, матери; вы мне рассказываете «страшные истории», которые мы прежде слушали с испуганными глазами и разинутыми ртами.

Мы вспоминаем людей, которые нам были дороги и которых больше нет.

Вы станете плакать, и я тоже, но слезы эти будут успокоительны; мы будем говорить о братьях, которые

будут к нам приезжать время от времени, о дорогой Маше *, которая также будет проводить несколько месяцев в году в любимой ею Ясной, со всеми своими детьми.

У нас не будет знакомых, никто не придет нам надоедать и сплетничать.

Это чудный сон. Но это еще не все, о чем я позволяю себе мечтать.

Я женат. Моя жена тихая, добрая, любящая; вас она любит так же, как и я; у нас дети, которые вас зовут бабушкой; вы живете в большом доме наверху, в той же комнате, которую прежде занимала бабушка **.

Весь дом содержится в том же порядке, какой был при отце, и мы начинаем ту же жизнь, но только переменившись ролями.

Вы заменяете бабушку, но вы еще лучше нее, я заменяю отца, хотя я не надеюсь никогда заслужить эту честь.

Жена моя заменяет мать, дети — нас.

Маша берет на себя роль двух теток ***, исключая их горе; даже Гаша **** заменяет Прасковью Исаевну.

Не будет только хватать лица, которое взяло бы на себя вашу роль в жизни нашей семьи.

Никогда не найдется душа такая прекрасная и такая любящая, как ваша. У вас нет преемников. Будут три новых лица, которые будут иногда появляться среди нас,— это братья, особенно один, который часто будет с нами,— Николенька, старый холостяк, лысый, в отставке, всегда такой же добрый, благородный.

Я воображаю, как он будет, как в старину, рассказывать детям своего сочинения сказки, как дети будут целовать у него сальные руки (но которые стоят этого), как он будет с ними играть, как жена моя будет хлопотать, чтобы сделать ему любимое кушанье, как мы с

---

* Сестра отца. *(Прим. автора.)*

** Пелагея Николаевна, мать Николая Ильича. *(Прим. автора.)*

*** Пелагея Ильинична Юшкова и Александра Ильинична Остен-Сакен. *(Прим. автора.)*

**** Агафья Михайловна. *(Прим. автора.)*

ним будем перебирать общие воспоминания о давно прошедшем времени, как вы будете сидеть на своем обыкновенном месте и с удовольствием слушать нас; как вы нас, старых, будете по-прежнему называть «Левочка», «Николенька» и будете бранить меня за то, что я ем руками, а его за то, что у него руки не чисты.

Если бы меня сделали русским императором, если бы мне дали Перу, одним словом, если бы волшебница пришла ко мне с своей палочкой и спросила меня, чего я желаю,— я, положа руку на сердце, ответил бы, что желаю, чтобы эти мечты могли стать действительностью.

Знаю, вы не любите загадывать, но что же тут дурного? А это так приятно. Я боюсь, что это слишком эгоистично и что я вам уделил мало места в этом счастьи. Я опасаюсь, что прошлые несчастья оставили слишком чувствительный след в вашем сердце и это помешает вам отдаться будущему, которое составило бы мое счастье. Дорогая тетенька, скажите, были бы вы счастливы? Все это может случиться, и надежды так утешительны.

Снова я плачу. Зачем я плачу, думая о вас? Это слезы радости; я счастлив от сознания своей любви к вам, какие бы несчастья ни случились, я не сочту себя вполне несчастным, пока вы живы. Помните ли вы нашу разлуку у Иверской часовни, когда мы уезжали в Казань? Тогда, как бы по вдохновенью, в самую минуту разлуки, я понял, кем вы были для меня, и, хотя еще ребенок, слезами и несколькими отрывочными словами я сумел дать вам понять, что я чувствовал. Я никогда не переставал вас любить; но чувство, которое я испытывал у Иверской, и теперешнее совсем иное, теперешнее гораздо сильнее, более возвышенное, чем в какое-либо другое время.

Сознаюсь вам в одном, чего стыжусь, но должен сказать вам это, чтоб освободить свою совесть. Раньше, читая ваши письма, в которых вы говорили о ваших чувствах ко мне, мне казалось, что вы преувеличиваете. Но только теперь, перечитывая их, я понимаю вас, вашу безграничную любовь к нам и вашу возвышенную душу. Я уверен, что всякий другой, читая это

письмо и предыдущее, сделал бы мне тот же упрек. Но я не жду этого от вас, вы меня слишком хорошо знаете, и вы знаете, что, быть может, единственное мое доброе качество — это чувствительность. Этому качеству я обязан счастливейшими минутами моей жизни. Во всяком случае, это последнее письмо, в котором я позволяю себе выразить столь напыщенные чувства. Напыщенные для равнодушных, но вы сумеете их оценить.

Прощайте, дорогая тетенька, надеюсь через несколько дней снова увидеть Николеньку, тогда напишу вам»[1].

Ровно через десять лет после этого письма отец женился, и мечты его почти все осуществились так, как он этого желал.

Не было только большого дома с бабушкиной комнатой и брата Николеньки с грязными руками, который умер за два года до этого, в 1860 году.

В своей семейной жизни отец видел повторение жизни своих родителей, и в нас, детях, он хотел искать повторения себя и своих братьев.

Так началось наше воспитание, и так оно продолжалось до середины семидесятых годов.

Мы росли настоящими «господами», гордые своим барством и отчуждаемые от всего внешнего мира.

Все, что не мы, было ниже нас и поэтому недостойно подражания.

Я начал интересоваться деревенскими ребятами только тогда, когда стал узнавать от них некоторые вещи, которые я раньше не знал и которые мне было запрещено знать.

Мне было тогда около десяти лет. Мы ходили на деревню кататься с гор на скамейках и завели было дружбу с крестьянскими мальчиками, но папá скоро заметил наше увлечение и остановил его.

Так мы росли, окруженные со всех сторон каменной стеной англичанок, гувернеров и учителей, и в этой обстановке родителям было легко следить за каждым нашим шагом и направлять нашу жизнь по-своему, тем более что сами они совершенно одинаково относились к нашему воспитанию и ни в чем еще не расходились.

Кроме некоторых уроков, которые папá взял на себя, он обращал особенное внимание на наше физиче-

ское развитие, на гимнастику и на всякие упражнения, развивающие смелость и самодеятельность.

Одно время он каждый день собирал нас в аллею, где была устроена гимнастика, и мы все, по очереди, должны были проделывать всякие трудные упражнения на параллелях, трапеции и кольцах.

Самое трудное — это был прием на трапеции с пролезанием через спину, который назывался «Михаил Иванович».

Его могли делать папá и m-r Rey, для нас, мальчиков, он был труден, и мы долго добивались, пока он нам не удался; сначала Сереже, а потом с грехом пополам и мне.

Когда собирались идти гулять или ехать верхом, папá никогда не ждал тех, которые почему-либо опаздывали, а когда я отставал и плакал, он передразнивал меня: «Меня не подождали», а я ревел еще больше, злился — и все-таки догонял.

Слово «неженка» было у нас насмешкой, и не было ничего обиднее, чем когда папá называл кого-нибудь из нас «неженкой».

Я помню, как бабушка Пелагея Ильинична один раз поправляла лампу и взяла в руки горячее стекло. Она обожгла себе пальцы до волдырей, но стекло не бросила, а осторожно поставила его на стол. Папá это видел, и потом, когда ему понадобилось упрекнуть кого-то из нас в малодушии, он вспоминал этот случай и приводил нам его в пример: «Вот удивительная выдержка. Ведь тетенька имела право бросить стекло на пол; стекло стоит пять копеек, а тетенька, хотя бы даже своим вязанием, зарабатывает каждый день в пять раз больше,— и то она этого не сделала. Вся обожглась, а не бросила. А ты бы бросил. Да и я, пожалуй, бросил бы»,— говорил он, восхищаясь ее терпением.

Папá почти никогда не заставлял нас что-нибудь делать, а выходило всегда так, что мы как будто по своему собственному желанию и почину делали все так, как он этого хотел.

Мамá часто бранила нас и наказывала, а он, когда ему нужно было заставить нас что-нибудь сделать, только пристально взглядывал в глаза, и его взгляд

был понятен и действовал сильнее всякого приказания.

Вот разница между воспитанием отца и матери: бывало, понадобится на что-нибудь двугривенный. Если идти к мамá, она начнет подробно расспрашивать, на что нужны деньги, наговорит кучу упреков и иногда откажет. Если пойти к папá, он ничего не спросит, только посмотрит в глаза и скажет: «Возьми на столе».

И, как бы ни был нужен этот двугривенный, я никогда не ходил за ним к отцу, а всегда предпочитал выпрашивать его у матери.

Громадная снла отца как воспитателя заключалась в том, что от него, как от своей совести, прятаться было нельзя.

Он все знал, и обманывать его было то же самое, что обманывать себя. Это было и тяжело и невыгодно.

Особенно ярко отразилось на мне влияние отца в вопросе о женитьбе н в отношении моем к женщинам до брака.

Иногда какая-нибудь мелочь, какое-нибудь случайное слово, сказанное человеку кстатн, оставляет глубокнй след и потом влияет на всю его жизнь.

Так было и со мной.

Как-то утром бегу я вниз по длинной прямой лестнице ясенского дома, перескакивая сразу по две ступеньки, и, по всегдашней привычке, последние несколько ступеней спрыгиваю смелым и ловким гимнастическнм прыжком.

Мне было лет шестнадцать, я был силен, и прыжок вышел действительно красив.

В это время навстречу мне шел отец: увндав мой стремительный размах, он остановился перед лестницей и расставил руки, чтобы поддержать меня, если я не удержусь на ногах и упаду.

Я ловко присел на обе ногн, поднялся перед ним и поздоровался.

— Экнй ты молодец,—сказал он, улыбаясь, и, очевидно, любуясь моей юношеской энергией,— в деревне такого молодца давно бы женили, а ты вот не знаешь, куда силы девать.

Я ничего не ответил, но эти слова произвели на меня впечатление громадное.

Меня поразил не упрек отца в бездеятельности, а для меня было ново то, что я действительно дорос до того, что меня «женить пора».

Я знал, что отец очень ревниво относился к целомудрию молодых людей, знал, как он ценил в этом отношении чистоту, и поэтому ранняя женитьба показалась мне наилучшим решением этого трудного вопроса, мучающего всякого думающего мальчика в пору его возмужалости.

Я не могу предполагать, чтобы отец, сказав мне эту фразу, предвидел то впечатление, которое она на меня произведет, но несомненно, что эти слова были сказаны от всего сердца, и поэтому они оставили во мне громадный след.

Я понял не только их прямой смысл, но и все то, что было в них не досказано и что вместе с тем было так значительно.

Через два-три года после этого, когда мне было уже восемнадцать лет и мы жили в Москве, я увлекся знакомой барышней, Софьей Николаевной Философовой, и почти каждую субботу ходил в гости к ее родителям.

Отец видел это и молчал.

Как-то раз он собрался идти гулять, и я попросил позволения пойти вместе с ним.

Так как в Москве я гулял с ним очень редко, он понял, что я хочу с ним говорить о чем-нибудь серьезно, и, пройдя немного молча и, очевидно, чувствуя, что я робею и не решаюсь заговорить первый, он как бы невзначай спросил меня:

— Что это ты часто ходишь к Философовым?

Я ответил, что мне очень нравится старшая дочь.

— Что же ты, жениться хочешь?

— Да.

— А хорошая она? Ну, смотри, не ошибись — и ее не обмани,— сказал он как-то особенно мягко и задумчиво.

Я сейчас же отстал от отца и, счастливый, побежал по Арбату домой.

Мне было приятно, что я сказал ему правду, и его теплое, осторожное отношение укрепило мое чувство к отцу, которому я был бесконечно благодарен за его сердечность, и к ней, которую я с этого момента полюбил еще больше и еще тверже решил не обмануть.

Деликатность отца в отношении с нами доходила до застенчивости.

Были вопросы, которые он не решался затрагивать, боясь этим сделать больно.

Я не забуду того, как один раз в Москве он сидел и писал в моей комнате за моим столом, а я невзначай забежал туда для того, чтобы переодеться.

Моя кровать стояла за ширмами, и оттуда я не мог видеть отца.

Услыхав мои шаги, он, не оборачиваясь, спросил:

— Илья, это ты?

— Я.

— Ты один? Затвори дверь. Теперь нас никто не услышит, и мы не видим друг друга, так что нам не будет стыдно. Скажи мне, ты когда-нибудь имел дело с женщинами?

Когда я ему сказал, что нет, я вдруг услыхал, как он начал всхлипывать и рыдать, как маленький ребенок.

Я тоже разревелся, и мы оба долго плакали хорошими слезами, разделенные ширмами, и нам не было стыдно и было так хорошо, что я эту минуту считаю одной из самых счастливых во всей моей жизни.

Никакие доводы, никакие рассуждения не могли бы дать мне того, что я пережил тогда.

Такие слезы шестидесятилетнего отца не забываются даже в минуты самых сильных искушений.

В период моей юности от шестнадцати до двадцатилетнего возраста отец очень внимательно следил за моей внутренней жизнью, замечал всякие колебания, поддерживал меня в моих хороших стремлениях и часто упрекал в непоследовательности.

От этого времени у меня сохранились некоторые его письма.

Первое письмо написано из Ясной в начале октября 1884 года, когда я с братьями Сережей и Левой жили втроем в Москве.

«Илья Львович, здравствуйте. Собака препротивная, но так как твое счастье жизни сосредоточено в ней, то ее оставят. Свойства ее таковы: вальдшнепов она не чует, а выстрел чует, и как только услышит, то бежит домой стремглав. Это сообщил мне Давыдов, ходивший с ней. Сапоги, мама́ говорит, надо починить, а новые к весне. Как ты поживаешь? О твоем времяпрепровождении, помимо гимназии, я не имею никакого представления. А желал бы иметь. У тебя ведь неожиданные и необитаемые Толстые с театрами и Головнины с музыкой появляются. Вчера я поехал на почту и вижу, бегут девчонки на гору у деревни. Куда вы? Пожар. Я выехал на гору — горит у Бибикова. Я поехал — горит рига, амбар, хлеб и сто пятьдесят ящиков с яблоками. Подожгли. Зрелище было, странно сказать, более комическое, чем жалкое. Мужики ломают, хлопочут, но, очевидно, видят это с удовольствием. Начальство, в том числе Федоров-урядник, старшина с брюхом — командуют. Какие-то необитаемые помещики, в том числе Хомяков, сочувствуют. Два попа сочувствуют. Алешка дьячок и его брат с необыкновенными кудрями, только что вернувшийся из хора Славянского — сочувствуют. А яблоки пекутся, и мужики, очевидно, одобряют. Напиши же мне так, чтобы я понял немножко твое душевное состояние. (Я уверен, что ты бы подружился с Алешкиным братом от Славянского. Очень волосы хороши — как копна. Папильотки действуют.)» [2]

Второе (открытка) написано отцом из Ясной осенью 1886 года, когда он тяжело болел ногой, а мы, старшие сыновья, жили в Москве с Николаем Николаевичем Ге (сыном).

«Вам пишут каждый день, и все знаете обо мне. Пишу сам «для прочности». Общее состояние хорошо. Если на что жаловаться, то на сон, вследствие чего голова не свежа и не могу работать. Лежу и слушаю женский разговор и так погружен в женский лик, что уже сам начинаю говорить: «Я спала». А на душе мне хорошо, немного иногда тревожно о ком-нибудь из вас,

о душевном вашем состоянии, но не позволяю этого себе и жду и радуюсь на течение жизни. Вы только поменьше предпринимайте, а живите только бы без дурного, и выйдет прекрасно. Целую вас и Колечку»[3].

К тому же времени относится следующее письмо:

«Написал тебе сейчас, милый друг Илья, письмо, правдивое по моему чувству, но, боюсь, несправедливое, и не послал. Я говорил там неприятности, но я не имею на это права. Я не знаю тебя, как хотел бы и как нужно мне тебя знать. И в этом виноват я. И хочу это поправить. Многое я знаю в тебе, что мне не нравится, но не знаю всего. Насчет поездки твоей думаю, что в вашем положении учащихся — не в одной гимназии, но в возрасте учащегося — лучше меньше суетиться, потом всякие денежные бесполезные расходы, от которых легко воздержаться,— безнравственны, по моему мнению, и по твоему, если только ты подумаешь. Если приедешь, я для себя буду рад, если только ты не будешь неразлучен с Головиным.

Так делай как знаешь.— А работать тебе надо и головой — думать, читать,— и сердцем, то есть разбираться в том, что точно хорошо и что дурно, хотя и кажется, что хорошо. Целую тебя. *Л. Т.*»[4].

Следующих три письма — 1887 года.

«Милый друг Илья.

Все мне кто или что-нибудь да мешает отвечать на твои два важные и дорогие для меня письма,— особенно последнее. То был Бутурлин, то нездоровье, бессонница, то сейчас приехал Джунковский, товарищ Хилкова, о котором я писал тебе. Он сидит за чаем и говорит с дамами (все не понимая друг друга), а я ушел и хочу хоть что-нибудь написать из всего, что я о тебе думаю.

Положим, что Софья Алексеевна запрашивает *, но подождать не худо,— главное, с той стороны, чтобы укрепить ваши взгляды, веру. Все в этом. А то ужасно от одного берега отстать, к другому не пристать.

Берег, собственно, один — честная, добрая жизнь себе на радость и на пользу людям. Но есть не добрая

* Я писал отцу, что мать моей невесты не разрешает мне жениться раньше двух лет. *(Прим. автора.)*

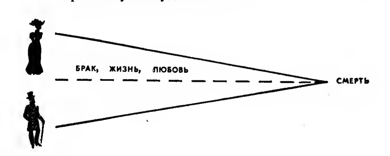
жизнь, так услащенная, такая общая всем, что если держаться ее, то не заметишь того, что это не добрая жизнь, и мучаешься одной совестью, если она есть; но если отстать от нее и не пристать к настоящему берегу, то будешь мучиться и одиночеством и упреками, что отстал от людей, и совестно. Одним словом, я хочу сказать, что нельзя желать быть немножко добрым, нельзя прыгать в воду, не умея плавать. Надо быть правдивым, желать быть и добрым вовсю. А чувствуешь ли ты это в себе? Все это я говорю к тому, что суждение княгини Марин Алексеевны * о твоей женитьбе известное: жениться молодым без достаточного состояния. Пойдут дети, нужда, прискучат друг другу через один-два года, десять лет, пойдут ссоры, недостатки,— ад. И во всем этом княгиня Марья Алексеевна совершенно права и предсказывает верно, если только у этих женящихся людей нет другой одной-единственной цели, неизвестной княгине Марье Алексеевне — и цели не головной, не рассудком признаваемой, а составляющей свет жизни и достижение которой волнует более, чем все другое. Есть это у вас — хорошо, женитесь сейчас же, и Марья Алексеевна останется в дураках. А нет этого, из ста шансов девяносто девять, что, кроме несчастья, от брака ничего не выйдет. Говорю тебе от всей души. И ты также всей душой прийми мои слова и взвесь их. Кроме любви моей к тебе как к сыну, есть еще любовь к тебе как к человеку, стоящему на распутье. Целую тебя, Лелю, Колечку и Сережу, если он вернулся. Мы живы и здоровы» [5].

К тому же времени относится и следующее письмо: «Получили твое письмо к Тане, милый друг Илья, и вижу, что ты идешь все вперед к той же цели, которая поставилась тебе, и захотелось мне написать тебе и ей (потому что ты, верно, ей все говоришь), что я думаю об этом. А думаю я об этом много и с радостью и страхом — вместе. Думаю я вот что: жениться, чтобы веселей было жить, никогда не удастся. Поставить своей главной, заменяющей все другое, целью женитьбу — соединение с тем, кого любишь,— есть большая ошиб-

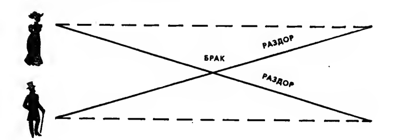
* Отец взял грибоедовскую княгиню Марию Алексеевну как символ. *(Прим. автора.)*

ка. И очевидная, еслн вдумаешься. Цель — женитьба. Ну, жеиились, а потом что? Если цели жизни другой не было до жеиитьбы, то потом вдвоем ужасно трудно, почтн невозможно найтн ее. Даже наверное, еслн не было общей цели до женитьбы, то потом уж ии за что было общей целн до жеиитьбы, то потом уж нн за что тогда дает счастье, когда цель одна,— людн встретилнсь по дороге и говорят: «Давай пойдем вместе».— «Давай»,— и подают друг другу руку, а не тогда, когда онн, пртянутые друг к другу, оба свернулн с дороги.

В первом случае будет вот так:



Во втором случае так:



Все это потому, что однnаково ложное понятие, разделяемое многимн, то, что жнзнь есть юдоль плача, как н то понятне, разделяемое огромным большинством понятне, к которому и молодость, н здоровье, и богатство тебя склоняют, что жнзнь есть место увеселения. Жнзнь есть место служения, прн котором прн-

ходится переносить иногда и много тяжелого, но чаще испытывать очень много радостей. Только радости-то настоящие могут быть только тогда, когда люди сами понимают свою жизнь как служение: имеют определенную, вне себя, своего личного счастия цель жизни. Обыкновенно женящиеся люди совершенно забывают это. Так много предстоит радостных событий женитьбы, рождение детей, что, кажется, эти события и составляют самую жизнь. Но это опасный обман. Если родители проживут и нарожают детей, не имея цели в жизни, то они отложат только вопрос о цели жизни и то наказание, которому подвергаются люди, живущие не зная зачем, они только отложат это, но не избегнут, потому что придется воспитывать, руководить детей, а руководить нечем. И тогда родители теряют свои человеческие свойства и счастие, сопряженное с ними, и делаются племенной скотиной. Так вот я и говорю: людям, собирающимся жениться именно потому, что их жизнь *кажется* им полною, надо больше, чем когда-нибудь, думать и уяснить себе, во имя чего живет каждый из них. А чтобы уяснить себе это, надо думать, обдумать условия, в которых живешь, свое прошедшее, расценить в жизни все, что считаешь важным, что не важным, узнать — во что веришь, то есть что считаешь всегдашней, несомненной истиной и чем будешь руководствоваться в жизни. И не столько узнать, уяснить себе, но испытать на деле, провести или проводить в свою жизнь, потому что пока не делаешь того, во что веришь, сам не знаешь,— веришь ли или нет. Веру твою я знаю, и вот эту веру или те стороны ее, которые выражаются в делах, тебе и надо больше, чем когда-нибудь, именно теперь уяснить себе, проводя ее в дело. Вера в том, что благо в том, чтобы любить людей и быть любимым ими. Для достижения же этого я знаю три деятельности, в которых я постоянно упражняюсь, в которых нельзя достаточно упражняться и которые тебе теперь особенно нужны. Первое, чтобы быть в состоянии любить людей и быть любимым ими, надо приучать себя как можно меньше требовать от них, потому что, если я много требую и мне много лишений, я склоняюсь не любить, а упрекать,— тут много работы.

Второе, чтобы любить людей не словом, а делом, надо выучить себя делать полезное людям. Тут еще больше работы, особенно для тебя в твои года, когда человеку свойственно учиться.

Третье, чтобы любить людей и быть любимым ими, надо выучиться кротости, смирению и искусству переносить неприятных людей и неприятности, искусству всегда так обращаться с ними, чтобы не огорчать никого, а в случае невозможности не оскорбить никого, уметь выбирать наименьшее огорчение. И тут работы еще больше всего, и работа постоянная от пробуждения до засыпания. И работа самая радостная, потому что день за днем радуешься на успехи в ней и, кроме того, получаешь незаметную сначала, но очень радостную награду в любви людей.

Так вот я советую тебе и вам обоим как можно сердечнее и думать и жить, потому что только этим средством вы узнаете, точно ли вы идете по той одной дороге и вам хорошо подать друг другу руки или нет, и вместе с тем если вы искренни, то приготовите себе будущее.

Цель ваша в жизни должна быть не радость женитьбы, а та, чтобы своей жизнью внести в мир больше любви и правды. Женитьба же затем, чтобы помогать друг другу в достижении этой цели.

Les extrêmes se touchent *. Самая эгоистическая и гадкая жизнь есть жизнь двух людей, соединившихся для того, чтобы наслаждаться жизнью, и самое высокое призвание людей, живущих для того, чтобы служить богу, внося добро в мир, и для этого соединившихся друг с другом. Так ты не спутайся — то, да не то. Почему же человеку не избирать высшего. Но только, избрав высшее, надо точно всю душу положить в него, а не немножечко. Немножечко ничего не выйдет. Ну вот, устал писать, а еще хотелось сказать.

Целую тебя»[6].

В другом письме того времени отец писал о моей невесте.

---

* Крайности сходятся *(фр.)*.

«...Ее связывают с тобой две вещи: убеждения — вера и любовь. По-моему, и одной довольно. Настоящая истинная связь — это любовь человеческая, христианская; если это будет и на ней еще вырастет любовь-влюбленье, то прекрасно и твердо. Если будет любовь одна — влюбленье, то это не то что дурно, но и хорошего нет, но все-таки возможно. И при честных натурах с большими борьбами можно прожить и с этой. Но если ни того, ни другого, а только pretexte * того и другого, то это, наверно, плохо. Тебе советую быть как можно строже к себе и знать, во имя чего ты действуешь» [7].

ГЛАВА XXIV

Моя женитьба. Письма отца. Ванечка. Его смерть

В феврале 1888 года я женился и уехал с молодой женой в Ясную Поляну, где и поселился на два месяца в трех нижних комнатах.

К весне я должен был перебраться на Александровский хутор, составлявший часть нашего именья Никольское Чернского уезда, где я предполагал строить себе дом и поселиться. Вскоре после женитьбы я получил от отца следующее письмо:

«Ну как вы, милые мои дети? Живы ли? Живы ли духом? Важное вы переживаете время. Все теперь важно, всякий шаг важен, помните это; слагается ваша жизнь и ваших взаимных отношений — новый организм — homme-femm'a **, одного существа, и слагаются отношения этого сложного существа ко всему остальному миру, к Марье Афанасьевне, к Костюшке и т. п. и к неодушевленному миру, к своей пище, одежде и т. д.,— все новое. Если чего хотите, то хотите теперь. А еще главное дело, будут у вас теперь состояния mauvaise humeur *** и все, и вы друг перед другом окраситесь в несвойственные цвета,— не верьте этому, не верьте дурному, а переждите, и опять будет хорошо.

* Видимость (*фр.*).
** мужчины-женщины (*фр.*).
*** дурного расположения духа (*фр.*).

Не знаю, как Соня, а Илья склонен к этому, и ему надо тут быть осторожным. А ты, Соня, вот что, станет тебе вдруг скучно, скучно, скучно, скучно. А ты не верь этому и не поддавайся, а знай, что это вовсе не скука, а простое требование твоей души работы, какой бы то ни было, физической, умственной — все равно.

Главное, еще главнее, будьте добры к людям, добры не издалека, а доступны вблизи. Если это будет, то будет жизнь полна и счастлива. Ну, держитесь! Целую вас и очень люблю обоих. Нынче узнал, что Хилков женится на сестре жены Джунковского. Я ее не знаю» [1].

В конце марта папа́ сам приехал в Ясную и пожил с нами до нашего отъезда в Никольское.

При нас только была одна старушка Марья Афанасьевна, которая была очень слаба и жила уже на пенсии, так что нам пришлось обходиться без прислуги и самим готовить обед, ходить за водой и убирать комнаты.

Папа́ помогал нам как мог, но признаюсь, что в это время я убедился, что он к робинзоновской жизни был очень и очень мало способен.

Правда, что он ничего не требовал и все находил прекрасным. Но многолетняя привычка к известному режиму, к известному питанию брала свое, и всякое отступление от этого режима даже тогда, когда ему было еще только шестьдесят лет, пагубно отзывалось на его организме.

Сколько раз, уезжая из дома здоровый и попав в новые условия, он возвращался больной. И даже там, где знали все его привычки и где ухаживали за ним, как за ребенком.

В конце апреля мы с женой уехали на свой хутор, и с тех пор я уже больше не жил в Ясной, а только наезжал туда периодически, или по делам, или просто для того, чтобы повидать родителей.

После отъезда из Ясной мы с женой получили от папа́ письмо:

«Как вы доехали, милые друзья, нам без вас скучно, то есть жалко, что вас с нами нет. Получили эту телеграмму и ничего по ней не сделали. Я думаю, что не беда. Напишите, как вы устроились и какие планы.

Мое здоровье теперь совсем хорошо. Наше общество трезвости имеет большой успех, подписались многие, но зато один, Данило, успел подписаться и напиться. Я ничего, не робею от этого, а жду тебя, Илья, и очень жду, и буду очень рад за тебя, когда ты бросишь эти две скверные привычки: алкоголь и табак, привившиеся вне правильной жизни. Жизнь дело не шуточное, особенно теперь для тебя, всякий шаг твой важен. Много хорошего есть у вас — самое главное чистота и любовь, которые берегите всеми силами, но многое-многое угрожает вам,— вы не видите, а я вижу и боюсь. Ну, до свиданья, целую вас, все вам кланяются. Пиши. В Москве все по последним письмам благополучно, торопятся сюда. *Л. Т.*»[2].

Следующее письмо отца написано им по случаю рождения первой моей дочери Анны:

«Поздравляю вас, дорогие и милые молодые родители. Не на словах поздравляю, а сам так неожиданно обрадован внучке, что хочется поделиться своей радостью и поблагодарить вас, и понимаю вашу радость. Я теперь на всех дев и женщин смотрю с соболезнующим презрением. Это что? а вот Анна — вот это будет настоящая. Нет, а без шуток. Впрочем, что я пишу — не шутка, а только еще с большей степенью серьезности я хочу сказать вот что: внучку, а вы дочь, смотрите же воспитайте хорошо, не сделайте тех ошибок, которые делали с вами, ошибок времени. Я верю, что Анна будет лучше воспитана, менее изнежена и испорчена барством, чем вы. Что здоровье Сони? Страшно писать, когда думается, что может быть что-нибудь неладно. Впрочем, все будет ладно, когда в душе ладно, что, главное, вам желаю. Как я рад, что Софья Алексеевна с вами, поцелуйте ее за меня и поздравьте. Целую вас. *Л. Т.*»[3].

Уже после моей женитьбы, весной, у мамá родился ее младший сын Ванечка.

Этот мальчик, доживший только до семилетнего возраста и умерший в 1895 году от скарлатины, был общим любимцем всей семьи.

Отец полюбил его, как младшего ребенка, со всей силой родительской, старческой привязанности.

Надо сказать, что в воспитании моих двух младших братьев, Андрея и Михаила, отец принимал мало участия.

Они подошли к школьному возрасту уже тогда, когда он совершенно отрицательно относился к тем формам воспитания, в которых росли мы, и поэтому он, чувствуя себя не в силах вести их так, как это хотелось бы ему по его убеждениям, совершенно от них отшатнулся, омыл руки и не стал вмешиваться в их жизнь и учение.

Мама́ поместила их сначала в поливановскую гимназию, в которой учился когда-то я и брат мой Лев, а потом они уже перешли в катковский лицей.

Мне кажется, что отец смотрел на Ванечку как на своего духовного наследника и мечтал о том, чтобы воспитать его по-своему, в принципах христианской любви и добра.

Я знал Ванечку меньше остальных братьев и сестер, потому что он рос уже тогда, когда я жил отдельно, но насколько я его помню, я должен признаться, что этот хрупкий и слабый в физическом отношении ребенок отличался необыкновенно нежным и отзывчивым сердцем.

Когда ему было еще полтора года, папа́ решил отказаться совсем от своей недвижимой собственности и разделил все свое имущество между членами нашей семьи.

Ванечке, как младшему, дали часть Ясной Поляны с домом и усадьбой.

Другую часть этого имения, более отдаленную, получила мама́.

Мама́ мне рассказывала, уже после смерти Ванечки, как один раз, гуляя с ним по саду, она стала ему объяснять, что вся эта земля его.

— Нет, мама́, не говори, что Ясная Поляна моя,— сказал он, топнув ножкой,— все — всехнеё.

Когда я получил телеграмму об его смерти, я сейчас же поехал в Москву.

Мама́ передавала мне слова отца, сказанные после смерти Ванечки: «В первый раз в моей жизни — безвыходное горе».

Похоронили Ванечку на деревенском кладбище села Никольского, за Всехсвятским, недалеко от Москвы, там же, где похоронен другой мой маленький брат, Алеша [4].

Когда гроб опустили в могилу, папá зарыдал и сказал тихо, тихо, так, что я еле мог расслышать:

— «Из земли взят и в землю пойдешь».

Эти же слова были сказаны им в письме к Сергею Николаевичу по поводу смерти их брата Николая.

И с тех пор смерть Ванечки была самой большой утратой в жизни отца.

Мне часто приходит в голову, что, кто знает, может быть, если бы Ванечка был жив, многое и многое в жизни отца произошло бы иначе. Быть может, этот чуткий и отзывчивый ребенок привязал бы его к семье, и у него не явилась бы навязчивая мысль уйти из Ясной Поляны.

На эти предположения меня наталкивает письмо отца к моей матери, написанное через полтора года после смерти Ванечки.

Вот это письмо, которое я привожу здесь целиком:

(Ясная Поляна, 1897 г., июль 8).

«Дорогая Соня.

Уж давно меня мучает несоответствие моей жизни с моими верованиями. Заставить вас изменить вашу жизнь, ваши привычки, к которым я же приучил вас, я не мог, уйти от вас до сих пор я тоже не мог, думая, что я лишу детей, пока они были малы, хоть того малого влияния, которое я мог иметь на них, и огорчу вас, продолжать жить так, как я жил эти шестнадцать лет, то борясь и раздражая вас, то сам подпадая под те соблазны, к которым я привык и которыми я окружен, я тоже не могу больше, и я решил теперь сделать то, что я давно хотел сделать,— уйти, во-первых, потому что мне, с моими увеличивающимися годами, все тяжелее и тяжелее становится эта жизнь и все больше и больше хочется уединения и, во-вторых, потому что дети выросли, влияние мое уж в доме не нужно, и у всех вас есть более живые для вас интересы, которые сделают вам мало заметным мое отсутствие.

Главное же то, что, как индусы под шестьдесят лет уходят в леса, как всякому старому, религиозному человеку хочется последние года своей жизни посвятить богу, а не шуткам, каламбурам, сплетням, теннису, так и мне, вступая в свой семидесятый год, всеми силами души хочется этого спокойствия, уединения и хоть не полного согласия, но не кричащего разногласия своей жизни с своими верованиями, с своей совестью.

Если бы открыто сделал это, были бы просьбы, осуждения, споры, жалобы, и я бы ослабел, может быть, и не исполнил бы своего решения, а оно должно быть исполнено. И потому, пожалуйста, простите меня, если мой поступок сделает вам больно, и в душе своей, главное, ты, Соня, отпусти меня добровольно и не ищи меня, и не сетуй на меня, не осуждай меня.

То, что я ушел от тебя, не доказывает того, чтобы я был недоволен тобой. Я знаю, что ты *не могла,* буквально не могла и не можешь видеть и чувствовать, как я, и потому не могла и не можешь изменить свою жизнь и приносить жертвы ради того, чего не сознаешь. И потому я не осуждаю тебя, а, напротив, с любовью и благодарностью вспоминаю длинные тридцать пять лет нашей жизни, в особенности первую половину этого времени, когда ты, с свойственным твоей натуре материнским самоотвержением, так энергически и твердо несла то, к чему считала себя призванной. Ты дала мне и миру то, что могла дать, и дала много материнской любви и самоотвержения, и нельзя не ценить тебя за это. Но в последнем периоде нашей жизни, последние пятнадцать лет, мы разошлись. Я не могу думать, что я виноват, потому что знаю, что изменился я не для себя, не для людей, а потому, что не мог иначе. Не могу и тебя обвинять, что ты не пошла за мной, а благодарю и с любовью вспоминаю и буду вспоминать за то, что ты дала мне.

Прощай, дорогая Соня. Любящий тебя *Лев Толстой».*

(На конверте): «Если не будет особого от меня об этом письме решения, то передать его после моей смерти С. А.» [5].

Это письмо попало в руки матери только после смерти отца.

Позднее, быть может, я вернусь к этому чрезвычайно важному документу, дающему объясиенне многих вопросов, для большинства непонятиых, здесь же я привел его в связи со смертью Ванечкн, ибо мне кажется, что между этими двумя событиямн есть иесомненная внутренняя связь.

Мысль уйтн нз дома не могла прийтн отцу непосредственно после смерти сына, так как в это время он вместе с матерью пережнвал ее «страшно напряженное душевное состояние».

Вот что он по этому поводу пишет:

«Я же больше, чем когда-нибудь, теперь, когда она так страдает, чувствую всем существом истину слов, что муж и жена не отдельные существа, а одио...

...Ужасио хотелось бы передать ей хоть часть того религиозного сознаиия, которое имею, хотя н в слабой степени, но все-таки в такой, чтобы иметь возможность подниматься нногда над горестями жнзнн, потому что знаю, что только оно, это сознание бога и своей сыновностн ему, дает жизнь; н надеюсь, что оно придет, разумеется, не от меня, но от бога, хотя очень трудно дается это сознание женщинам» [6].

Через полтора года, когда острота горя матери стала проходить, отец почувствовал себя нравственно более свободным н иаписал приведенное прощальное письмо.

ГЛАВА XXV

Помощь голодающим

После московской переписи, после того как отец убедился в том, что помощь людям деньгамн не только бесполезна, но н безиравствеина, участие его в продовольственной помощи народу во время голодовок 1891 и 1898 годов может казаться непоследовательностью и даже внутренним противоречием.

— Еслн всадник виднт, что его лошадь замучеиа, он должен не поддержнвать ее, сидя на ией, а просто с нее слезть,— говорил отец, осуждая всякую благо-

творительиость сытых людей, сидящнх иа хрнпу народа, пользующнхся всеми благами своего привилегироваииого положеиия и жертвующих от излишка.

В пользу такой благотворительиости ои ие верил н считал ее самообольщением, тем более вредным, что такнм образом людн как бы получалн иравствеииое право продолжать свою праздиую, барскую жизнь и вместе с тем каждым своим шагом увеличивать нищету иарода.

Осенью 1891 года отец задумал пнсать статью о голоде, постнгшем тогда чуть лн не всю Россню.

Хотя он уже зиал о размерахародиого бедствия по газетам и по рассказам приезжавших к иему из голодиых мест, тем не меиее когда к иему в Ясиую Поляну заехал его старый друг Ивaи Иваиович Раевский и предложил ему проехать в Данковский уезд, для того чтобы самому пюсмотреть, что делается в деревиях, он охотию согласился и вместе с иим пюехал в его Бегичевку.

Прнехав туда на один-два дня, отец увидал, насколько иеобходима была неотложная помощь, и сейчас же вместе с Раевским, у которого было уже устроеио иесколько деревенских столовых, заиялся помощью крестьяиам, сначала в иебольших размерах, а потом, когда посыпались со всех сторон крупиые пожертвоваиия, все шире и шире.

Коичилось тем, что он посвятил на это дело целых два года своей жнзнн [1].

Нельзя думать, чтобы отец в этом случае был иепоследователен. Ои ии миниуты ие обмаиывал себя н ие считал, что он делает хорошее, важное дело, но, увндав беду иарода, он уже не мог продолжать жить спокойио в Ясной и в Москве, потому что в это время не участвовать в помощи было бы для иего слншком тяжело.

«Тут много ие того, что должио быть, тут деньги от Софьи Андреевны н жертвованиые, тут отношения кормящих и кормимым, *тут греха конца нет,* ио не могу жить дома, писать. Чувствую потребность участвовать, что-то делать», [2]— писал ои из Рязанской губернии Николаю Николаевичу Ге.

С первых шагов деятельности моего отца в Бегичевке его постигло большое горе.

В ноябре Иван Иванович Раевский, постоянно ездивший по делам голодающих то на земские собрания, то по деревням и селам, простудился, заболел сильнейшей инфлюенцей и скончался.

Эта потеря, мне кажется, наложила на отца нравственную обязанность продолжать начатое им дело и довести его до конца.

Раевский был один из давнишнейших приятелей отца[3].

Он слыл силачом, и кажется, что он познакомился с отцом в Москве тогда, когда оба они увлекались физическим развитием и ходили в гимнастическую школу француза Пуаре.

Я помню его очень, очень давно, со времен далекого детства, когда он наезжал в Ясную Поляну и когда его связывали с отцом интересы спортивные,— борзых собак и скаковых лошадей.

Это было в семидесятых годах.

Позднее, когда отец уже совершенно отошел от своих прежних увлечений, дружба его с Иваном Ивановичем сохранилась, и, кажется, никогда они не были друг другу так близки, как в то недолгое время, когда их соединило народное бедствие и совместная работа в борьбе с ним.

Раевский вложил в это дело всю свою душу, и, при его большой практичности и самоотвержении в работе, он был для отца неоценимым сотрудником и товарищем.

Этой же зимой отцу пришлось, кажется из-за его нездоровья, на два месяца покинуть Бегичевку, и он просил меня на это время его заменить.

Я сейчас же собрался, сдал свои дела по кормлению голодающих в Чернском уезде жене и поехал в Бегичевку.

Дело, заведенное там отцом, было действительно громадное.

Я застал там только одну помощницу отца, прекрасную энергичную девицу Персидскую, с которой я это время и проработал.

Спустя некоторое время я получил от отца следующее письмо, врученное мне присланной им барышней:

«Любезный друг Илюша.

Письмо это передаст тебе Величкина [4], девица, которая может трудиться. Пока пускай она помогает вам; когда приедем после 20-го, мы устроим ее иначе. Очень жаль, что не написал тебе приехать прежде к нам, чтобы поговорить с тобою обо всем. Я очень боюсь, как бы ты по незнанию всех условий не наделал ошибок. Писать нужно было бы о стольком, что и не начинаю, притом не зная, что и как делается.

Одно прошу тебя, будь как можно осторожнее, поддерживай дело, не изменяя. И главное — заботься о приобретении, подвозе приходящего хлеба и правильном его размещении и о том, чтобы в столовые не попадали могущие кормиться, получающие достаточную помощь от земства и, с другой стороны, чтобы не отвергнуты были нуждающиеся.

Теперь надо помогать топливом самым бедным. Это очень важно и трудно, и тут, как это ни нежелательно, уже лучше, чтобы получили ненуждающиеся, чем чтобы не получили нуждающиеся.

Что сено от Усова? Я боюсь, чтобы Ермолаев тут не напутал. Они пишут про разбитые тюки. Надо поскорей поднять его и свезти к Лебедеву в Колодези. Приискивай картофель на местах, не продают ли где, и покупай. Много еще нужно, но нельзя распоряжаться перепиской, не зная, что и как. Полагаюсь на тебя. Пожалуйста, делай из всех сил. Целую тебя, передай поклоны наши Елене Михайловне и Наташе [5] и всем, кто там. *Л. Т.*» [6].

«Помощница», вручившая мне это письмо, приехала на лошадях со станции в то время, когда мы с Персидской садились ужинать.

Старый столяр, служивший нам за лакея, докладывает: «Еще барышню господь послал».

Входит девица-курсистка с огромной банкой монпансье под мышкой и подает мне письмо от отца.

Я попросил ее сесть и предложил ей ужинать.

На столе стояла кислая капуста с квасом и черный хлеб.

Несчастная москвичка посмотрела, хлебнула две ложечки и уныло притихла, с нежностью посматривая на свои конфеты.

«Попала в голодные места, тут только одна капуста и есть, что бы я стала делать, если бы не догадалась взять с собой эти карамели»,— читал я на ее лице.

Когда принесли котлеты, она вся так и просияла.

На другой день, чуть свет, она потребовала себе «работы».

Я велел запрячь ей лошадь и попросил ее поехать с кучером в деревню Гаи и переписать там всех столующихся.

Через полчаса вваливается ко мне Дмитрий Иванович Раевский (брат Ивана Ивановича), весь в снегу, и с ужасом говорит мне:

— Что я видел? На дворе метель, стоит какой-то ребенок в санях и мчится куда-то без дороги один. Лошадь здешняя. Кто это?

Я так и ахнул.

Оказалось, что девица поехала без кучера неизвестно куда.

Пришлось послать человека ее искать и привезти домой.

В другой раз я, уезжая по столовым, поручил Величкиной выдавать на столовые дрова.

Дрова у нас были все сырые, свежесрубленные, и только на разжижку печей мы выписывали вагонами сухие березовые дрова из Калужской губернии.

Эти дрова были дороги, и мы ими страшно дорожили. На три четвертых сажени мы отпускали одну четвертку сухих. Все это я объяснил своей курсистке и уехал.

Приезжаю, и, о ужас, она раздала все сухие дрова.

— Просили сухих,— объяснила она в свое оправдание.

— А что же мы теперь будем делать с сырыми? Ведь они не горят без разжижки.

Пришлось спешно искать сухих дров и за них переплачивать втридорога.

По возвращении отца в Бегичевку я некоторое время еще побыл с ним и потом уехал к себе.

В другой раз мне пришлось поработать с отцом на этом же поприще в Чернском и Мценском уездах в 1898 году.

После неурожая двух предыдущих лет уже к началу зимы стало ясно, что в наших местах надвигается новая голодовка и что благотворительная помощь народу необходима.

Я обратился к отцу.

К весне ему удалось собрать денег, и в начале апреля он приехал ко мне сам.

Надо сказать, что отец, бережливый по природе, в делах благотворительности был чрезвычайно осторожен и, скажу, даже почти скуп. Конечно, это понятно, если взвесить то безграничное доверие, которым он пользовался среди жертвователей, и ту большую нравственную ответственность, которую он не мог перед ними не чувствовать. Поэтому, прежде чем что-нибудь предпринять, ему надо было самому убедиться в необходимости помощи.

На другой день после его приезда мы оседлали пару лошадей и поехали. Поехали, как когда-то, лет двадцать до этого, с ним же езжали в наездку с борзыми,— прямиком, полями.

Мне было совершенно безразлично куда ехать, так как я считал, что все окрестные деревни одинаково бедствуют, а отцу по старой памяти захотелось повидать Спасское-Лутовиново, которое было от меня в девяти верстах и где он не был со времен Тургенева. Дорогой, помню, он рассказывал мне про мать Ивана Сергеевича, которая славилась во всем околотке необыкновенно живым умом, энергией и сумасбродством. Не знаю, видал ли он ее сам или передавал мне слышанные им предания.

Проезжая по тургеневскому парку, он вскользь вспомнил, как исстари у него с Иваном Сергеевичем шел спор: чей парк лучше, спасский или ясенополянский? Я спросил его:

— А теперь как ты думаешь?

— Все-таки яснополянский лучше, хотя хорош, очень хорош и этот.

На селе мы побывали у сельского старосты и в двух или трех избах. Голода не было.

Крестьяне, наделенные полным наделом хорошей земли и обеспеченные заработком, почти не нуждались.

Правда, некоторые дворы были послабее, но того острого положения, которое считается голодом и которое сразу кидается в глаза,— этого не было.

Помнится мне даже, что отец меня слегка упрекнул за то, что я забил тревогу, когда не было для этого достаточного основания, и мне одно время стало перед ним как-то стыдно и неловко.

Конечно, в разговорах с каждым из крестьян отец спрашивал их, помнят ли они Ивана Сергеевича, и жадно ловил о нем всякие воспоминания. Некоторые старики его помнили и отзывались о нем с большой любовью.

Из Спасского мы поехали дальше.

В двух верстах оттуда нам попалась по пути заброшенная в полях маленькая деревушка Погибелка.

Заехали.

Оказалось, что крестьяне живут на «нищенском» наделе, земля неудобная, где-то в стороне, и к весне народ дошел до того, что у восьми дворов всего только одна корова и две лошади. Остальной скот весь продан. Большие и малые «побираются».

Следующая деревня Большая Губаревка — то же самое.

Дальше — еще хуже.

Решили, не откладывая, сейчас же открывать столовые. Работа закипела.

Самую трудную работу — распределение количества едоков из каждой крестьянской семьи — отец почти везде производил сам, поэтому целые дни, часто до глубокой ночи, разъезжал по деревням. Раздача провизии и заготовка лежала на обязанности моей жены. Явились и помощники. Через неделю у нас уже действовало около двенадцати столовых в Мценском уезде и столько же — в Чернском.

Так как кормить весь народ без различия нам было не по средствам, мы допускали в столовые преимущественно детей, стариков и больных, и я помню, как отец любил попадать в деревню во время обеда и как он умилялся тем благоговейным, почти молитвенным

отношением к еде, которое он подмечал у столующихся.

К сожалению, дело не обошлось и без административных неприятностей [7].

Началось с того, что двух барышень, приехавших из Москвы и заведовавших одной из больших наших столовых, просто прогнали под угрозой закрытия столовой. Затем явился ко мне становой с требованием дать ему разрешение начальника губернии на открытие столовых.

Я стал убеждать его в том, что не может быть закона, воспрещающего благотворительность.

Конечно, безуспешно.

В это время в комнату вошел отец, и между ним и становым завязался дружелюбный разговор, в котором один доказывал, что нельзя запрещать людям есть, а другой просил войти в положение человека подневольного, которому так приказывает начальство.

— Что прикажете делать, ваше сиятельство?

— Очень просто: не служить там, где вас могут заставить поступать против совести.

После этого мне все-таки пришлось во имя сохранения дела съездить к орловскому и тульскому губернаторам и в заключение послать министру внутренних дел телеграмму с просьбой «устранить препятствия, которые ставят местные власти делу частной благотворительности, законом не возбраняемой».

Таким образом, удалось спасти существующие у нас столовые, но новых открывать уже не разрешалось.

От меня отец поехал в восточную часть Чернского уезда, где хотел посмотреть состояние посевов, но дорогой он заболел и несколько дней пролежал у моих друзей Левицких.

Вот письмо, написанное им моей жене и мне после его отъезда:

«Милые друзья Соня и Илья.

Пожалуйста, продолжайте дело, как начато, и даже расширяйте, если есть настоящая необходимость. Я могу прислать еще триста рублей. Тысячу же пятьсот я оставляю, так как написал об этом жертвователям, две тысячи же еще не получал. Я послал свою

статью и отчет о трех тысячах с чем-то рублей [8]. Расхода там выведено около двух с половиной. Пожалуйста, Илюша, пришлите мне расчет остальных денег поаккуратнее, так чтобы можно было послать в газеты.

Очень мне оставило хорошее впечатление мое пребывание у вас. Я ближе вас узнал, понял и полюбил.

Здоровье мое лучше, но не могу сказать, чтобы было хорошо. Все еще очень слаб.

Л. Т.

Внучат милых и Анночку очень целую. Кто из них у бабушки?» [9].

ГЛАВА XXVI

Крымская болезнь отца. Отношение к смерти. Желание пострадать. Болезнь матери

Осенью 1901 года отец заболел какой-то неотвязной лихорадкой, и доктора посоветовали ему на зиму уехать в Крым.

Графиня Панина любезно предоставила ему свою дачу «Гаспра» около Кореиза, где он и провел всю зиму [1].

Вскоре по приезде туда отец простудился и заболел последовательно двумя болезнями — воспалением легких и брюшным тифом.

Одно время его положение было так плохо, что врачи были почти уверены в том, что он больше уже не встанет.

Несмотря на то, что иногда температура больного поднималась довольно высоко, он все время был в памяти, почти каждый день диктовал какие-нибудь мысли [2] и сознательно готовился к смерти.

Вся семья была в сборе, и все мы поочередно участвовали в уходе за ним.

С удовольствием вспоминаю те немногие ночи, которые мне пришлось подежурить около него, сидя на балконе у открытой двери и прислушиваясь к его дыханию, к каждому шороху в его комнате.

Главная моя обязанность, как наиболее сильного из семьи, была подымать отца и держать его в то время, как под ним меняли постельное белье.

Приходилось, пока перестилали постель, держать его, как ребенка, на вытянутых руках.

Помню я, как у меня один раз от напряжения задрожали мускулы.

Он посмотрел удивленно и спросил:

— Неужели тяжело? Какие пустяки.

Мне тогда вспомнился тот случай из детства, когда он замучил меня верховой поездкой по Засеке и спрашивал: «Ты не устал?»

В другой раз, во время этой же болезни, он хотел заставить меня нести его на руках вниз, по каменной витой лестнице.

— Возьми, как носят детей, и неси.

И он ни капли не боялся, что я могу оступиться и разбить его насмерть.

Я насилу настоял на том, чтобы нести его в кресле втроем.

Боялся ли отец смерти?

На этот вопрос одним словом ответить нельзя.

Как натура очень стойкая и сильная физически, он инстинктивно всегда боролся не только со смертью, но и со старостью.

Ведь до последнего года он так и не сдался,— все делал для себя сам, и даже ездил верхом.

Поэтому предполагать, что у него совершенно не было инстинктивного страха смерти, нельзя.

Этот страх у него был и даже в большой степени, и он с этим страхом постоянно боролся.

Победил ли он его?

Отвечу определенно, что — да.

Во время болезни он много говорил о смерти и подготовился к ней твердо и сознательно.

Почувствовав себя слабым, он пожелал со всеми проститься и по очереди призывал к себе каждого из нас, и каждому он сказал свое напутствие.

Он был так слаб, что говорил полушепотом, и, простившись с одним, он некоторое время отдыхал и собирался с силами.

Когда пришла моя очередь, он сказал мне приблизительно следующее:

«Ты еще молод, силен и обуреваем страстями. Поэтому ты еще не успел задумываться над главными вопросами жизни. Но время это придет, я в этом уверен. Тогда знай, что ты найдешь истину в евангельском учении. Я умираю спокойно только потому, что я познал это учение и верю в него. Дай бог тебе это понять скорее. Прощай».

Я поцеловал ему руку и тихонько вышел из комнаты.

Очутившись на крыльце, я стремглав кинулся в уединенную каменную башню и там в темноте разрыдался, как ребенок...

Когда я огляделся, я увидал, что около меня, на лестнице, кто-то сидел и тоже плакал.

Так я простился с отцом за девять лет до его смерти, и мне это воспоминание дорого, потому что я знаю, что если бы мне пришлось с ним видеться перед его смертью в Астапове, он не мог бы сказать ничего иного.

Возвращаясь к вопросу о смерти, я скажу, что отец не боялся ее, нет,— за последнее время он часто даже ее желал — он, скорее, интересовался ею. Это «величайшее таинство» интересовало его до такой степени, что интерес этот был близок к любви.

Как он прислушивался к рассказам о том, как умирали его знакомые: Тургенев, Ге, Лесков, Жемчужников и другие.

Он выпытывал всякую мелочь. Всякая подробность, на первый взгляд незначительная, для него была интересна и важна.

В «Круге чтения» несколько дней и седьмое ноября посвящены исключительно мыслям о смерти.

«Жизнь есть сон, смерть — пробуждение», — писал он под числом, роковым образом совпадающим со днем его смерти — ожидая этого пробуждения [3].

— Если мы не знаем, что ожидает нас после смерти,— значит, нам не должно этого знать,— говорил он.

Между прочим, по поводу «Круга чтения» не могу не привести одного характерного эпизода, рассказанного одной из моих сестер.

Когда отец затеял составлять свой сборник мыслей

мудрых людей, названный им «Кругом чтения», он сообщил об этом одному из своих друзей.

Через несколько дней этот «друг»[4] снова приехал к отцу и с первых же слов, обратясь к нему, сказал, что его жена и он, обдумав его план новой книги, пришли к заключению, что надо назвать ее не «Кругом чтения», а «На каждый день».

На это отец ответил, что «Круг чтения» ему больше нравится, так как слово «круг» дает представление о непрерываемости чтения, что он и хотел выразить этим заглавием.

Проходит полчаса, «друг» подходит опять к отцу и буквально повторяет ту же фразу.

На этот раз отец промолчал.

Вечером, когда «друг» собрался уезжать, он, прощаясь и держа руку отца в своей, снова сказал: «Все-таки, Лев Николаевич, я должен вам сказать, что моя жена и я, обдумывая...» — и т. д., опять то же самое.

— Нет, умирать, скорее умирать! — простонал отец, проводив друга.— В сущности, не все ли равно, «Круг чтения», «На каждый день». Нет, умирать пора, так что жить больше нельзя.

И что же? Все-таки одно из изданий мыслей мудрецов было названо не «Круг чтения», а «На каждый день».

«Ах, душенька, с тех пор как появился этот господин ***, я, право, не знаю, что в сочинениях Льва Николаевича написано им и что написано г-ном ***»,— с грустью говорила чистая сердцем и незлобивая покойница Марья Александровна Шмидт.

Такое вторжение в авторскую деятельность отца на языке «друга» носило скромное название «предположительных поправок»[5], и несомненно, что Марья Александровна была права, ибо никто никогда не узнает, где кончается то, что писал отец, и где начинаются его уступки настойчивым «предположительным поправкам» г-на ***, тем более что предусмотрительный советчик условился с моим отцом, чтобы он вместе с ответами возвращал ему все его подлинные письма. Таким образом, г-н *** предусмотрительно навсегда заметает плоды своих интриг.

Наряду с проявлявшимся у отца желанием смерти у него за последние годы его жизни была еще одна заветная мечта, к которой он открыто стремился,— это желание пострадать за свои убеждения.

На эти мысли прежде всего наталкивали его те административные преследования, которым при его жизни подвергались многие из его друзей и единомышленников.

Когда он узнавал, что кого-нибудь из-за распространения его сочинений сажали в острог или высылали, он действительно волновался так, что его становилось жалко.

Я помню случай, когда я приехал в Ясную через несколько дней после ареста Н. Н. Гусева[6].

Два дня я прожил с отцом и только и слышал, что о Гусеве.

Точно весь мир клином сошелся на этом человеке. И признаюсь, что хотя я сам жалел Гусева, сидевшего в то время в Крапивенской тюрьме, но во мне шевельнулось дурное чувство обиды, что отец так мало обращал внимания на меня и на всех окружающих и так отдался весь мыслям о Николае Николаевиче.

Охотно сознаюсь, что я в своем непосредственном чувстве был неправ. Если бы я перенесся в то, что в это время испытывал отец, я почувствовал бы это тогда же.

Еще в 1896 году, по поводу ареста в Туле женщины-врача Холевинской, отец написал министру юстиции Муравьеву длинное письмо, в котором он говорил о неразумности, бесполезности и жестокости мер, принимаемых правительством против тех лиц, которые распространяют его запрещенные сочинения, и просит все меры наказания, устрашения или пресечения зла направить против того, кто считается виновником его...[7] «тем более что я заявляю вперед, что я буду, не переставая, до своей смерти, делать то, что правительство считает злом, а что я считаю своей священной перед богом обязанностью»[8].

Конечно, ни это, ни следующие, подобные этому вызовы отца никаких последствий не имели, и высылки и аресты близких ему лиц не прекращались.

Перед всеми этими людьми отец считал себя нравственно обязанным, и с каждым годом на его совесть ложились все новые и новые тяжести.

В 1908 году, перед своим юбилеем, отец пишет А. М. Бодянскому:

«Действительно, ничто так вполне не удовлетворило бы меня и не дало бы мне такой радости, как именно то, чтобы меня посадили в тюрьму, в хорошую настоящую тюрьму, вонючую, холодную, голодную...»

Этот поступок... «доставил бы мне на старости лет, перед моей смертью, истинную радость и вместе с тем избавил бы меня от всей предвидимой мною тяжести готовящегося юбилея» [9].

И это пишет тот же человек, который из-за произведенного у него в Ясной Поляне в 1862 году обыска и из-за подписки о невыезде, отобранной у него судебным следователем (когда в 1872 году бык забодал нашего пастуха), негодовал до такой степени, что оба раза хотел экспатриироваться.

Очень тяжелые минуты пережил мой отец во время опасной болезни мама́, осенью 1906 года.

Узнав о ее болезни, все мы, дети, съехались в Ясную Поляну.

Мама́ лежала уже несколько дней в постели и страшно мучилась невозможными болями живота.

Приехавший по нашему вызову профессор В. Ф. Снегирев определил распадающуюся внутреннюю опухоль и предложил сделать операцию.

Для большей уверенности в своем диагнозе и для консультации он попросил вызвать из Петербурга профессора Н. Н. Феноменова, но болезнь мама́ пошла такими быстрыми шагами, что на третий день, рано утром, Снегирев разбудил всех нас и сказал, что он решил не ждать Феноменова, потому что если не сделать операцию сейчас же, то мама́ умрет.

С этими же словами он пошел и к отцу.

Папа́ совершенно не верил в пользу операции, думал, что мама́ умирает, и молитвенно готовился к ее смерти.

Он считал, что «приблизилась великая и торжественная минута смерти, что надо подчиниться воле божьей и что всякое вмешательство врачей нарушает величие и торжественность великого акта смерти».

Когда доктор определенно спросил его, согласен ли он на операцию, он ответил, что пускай решает сама мама́ и дети, а что он устраняется и ни *за*, ни *против* говорить не будет.

Во время самой операции он ушел в Чепыж и там ходил один и молился.

— Если будет удачная операция, позвоните мне в колокол два раза, а если нет, то... Нет, лучше не звоните совсем, я сам приду,— сказал он, передумав, и тихо пошел к лесу.

Через полчаса, когда операция кончилась, мы с сестрой Машей бегом побежали искать папа́.

Он шел нам навстречу, испуганный и бледный.

— Благополучно! Благополучно! — издали закричали мы, увидав его на опушке.

— Хорошо, идите, я сейчас приду,— сказал он сдавленным от волнения голосом и повернул опять в лес.

Через несколько времени после пробуждения мама́ от наркоза он взошел к ней и вышел из ее комнаты в подавленном и возмущенном состоянии.

«Боже мой, что за ужас! Человеку умереть спокойно не дадут! Лежит женщина с разрезанным животом, привязана к кровати, без подушки... и стонет больше, чем до операции. Это пытка какая-то!»

Только через несколько дней, когда здоровье матери восстановилось совсем, отец успокоился и перестал осуждать докторов за их вмешательство [10].

ГЛАВА XXVII

Смерть Маши. Дневники. Обмороки. Слабость

Приступая к описанию последнего периода жизни моего отца, я еще раз должен оговориться, что я пишу только по впечатлениям, запавшим во мне от моих периодических наездов в Ясную Поляну.

К сожалению, у меня нет того богатого стенографического материала, которым располагали для своих записок Гусев, Булгаков, и в особенности Душан Петрович Маковицкий [1].

В ноябре месяце 1906 года скончалась от воспаления легких моя сестра Маша. Странно, что она ушла из жизни так же незаметно, как и прожила в ней.

Вероятно, это есть удел всех чистых сердцем людей!

Ее смерть никого особенно не поразила.

Я помню, что, когда я получил телеграмму, я не удивился. Мне показалось, что так и должно было быть.

Маша была замужем за нашим родственником князем Оболенским, жила в своем именьице Пирогове в тридцати пяти верстах от нас и половину жизни проводила с мужем в Ясной.

Она была слабая здоровьем и постоянно хворала.

Когда я приехал в Ясную, на другой день после ее смерти, я почувствовал какое-то повышенное молитвенно-умиленное настроение всей семьи, и тут, может быть, в первый раз, я сознал все величие и красоту смерти.

Я ясно почувствовал, что своей смертью Маша не только не ушла от нас, а, напротив, навсегда приблизилась и спаялась со всеми нами так, как это никогда не могло бы быть при ее жизни.

Это же настроение я видел и у отца. Он ходил молчаливый, жалкий, напрягая все силы на борьбу с своим личным горем, но я не слышал от него ни одного слова ропота, ни одной жалобы,— только слова умиления.

Когда понесли гроб в церковь, он оделся и пошел провожать.

У каменных столбов он остановил нас, простился с покойницей и пошел по пришпекту домой. Я посмотрел ему вслед: он шел по тающему мокрому снегу частой старческой походкой, как всегда резко выворачивая носки ног, и ни разу не оглянулся [2].

Сестра Маша в жизни отца и в жизни всей нашей семьи имела огромное значение [3].

Сколько раз за последние годы приходилось ее вспоминать и с грустью говорить: «Если бы Маша была жива...», «Если бы не умерла Маша...»

Для того чтобы объяснить отношение Маши к отцу, мне придется вернуться далеко назад.

В характере отца,— быть может, оттого, что он рос без матери, а быть может, врожденно,— была одна отличительная и на первый взгляд странная особенность — это что ему совершенно несвойственны были проявления чувства нежности.

Говорю «нежность» в отличие от «сердечности». Сердечность у него была, и большая.

Характерно в этом смысле его описание смерти дяди Николая Николаевича. В письме к Сергею Николаевичу, описывая последний день жизни брата, отец рассказывает, как он помогал ему раздеваться.

«...И он покорился и стал другой, кроткой, доброй, этот день не стонал; про кого ни говорил, всех хвалил, и мне говорил: «Благодарствуй, *мой друг»*. Понимаешь, что это значит в наших отношениях. Я сказал ему что слышал, как он кашлял утром, но не вошел из-за fausse honte*. «Напрасно, это бы меня *утешило»* [4].

Оказывается, что на языке братьев Толстых слово «мой друг» была такая нежность, выше которой представить себе нельзя.

Это слово поразило отца даже в устах умирающего брата.

Я во всю свою жизнь никогда не видал от него ни одного проявления нежности.

Целовать детей он не любил и, здороваясь, делал это только по обязанности.

Понятно поэтому, что и по отношению к себе он не мог вызывать нежности и что сердечная близость у него никогда не сопровождалась никакими внешними проявлениями.

Мне, например, никак не могло бы прийти в голову просто подойти к отцу и поцеловать его или погладить ему руку.

Этому отчасти мешало и то, что я всегда смотрел на него снизу вверх, и его духовная мощь, его вели-

* ложного стыда *(фр.)*.

чина мешали мне видеть в нем просто человека, порой жалкого и усталого,— слабого старичка, которому так нужно было тепло и покой.

Это тепло могла давать отцу одна только Маша.

Бывало, подойдет, погладит его по руке, приласкает, скажет ласковое слово, и видишь, что ему это приятно, и он счастлив, и даже сам отвечает ей тем же.

Только с ней он делался другим человеком.

И почему Маша умела так сделать и никто другой и не смел этого пробовать?

У всякого из нас вышло бы что-то неестественное, а у нее это выходило просто и сердечно.

Я не хочу сказать, что другие близкие люди любили отца меньше, чем Маша,— нет, но ни у кого проявления этой любви не были так теплы и вместе с тем так естественны, как у нее.

И вот со смертью Маши отец лишился этого единственного источника тепла, которое под старость лет становилось для него все нужнее и нужнее.

Другая, еще большая ее сила — это была ее необычайно чуткая и отзывчивая совесть.

Эта ее черта была для отца еще дороже ласки.

Как она умела сглаживать всякие недоразумения. Как она всегда заступалась за тех, на кого падали какие-нибудь нарекания — справедливые или несправедливые, все равно.

Маша умела все и всех умиротворять.

Когда я узнал о том, что мой отец 28 октября ушел из дому, я прежде всего подумал: «Если бы жива была Маша...»

За последний год здоровье отца стало заметно ослабевать.

Несколько раз с ним делались какие-то необъяснимые внезапные обмороки, после которых он на другой день оправлялся, но временно совершенно терял память.

Видя в зале детей брата Андрея, которые в это время жили в Ясной, он удивленно спрашивал: «Чьи эти дети?», встретив мою жену, он сказал ей: «Ты не обидься, я знаю, что я тебя очень люблю, но кто ты, я

забыл»,— и, наконец, взойдя раз после такого обморока в залу, он удивленно оглянулся и спросил: «А где же брат Митенька?» (умерший пятьдесят лет тому назад) *.

На другой день следы болезни исчезали совершенно.

Во время одного из таких обмороков брат Сергей, раздевая отца, нашел у него маленькую записную книжечку.

Он спрятал ее у себя и на другой день, придя к отцу, передал ему, сказав, что он ее не читал.

— Ну, тебе-то можно было бы,— сказал отец, беря от него книжечку.

Этот дневничок, в котором отец записывал свои сокровенные мысли и молитвы, был заведен им «только для себя», и он никому его не показывал [5].

После смерти отца я видел эту книжечку. Нельзя читать ее без слез.

Несмотря на громадный интерес этих предсмертных записок, я не буду приводить их содержания.

Мне было бы неприятно рассказывать то, что отец писал только «для себя».

Довольно уже говорит за себя тот факт, что такой дневник был заведен.

«Настоящий дневник».

«Настоящий» — потому, что все остальные его дневники, в которых он записывал свои отвлеченные (не личные) мысли и переживания, им не убирались и лежали открыто на его столе.

Их читали все, кто хотел, и не только читали, но некоторые «друзья» увозили их к себе и переписывали.

Из-за этого между моей матерью и «друзьями» возникла глухая и тяжелая борьба, кончившаяся тем, что отец завел себе этот новый, «свой» дневничок.

Ему нужна была своя «святая святых», куда бы никто не мог вторгнуться, и это «свое» он прятал в голенище сапога.

---

* По этому поводу нельзя не вспомнить, что отец уговорился с Димитрием Николаевичем, что тот из них, который раньше умрет, придет навестить другого (см. гл. IV). *(Прим. автора.)*

В последний раз я был в Ясной Поляне в начале осени.

Отец, как и всегда, встретил меня ласково и приветливо.

Когда кто-нибудь из нас, сыновей, приезжал, он всегда бывал рад и встречал нас каким-нибудь приятным приветствием.

Или скажет, что он недавно меня во сне видел, или что он поджидал именно меня, потому что остальные все недавно были,— одним словом, всегда выходило так, что приезд в данную минуту приходился как раз кстати.

Хотя я уже отчасти привык к недомоганиям отца, но в этот раз мне его слабость особенно бросилась в глаза.

И не так слабость физическая, как какая-то сосредоточенность и отчужденность от всего внешнего мира.

У меня от этого свидания осталось очень грустное воспоминание.

Как будто отец избегал разговоров; как будто я чем-то перед ним провинился.

Вместе с тем меня поразило ослабление его памяти.

Хотя я уже около пяти лет служил в Крестьянском банке и он это прекрасно знал — настолько, что даже воспользовался одним из моих рассказов из моей служебной практики для своей статьи[6], которую он в это время писал,— но он в этот раз забыл об этом и спросил, где я служу, чем я занимаюсь?

Вообще он был рассеян и как-то обособлен.

Странно, что наступившее в отце резкое ослабление памяти проявлялось только по отношению к людям и фактам.

В писательской же его работе этого не было, и все, что было им написано до самых последних дней его жизни, отличается все той же, свойственной ему логичностью и силой.

Быть может, он и забывал мелочи жизни только потому, что был слишком погружен в свою отвлеченную работу.

В октябре моя жена была в Ясной Поляне и, вернувшись оттуда, рассказала мне, что там происходит что-то неладное: «Мать нервна, отец в молчаливом и подавленном настроении».

Я был занят службой, но решил первый же свободный день посвятить на поездку к родителям.

Я приехал, когда в Ясной отца уже не было.

Двадцать восьмого октября 1910 года я был в Москве и вечером узнал по телефону от брата Сергея, что им получена из Ясной Поляны тревожная телеграмма, требующая его немедленного приезда. Мы выехали в двенадцать часов ночи и рано утром были уже на станции Козловке-Засеке.

От кучера Адриана Павловича мы узнали, что отец накануне утром уехал по железной дороге и никто не знает, где он сейчас находится. Неизвестно даже, в какую сторону он поехал,— на север или на юг, так как в шесть часов утра, когда он был на станции Ясенки, одновременно отходят поезда и в то и в другое направление.

Это известие было для меня совершенно неожиданно, и я помню, как тут же меня испугало одно странное совпадение, на первый взгляд незначительное, но в данном случае показавшееся мне знаменательным.

Отец ушел из Ясной Поляны 28-го числа. Опять это роковое число, совпадавшее со всеми значительными событиями его жизни!

Значит, опять произошло в его жизни что-то решительное, что-то важное. Значит, он уже не вернется! Отец не признавал никаких предрассудков, не боялся сам садиться за стол тринадцатым, часто вышучивал разные приметы, но число «28» он считал своим и любил его.

Он родился в 28 году, 28 августа. 28-го числа вышла в печать первая его книга «Детство и отрочество», 28-го родился его первый сын, 28-го была первая свадьба одного из его сыновей и вот, наконец, 28-го он ушел из дома, чтобы больше никогда не вернуться [7].

Приехав в Ясную, мы застали там сестру Александру и братьев Андрея и Михаила.

В передней нас встретила мама́, рыдающая, растерянная и жалкая. Весь этот день все мы ютились куч-

ками по осиротевшим комнатам, снова и снова выслушивали рассказы о случившемся, делали предположения о том, где теперь может быть папа́, может ли он вернуться, и обсуждали, что нам делать.

Ближайшая наша обязанность — это была забота о матери, состояние которой внушало нам серьезные опасения. Приехавший из Тулы по нашему вызову врач-психиатр посоветовал не оставлять ее одну и приставить к ней сестру милосердия. Было решено, что двое из нас в первое время должны остаться в Ясной.

Двадцать девятого октября сестра Саша готовилась ехать к отцу, но усиленно скрывала от нас, куда она поедет и когда выедет.

Измученный, больной физически и нравственно, отец поехал без цели, без ранее намеченного направления, только для того, чтобы куда-нибудь скрыться и отдохнуть от тех нравственных пыток, которые сделались ему невыносимы.

— Взвесил ли папа́, что мама́ может не пережить разлуки с ним? — спросил я у сестры Саши.

— Да, он считался и с этим, и все-таки он решил уйти, потому что считает, что хуже того положения, которое создалось теперь, быть не может,— ответила мне она.

Вечером мы написали отцу письма и передали их ей. На словах мы поручили ей передать отцу, чтобы он не беспокоился о мама́, что мы ее бережем, а ее просили заботиться о нем и беречь его.

В эту же ночь я уехал к себе в Калугу.

Никто не сказал мне, куда уехал отец, но я был так уверен в том, что он в Шамардине у тети Маши, что на следующий же день я пошел к калужскому губернатору князю Горчакову и попросил его принять меры, чтобы козельская полиция не причинила отцу неприятностей из-за того, что у него не было с собой никаких документов.

Шамардино от Калуги в пятидесяти верстах.

В это время у меня в Калуге случайно стояла тройка лошадей. Моя жена настойчиво советовала мне тогда же сесть в экипаж и ехать к Марье Николаевне, но я этого не сделал только потому, что я побоялся спугнуть оттуда отца.

Ему могло быть неприятно, что я узнал, где он находится.

После выяснилось, что я ехал от Засеки до Калуги в том же вагоне, в котором ехала моя сестра Саша.

Если бы я последовал совету моей жены, я мог бы приехать в Шамардино одновременно с ней или даже раньше, потому что сестра ехала по железной дороге окружным путем, через Тихонову пустынь и Сухиничи, а я проехал бы прямо без остановок.

Теперь я жалею, что я этого не сделал.

Через два дня я получил телеграмму, что отец лежит больной в Астапове.

Я сейчас же поехал туда.

Там я застал почти всю нашу семью, приехавшую из Ясной Поляны на экстренном поезде и поселившуюся на запасном пути в вагоне первого класса. Отец лежал в маленьком красном флигеле, в квартире начальника станции.

Около него постоянно дежурили врачи, сестры Татьяна и Александра, брат Сергей и несколько еще лиц, им помогавших.

Грустно вспомнить, что мне пришлось отказаться от того, чтобы в последний раз видеть отца во время его болезни. Когда я приехал, он был уже так слаб, что говорил с трудом и почти все время находился в полузабытьи.

Я не пошел к нему в Астапове почти по тем же причинам, почему я не поехал в Шамардино. Мне казалось, что, если отец меня увидит, он поймет, что все уже знают, где он находится, и мне больно было, перед его смертью, отнимать у него иллюзию того, что он исполнил свою мечту и скрылся.

Самый тяжелый вопрос, стоявший перед всеми нами во все время болезни отца, вопрос необычной важности, который, откровенно говоря, для меня до сих пор остается неразрешенным,— это следовало ли моей матери идти к отцу?

Все дни, с первого до последнего, этот вопрос обсуждался всеми нами на все лады, и кончилось все-таки тем, что моя мать взошла в комнату умирающего только тогда, когда он уже задремал в предсмертном сне и едва ли мог ее видеть. Многие думают, что моя

мать не была допущена к отцу людьми, его окружавшими.

Это неверно.

Когда с отцом говорил брат Сергей, он продиктовал матери телеграмму, в которой он просил ее не приезжать к нему, потому что он чувствует себя настолько слабым, что свидание с ней может быть для него «губительно».

Эту телеграмму брат принес в наш вагон и передал ее матери.

Как было после этого идти к нему?

В другой раз сестра Татьяна завела с ним разговор о мама́. Говоря о ней, он страшно волновался, а когда Таня стала его успокаивать, он сказал ей, что это «важно», что это «самое важное» теперь.

Таня спросила его тогда, хочет ли он видеть мама́?

Он промолчал.

В это время при отце было шесть человек врачей, из которых пятеро — старые друзья нашего дома[8].

Их единогласное мнение, как врачей и как близких друзей, было таково: волнение для Льва Николаевича настолько опасно, что оно может его убить.

Пока есть еще надежда на его спасение, надо его от всякого волнения ограждать. Софья Андреевна должна к нему взойти только в том случае, если он сам этого пожелает.

Как ни жестоко казалось нам такое решение, но не подчиниться ему было невозможно.

Это было ясно для всех нас.

Моя мать страшно этим мучилась, но делать было нечего.

Каждый час, а иногда и чаще, днем и ночью, кто-нибудь из нашего вагона бегал к красному домику, стучался в форточку комнаты, где сидели дежурные, и возвращался назад с известиями о ходе болезни.

Сколько раз я сам, ведя свою мать под руку, подходил с ней к этой форточке, подолгу простаивал у окна и вместе с ней переживал тяжелые минуты ее мучительного горя!

Вспоминая прошедшее, мне иногда кажется, что нами была сделана одна ошибка: быть может, следо-

вало тогда же, в первые же дни болезни отца, сказать ему, что мама́ здесь, в Астапове.

При его ослабленном сознании это могло бы его огорчить, потому что это отняло бы у него иллюзию того, что он скрылся,— но, быть может, это было бы лучше.

Лучше, потому что это была бы правда, которую, как мне теперь кажется, мы не имели права скрывать от умирающего.

А если он не вызвал ее из Ясной, жалея ее и боясь ее волновать?

Быть может, даже он думал, что она больна и не в состоянии приехать.

Трудно сказать, как следовало поступить в данном случае.

Несомненно только то, что было сделано так, как казалось лучше для отца.

И то, что моя мать безропотно подчинилась убеждениям врачей, было с ее стороны тяжелой искупительной жертвой, значение которой ценить не нам.

ГЛАВА XXVIII

Тетя Маша Толстая

Тетя Маша Толстая, единственная сестра моего отца, была моложе его на полтора года.

Рассказывали, что ее родами умерла моя бабушка Мария Николаевна [1].

Я помню, что, когда в детстве я узнал, что тетя Маша виновница смерти своей матери, я никак не мог понять, в чем заключалась ее вина. Я никого об этом определенно не спрашивал, но в глубине души у меня затаилось к ней за это какое-то недоброжелательное чувство, которое я не мог победить, даже несмотря на то что тетя Маша была моей крестной матерью.

Я помню Марью Николаевну уже вдовой. Она почти каждый год бывала в Ясной Поляне, раньше, пока ее дочери не вышли замуж, с детьми, а позднее одна.

Она была замужем за своим однофамильцем и дальним родственником, графом Валерианом Петровичем Толстым.

Его имеиие Покровское, прннадлежавшее впоследствнн дочерн Марьи Нниколаевиы, княгнне Е. В. Оболенской, расположено в Чернском уезде, в несколькнх верстах от тургеневского Спасского-Лутовннова. Там Марья Нниколаевна встречалась с Иваном Сергеевнчем н вместе с свонми братьямн, Нниколаем н Львом, прнннмала участне в той интересиой н ожнвленной компанни соседей — лнтераторов и охотннков, о которой так жнво рассказывает в свонх воспомннаннях Афанасий Афанасьевич Фет [2].

Говорят, что одно время Тургенев был Марьей Ннколаевной увлечен.

Говорят даже, что он опнсал ее в своем «Фаусте». Это была рыцарская дань, которую он прннес ее чнстоте н непосредственности.

Тетя Маша до конца своей жнзии сохраннла о Тургеневе самое поэтнческое воспомннанне, инчем не запятнанное, светлое и яркое [3].

В своей супружеской жнзнн Марья Нниколаевна, по-вндимому, не была счастлнва. Незадолго до смертн своего мужа она с инм разъехалась и поселилась в своем собственном имеиии Пнрогове, Крапнвенского уезда, где, в трех верстах от усадьбы дяди Сергея Ниолаевнча, у нее был небольшой хутор и дом. Там оиа прожнла с перерывамн несколько лет до 1889 года, пока ие позиакомилась с оптнпскнм старцем Амвроснем и ие поступнла в основанный нм Шамардинскнй женскнй монастырь, где н скончалась в 1912 году через полтора года после смертн моего отца.

Странно, что релнгиозный крнзнс в жнзни моего отца н Марьн Нниколаевны произошел почтн одновремеино.

В обонх ннх ярко выразнлось то же суровое по отношенню к себе, неуклоиное и страстное нсканне нстииы, а также прямота, ие допускавшая инкаких жизненных компромнссов и полумер.

Одно время, когда отец совершеиио отшатнулся от православня, а тетя Маша, еще не постриженная, мечтала попасть в моиастырь, я помню, что между иею н отцом былн жесткне прннцнпиальные споры.

Это было давио, и тогда оба онн проявляли резкую иетерпнмость.

Иногда на этой почве у них бывали размолвки.

Но ненадолго.

Я помню, как тетя Маша, бывшая уже на послушании у Амвросия, как-то сказала отцу, что она хочет попросить у старца разрешение иметь выигрышный билет.

Когда отец сказал ей, что это не монашеское дело и что таких вопросов монаху даже задавать нельзя, она так обиделась, что ушла из комнаты.

Позднее споры между нею и моим отцом стали реже, а за последние годы их жизни я не слыхал их ни разу.

Чем старше они становились оба, тем нежнее делались их взаимные отношения и тем бережнее они относились к убеждениям друг друга.

Как это ни странно, но его, совершенно отрицавшего всякую обрядность, и ее, строгую монахиню, соединяло общее им обоим страстное искание бога, которого они оба одинаково любили, но которому молились каждый по-своему, по мере своих сил. И оба они чутко прислушивались друг к другу.

Я помню один трогательный случай, бывший с тетей Машей в Ясной Поляне, который я хотел бы рассказать не как анекдот, а как действительно жизненную правду, на которой одинаково обрисовались и она и мой отец.

Приехав как-то к нам, тетя Маша остановилась в комнате, которая за последние годы жизни моего отца была его спальней.

В это время отец там не жил, и эта комната была свободна.

Была осень, и по углам, под потолком, ютились кучки крупных осенних мух. Тетя Маша, зная, что в правом углу комнаты исстари стояла полка с образами, по близорукости своей, приняла этих мух за образ и каждый день перед ними молилась.

Вдруг как-то вечером приходит она к себе и видит, что там, где раньше, ей казалось, висел образ — ничего нет. Она позвала горничную Авдотью Васильевну и спросила ее — зачем она убрала икону?

— Марья Николаевна, там иконы не было, иконы перенесены в спальню графини, а там были мухи,— так я их смела сегодня.

Тетя Маша при мне рассказывала об этом папá, и он вместе с ней совершенно искренно ахал и утешал ее. Ведь в том, что она три дня молилась на мух, греха не было, потому что она сама об этом не знала.

Другой характерный случай, рисующий отношения тети Маши к отцу,— это подушечка, которую она ему вышила. Эту подушечку он всегда клал около себя, и до сих пор она лежит на его кровати в его комнате, покинутой им 28 октября 1910 года.

Когда отец в первый раз посетил тетю Машу в ее шамардинской келье, она рассказывала ему о том, как строго монахини соблюдают послушание. Ни одного шага, даже самого незначительного, ни одна из них не смеет предпринять без совета и благословения старца.

Отец возмутился тем, что монахини не живут своим умом, и полушутя сказал: «Стало быть, вас тут шестьсот дур, которые все живут чужим умом. Единственный среди вас умный человек, это ваша игуменья». (В это время игуменьей монастыря была слепая старуха мать Евфросинья, очень понравившаяся моему отцу за ее душевность и здравый ум.)

Тетя Маша запомнила эти слова Льва Николаевича и в следующий свой приезд в Ясную подарила ему вышитую по канве подушечку «от одной из шестисот шамардинских дур».

Отец в то время уже забыл о своей шутке, а когда тетя Маша ее ему напомнила, он сконфузился и сказал: «Это я очень дурно сказал тогда,— это я был дурак, а вы все умные».

Отец очень любил тетю Машу и всегда чутко прислушивался к ее сердцу.

По мере приближения к старости чувство дружбы перешло в глубокую нежность, которой пропитаны все его последние письма к ней.

«Твой, чем старше становящийся, тем больше любящий тебя брат Лев»,— подписывается отец в одном из последних своих писем к ней в 1909 году [4].

«Твое письмо почти до слез тронуло меня и твоей любовью, и тем истинным религиозным чувством, которым оно проникнуто»,— пишет он ей в другом месте по поводу ее письма к Д. П. Маковицкому [5].

Понятно, что, когда отец решил навсегда покинуть Ясную Поляну, уйти «из мирской жизни, чтобы жить в уединении и тиши последние дни своей жизни», он не мог не приехать к тете Маше, которая одна только была в состоянии понять то, что он переживал, и могла вместе с ним поплакать и хоть немного его успокоить.

Вот как сама тетя Маша описывает свое последнее свидание с братом в письме к моей матери от 22 апреля 1911 года:

«Христос воскресе.

Милая Соня, очень рада была получить твое письмо; я думала, что, испытавши такое горе и отчаяние, тебе не до меня, и это мне было очень грустно. Я верю, что кроме того, что ужасно потерять такого дорогого человека, но что тебе очень тяжело. Ты спрашиваешь, какой я могла сделать вывод из всего случившегося? Как я могу знать из всего того, что слышала от разных людей, близких к вашему дому, что правда, что нет? Но я думаю, как говорится: нет дыма без огня, вероятно,— было что-нибудь неладное?

Когда Левочка приехал ко мне, он сначала был очень удручен, и когда он мне стал рассказывать, как ты бросилась в пруд, он плакал навзрыд, я не могла его видеть без слез, но про тебя он мне ничего не говорил, сказал только, что приехал сюда надолго, думал нанять избу у мужика и тут жить. Мне кажется, он хотел уединения: его тяготила яснополянская жизнь (он мне это говорил в последний раз, когда я у вас была) и вся обстановка, противная его убеждениям, он просто хотел устроиться по своему вкусу и жить в уединении, где бы ему никто не мешал,— так я поняла из его слов. До приезда Саши он никуда не намерен был уезжать, а собирался поехать в Оптину и хотел *непременно* поговорить со старцем. Но Саша своим приездом на другой день все перевернула вверх дном; когда он уходил в этот день вечером ночевать в гостиницу, он и не думал уезжать, а сказал мне: «До свиданья, увидимся завтра!» Каково же было на другой день мое удивление и отчаяние, когда в пять часов утра (еще темно) меня разбудили и сказали, что он уезжает! Я сейчас встала, оделась, велела пода-

вать лошадь, поехала на гостиницу: но он уже уехал, и я так его и не видала!

Не знаю, что между вами было; Чертков тут, вероятно, во многом виноват, но что-нибудь да было особенное, иначе Лев Николаевич в свои лета не решился бы так внезапно, ночью, в ужасную такую погоду, собравшись скоро, уехать из Ясной Поляны.

Я верю, тебе очень тяжело, милая Соня, но ты все-таки себя очень не упрекай, все это случилось, конечно, по воле божьей; дни его были сочтены, и богу угодно было послать ему это последнее испытание через самого ему близкого и дорогого человека.

Вот, милая Соня, какой вывод я могла сделать из всего этого поразительного и ужасного события! Как он сам был необыкновенный человек, так и кончина его была необыкновенная. Я надеюсь, за любовь его ко Христу и работу над собой, чтоб жить по Евангелию,— он, милосердный, не оттолкнет его от себя!

Милая Соня, ты на меня не сердись, я откровенно тебе написала, что я думала и чувствовала, я хитрить перед тобой не могу; ты мне все-таки очень близка и дорога, и я всегда буду тебя любить, что бы там ни было. Ведь он, милый мой Левочка, тебя любил!

Не знаю, в состоянии ли я буду приехать летом на могилу Левочки; после его смерти я очень стала слаба, никуда положительно не хожу, только езжу в церковь, одно мое утешение. Приезжай к нам поговеть, открой свою душу старцу, он все поймет и успокоит тебя. Бог все простит и покроет своей любовью; припади к нему со слезами и увидишь, какой мир водворится в душе твоей: ведь на тебя нашло какое-то затмение! Это все была вражья работа! Прощай, будь здорова и покойна. Любящая тебя сестра.

Машенька

P. S. Живу я с одной монахиней, которую я никогда почти не вижу; она все ходит на послушании.

Где ты сама живешь, Соня, и какие твои дальнейшие планы? Где ты намерена жить и куда тебе всегда писать? У меня были по разу все твои сыновья (кро-

ме Левы н Мншн), я им очеиь была рада; очень грустно, что я нх больше не вижу. Соия Илюшнна была; оиа очень была со мной мила».

Это письмо проиикнуто такой сердечностью и такой настоящей, неподдельиой религнозностью, что хотелось бы на нем закоичнть свои воспомииания.

Лучшего отношения к последним событиям жизни отца быть не может.

Мне удалось посетить тетю Машу через месяц после похорон отца.

Как только она от келейницы узнала о моем приезде, она послала за мной в монастырскую гостиницу. Нам обоим нитересно было видеться: ей — чтобы узнать от меня подробности болезни и смертн отца, мие — чтобы слышать от иее рассказ об его пребывании в Шамардине.

Я пробыл несколько часов в ее малеиькой уютиой келье и давно не проводил время так нитересио н приятио. Рассказы ее передать на бумаге невозможио. Так много было в них нскренностн н душевной простоты, н так еще остро было ее горе после смерти любнмого брата, что часто какой-нибудь одии взгляд или слеза говорнли больше, чем целая фраза.

— Вот на этом же стуле, на котором ты сндишь, он сидел и все мне рассказывал. А как он плакал, особенно когда Саша прнвезла ему из Ясной Поляны от всех вас письма.

Когда приехала Саша со своей подругой[6], они стали рассматривать карту Россни и обдумывать маршрут на Кавказ. Левочка сндел грустный и задумчивый.

— Ннчего, папá, все будет хорошо,— пробовала подбадривать его Саша.

— Ах вы, бабы, бабы,— с горечью возразнл отец,— что ж тут хорошего.

Я так иадеялась, что он тут приживется, ему тут было бы хорошо.

Ведь даже дом нанял на трн неделн. Я никак не думала, прощаясь с ним вечером, что я его больше нжкогда ие увнжу. Напротнв, он даже говорил мне: «Вот

как хорошо, теперь будем видеться часто». Уходя от меия, он даже пошутил.

Надо тебе сказать, что незадолго перед тем здесь был случай, о котором я ему рассказала. Ночью распахнулась входная дверь, и кто-то стал ходить по коридору н стучать палкой в стену. Мы с келейницей, коиечно, перепугались и заперлись в иаших внутрениих комиатах. Всю ночь этот стук ие прекращался. Утром, когда келейиица вышла, все оказалось цело и двери иаружиые заперты. Так мы н решнли, что это «враг» стучался. Так вот, когда Левочка от меия уходил, он запутался в дверях и долго не мог иайти выхода. Келейница ему посветила, а ои обернулся ко мне и говорит: «Вот и я, как враг, запутался в твоих дверях». Это и были его последиие слова. А ночью он иеожиданно уехал.

Гостиная Марии Николаевны была вся увешана портретами близких ей людей, и между иими иесколько моиахов и старцев.

— Это портрет старца Иосифа. Левочка тоже обратил на него внимание, ои сказал: «Какое доброе, хорошее лицо». Жаль, что он с иим не видался. Иосиф мог бы с иим говорнть. Он покорил бы его своей добротой. Это ие то что Варсоиофий. Ведь ты знаешь, Левочка виделся с отцом Иосифом; только давно, лет двеиадцать назад, я устроила тогда это свидаиье[7]. Они долго разговаривали, и отец Иосиф сказал о нем, что у него слишком гордый ум и что, пока ои не перестанет доверяться своему уму, ои ие вернется к церкви. Ведь с тех пор Левочка стал гораздо мягче.

Дай бог, чтобы все так же сильно верили, как он.

Очень тяжелое испытаиие пережила тетя Маша, когда старец Иосиф, у которого она была иа послушаиии, запретил ей молиться об умершем брате, отлучеииом от церкви.

Ее непосредственная душа не могла помириться с суровой нетерпимостью церкви, и она одно время была искреиио возмущена.

Другой священник, к которому оиа обратилась с тем же вопросом, тоже ответил ей отказом.

Марья Николаевна не смела ослушаться духовных отцов, и вместе с тем она чувствовала, что оиа не ис-

полняет их запрета, потому что она все-таки молится, если не словами, то чувством.

Неизвестно, чем кончился бы у нее этот душевный разлад, если бы ее духовник, очевидно понявший ее нравственную пытку, не разрешил ей молиться о брате, но не иначе, как келейно, в одиночестве, для того чтобы не вводить в соблазн других.

ГЛАВА XXIX

Завещание отца

Я помню, как после смерти Николая Семеновича Лескова отец читал нам вслух его посмертные распоряжения относительно похорон по последнему разряду, относительно неговорения речей на его могиле и т. д. [1] и как тут, в первый раз, ему пришла в голову мысль написать свое завещание.

Первое его завещание записано им в дневнике 27 марта 1895 года [2].

Оно полностью помещено в «Толстовском ежегоднике» 1912 года, и поэтому я здесь приведу только выдержки.

Первые два пункта касаются похорон и извещений о смерти.

Третий пункт посвящен разбору и печатанию его посмертных бумаг, и четвертый, на котором я главным образом хочу остановиться, заключает в себе просьбу к наследникам передать право издания его сочинений обществу, то есть отказаться от авторского права.

«Но только прошу об этом, и никак не завещаю. Сделаете это — хорошо. Хорошо будет это и для вас, не сделаете — это ваше дело. Значит, вы не могли этого сделать. То, что мои сочинения продавались эти последние десять лет, было самым тяжелым для меня делом в жизни».

Завещание это, переписанное в трех экземплярах, хранилось у моей покойной сестры Маши, у брата Сергея и у Черткова.

Я знал о его существовании, но до смерти отца я его не читал и никого о нем не расспрашивал.

Я знал взгляд отца на литературную собствен-

ность, и для меня его завещание не могло ничего прибавить нового.

Я знал также и то, что завещание это не было юридически оформлено, и мне лично это было приятно, потому что в этом я видел доказательство доверия отца к семье.

Нечего говорить, что я никогда не сомневался в том, что воля отца будет исполнена.

Так же на это смотрела и сестра Маша, с которой у меня был один раз по поводу этого разговор.

Но духовные сыновья отца, его друзья в кавычках, думали иначе и убеждали его оформить свою волю законным завещанием. Чертков осаждал его длиннейшими письмами, настойчиво доказывая ему необходимость этой меры.

Переписка с Чертковым велась в тайне от Софьи Андреевны и была обставлена особенными предосторожностями со стороны Черткова. Под влиянием писем Черткова Лев Николаевич постепенно терял доверие к своим сыновьям, и перед ним вырастает неразрешимая дилемма. Не оставить никакого законного завещания — значит оставить свое духовное наследие во власти своих детей и огорчить «друзей». Если дети добровольно не исполнят его просьбы и не откажутся от авторских прав на его сочинения, друзья будут бессильны с ними бороться. Кроме того, желание отца было, чтобы Чертков разобрался во всех его дневниках и письмах и издал бы их под своей редакцией. Дети могут и этому помешать. Ведь их семь человек, восьмая мать, и большинство из них не разделяют его убеждений. Что же делать? Созвать детей, объявить им свою волю и положиться на их обещание ее исполнить? Да, это единственный верный путь, его это удовлетворяет,— он в порядочность своих детей верит, но это не удовлетворяет его «друзей».

Остается другой выход: это обратиться к защите государственного закона и написать формально-законное завещание. Ему тяжело на это решиться. Он сознает, что такой поступок идет вразрез с его убеждениями, не может он, отвергающий государственную власть, становиться под ее защиту, он знает, что огорчит этим свою жену, ему противно делать из этого

тайну, ему тяжело становиться в оборонительное положение по отношению ко всей семье, и он долго колеблется, несколько раз изменяет свое решение и, наконец, сдается.

Я утверждаю, что отец никогда не сделал бы этой непоправимой ошибки, если бы не был побуждаем к тому непреклонной настойчивостью Черткова, и я также утверждаю, что если бы его воля не была обессилена его физической слабостью и случавшимися с ним обмороками, он никогда не написал бы этого завещания.

В 1909 году отец гостил у г. Черткова в Крекшине и там в первый раз он написал формальное завещание, скрепленное подписью свидетелей *.

Как это завещание писалось, я не знаю и говорить об этом не буду.

Потом оказалось, что и это завещание было недостаточно твердо юридически, и в октябре 1909 года его пришлось переделать снова.

О том, как писалось новое завещание, прекрасно рассказывает Ф. А. Страхов в статье, помещенной им в «Петербургской газете» 6 ноября 1911 года.

Ф. А. Страхов выехал из Москвы ночью. Софья Андреевна, «присутствие которой в Ясной Поляне было крайне нежелательно для того дела», по которому он ехал, по его предположениям, должна была находиться еще в Москве.

Дело это, как это выяснилось на предварительном совещании В. Г. Черткова с присяжным поверенным Н. К. Муравьевым, состояло в том, что ввиду преклонного возраста Льва Николаевича явилась неотложная необходимость обеспечить его волю посредством более прочного юридического акта.

Страхов привез с собой проект завещания и положил его перед Львом Николаевичем.

«Дочитав бумагу до конца, он тотчас же подписал под ее текстом, что согласен с тем, что в ней изложено, а затем, подумав, сказал:

«Тяжело мне все это дело. Да и не нужно это —

* Этим завещанием он свои авторские права передавал *всем*; там еще ничего не говорилось о передаче авторского права дочери Александре *(Прим. автора.)*

обеспечивать распространение моих мыслей посредством разных там мер... да и не может пропасть бесследно слово, если оно выражает истину н еслн человек, высказывающнй это слово, глубоко верит в истинность его. А эти все внешние меры обеспечения — только от неверия нашего в то, что мы высказываем».

Сказав это, Лев Николаевнч вышел нз кабинета.

После этого Страхов стал соображать, что ему делать дальше,— уехать ни с чем илн возражать.

Решив возражать, он стал доказывать отцу, как больно будет его друзьям слушать после смертн Льва Николаевича упреки в том, что он, несмотря на свои взгляды, ничего не предпринял для осуществленния своего желання и тем способствовал переводу своей лнтературной собственности на своих семейных.

Лев Николаевич обещал подумать и опять ушел.

За обедом Софья Андреевна, «по-видимому, была далека от всякого подозрения».

Однако в отсутствие Льва Николаевича она спросила г. Страхова, зачем он прнехал.

Так как, «кроме вышеизложенного» дела, у Страхова были другне дела, то он «с легким сердцем» сообщнл ей о том и другом, разумеется умолчав о главной миссии.

Далее Страхов описывает вторую свою поездку в Ясную, когда уже был заготовлен новый текст завещания с рядом поправок.

Когда он приехал, «графиня еще не выходила».

«Я вздохнул свободнее».

Сделав свое дело, «прощаясь с Софьей Андреевной, я внимательно всмотрелся в ее лицо: полное спокойствие и радушие по отношению к отъезжающим гостям было настолько ясно на нем выражено, что я нимало не сомневался в ее полном неведенни.

Я уезжал с приятным сознанием тщательно исполненного дела, долженствующего иметь несомненные исторические последствия. Только маленький червячок копошился где-то внутри меня: то были угрызения совести, причинявшие мне некоторое беспокойство за конспиративный характер наших действнй».

Но и на этом тексте завещания «друзья н советчики» отца не нашлн возможным остановиться и пере-

делали его вновь, и на этот раз уже окончательно, в июле 1910 года.

Последнее завещание было написано отцом в Лимоновском лесу, в трех верстах от дома, недалеко от имения Черткова.

Такова печальная история этого акта, долженствовавшего иметь «исторические последствия».

«Тяжело мне все это дело, да и не нужно»,— сказал отец, подписывая подсунутую ему бумагу.

Вот настоящее его отношение к своему завещанию, не изменившееся до конца его дней.

Разве этому нужны доказательства?

Мне кажется, что достаточно хоть немного знать его убеждения, чтобы в этом не сомневаться.

Разве мог Лев Николаевич Толстой обратиться к защите суда и закона?

И разве он мог скрывать этот поступок от своей жены, от своих детей?

Если в постороннем человеке, в Страхове, где-то копошился маленький червячок угрызения совести за «конспиративный» характер его действий, что же должен был испытывать сам Лев Николаевич?

Ведь он оказался в положении действительно безвыходном.

Рассказать все жене — нельзя. Потому что это огорчило бы друзей. Уничтожить завещание — еще хуже. Ведь друзья страдали за его убеждения — нравственно и некоторые даже материально: были высылаемы из России. И он чувствовал себя перед ними обязанным.

А тут еще обмороки, прогрессирующая забывчивость, ясное сознание близости могилы и все увеличивающаяся нервность жены, сердцем чующей какую-то неестественную обособленность мужа и не понимающей его.

А если она спросит его: что он от нее скрывает? Не сказать ничего или сказать правду?

Ведь это же невозможно.

Что же делать?

И вот тут давно лелеянная мечта об уходе из Ясной Поляны оказалась единственным выходом.

ГЛАВА XXX

Уход. Мать

Предыдущие главы были написаны мною вскорости после смерти отца. В то время была еще жива моя мать, и мне поневоле пришлось о многом промолчать.

Мне не хотелось в то время возбуждать полемику, которая была бы для нее очень тяжела.

Теперь положение изменилось. Матери уже давно нет в живых, и тот яд, от которого я старался ее предохранить при ее жизни, вылит на ее память непрошеными защитниками и друзьями в кавычках моего отца.

Воображаю, как бы был огорчен мой отец, если бы он мог предвидеть, что его «ученики» будут возвеличивать его память путем очернения памяти его жены.

Неужели величие Сократа хоть сколько-нибудь возрастает от присутствия при нем Ксаитиппы? [1] И не вымышлеиа ли Ксантиппа именно такими людьми, для которых нужен отрицательный фон для того, чтобы постичь положительное?

Постараюсь объяснить уход отца, иасколько могу, нелицеприятно и правдиво.

Подхожу к этому с робостью и трепетом душевиым, ибо созиаю и ответственность свою, и сложность вопроса. Ведь жизнь и поступки человеческие складываются из бесчислеиного миожества причин, и вычислить, куда поведет равнодействующая этих сил,— совершенно невозможио. Особенно когда приходится анализировать поступки человека такой огромной силы и такой чисто христианской совести, каким был мой отец.

Вот почему валить всю виму иа жалкую, полубезумевшую семидесятилетнюю старуху Софью Аидреевну и жестоко и иелепо.

То, что оиа в последиее лето жнзни отца сделалась невменяемой, к сожалению, верно. Этого не отрицала впоследствии и она сама, и это, конечно, видел и знал сам Лев Николаевич. Весь вопрос сводится к тому, почему она таковою стала. Почему отец, проживший с ней сорок восемь лет, на восемьдесят треть-

ем своей жизни вдруг не выдержал и должен был от нее убежать.

Для того чтобы на этот вопрос ответить, постараюсь осветить душевное состояние обоих стариков, каждого в отдельности.

Отцу восемьдесят два года. Он прожил долгую жизнь, полную всевозможных переживаний, полную искушений, полную борьбы с самим собою; человек достиг самой большой славы, какую только может себе создать смертный,— и вот он подходит к краю могилы.

У него осталось только одно желание, одна заветная мечта — умереть хорошо.

Он готовится к смерти с благоговением и — скажу даже — с любовью. Он не зовет смерть, «еще многое хочется ему сказать людям», но он уже поборол в себе страх и ждет ее с покорностью.

Несомненно, что вопрос об уходе из дому стоял перед моим отцом в течение всех последних тридцати лет его жизни.

Это видно и из приведенных мною раньше его писем, а также и из многочисленных записей в его дневниках и некоторых мест его переписки с друзьями.

Тридцать лет перед его мысленным взором неперестаемо маячила все та же заветная мечта, и тридцать лет он ее отгонял, не считая себя вправе ее осуществить.

— Для духовного роста нужны страдания,— говорил он сам себе, и в этих страданиях он искал себе отраду.

Уйти из Ясной Поляны и отрясти прах от ног своих было бы для него гораздо легче и приятнее, чем оставаться,— и поэтому он этого не делал. И чем труднее становилось ему жить дома, тем сильнее пробуждалось в нем противодействие соблазну, и он в буквальном смысле отдавал душу свою за ближних своих.

Когда недоброжелатели его упрекали в непоследовательности, в том, что он проповедует «опрощение», а сам живет в «палатах», он называл это «баней для души» и смиренно переносил эти укоры, зная в душе, что «то, что мучает, это-то и есть тот материал, над

которым ты призван работать, и материал тем более ценный, чем труднее минуты». И он знает, что главное, что нужно ему,— это неделание, пребывание в любви.

Несомненно, что жизнь в Ясной Поляне была для него очень тяжела. Он болеет душой не только за себя. Он болеет за других, за мужиков, живущих в работе и лишениях, болеет за жену, преследующую этих мужиков за хронические порубки леса, болеет и за ненавидящих и поносящих его. И он заставляет себя любить всех их.

«Да, любить делающих нам зло, говоришь. Ну-ка, испытай. Пытаюсь, но плохо»,— пишет он в дневнике 22 июля 1909 года [2].

«Если любите любящих вас, то это не любовь, а вы любите врагов, любите ненавидящих вас»,— вспоминает он слова из Евангелия [3].

«Злые люди суть богатство мудреца, ибо, если бы не было злых людей, на ком проявлялась бы его любовь»,— приводил отец изречение своего любимого китайского мыслителя Лао-Дзе.

Я помню, как отец один раз уверял меня, что он очень любит одного человека, который был с ним чрезвычайно груб и резок.

— Я люблю его больше всех,— уверял он меня.

Я сначала изумлялся, ибо я знал, как этот человек был для него тяжел, и только позднее я понял истинную высоту этого чувства.

За несколько дней до отъезда из Ясной отец был в Овсянникове у Марии Александровны Шмидт и сознался ей, что ему хочется уйти.

Старушка всплеснула руками и в ужасе сказала:

— Боже мой, душенька, Лев Николаевич, это слабость на вас напала. Это пройдет.

И отец ответил:

— Да, слабость. Может быть, и пройдет.

В предпоследнем своем письме к Сереже и Тане, помеченном: «Шамардино, 4 часа утра 31 октября 1910 года», он пишет: «Благодарю вас очень, милые друзья — истинные друзья — Сережа и Таня, за ваше участие в моем горе и за ваши письма. Твое письмо, Сережа, мне было особенно радостно: коротко, ясно и

содержательно и, главное, добро. Не могу не бояться всего и не могу освобождать себя от ответственности, но не *осилил* поступить иначе» [4].

Вот почему нельзя в уходе отца винить исключительно Софью Андреевну. Пусть она была ему тяжела, пусть она была крестом, который он нес,— но он любил свой крест, он умел в самых страданиях своих видеть утешение, и он никогда не бросил бы своего креста, если бы не в нем самом лежала причина его мучений.

Эта причина — тайна, которая легла между ним и его женой. В первый раз за сорок восемь лет совместной жизни. Как часто, думая об уходе отца, вспоминается мне любимая им пословица: «Коготок увяз, всей птичке пропасть».

«Чертков вовлек меня в борьбу, и борьба эта очень и тяжела и противна мне,—пишет отец в своем дневничке, начатом им «Для одного себя».— Очень, очень понял свою ошибку. Надо было собрать всех наследников и объявить свое намерение, а не тайно» [5].

Попробую теперь подойти к вопросу с точки зрения моей матери и постараюсь выяснить причины того сумбурного состояния, в котором она в то время находилась.

В своих чудесных воспоминаниях моя тетка Татьяна Андреевна Кузминская [6], описывая мою мать девицей, говорит, что Соня была всегда мечтательна и во всем умела искать драматическую сторону. Она даже завидовала младшей сестре в том, что та умела веселиться и радоваться «всем своим существом». В Соне этой способности не было.

Мы, дети, до такой глубины анализа не доходили, но мы знали, что «мама́ шуток не понимает», и если нам что-нибудь казалось смешным, то к ней за сочувствием мы не обращались.

Это отнюдь не значит, что она была угрюмого характера. Напротив, она большей частью была приветлива, умела разговаривать и производила на всех знающих ее очень хорошее впечатление.

Если бы мне нужно было определить мою мать в нескольких словах, я сказал бы, что это была прекрасная женщина, идеальная мать и идеальная жена

для всякого рядового человека, кроме такого великана, каким был мой отец.

Афанасий Афанасьевич Фет, близко знавший и любивший нашу семью, говорил, что Софья Андреевна всю жизнь ходит по лезвию ножа.

Не надо забывать, кто была Софья Андреевна. Дочь придворного доктора, воспитанная в аристократических традициях царствования императора Николая I, со всеми причудами старого барства.

Восемнадцати лет, еще совершенным ребенком, чистым и цельным, она выходит замуж и навек поселяется в Ясной Поляне, где старые традиции воплощены в лице тетушки Татьяны Александровны и многочисленной дворни.

С первых же дней Лев Николаевич радуется, как его молодая жена старательно и небезуспешно разыгрывает роль хозяйки. Он «задыхается» от счастья. Из молодой хозяйки вырастает молодая мать, семья разрастается, Софья Андреевна успевает не только справляться с обязанностями хозяйки и матери, она берет на себя обязанности переписчицы, и нет человека, знавшего нашу семью в то время, который не преклонялся бы перед красивой молодой женщиной, самоотверженно отдающей всю себя на служение семье и мужу.

Если бы случилось, что она умерла в начале восьмидесятых годов, ее память осталась бы навсегда идеалом русской женщины. Про нее говорили бы, что, если бы не она, Толстой никогда не создал бы ни «Войны и мира», ни «Анны Карениной», и это была бы сущая правда, ибо только на фоне того семейного счастья, которым окружен был мой отец в первые пятнадцать лет женатой жизни, была возможна его напряженная созидательная работа.

Из тринадцати детей, которых она родила, она одиннадцать выкормила собственной грудью. Из первых тридцати лет замужней жизни она была беременна сто семнадцать месяцев, то есть десять лет, и кормила грудью больше тринадцати лет, и в то же время она успевала вести все сложное хозяйство большой семьи и сама переписывала «Войну и мир», «Анну Каренину» и другие вещи по восемь, десять, а иногда и двадцать раз каждую[7]. Одно время она дошла до того, что

отцу пришлось вести ее к доктору Захарьину, который нашел в ней нервное переутомление и сделал отцу дружеский выговор за то, что он недостаточно бережет свою жену.

Когда с отцом произошел его духовно-религиозный переворот, не она отошла от него, а он отошел от нее. Она осталась тою же любящей женой и образцовой матерью, какою и была раньше. Не будь у нее детей, она, может быть, и пошла бы за ним, но, имея в начале восьмидесятых годов семь, а потом и девять человек детей, она не могла решиться разбить жизнь всей семьи и обречь и себя и детей на нищету.

Во всем животном мире самка является хранительницей гнезда. Она по самой природе своей представляет из себя консервативный элемент, охраняющий семейные устои.

Этот элемент самки был особенно ярко выражен в характере моей матери.

Девственный блеск не вполне еще распустившегося цветка привлек тридцатипятилетнего Льва Николаевича, и он увлекся им со всем пылом своего бурного темперамента.

На его глазах этот бутон распустился, и он пятнадцать лет радовался его роскошному цвету и чистому благоуханию. Виновата ли Софья Андреевна, что ее муж после пятнадцати лет жизни с нею вырос в великого мудреца и аскета?

Найдется ли хоть одна женщина в мире, которая могла бы с легкой душой обречь на погибель то гнездо, которое она любовно вила в течение всей своей сознательной жизни, и пойти на подвиг?

Как у всякой рядовой женщины, запросы духовные стояли у моей матери на втором плане, и религиозные вопросы решались ею при помощи удобных компромиссов, созданных услужливостью церковной религии и общественного мнения.

Можно ли винить Софью Андреевну в том, что она не разделяла религиозно-философских взглядов своего мужа, если даже такие люди, как Фет и Тургенев, относились к ним как к чудачеству, отнимающему у мира великого писателя.

Духовное расхождение с мужем было очень тяжело для моей матери.

Я никогда не забуду той ночи когда за несколько часов до рождения моей младшей сестры, Александры, отец поссорился с матерью и ушел из дому. Несмотря на то что у нее уже начались родовые схватки, она в отчаянии убежала в сад. Я долго бродил по темным липовым аллеям, пока наконец не нашел ее сидящей на деревянной лавке в дальнем конце сада. Мне долго пришлось ее уговаривать вернуться в дом, и она послушалась меня только после того, как я ей сказал, что я поведу ее силой.

В первые годы своего морального кризиса отец часто бывал очень сумрачен и подчас даже суров. Как человек прямой, он ничем не смягчал своего отрицательного отношения к образу жизни семьи, и матери приходилось непрестанно чувствовать на себе его укор. И это, конечно, не могло не отозваться на ее психике.

Не надо забывать, что она всю жизнь, несмотря ни на что, любила его и всю жизнь проявляла чисто материнскую, порою, может быть, даже и нелепую о нем заботу.

Никогда не дожил бы отец до своего преклонного возраста, если бы не ежечасная забота о нем моей матери.

Каждый день она заказывала для него специальные блюда и зорко следила за малейшими его недомоганиями. «Левочка любит перед сном съесть какой-нибудь фрукт»,— и каждый вечер на его ночном столике лежит яблоко, груша или персик. Для «Левочки» нужна какая-то особенная овсянка, особенные грибы, достается из города цветная капуста и артишоки, и, для того чтобы он не отказывался от этой еды, от него наивно скрывается цена этих продуктов.

Мир преклоняется перед величием Толстого, его чтут, его читают. Но кому-то Толстого надо кормить, кому-то надо сшить для него блузу и штаны и, когда Толстой болен, кому-то надо за ним присмотреть.

Это работа неблагодарная, и на нее способна только такая верная и преданная жена, какою была Софья Андреевна.

Одна из причин, почему она боялась его ухода, была та, что, если он уйдет, его здоровье не выдержит новых условий жизни,— и в этом она, к сожалению, оказалась права.

Очень тяжелым ударом для моих родителей была смерть их младшего сына Ванечки. Он был, как последыш, любимец их обоих. На мою мать эта смерть подействовала потрясающе.

В течение семи лет она дышала одним этим мальчиком. Все ее заботы были сосредоточены на нем одном. С его смертью она почувствовала пустоту, ничем не заполнимую, и с этого момента она уже потеряла равновесие навсегда.

Она стала искать внешних развлечений и одно время нашла их в музыке.

Пятидесяти трех лет от роду она снова принялась за гаммы и экзерсисы, стала ездить в Москву на концерты и, как институтка, увлекалась Гофманами, Танеевыми и другими.

Отцу все это было очень тяжело, но он понимал, что для матери это увлечение было соломинкой, за которую хватается утопающий, и он к ней относился бережно и внимательно.

Между тем отчужденность отца и матери, начавшаяся с восьмидесятых годов, постепенно увеличивалась.

Отец продолжал идти по избранному им пути и дорос до высот недосягаемых. Мать же не только перестала расти, но, потеряв стимул жизни, пожалуй, даже пошла назад.

Оба — и он и она,— каждый по-своему, жалуются на полное одиночество. Он — одинокий на той громадной высоте, на которой он парит, она — не могущая подняться за ним и ищущая чего-то на земле. Он уже победил свое личное «я» и отнял его и у себя и у жены; она же — терзаемая своим «я» и не находящая ему применения.

Все чаще и чаще эти терзания доводят ее до раздражения, которое она выливает на него, самого близкого ей человека.

Как у всех, живущих близко друг к другу людей, у них вырабатывается схема столкновений. У него —

терпеливое молчание, у нее — поток упреков и мелких нареканий. Она делает как раз то, чего для своих же интересов она не должна была бы делать. Она особенно ревниво оберегает авторские права на первые тринадцать томов его сочинений, она придирается к разным мелким их нарушениям, и она грозит ему, что его завещание-просьба, как незаконное, не будет ею исполнено.

Еще один повод к раздору, который очень огорчал отца, была борьба матери за сохранение лесов Ясной Поляны.

За последние годы порубки ясенских крестьян в лесу стали сильно увеличиваться.

Объездчик поймает порубщиков и приведет их в усадьбу. Софья Андреевна грозит им судом. Тогда они идут к Льву Николаевичу и просят его о заступничестве.

Бывали даже случаи, что крестьяне попадались с порубками в казенной засеке, на границе нашего леса. Они тогда просили Льва Николаевича сказать, что он им разрешил срубить деревья в нашем лесу.

Мать относилась к этим порубкам очень болезненно. Особенно ее огорчало, когда срубались сосны и ели, посаженные самим Львом Николаевичем.

— Подумай,— говорила она мне чуть не со слезами,— он сам с любовью сажал эти посадки, и теперь их немилосердно уничтожают мужики.

Однако все угрозы матери по большей части сводились к пустякам.

— Софья Андреевна часто наговорит много дурного, но когда доходит до дела, всегда поступит хорошо,— бывало, говорил про нее отец, и это была сущая правда. Моя мать была женщина по природе очень добрая и никому никогда умышленно не причинила вреда.

Все эти мелкие столкновения, несомненно причинявшие огромную боль моему отцу, кончились бы ничем, если бы не вмешательство в жизнь семьи посторонних людей, и в особенности Черткова.

Для отца единомышленники были очень дороги. Он в них видел людей, призванных продолжать после него то дело, которому он отдал последние тридцать лет

своей жизни. Для матери же это были пришельцы, отнимающие у нее то последнее, что у нее осталось от мужа.

Она и боялась их влияний и просто ревновала их. Она знала, что друзья в кавычках относились к ней в высшей степени отрицательно, и, неспособная ни к каким дипломатическим хитростям, она вступила с ними в открытую борьбу.

То, что она имела основание не доверять Черткову, доказывает следующий факт.

Не желая оставить по себе плохой памяти, она както уговорила отца выкинуть из его дневников все то отрицательное, что он в разное время о ней записывал. Он согласился и поручил эту работу Черткову. Чертков это исполнил, но со всех вычеркнутых мест он сделал фотографические снимки. Предусмотрительность, достойная лучшей участи.

Чертков поселился в своем имении Телятинки, в трех верстах от Ясной Поляны, и почти ежедневно приезжал к отцу. Одной из причин, почему он был особенно неприятен матери, было то, что он забирал к себе все рукописи отца. Она всю свою жизнь ревниво оберегала его рукописи, и это вторжение постороннего человека в ее область было ей очень неприятно. Но все это было ничто в сравнении с тем ужасом и негодованием, которые ее обуяли, когда она почувствовала, что между Чертковым и отцом завелась какая-то тайна.

Вот как она описывает свои переживания в своей краткой автобиографии.

«Уже раньше влияние посторонних лиц постепенно вкрадывалось и приняло под конец жизни Льва Николаевича ужасающие размеры».

Говоря о последнем завещании отца и о влиянии на него Черткова, она пишет:

«Очевидно, его мучило производимое на него давление. Один из друзей, Павел Иванович Бирюков, был того мнения, чтоб не делать тайны из завещания, о чем сказал Льву Николаевичу. Сначала он согласился с мнением этого настоящего друга, но он уехал, а Лев Николаевич подчинился другому влиянию, хотя временами, видимо, тяготился им. Спасти от этого влияния я была бессильна, и наступило для Льва Николае-

вича и для меня ужасное время тяжелой борьбы, от которой я заболела еще больше. Страдания моего измученного, горячего сердца затуманили мой рассудок, а на стороне друзей Льва Николаевича была многолетняя, обдуманная, тонкая работа над сознанием слабевшего памятью и силами старика. Вокруг дорогого мне человека создана была атмосфера заговора, тайно получаемых и по прочтении обратно отправляемых писем и статей, таинственных посещений и свиданий в лесу для совершения актов, противных Льву Николаевичу по самому существу, по совершении которых он уже не мог спокойно смотреть в глаза ни мне, ни сыновьям, так как раньше никогда ничего от нас не скрывал, и это в нашей жизни была первая тайна, что было ему невыносимо. Когда я, чувствуя ее, спрашивала, не пишется ли завещание и зачем это скрывают от меня, мне отвечали отрицательно или молчали. Я верила этому. Значит, была другая тайна, о которой я не знала, и я переживала отчаяние, чувствуя постоянно, что против меня старательно восстанавливают моего мужа и что нас ждет ужасная, роковая развязка. Лев Николаевич все чаще грозил уходом из дому, и эта угроза еще больше мучила меня и усиливала мое нервное, болезненное состояние» [8].

Действительно, надо сказать, что нервность матери одно время довела ее до полной невменяемости.

Например, она как-то простудилась, и наш домашний доктор Душан Петрович Маковицкий (святая душа) дал ей какое-то лекарство. Вдруг она вскочила, стала всех созывать и стала уверять, что Маковицкий ее отравил.

Она купила пугач и часто ночью, без всякой видимой причины, стреляла им из форточки. Она стала подозрительна до болезненности, и, как все больные навязчивой идеей, она начала подсматривать и подслушивать за своим мужем. Большей частью она следила за ним, боясь за его все чаще и чаще повторяющиеся обмороки, но бывало и так, что она тайно от него просматривала его дневники и письма. Это-то и послужило последним толчком к уходу отца. Когда в два часа ночи 28 октября он увидел ее, копавшуюся в его бумагах, он окончательно решился, собрал вещи — и ушел.

Я постарался осветить факты, насколько мог, правдиво и беспристрастно. Если были сделаны ошибки с той или другой стороны, судить их не нам. И отец и мать, каждый по-своему, сознавали свои ошибки.

«Тяжело вечное прятание и страх за нее»,— пишет он в своем интимном дневнике 6 августа 1910 года. И далее — 10 августа: «Хорошо чувствовать себя виноватым, и я чувствую» — и далее: «Со всеми тяжело. Не могу не желать смерти» [9].

За три дня до смерти он сказал моей сестре Тане: «Многое падает на Соню, плохо мы распорядились»[10]. И действительно, трудно себе представить ту нравственную пытку, которую она пережила и до и, в особенности, после ухода отца.

Ужасно было, что ее не допустили к умирающему мужу. Это было сделано по его желанию и по совету докторов, но мне кажется теперь, что это была ошибка. Лучше было бы, чтобы она взошла к нему, когда он был еще в сознании. Лучше и для него и для нее.

После смерти отца мать прожила еще девять лет и умерла так же, как и отец, от воспаления легких, и тоже в начале ноября [11].

За последние годы она значительно изменилась, стала ровнее и спокойнее и все ближе и ближе стала подходить к миросозерцанию отца.

Перед смертью она трогательно просила у всех близких прощения и умерла примиренная.

Когда сестра Таня спросила ее во время ее последней болезни, часто ли она думает об отце, она сказала: «Постоянно... постоянно...» — и прибавила:

— Таня, меня мучает, что я жила с ним дурно, но, Таня, я говорю тебе перед смертью, я никогда, никогда не любила никого, кроме него.

Хочется верить, что во всем происшедшем больше обвиняемых, чем виновных.

Быть может, если бы те люди, которые за последние годы жизни отца близко к нему стояли, ведали бы, что они творили, быть может, обстоятельства сложились бы иначе.



ПРИЛОЖЕНИЯ

ОДНИМ ПОДЛЕЦОМ МЕНЬШЕ

Рассказ

I

Была середина июня. Жара стояла невыносимая, с самой весны не было ни одного дождя, и все растущее, не успев еще расцвесть, сохло и гибло под отвесными лучами палящего солнца. Надвигался второй подряд голодный год.

Я сказал «голодный» год, потому что так называли его мужики, которые голодали, так называла его часть помещиков, которые ближе стояли к жизни крестьян и не закрывали глаза на то, что видели, и так называла его незначительная часть нашей прессы, открывшая при редакциях сбор пожертвований «в пользу голодающих». Остальная Россия или не признавала голода совсем, или же лишь кое-где признавала «более или менее значительный недород», для пополнения которого, смотря по взглядам лиц, стоящих во главе управления уездом, раздавались запасы из хлебных магазинов, выдавалась бесплатная помощь из средств Красного Креста или же ссуда из запасных капиталов — земских и государственных.

Помощь населению оказывалась не соответственно тому, где народ более или менее нуждался, а смотря по взглядам начальства, губернаторов, предводителей, земских начальников, председателей управ, старшин и т. д. Часто в одном и том же уезде часть крестьян считались голодающими и получали земскую ссуду, остальные же, находящиеся в совершенно одинаковых условиях, не получали ничего и с трудом добивались того, чтобы им позволили взять из «гамазеи» ими же засыпанный хлеб.

Те, которые утверждали, что голода нет, были правы, потому что действительно от голода никто не умирал и хоть плохо, да жили; если местами усиливались тифозные эпидемии, то они всегда были; если дети недоедали и росли навек изуродованные английской болезнью — это всегда было; если крестьянам нечем было кормить скотину и они за бесценок продавали коров на солонину, а лошадей целыми табунами резали на кожу, говорили, что слава богу, что есть еще что продать, а иные даже наивно советовали есть вместо хлеба мясо, потому что оно дешево и питательно; одним словом, то, что положение народа в этом году было хуже, чем всегда, признавалось всеми, но одни находили, что народ к этому привык и что так и должно быть, другие же видели, что это «хуже» уже перешло границу возможного, и считали помощь необходимой.

Ч—ий уезд исстари разделялся на две враждебные друг другу партии, именовавшие себя «консервативной» и «либеральной».

К сожалению, там, где подобное разделение существует, общественное дело большей частью переносится на личную почву и делается ареной, на которой страстно состязаются враждующие стороны.

Так было с вопросом о признании или непризнании в уезде голода; как только некоторые представители так называемой либеральной партии признали необходимость оказать помощь истощенному народу и открыли прием частных пожертвований в пользу голодающих, консерваторы немедленно против них восстали и с необыкновенной страстностью начали доказывать, что помощь не только не нужна, но может оказать вредное действие тем, что избалует окончательно народ и отучит его работать.

Быть может, даже наверно, не будь в уезде этого разделения на партии, большинство признало бы хоть некоторую помощь необходимой, и народ был бы сыт; но теперь, раз либералы признали существование голода, консерваторы отвергли его совсем, и завязалась борьба, в которой игроками были общественные деятели уезда, а пешками — голодные мужики. Благодаря тому что пересаливали одни, стали пересали-

вать в противоположную сторону другие, и из донесений земских начальников (из коих было два либерала и три консерватора) получилась такая пестрая картина, что можно было подумать, что в одной части уезда был полный недород, а в другой — отличный урожай. Соответственно этим донесениям была назначена ссуда из земских запасных капиталов только десяти волостям уезда, остальным же, несмотря на их усиленные просьбы и ходатайства, было отказано.

Крестьяне не могли не видеть несправедливости, и вместе с нуждой росло скрытое озлобление к сытым и жестоким господам.

II

Петр Крюхин ночевал в ночном. Когда он, верхом на своем гнедом, подъезжал к деревне, солнце еще не всходило, но по столбам дыма, кое-где тянувшегося из труб, видно было, что жизнь деревни уже проснулась.

В эту ночь Петр особенно тщательно выкормил свою лошадь в поводу на помещичьем рубеже, потому что он собирался ехать к земскому начальнику, жившему от него верст за двадцать.

Поездка эта была ему неприятна, и он уже несколько дней ее откладывал. В прошлом месяце он еще верил в возможность чего-нибудь добиться и исходил по всем начальствам, начиная с старшины и кончая предводителем. Но начальство его было консервативное, и хотя Петр этого слова не знал, но он понял его смысл и ни в какую помощь уже больше не верил. За этот месяц он продал все, что мог, и теперь опять очутился без хлеба.

Он знал, что у его жены остались еще два холста, которые можно было заложить в городе, но она за них держалась крепко, и, чтобы вырвать их у нее, ему надо было употребить все последние средства, то есть, по ее мнению, опять ехать к земскому начальнику. Матрена не знала того, что знал Петр, и не могла понять, почему в соседней волости мужики получали ссуду, почему в селе Ивашкине пьяница сапожник получал три пуда муки в месяц, а ее муж, работящий и трезвый, должен голодать.

Каждый день Петр выслушивал ворчанье жены и тысячу бабьих доводов, почему им должна быть выдана помощь и что, по ее мнению, Петр должен бы был говорить земскому.

Подъехав к избе и отворив калитку во двор, Петр пропустил впереди себя лошадь, ударил ее по спине обротью и вошел в избу.

На лавке сидел белоголовый восьмилетний мальчик и качал люльку.

— Где мамка?

— Доить пошла, староста приезжал, выгоняет барский навоз разбивать.

— Васька, беги ворота отворяй, скотину гонят,— сказала баба, входя в избу с ведром в руках.

Васька схватил шапку и, как пуля, бросился на двор. Матрена поставила ведро на лавку, накрыла его полотенцем и подошла к люльке.

— Чего ждать-то будешь? Последнюю краюху доедим, и будет, отъелись. Овец проели, за что теперь браться? Говорю тебе, поезжай к земскому, чего ты дожидаешься?

— Э, да ну тебя с твоим земским, ты у него не была, а я был. Поди-ка поговори с ним. Вышел, расхрапелся: «Дармоеды, работать — вас нету, а за дармовчиной вы все тут». А спросить бы его, кто работает,— он, что ли? А как теперь работать? Намедни выехал пар пахать, а его не уковыриешь. Небось на плугах на своих и то не вот как распрыгается. А тут еще каких-то девять борозд на сажени выгоняй. Доставай холсты. Поехать поеду к нему, а не добьюсь, так заеду, свезу их в город. За два холста все пуда три привезу. Не корову же вести? Позавтракать есть?

— Холсты...— ворчала Матрена, доставая из холодной печки горшок с вареными картошками,— и так все проели, хуже нищих стали, а люди месячину получают, вон Сидорские или Хомутовские каждый месяц едут себе на мельницу с мешками. Что мы, другого царя, что ли?

Не обращая внимания на ворчание жены, Петр сел на стол, достал из горшка картошку, очистил ее своими огромными корявыми пальцами и стал есть.

Мимо окна, пыля и теснясь, проползало стадо. Вбежал Васька, остановился против стола, перекрестился и, во всех своих движениях стараясь подражать отцу, сел завтракать. В люльке завозился ребенок, хотел было заплакать, но, получив в рот соску с жеваным хлебом, замолк и засопел. В избе стало светлее. Начинался длинный, жаркий июньский день.

Петр знал, что земский начальник встает не рано, и потому не торопился. Посадив Ваську на гнедого, он послал его на реку поить, а сам не спеша стал мазать телегу.

III

К девяти часам утра Петр уже подъехал к усадьбе земского начальника и в числе других просителей дожидался его выхода.

Николай Иванович Гаевский встал в отвратительном расположении духа. С утра на него посыпались неприятности одна за другой. Началось с того, что ему подали к кофе кислые сливки, и, когда он спросил, почему это случилось, ему доложили, что сепаратор сломался и уже два дня не работает. Пришлось разбранить скотницу и сепаратор послать в Москву. Ночью на огород забрались крестьянские лошади, столкли целую грядку цветной капусты, их загнали, и теперь пришли две бабы просить о прощении. Когда Николай Иванович вышел к просителям, он был уже так раздражен, что заранее решил гнать всю эту сволочь, и в глубине души радовался, что ныиче он имеет повод и право быть сердитым.

Просители у него бывали каждый день. Вначале он жалел их, внимательнее выслушивал их жалобы, обещал и даже иногда помогал им сам, но, сойдясь с партией консервативной, он, незаметно для себя, совершенно изменился, и ему стало казаться, что действительно нужда народа не так велика, как ему казалось раньше. А когда его приказчик Миронов стал ему жаловаться, что такой-то не вывез навоза, такой-то не отпахал, такой-то взял задаток и ушел, Гаевский все больше и больше начинал оправдывать свое безучастное отношение к народу и радовался и придирался

ко всякому случаю, который мог заглушить в нем жалость и вызвать раздражение к просителям.

Так было и сегодня: скотница испортила сепаратор, лошади стоптали капусту, вчера была порубка в лесу, третьего дня еще что-то... все это мерзавцы, которые мешают жить, и их надо гнать.

Так он и сделал. Всем пришедшим за помощью он отказал, сказавши коротко, что помощи не будет; баб, просивших о лошадях, послал к приказчику, а остальных, пришедших по судебным делам, направил к письмоводителю.

Кроме того, что ему нечего было сказать этим людям, пришедшим к нему за помощью, ему сегодня еще было некогда. К вечеру надо было попасть на именины к предводителю, который жил в двадцати верстах, а до тех пор надо было еще побывать в конюшне, в саду, а главное, в поле, где сегодня в первый раз пробовали новый двухлемежный плуг АЗД, выписанный им из-за границы по рекомендации известного хозяина Д. Ему непременно хотелось видеть этот плуг в работе, чтобы вечером похвалиться им перед соседями у предводителя.

К пяти часам он велел запрягать лошадей и поехал. Было еще жарко, и кучер ехал не спеша, припуская резвую тройку только по деревням. Проезжая по последнему селу, недалеко от усадьбы предводителя, случилась маленькая неприятность: какой-то мальчишка, перебегая через улицу, попал под лошадей, и через него переехало колесо коляски. Николай Иванович хотел остановить тройку, крикнул кучеру: «Стой!» — но тот как будто не сдержал лошадей, и Гаевский, оглянувшись, видел только, как баба выскочила из избы и унесла мальчика на руках.

Попал ли мальчик под колеса или просто упал с испуга, Гаевский не разобрал, но он подъехал к усадьбе немного смущенный.

IV

В этот день к предводителю съезжалось со всех концов уезда огромнейшее общество. Все члены консервативной партии считали долгом быть у своего

представителя, и по числу гостей, бывавших у него в этот день, велся обыкновенно подсчет голосов партий на предстоящих земских и избирательных собраниях.

Традиционный именинный пирог с утра не сходил со стола. Рядом с ним стояли бутылки с разными винами и неизменные два близнеца — «Яшка» и «Петька», два маленьких водочных графинчика старинного рубчатого хрусталя. Свойство этих близнецов было таково, что при их неразрывной дружбе они были страшно завистливы. Когда пили из одного, другой смертельно обижался. Тогда первого отсылали в буфет за подкреплениями и брались за второй. Через несколько минут первый возвращался, полный свежих сил, и, видя, что занимаются вторым, обижался еще больше, и т. д. до бесконечности. В такие дни, как сегодня, строптивость близнецов еще увеличивалась и доходила до крайних пределов.

Поздоровавшись с хозяином и гостями, Николай Иванович закурил папироску и подошел к кружку нескольких лиц, стоявших у закусочного стола и о чем-то горячо споривших. В середине стоял молодой человек с открытыми добрыми глазами, которого Гаевский раньше не знал, и что-то доказывал.

— Нельзя же, господа, только требовать и ничего не давать. Мы требуем от них труда, работы, требуем честности, предъявляем к ним чуть ли не самые высшие нравственные требования, а что мы им даем? Вы говорите, что они сыты, а я как врач могу вам сказать, что половина болезней у крестьян происходит от плохой пищи и нищеты. Мне поручена больница, требуют от меня работы, но разве мыслимо что-нибудь сделать при теперешней нищете и дикости народа? Право, руки опускаются.

— Господа, пожалуйте закусить,— перебил разговаривающих хозяин.— Николай Иванович, не угодно ли с дорожки, «Яша» очень просит; пирожка не хотите ли, с капустой или грибками? Я прислушиваюсь к вашему разговору. Молоды вы, доктор, молоды! Все это отлично, что вы требуете, а попробуйте-ка это сделать, школы, больницы... Ведь у нас не Москва, увеличьте-ка земское обложение на пять копеек, послушайте, что

запоют. Тут самим скоро жрать будет нечего, а вы о мужиках толкуете. Жили в старину и без этих затей, ели лебедей да запивали медком да фряжским вином, и хорошо было. А теперь все хотят по-новому. Господа, прошу, прошу, прохладительного! Смотрите, «Петька»-то надулся, нельзя и его обижать.

После закуски гости прошли в парк, где молодежь играла в теннис, потом в сад и в конюшню. Зарубин считался хорошим хозяином и любил похвалиться образцовым порядком.

Во время выводки лошадей он рассказывал породу каждой, указывал на отличительные признаки каждой крови, и всякую лошадь сначала тихим шагом подводили к площадке, затем, давши на нее наглядеться, заставляли пробежать на длинном поводу. Лошади фыркали, ставили хвост дудкой, играли, а доктор и многие другие, ничего не понимавшие в кровях лошадей, удивлялись быстроте бега конюхов.

Когда стемнело, вернулись в дом, поиграли в винтик, и тут же вскоре подали ужин.

Гаевскому пришлось сесть рядом с доктором; с другой стороны сидел местный исправник, балагур и отъявленнейший циник. У предводителя он был как завсегдатай, и близнецы «Яшка» и «Петька» были под непосредственным его покровительством. Он умел с ними ладить, и они его любили.

Весь этот вечер Николай Иванович был мрачен и сосредоточен. Ему беспрестанно вспоминался случай с мальчиком, и он жалел о том, что не настоял, чтобы тут же остановить лошадей и узнать, что с ним случилось. Несколько раз он старался отгонять от себя эти мысли, старался успокаивать себя тем, что, может быть, ничего и не случилось, а если и случилось, то он в этом не виноват, но совесть его мучила и снова и снова наводила его на эти мысли. Несколько раз в течение вечера ему хотелось с кем-нибудь об этом заговорить, да все не приходилось. Или ему казалось, что тот человек, которого он намечал, не так отнесется к этому случаю, подумает, что он боится ответственности, или ему казалось, что разговор этот будет теперь некстати.

Увидев около себя симпатичное лицо доктора, Николай Иванович решил ему довериться и даже попро-

сить его заехать на деревню и справиться, что случилось с мальчиком.

Из ложного стыда, чтобы не показать, что это так его волнует, он начал разговор издалека: спросил его, давно ли он назначен в больницу, какого он университета, а потом, как бы невзначай, сказал:

— А знаете, какая со мной нынче глупая история случилась,— чуть-чуть не задавил какого-то мальчишку на деревне. Кучер не сдержал лошадей, а тут, как на грех, он перебегал через улицу. Кажется, что его даже зацепило колесом.

— Это с вами случилось, Николай Иванович? — спросил исправник.— Ведь вот подлецы, сколько раз уж я их за это учил,— как только кто-нибудь едет, тут-то им и нужно бегать. Вот я завтра узнаю, чей это мальчик, я ему задам.

— Нет, Василий Петрович, пожалуйста, этого не делайте. Я рассказал об этом доктору, потому что я боюсь, не зашиб ли я его, а совсем не для того, чтобы вы его наказывали.

— Э, да что вы беспокоитесь, его обухом не прошибешь, а если и ушибли его, поделом ему, одним подлецом на свете меньше будет, только и всего. Вот рюмочку не допивать — это нехорошо; кто не допивает, тому доливают,— балагурил исправник, пыхтя и наливая направо и налево водочные рюмки.

— Я сейчас поеду домой и по пути зайду посмотреть,— полушепотом сказал доктор.— Вы мне скажите приблизительно, в каком это дворе?

— На горке, первый или второй.

— Хорошо, я найду. Неужели здесь все так относятся к людям, как наш сосед? Ведь это ужасно, так жить нельзя. Я приехал в уезд полный самых лучших надежд, самых лучших намерений; мне казалось, что в земстве можно работать как нигде, и вот одно за другим разочарования и в деле и в людях. Вы не можете себе представить, как это тяжело! А с голодом теперь что делается! Недавно ко мне приходил больной из Васильевской волости и рассказывал о материальном положении народа. Ведь это ужас, до чего доходит нищета!

Васильевская волость принадлежала к участку Гаевского. Доктор назвал ее, не зная этого. В другое время Николай Иванович стал бы возражать, но теперь почему-то он промолчал и перевел разговор на другое.

После ужина гости стали разъезжаться. Гаевскому долго не подавали лошадей, и он уехал одним из последних.

V

Проезжая по деревне, Гаевский увидел стоящую около двора Кирюхина лошадь доктора и велел кучеру остановиться. Отворяя дверь и входя в избу, он сразу почувствовал, что случилось что-то ужасное, непоправимое, и ему захотелось убежать. Он увидел это ужасное и в фигуре женщины, стоящей с зажженной лампой в руках и что-то говорившей доктору, и в лице доктора, и он знал, что это ужасное тут, сбоку, на нарах, и он боялся туда взглянуть. Он старался не слышать короткие, ровные, как удары маятника, стоны, старался не смотреть... и не мог. В эту минуту для него никого и ничего не было, кроме двух существ,— его, большого, но беспомощного и слабого, и этой маленькой, курчавой головки с воспаленными глазами — и эта головка была теперь все, а он и все остальное — ничто.

Глаза мальчика смотрели прямо, куда-то далеко перед собой и, казалось, рассматривали что-то новое и важное, чего они никогда не видали. Вдруг его всего передернуло, и он громко и отчаянно вскрикнул.

Николай Иванович вздрогнул.

— Он в бессознательном состоянии,— сказал доктор, подходя и беря Гаевского за руку.— Пойдемте, мы здесь не нужны.

Выйдя в сени и затворив дверь, доктор остановился.

— Положение безнадежное, едва ли он протянет до утра. Я не мог рассмотреть всех повреждений, потому что каждое движение вызывает в нем невыносимые страдания, но, по-видимому, у него смята грудная клéтка и повреждено несколько ребер. Моя помощь здесь уже не нужна. Эти вскрикивания — начало агонии.

— Неужели ничем нельзя помочь?

— Едва ли. Если хотнте, я завтра утром заеду, а теперь поедемте. Вам ведь мнмо моей больннцы ехать; еслн позволнте, я сяду с вамн.

Доктор видел, в каком удрученном состояннн находнлся Гаевскнй, н ему было его жалко. Дорогой он старался его утешать, говорнл, что он в этом несчастье почтн не внноват, н прнводнл ему разные прнмеры подобных же случаев.

Гаевскнй слушал н молчал. В это время в его голове пронсходнла сложная работа мыслн, пока еще не ясная, но огромная, настойчнвая н мучнтельная.

В первый раз в жнзнн, тут, он почувствовал свою полную беспомощность. Он готов был вернуться, подойтн к этой несчастной матери н умолять ее о прощеннн, но он чувствовал, что он не может этого сделать, что это не может быть искренне н что этим он не смягчнт ее горя, а только озлобнт ее. Чтобы понять друг друга, нужны человеческне отношення, н вот этого-то, главного, у него не было.

Между прочнм, доктор сказал ему, что отец этого мальчнка нынче с утра уехал к нему за помощью, и Гаевскому вспомннлось, как он утром прогнал всех проснтелей. Ему ясно представнлось, как этот Петр теперь вернется домой н с какой ненавнстью он к нему отнесется. Это чувство озлобления, которое, как ему казалось, он возбуждал к себе, приходнло ему в голову н раньше, но тогда он не обращал на это вннмання. Его роль н в жнзнн н в службе была карать нлн мнловать, и он не нуждался в сннсхожденнн людей. Теперь, когда ему понадобнлось прощенне нменно этнх людей, которых он счнтал неизмернмо нnже себя, он чувствовал, что он его недостонн. Он знал в глубнне душн, что, еслн мальчнк умрет, он ннчем не можем возместнть его жнзнь, но ему хотелось себя обманывать, и он прндумывал, чем бы ему вознаградить роднтелей. То он решал дать отцу денег, то трн десятнны землн, но все это казалось ему мало, все это было не то, н он так нн на чем н не остановнлся.

У больннцы доктор слез, н Ннколай Ивановнч поехал домой однн. Когда он подъезжал к дому, уже светало.

VI

Взойдя в спальию, Гаевский разделся и лег. Ему хотелось засиуть, чтобы хоть иа время забыться и уйти от мучивших его мыслей. «Утро вечера мудренее,— подумал он, закрывая глаза,— завтра встаиу и что-нибудь сделаю». В чем будет заключаться это «что-нибудь», ои еще не зиал, но ои чувствовал, что что-иибудь иадо сделать, и успокаивал себя тем, что это «что-нибудь» будет хорошее и спасет его.

«Одиим подлецом меньше будет»,— вдруг, как ножом, резнули почему-то вспомиившиеся ему слова исправиика. И ои вспомиил его откормлеииое, полупьяиое лицо — и рядом с ним выражеиие лица жеищины, с коптящей лампой в руках, стоящей над умирающим мальчиком. Он стоял рядом с ней, видел ее горе и ие мог даже сказать одного слова утешеиия. Ои поспешил убежать, чтобы не видеть ее страданий и страданий этого, им же задавлениого «подлеца» с курчавой головкой.

«Какой ужас! Ведь ие в том моя вииа, что я переехал через мальчика,— это иесчастье, ио отиоситься к иим так, как мы отиосимся,— вот в чем иаше преступлеиие. Ведь когда исправник это говорил, иикто даже ие возразил, и я видел, как иаши соседи улыбались его милой шуточке. Если бы у меня было ие такое же отношеиие к этим людям, разве я мог бы уехать и оставить эту жеищииу одну? Я ие могу помочь мальчику, ио матери я могу, я должеи помочь. Это главная и едииствеииая моя обязаниость, и я ие смею от нее бежать, как трус и преступиик».

Николай Иваиович поднялся с постели, позвал человека и велел запрячь беговые дрожки.

Наскоро одевшись, ои, ие дожидаясь, чтобы ему подали лошадь, пошел в коиюшию и прямо оттуда поехал в С—ое. Зачем ои ехал, ои ие зиал и ие хотел зиать; ои чувствовал, что ои должеи ехать, что ои поступает правильио, и это созиание его успокаивало и давало ему силы.

Утро было хмурое, и после бессоиной иочи Николая Иваиовича проиизывала дрожь.

Покачиваясь на бесшумно катящихся по пыли беговых дрожках, он старался представить себе, как он теперь взойдет в избу, что скажет этой бабе, что она ему ответит, но все выходило как-то делано, и сколько он ни думал, он так и не приготовил первой фразы, которую, как ему казалось, ему надо было сказать, входя в избу. Минутами на него опять нападал какой-то страх и ложный стыд, и он готов был повернуть лошадь и ехать опять домой, но он знал, какие мысли ждут его дома, и эти мысли были для него еще страшнее, и он ехал дальше.

Чем ближе он подъезжал к деревне, тем страшнее ему становилось того, что его там ждет.

Когда он въехал в деревню, встречавшие его мужики кланялись ему, и ему казалось, что они знают, зачем он едет, и он отворачивался от них, чтобы не встречаться с ними глазами, и погонял лошадь.

У Кирюхиного двора Гаевский слез с дрожек и, не оглядываясь, торопливыми шагами вошел в избу.

Первое, что ему бросилось в глаза,— это бледная, восковая головка Васьки, лежащего на лавке головой к образам. У печки стояла Матрена и о чем-то разговаривала с двумя другими бабами. Увидав нового человека, она быстрым движением закрыла свое лицо фартуком и стала причитать. Что она в это время говорила, между всхлипываниями и воем разобрать было невозможно. Слышались отдельные слова: «Родименький... покинул... меня...» — но большинство слов понять было нельзя, да и вряд ли сама она знала, что говорила.

Гаевский стоял и чувствовал, как на его глазах навертывались слезы. Почти не сознавая как, он подошел к Матрене и дрожащей скороговоркой проговорил: «Прости меня, ради бога, я виноват».

Матрена на минутку замолкла, испуганно взглянула ему в глаза и неудержимо зарыдала. Николай Иванович стоял над ней, уткнувши нос в ее грязный платок, и чувствовал, как слезы бегут по его щекам и размазываются по усам и бороде. Он плакал, как ребенок, и, как ребенок, радовался своим слезам и не сдерживал их. Он уже не думал о том, как на него будут смотреть люди. Он чувствовал, как с него спа-

дала какая-то наносная скорлупа, с которой он так бессильно боролся всю эту ночь, и как открывалось что-то новое, ясное и бесконечно радостное. Теперь он уже не боялся подойти к горю этой женщины, потому что он понял его всем своим существом. И когда она, всхлипывая, стала рассказывать ему, как мучился и умирал Васька, он смотрел на нее воспаленными глазами и вместе с ней переживал эту ужасную ночь. Иногда слезы заволакивали его глаза, и он утирал их, а бабы успокаивали его и утешали. Из рассказа Матрены Гаевский узнал всю жизнь их ней семьи, и, слушая ее, он чувствовал, как он все больше и больше сближался с ними, и все непонятнее становилось для него его прежнее отношение к этим людям.

VII

С тех пор прошло несколько месяцев.

Второй голодный год оказался много ужаснее первого. Как и раньше, продолжалась борьба партий, и в тех местах, где голод не признавался, нужда народа доходила до крайних пределов.

Гаевский сидел в своем кабинете и разбирал именные списки крестьян своих пяти волостей. Постучались в дверь, и вошел доктор.

— Николай Иванович, я привез вам радостную весть. Ваше ходатайство относительно крестьян удовлетворено, и вам прислано десять вагонов муки. Мне передал это исправник. Он рвет и мечет на вас, что вы избаловали всю округу, и собирается жаловаться на вас губернатору.

— Бог с ним,— ответил Гаевский, с доброй улыбкой глядя в глаза доктору.— Разве на таких людей можно сердиться? Он сделал мне большую пользу, и я всегда буду его за это благодарить. Помните, когда я летом задавил этого несчастного мальчика, он сказал мне: «На свете одним подлецом меньше будет». С тех пор я не могу забыть этих слов. Вспоминая себя, каков я до того времени был, и затем все то, что мне дала эта несчастная смерть, я начинаю верить в истину того, что действительно одним «подлецом стало меньше». Но какой ужасной ценой!

ТРУП

Часть первая

I



В коице февраля 188— года в одиом нз переулков Смолеиского рынка у ворот дома купца Трифонова остаиовился частиый пристав — го участка — ой частн.

Разыскав проволочиое кольцо, против которого внсела дощечка с надписью «двориик», пристав позвоиил.

Где-то далеко в глубиие двора отозвался звонок, где-то хлопиула дверь, и через несколько времеии, пожимаясь от холода, вышел из калитки дворинк.

Увидав пристава, ои подобрался, сиял шапку и вопросительно на иего посмотрел.

— Здесь квартнра мещанина Иваиа Петровича Мешкова? — спросил пристав.

Дворинк иа минуту задумался, припомииая.

— Должно быть, ваше благородие, в квартире тридцатой, оии ие так давио здесь поместились; если прикажете, я сейчас по книге справлюсь.

— Один ои тут жил илн с кем-иибудь?

— С жеищнной какой-то, кажется, с женой.

— Проводн меня к инм,— сказал пристав, отворяя калитку.

Двор был большой и грязный. Пройдя через кучи разиых нечистот и обледеиелых помоев, они повернули иалево, прошли узким и темиым проходом между двумя голыми кнрпичиыми стеиамн н начали подыматься по крутой осклизлой лестиице. Пахло сыростью и плесеиью. В конце длииного коридора, по обе стороны которого были расположеиы квартиры, двориик остановнлся н постучал в дверь.

— Кто там? — откликнулся женский голос.

— Отворяй,— приказал пристав.

Из двери выглянула молодая женщина.

Не дожидаясь, чтобы дверь отворилась совсем, пристав, в таких местах привыкший не церемониться, толкнул дверь и вошел.

Маленькая комнатка с закоптелым потолком и кое-где отвисшими обоями была убрана относительно чисто. Против единственного окна стоял стол, на котором лежали бумаги, перо и чернильница.

Видно было, что хозяйка занималась письменной работой, от которой только что оторвалась.

— Здесь квартира мещанина Мешкова? — спросил пристав.

— Квартира ихняя здесь, но их сейчас дома нет,— ответила женщина.

— А вы кто? — Он хотел обратиться к ней на «ты», но, осмотревшись и по некоторым признакам решив, что это бедные «интеллигенты», он начал на «вы».

— Я жена ихняя.

— Подождешь меня в коридоре,— обратился он к дворнику, запирая за собой дверь и с деловым видом подходя к столу.— Мне кое-что надо у вас спросить и записать.

Елена Ивановна (так звали хозяйку), с детства привыкшая со страхом смотреть на всякого полицейского и теперь не предвидя ничего хорошего, не смея двинуться, стояла у двери. «Что ему от меня нужно? — думала она, перебирая в голове все поводы, по которым мог к ней прийти пристав.— Неужели Иван Петрович что-нибудь сделал?»

— Когда и куда ушел ваш муж? — спросил пристав.

— Так и есть, что-нибудь с ним случилось. Господи, что же это такое? — прошептала Елена Ивановна.

— Я вас спрашиваю, когда и куда ушел ваш муж? — повторил пристав громче.— Да что вы там мнетесь, подите сядьте сюда и отвечайте на мои вопросы толком.

— Они ушли еще вчера утром, а куда — не знаю. Они больны были.

— Чем он был болен?

Елена Ивановна покраснела.

— Как это вам сказать, на них находило, запивали они,— сказала она, заминаясь.

— А знаете вы его почерк? — сказал он, подавая ей засаленную бумажку, на которой немного неровным, четким почерком что-то было написано.— Эту записку нашли сегодня на берегу Москвы-реки, около проруби, где дорогомиловская плотомойня. Тут же нашли пиджак и шапку.

Елена Ивановна прочла: «Лишаю себя жизни добровольно, прошу никого не винить. *Иван Мешков*».

Елена Ивановна не могла отвечать. Закрыв лицо руками, она судорожно рыдала, по временам вздрагивая всем телом.

— Нынче я вас больше беспокоить не буду,— сказал пристав, вдруг заторопясь и берясь за фуражку,— а завтра утром я пришлю вам дознаньице, и вы потрудитесь его подписать. До свидания-с.

«Зачем он это сделал, зачем? — мысленно повторяла Елена Ивановна.— Разве я его попрекала, разве я не знаю, что это болезнь, что он сам себе не рад. Жил бы да жил. Не мог работать, я бы одна работала, были бы сыты. В этакий холод — утопился».

Дрожь пробежала по ее телу.

Она живо представила себе, как он бросился под лед, как боролся со смертью, и теперь где-нибудь подо льдом синее, опухшее его тело медленно перекатывается по течению.

«Стало быть, далеко отнесло его, бедного, коли не нашли,— подумала она.— Господи, прости его, он сам себя не помнил, может быть, и я виновата, не умела его покоить, чем-нибудь его огорчала».

— Ивановна, а Ивановна, что это околодочный приходил, али опять твой старик что накуролесил; дворник говорит, его фатеру спрашивали.

Елена Ивановна оглянулась.

Это была старушка соседка, жившая в этом же коридоре, сплетница и болтунья. У нее была русская печка, в которой она пускала жильцов готовить и поэтому питалась даром, и она знала все, что происходило во всех тридцати пяти квартирах этого дома.

Появление пристава в сопровожденнн дворннка она не могла пропустить, не узиавши прнчиины, н потому немедленно явилась с допросом.

Увидав на глазах Елены Ивановны слезы, она вдруг оживнлась н затараторила, выпалнвая за раз по два слова.

— Вот вы все нонешнне молодые так-то. Прнвяжется к своему старнку, и отвечай за него, плачься. Кабы еще путевый был нли молодой. А то ншь невндаль, крыса седая. Мой был, так хоть на человека похож был, и то, бывало, пока ои шьет сапоги, работает, и я с ннм, а как закрутнт, так уж ие прогиевайся, не буду сндеть, как ты. Молодая женщина найдет себе пропитание везде. Миого ты своим пнсаннем заработала? Нарядилась бы, вышла по Проточному, вот тебе н деньги и удовольствие. Ты ему не нужна, так н об нем нечего сокрушаться.

Елеиа Иваиовиа слушала болтовию старухи и ничего ие слыхала.

Мысли ее путались. То ей казалось, что ннкакого прнстава не было, что все это было во сне, то вдруг действительность с новой силой выступала перед ней, и опять этот холод — мокрый, пронизывающий холод.

Она схватнла лежащнй на кровати шерстяной платок, накинула его себе на плечи и, не оборачиваясь, выбежала иа улицу.

— Давно бы так-то,— проговорила Антоиовна, очень довольная тем, что ее советы прнняты, н побежала по соседям рассказывать, что Иваи Петрович попал в участок, а «пнсьмоводнтельша» пошла гулять по Проточиому.

* * *

Куда и зачем шла Елена Ивановна, она не сознавала. И после, вспомнная эту ужасную ночь, она не помиила, где н на какнх улицах она была. Она ие замечала, как снежный ветер щипал ее лнцо, насквозь пронизывая тело, как мелькали прохожие, крнчалн извозчикн; для нее инчего не существовало, кроме одной упорной мыслн о нем.

Она никогда не любила его. То чувство, которое она когда-то принимала за любовь, не было любовью — то была жалость.

Она жалела его, слабого, бесхарактерного, но доброго Ивана Петровича.

Когда он, пьяный, возвращался после долгого отсутствия домой, пропив все, что у него было, в чужих лохмотьях и опорках, и, стоя на коленях, со слезами просил у нее прощения, глядя на его слезы, она не могла не прощать ему и всякий раз прощала и жалела.

Она видела, что он губит жизнь и свою и ее, пробовала его убеждать, прятала от него деньги и все, что он мог пропить, но ничего не помогало.

После запоя он дня три лежал больной, со страшной головной болью, потом вставал, находил какую-нибудь работу, клялся и божился, что пить больше не будет, и действительно держался, раньше иногда по целым месяцам, справлял себе домашнюю одежду, но вдруг опять пропадал, и опять все сначала: и лохмотья, и слезы, и клятвы, и жалость.

Раньше Елена Ивановна верила в его клятвы, и ей легче было ему прощать, но с каждым разом вера эта слабела, и она уже смотрела на него как на человека погибшего и вместе с ним оплакивала и свою загубленную жизнь.

Она теперь вспоминала, как в последний раз он стащил у нее единственное ее приличное платье, в котором она ходила за работой, и пропил его и как она, не сдержавшись, сказала ему: «Хоть бы тебя бог убрал от меня».

Это воспоминание теперь больно кольнуло ее в сердце и мучило ее.

Она вспоминала, как она раньше ловила себя на мысли, что было бы хорошо, если бы он умер, и она тогда же себя казнила за такие мысли и отгоняла их как грех, и теперь, когда действительно его уже не стало, когда он сам освободил ее от себя, как больно ее кололи эти воспоминания.

Еще она вспомнила, как вчера вечером он, пьяный, приходил к ней просить денег, хоть гривенничек, и она отказала ему.

Он становился на колени, целовал ее платье и клялся, что он в последний раз выпьет и больше не будет. «Вы всё так,— не буду, не буду, а сами валяетесь пьяный на полу, уйдите лучше с глаз долой, легче будет».

— Не веришь мне, а я говорю, в последний раз, тогда сама узнаешь. Прощай, Леночка, узнаешь,— сказал он ей и вышел.

Ей показалось, что он в дверях всхлипнул.

Теперь она ясно вспомнила эту последнюю сцену и поняла, что он правда прощался с ней и что тогда еще в его пьяной голове был решен тот ужасный шаг, на который он решился.

Во всем я виновата, все я, не пожалела, не поняла. Что с ним теперь, где он?

Еще в одном она себя винила, и ей страшно было в этом сознаться.

Неужели он мог это заметить? Ведь ничего же не было. Он приходил, давал мне работу, и только.

Я не изменила мужу ни словом, ни делом, я сама не знаю, люблю ли я его, неужели он мог подумать, что я с ним его обманывала? Разве мне это нужно?

И тут же она поняла, там, где-то в глубине души, что да, нужно, нужен ей этот милый, честный, чистый человек, который приходил к ней сдавать и получать ее работу, нужен ей и он, и все, что он мог бы ей дать.

Незаметно для себя Елена Ивановна прошла до конца переулка, повернула влево по набережной, мимо каких-то лесных складов и вышла к Дорогомиловскому мосту.

Ветер на чистом месте был сильнее.

Вдоль набережной по обеим сторонам реки кое-где мелькали огни фонарей, и между ними тянулась темной полосой покрытая снегом река.

Елена Ивановна подошла к мосту, оперлась о широкую железную решетку и долго пристально смотрела на реку.

Ей казалось, что там, где-то под ней, похоронен Иван Петрович, а решетка эта вроде катафалка — мрачная, черная.

А ветер между переплетами ревел все сильнее, теребил ее платье и платок, с яростью подлетал к фона-

рям, освещая мелкие блестки снега, и летел дальше, куда-то туда, где темно, страшно, где перекатывается тело Ивана Петровича.

Елена Ивановна вся дрожала от холода.

Какой-то прохожий, спеша мимо нее, задел ее, обругался и полетел дальше.

Елена Ивановна повернулась и пошла назад.

Проходя мимо трактира, она встретилась с пьяным, хотела было свернуть, но он кинулся на нее, охватил ее обеими руками и пьяным голосом начал ее уговаривать идти с ним.

Она с ужасом вырвалась и без оглядки побежала домой.

Пьяный кинулся было за нею, но тотчас спотыкнулся, упал, и до самых ворот своего дома она слышала его грубую, уличную брань.

II

Елена Ивановна была дочь сельского учителя Ч — го уезда. Все свое детство и отрочество она провела при школе, где сначала училась, а потом помогала и иногда даже заменяла своего стареющего отца.

Матери она лишилась рано, так что почти не помнила ее, и вместе с младшим своим братом Гришей выросла на руках школьной сторожихи, ворчливой, но доброй Максимовны.

С воспоминаниями детства у нее связывались большая комната школы, уставленная параллельными рядами черных парт, белокурые, точно льняные, головки детей, и посредине, около высокого стола, длинная, сухая фигура ее отца, в потертом пиджаке, в очках, всегда спокойного, медленно и ясно выговаривающего каждое слово.

Леночка начала ходить в школу семи лет и всегда была одной из лучших учениц. Сначала она сидела в младшем отделении, справа у окна, и вырисовывала на грифельной доске черточки, цифры и буквы, потом она сидела уже в середине, против самого стола учителя, в среднем отделении, а еще через год она перешла в старшее отделение и сидела слева около карты Европы.

Когда какой-нибудь ученик не мог ответить на заданный вопрос, отец всегда спрашивал ее, и она это уже знала и заранее приготовляла ответ.

В школе отец ее не называл никак, а обращался к ней не глядя на нее и говорил: «Ну ты, скажи».— «Деление есть действие, посредством которого...» — четко отчеканивала Леночка залпом все длинное определение и, запыхавшись, счастливая своим знанием, садилась на свое место.

Тринадцати лет Леночка уже выдержала экзамен и с тех пор стала помогать отцу в младшем отделении.

Отец мечтал когда-то отдать ее в городское училище, но в это время подрастал уже Гриша, и все его заботы обратились на то, чтобы отдать сына в гимназию.

Надо было ему шить мундир, надо было платить за его учение и содержание в Москве — на это уходило все жалованье, и об Леночке заботиться было некогда.

Она сама так привыкла к тому, что все внимание отца было обращено на Гришу, что находила это вполне естественным и радовалась вместе с ним, когда его, одетого в чистенький мундирчик и шинель, повезли в Москву.

В Москве Гришу поместили у старой тетки, которая содержала прачечное заведение и сдавала от себя квартиры.

В воображении Леночки Москва рисовалась чем-то прекрасным и сказочным. Она видала в разных хрестоматиях и календарях рисунки Кремля, храма Спасителя, и все это ей казалось настолько необыкновенным, что она не только не смела мечтать когда-либо все это увидеть, но как будто даже не совсем верила в существование таких чудес.

Когда весною Гриша возвращался в деревню, она долго не могла к нему привыкнуть и смотрела на него как на существо, стоящее неизмеримо выше не только ее, но, пожалуй, даже и отца.

То, что он жил целую зиму в Москве, лазил на Ивана Великого и, наконец, выдержал экзамен в первый

класс гимназии, делало его в глазах Леночки человеком совершенно особенным, и Гриша это понимал и важничал.

Между тем отец с каждым годом слабел. Часто, во время учения, на него нападал такой кашель, что он не мог продолжать урока и уходил в свою комнату, а Леночка продолжала занятия без него. Скоро он слег совсем. Приехавший из города доктор определил скоротечную чахотку и посоветовал ему позаботиться о будущности своих детей.

Иван А., ежеминутно прерываемый кашлем, продиктовал Леночке следующее письмо к своей сестре: «Любезная сестрица Прасковья А. Пишу тебе с одра болезни, с которого едва ли мне придется встать. По смерти моей останутся двое сирот, которых, кроме тебя, мне поручить некому. Гриша учится в гимназии и к весне уже перейдет в четвертый класс. Тебе трудно будет его содержать без моей помощи, поэтому постарайся его поместить на казенный счет или на стипендию. Я давно уже чувствую, что мне недолго осталось жить, и начал уже об этом хлопотать перед директором гимназии, который письменно мне обещал это устроить. Письмо его прилагаю. Я надеюсь, что тебе это выхлопотать будет нетрудно.

По смерти моей мои дети должны получить из земской пенсионной кассы единовременно шестьдесят семь рублей и по три рубля в месяц до их совершеннолетия. Эти деньги я желал бы сохранить для приданого Леночки. Если же тебе не удастся поместить Гришу на стипендию, то пусть эти деньги идут на его содержание в гимназии. Быть может, со временем он отдаст их сестре и будет служить ей поддержкой. Для человека образованного все пути открыты.

Относительно Леночки я никаких распоряжений не оставляю. Она уже взрослая и, надеюсь, найдет себе пропитание честным трудом.

Если она может быть тебе полезна в твоем деле, возьми ее к себе, если же нет, то она может поступить помощницей учителя в школе. Наше училищное начальство ее знает, и ей уже было обещано с осени сделать ее моей штатной помощницей. Если успеешь, сестрица, приезжай со мной проститься; кроме тебя,

у меня родии иет, не оставь моих сирот, а я буду молить о тебе всевышнего за твою доброту.

В завещаиии своем назиачаю тебя опекуишей иад моими детьми и тебе завещаю получать из кассы эмиритуру и пенсию.

Брат твой *Иван Попов*».

Прошло несколько дией, в течение которых болезнь Ивана А. все усиливалась. Он уже не вставал с постели, постоянно кашлял и часто впадал в забытье.

Одиажды, когда Леиочка учила в школе, она увидала в окно подъехавшую к крыльцу барыню. Хотя она никогда не видала своей тетки, она тотчас же догадалась, что это она, и выбежала ее встречать. Это была толстая, еще очень живая женщина лет пятидесяти с быстрыми выкаченными глазами и крикливым голосом.

— Ну, вот я и приехала, думала, уже и не доеду, иу как Саша? а ты, верно, Леиочка? Ишь какая большая; ну, здравствуй, познакомимся, я твоя тетка, Прасковья А. Ну что, плох? священиик был? что же он, в памяти? на, голубушка, вынеси мужику семь гривен да принеси мой мешок в саиях. Дорогие какие извозчики, дешевле не едут,— сыпала Прасковья А., почти ие давая ей отвечать.— Ну, куда же идти, где он лежит?

Леночка провела тетку в кухию, где встретила их Максимовна, а сама пошла в соседнюю комиату к отцу предупредить его о приезде сестры.

И. А. уже слышал голоса, и, когда она взошла, он открыл глаза и знаком головы показал ей, чтобы она подошла к нему.

Он был так слаб, что говорил только шепотом, и, чтобы понять его, надо было наклониться ухом к самому рту. Леночка подошла к нему и наклонилась.

— Сестра Прасковья приехала? я слышал, Гришу привезли? Нет. Зиачит, не увижу, скоро умру; что же она не идет?

В это время в комиату вошла Прасковья А. Видимо поборов в себе неприятное чувство, которое испытывает всякий при виде умирающего, она быстро подошла к постели, наклонилась над И. А. и поцеловала его в лоб.

Она решила не показывать брату, что он умирает, и старалась говорить с ним, как с человеком здоровым.

— Ну, вот я и приехала,— повторила она, очевидно, уже заранее подготовленную фразу,— что же ты тут болеешь, пора выздоравливать: я получила твое письмо, думала, ты уже совсем плох, но, слава богу, ты еще ничего, молодцом. Что же доктор, был? надо бы посоветоваться. Далеко здесь до города? Я завтра съезжу, привезу кого-нибудь. Гришу? — переспросила она, видя по губам брата, что он что-то хочет у нее спросить.— Не пустили, говорят, учиться надо,— соврала она.— На праздниках приедет. Ну, ладно, ладно, не волнуйся, лежи отдыхай, вечерком поговорим, а сейчас я пойду к Леночке, оправлюсь с дороги. Всю ночь ехала.

Выйдя в кухню, Прасковья А. резко изменила тон и стала распоряжаться как полновластная хозяйка, повелительно и грубо.

С первого же взгляда она определила, что И. А. умирает, и в глубине души она уже мечтала только о том, чтобы поскорее развязаться и уехать опять в Москву. Этого она даже не считала нужным скрывать от Леночки и, не стесняясь близостью больного, громко высчитывала тот убыток, который она терпит от своей поездки и от того, что она задержится здесь несколько дней с похоронами. Впрочем, задержка эта была невелика.

В этот же день вечером, когда П. А. о чем-то хлопотала в кухне, Леночка, сидевшая около отца, заметила, что он стал дышать как-то странно. Она, испуганная, позвала тетку.

— Кончается,— шепнула Прасковья А.,— беги скорей за попом.

Леночка, не помня себя, побежала. Дом священника был в ста шагах от школы, но когда Леночка, запыхавшаяся, вернулась в комнату отца, он уже не дышал.

Через несколько минут пришел священник и отслужил панихиду. В эту ночь никто не ложился спать, а на другое утро Прасковья А. проявила деятельность необыкновенную. До обеда она успела уже побывать

в городе, справилась в управе о пенсии, привезла гроб, заказала могилу и назначила похороны на третий день утром.

В школе занятий не было, и дети целый день бесцельно толпились в училище, ожидая чего-то.

Так как в комнате, где лежал покойник, было тесно, на панихиды пускали только старших, а младшие стояли за дверьми, забегали к окну и сквозь замерзшие стекла старались разглядеть, что делается в комнате.

Псалтырь попеременно читали взрослые ребята и мужики, бывшие ученики покойного. Прасковья А. кипела.

К вечеру была уже готова кутья, поставлено тесто для пирогов, приготовлены тарелки, рюмки, за которыми двадцать раз должна была бегать Леночка к попадье,— одним словом, все было в таком порядке, что можно было подумать, что без нее все бы погибло да, пожалуй, и сам Иван А. не сумел бы и помереть.

Похороны были очень приличные. Гроб несли на руках до самого кладбища, в церкви присутствовал соседний помещик, попечитель школы, и священник сказал длинную, запутанную речь, из которой ясно можно было понять только то, что Иван А. действительно умер и больше учить в школе не будет.

После поминок Прасковья А. объявила Леночке, что они сегодня же вечером едут в Москву, и приказала ей собираться. Несложное имущество брата она частью повезла с собой, а то, что не стоило перевозки, оставила на сохранение у батюшки.

III

Когда утром Леночка проснулась, поезд уже подходил к Москве.

Тетушка суетилась, пересчитывала узлы и поминутно всматривалась в замерзшее окно вагона, как бы боясь чего-то пропустить.

Еще за несколько минут до остановки поезда она собрала все свои вещи и вместе с Леночкой и другими пассажирами тискалась в тесном проходе вагона.

Наконец поезд засвистел, как бы во что-то уткнувшись, остановился.

В открытую дверь вагона показался белый пар, и понемногу, теснясь и толкая друг друга об узлы, стали вылезать пассажиры.

Было ясное, морозное утро. По длинной деревянной платформе резко отдавался звонкий скрип сотен шагов куда-то спешащих людей, взад и вперед летали артельщики в белых фартуках с бляхами на груди; с шумом прокатилась тележка, нагруженная разными ящиками и чемоданами, с криками: «Позвольте, позвольте».

Все это для Леночки было ново. Неожиданный приезд решительной тетушки и переселение в Москву так глубоко повлияло на нее, что она долго не могла опомниться.

Вся ее прежняя жизнь, болезнь и трогательная смерть отца казались ей пережитыми как во сне, и новая чуждая действительность не давала ей времени вспоминать прошлое. Безотчетный страх, охвативший ее при приезде в Москву, настолько поработил ее всю, что она отдалась ему без спора и так и замерла в состоянии равнодушного угнетения.

Скромная и скрытная по природе, она, как улитка в своей скорлупе, сделалась вещью, которой можно было играть, подбрасывать в руке, трогать и давить, не заботясь о том, есть ли в этой скорлупе жизнь или нет.

Так к ней и отнеслась Прасковья А. Решив, что Гриша не может доучиться в гимназии и что ему пора зарабатывать свой хлеб самостоятельно, она отдала его в приказчики в колониальный магазин, а Леночку поместила в конторе своей прачечной и поручила ей присмотр за своим делом. «Тут и ночевать будешь на диване»,— сказала она, приведя ее в маленькую комнатку, занятую сплошными полками, на которых лежали свертки готового белья, расположенные по номерам.

— Будешь принимать и сдавать белье, записывать в книги, выдавать квитанции, а понавыкнешь, тогда и все дело передам тебе. Я уж стара, пора и мне отдохнуть, где мне управляться без помощницы.

* * *

Прачечная помещалась во дворе одного из переулков близ Арбата.

Подвальный этаж старого грязного флигеля был занят стиральной и гладильной, а выше помещались «контора», комната Прасковьи А. и два угла, которые сдавались жильцам со столом.

Жильцы менялись постоянно. Или они не доплачивали, и тетушка немедленно их выгоняла, или, если этого не случалось, то сбегали сами благодаря невозможному характеру и придирчивости хозяйки.

Жильцов надо было иметь, потому что ими оплачивалась стоимость квартиры, но это были неизбежные враги, которым заранее была объявлена война, и другого отношения к ним у Прасковьи А. быть не могло.

Скоро Леночка осмотрелась и привыкла к новой обстановке.

Как бесплатная работница, она была выгодна, и понемногу в ее руки перешло почти все хозяйство. Она выдавала мыло, соду, вела контору и присматривала на кухне.

С жильцами она свыклась, и благодаря ей в первый раз случилось, что квартиранты жили по нескольку месяцев, и стычки между ними и хозяйкой почти прекратились. Зато когда тетушка бывала не в духе, а это случалось часто, вся ее злость обрушивалась на Леночку.

Что бы ни случилось, во всем была виновата «бездомная учительница, образованная тихоня, предательница, змея», и чем больше отмалчивалась и пряталась в себя Леночка, тем больнее язвила ее Прасковья А.

Только по вечерам и ночам, когда тетушка уходила спать, Леночка чувствовала себя спокойной и одна, в своей комнате, переживала свою жизнь, свои мысли, свои воспоминания.

Иногда ей удавалось где-нибудь достать книгу, и тогда она чувствовала себя вполне счастливой. Какой-нибудь глупый базарный роман заставлял ее забывать все свои горести и лишения и так завлекал ее, что она

забывалась и зачитывалась часто до поздней ночи, пока ее маленькая лампа не догорала и не гасла.

Как раньше, когда она жила в школе, весь внешний мир и Москва казались ей чем-то сказочным и недоступным, так теперь, читая в романах описания жестоких переживаний, она восхищалась ими, умилялась до слез, верила, что где-то там есть люди, которые так чувствуют и живут, но никогда она эти чувства не примеривала к себе и не воображала, что и она участвует в этой жизни всего человечества и что под ее скорлупой жизнь развивается, может быть, правдивей и красивей всех тех басен, которые теперь волнуют ее воображение.

Когда-то отец звал ее дурнушкой, и она свыклась с мыслью, что она какой-то урод, и презирала свою внешность. Когда она по утрам причесывала перед зеркалом свои длинные белокурые волосы, она ненавидела свои остановившиеся, как ей казалось, глупые голубые глаза, и женское развитие ее красивого тела не только не радовало ее, но пугало и наполняло ее каким-то бессознательным ужасом и стыдом.

Она, дурнушка Леночка, не смеет жить своей жизнью, счастье для других, а не для нее, а ей — ей надо служить, терпеть и не думать, потому что чем больше думать, тем больнее чувствуется беспросветное одиночество.

IV

Через полгода после переезда Леночки в Москву, в одном из углов, или как называла их Прасковья А.— квартир, случайно освободившейся, появился новый жилец, Иван Петрович Мешков.

Он пришел перед вечером без всяких вещей, сошелся с хозяйкой, не торгуясь, дал задаток и паспорт и два дня не выходил из своей комнаты.

Леночка носила ему обед и чай, он конфузливо благодарил, но почти ничего не ел и только ходил по комнате и курил.

Тетушка Прасковья А. даже начала беспокоиться, не революционер ли какой, но, видя безвредность

и скромность постояльца, решила подождать и не беспокоить его.

— Там видно будет, что он дальше будет делать.

На третий день Мешков ушел с утра и скоро вернулся с небольшим узелком вещей и громадным портфелем, полным бумаг. Когда Леночка принесла ему обед, он сидел за столом и что-то писал на громадных бланках.

— Вот, Елена Ивановна, и я работать начал,— весело встретил он ее,— пишу страховые полисы для общества. У вас здесь хорошо, что, а? Благодарю вас, вы хорошая, что?— И он виновато улыбался доброй, как будто давно знакомой улыбкой.

И почему-то Леночка почувствовала, что этого человека она не боится и даже как будто она где-то раньше его видела, может быть, даже не его самого, а какого-то такого же человека с этой же улыбкой, и все было тогда так же, как теперь.

И этот стол с бумагами и тарелками, и запах щей, и она стоит у двери,— все, все совсем как сейчас.

Было ли это, как это бывает иногда, воспоминания из предыдущих наших жизней, или она безотчетно вспоминала близкие черты умершего отца, нечаянно отраженные в Мешкове. Она не успела над этим задуматься, но у нее осталось впечатление чего-то родного и приятного, а главное, не страшного.

И действительно, более смиренного человека, чем был Иван Петрович Мешков, не бывает. Небольшого роста, с проседью, без возраста, без прошлого, он так мало заботился о себе, что до сорока лет не успел устроиться ни в смысле карьеры, ни в смысле семьи и жил по углам всегда один, до трогательности просто и скромно.

Правда, у него был один порок или, лучше сказать, болезнь, которую он унаследовал от отца и которая разбила всю его жизнь. Раза два в год он запивал.

Болезнь эта подкралась к нему незаметно. Сначала он не обращал на нее внимания, а когда хватился, было уже поздно, и ослабевшая воля не могла бороться.

От природы даровитый и работящий, Мешков несколько раз в своей жизни получал хорошие места,

поднимался, держался иногда подолгу, раза два он не пил по году и больше, но в конце концов предзапойная тоска неизбежно им овладевала, и с каждым разом он падал все ниже и ниже по той наклонной плоскости, которая ведет к полному обезличению, ночлежке и суме.

Когда он запивал, он никогда не заходил в хорошие рестораны, а гулял исключительно в самых скверных извозчичьих кабаках, окруженный толпой золоторотцев.

Сначала он пропивал деньги, потом вещи, одежду и часто доходил до такого положения, что ему бывало не в чем выйти на улицу.

Тогда он отлеживался несколько дней, посылал к знакомым, которые приезжали за ним, выкупали его, одевали и увозили домой.

Он клялся, что этого больше не будет, что это последний раз, и принимался за дело.

К Прасковье А. на квартиру Мешков попал по объявлению после двухнедельного запойного угара, во время которого он, как всегда, спустил все, что у него было, и лишился места.

На этот раз, совершенно для него неожиданно, его выручил мало знакомый ему человек Сомов, служащий в страховом обществе «Якорь».

С ним Мешков познакомился по предыдущей своей службе, и почему-то, когда он в ночлежной, в полной беспомощности, очнулся от запоя, он вспомнил об нем и написал ему письмо с просьбой его выручить.

Сомов приехал сам, разыскал Мешкова в ночлежке, одел его и увез к себе. Тот же Сомов помог ему нанять комнату и дал ему работу.

V

Первое время тетушка Прасковья А. относилась к новому врагу — квартиранту Мешкову, страшно подозрительно, и чем больше она в нем видела смирения и скромности, тем ярче разгоралось ее воображение.

— Знаем мы этих тихонь, в тихом омуте черти водятся. Сидит как сыч, только от него и слышишь, что:

что? да? а? — и все-то у него хорошие. Не вздумай с ним шашни разводить. Какие это он тебе книги приносил? Спросить его, где он их берет. Краденые принесет, еще попадешь с ним. А у самого белья одна смена, да и то с чужими метками. Вот погляжу, как платить будет, а то недолго ему на дверь показать. Было бы корыто, а свиньи найдутся. Таких голоштанников сколько угодно по Москве шляется, хоть пруд пруди.

Однако тетушкины подозрения не оправдались. Мешков к положенному числу аккуратно внес деньги и даже предложил дать три рубля вперед, чем не только совершенно обезоружил хозяйку, но и приобрел некоторое уважение.

Работая безотрывочно целыми днями, он понемногу приобрел себе кое-какие носильные вещи и продолжал быть так тих и прост, что ни в чем нельзя было к нему придраться.

С первых же дней знакомства между Мешковым и Леночкой установились самые простые и хорошие отношения.

Живя в непосредственной близости к комнате хозяйки, отделенный от нее тесовой перегородкой, он не мог не слышать постоянных придирок и выговоров, которым безропотно подвергалась племянница, и он до боли жалел эту милую, забитую девушку и мучился тем, что он ничем не может ей помочь или утешить ее.

Когда после она случайно заходила к нему с обедом или со стаканом чая, он ласково смотрел на нее и, как мог, подбодрял.

Никогда ни про кого он не говорил дурного, и когда речь заходила о тетке, он неизменно кончал свою фразу привычной поговоркой: «Что? а? — а ведь она хорошая».

И Леночка уходила от него успокоенная, забывши перенесенную обиду, а главное, с сознанием того, что есть человек, который не сердится и которого она не боится.

Мешков сам никаких книг не читал, но когда он узнал, что Леночка так любит чтение, что просиживает за книгой целыми ночами, он пошел к Сомову и при-

нес от него несколько томов сочинений лучших наших классиков.

Это было для Леночки большим праздником, и долго после этого она чувствовала себя почти счастливой.

VI

Так прошло несколько месяцев. Как-то на масленице Мешков вдруг ни с того ни с сего исчез.

С вечера он ушел к Сомову сдавать работу и не вернулся ни к ночи, ни в следующие дни.

Леночка каждое утро засматривала в его пустую комнату и целыми днями ходила задумчивая и грустная. Сердцем она чувствовала что-то недоброе, и ей жаль было этого тихого, безобидного человека, с которым она чувствовала, что приключилось что-то недоброе.

Она привыкла видеть его согнутую над столом спину, привыкла к шелесту бумаг и пера, которые часто слышала по ночам, читая свои любимые книги, и она молча и напряженно ждала и мучилась.

Всякий звонок казался ей возвращением Мешкова, и она стремглав летела к входной двери с взволнованным лицом, отпирала какому-нибудь денщику или горничной, пришедшим с квитанцией за бельем.

Особенно тяжело ей было злорадство тетушки.

— Что, говорила я, что всем им одна цена, спасибо, хоть за полмесяца вперед заплатил, а то ищи ветра в поле. Гуляет где-нибудь с мамзельками, тихоня-то твой. А тоже образованный. Сволочь, побируха. Где его теперь искать? Не придет к двадцатому, передам комнату другому, пусть себе ищет тогда. Хоть бы зашел сказал, не буду, мол, больше жить. Да посмотри, все ли белье цело, не уволок ли чего. Отвечай за него за прощелыгу.

— Да нет же, тетя, он в контору никогда и не заходил, да ведь у него все работы на столе остались, верно, заболел или уехал куда-нибудь. Не у Сомова ли он?

— Какой там еще Сомов, это что за человек?

— Да я сама не знаю, он к нему с работами ходил, говорит, в страховом обществе служит.

— В каком? в «Якоре»? Так вот что, завтра утром ступай, найди этого Сомова и узнай. Не держать же пустую комнату. Вчера еще постоялец просился, я не пустила его, сказала прийти через неделю.

На другое утро Леночка надела чистое платье, накинула на голову платок и пошла в правление страхового общества на Лубянку.

До этого она редко выходила из дома, чаще только за мелкими покупками, и, не зная Москвы, ей с большим трудом удалось добраться до места. Не смея входить в приемную, она попросила швейцара вызвать господина Сомова.

Через несколько минут в переднюю торопливыми шагами сбежал молодой человек в pince-nez, без бороды, и близорукими глазами стал осматриваться.

— Кто меня спрашивал? Вы?

Леночка сконфузилась, опустила глаза и через силу, чуть слышно, проговорила:

— Я-с.

— Что вам угодно? — вежливо, подходя к ней вплотную и оправляя pince-nez, спросил Сомов.

— Меня к вам тетя Прасковья А. прислала.

— Какая тетя, я никакой Прасковьи А. не знаю.

— У нас Иван Петрович жили, они у вас работают.

— Какой Иван Петрович? — спросил Сомов, припоминая.

— Мешков, Иван Петрович.

— Ах да, да, Мешков — так что же?

— Они у нас жили на квартире и ушли, и вот уже неделя их нет. Не у вас ли они?

На лице Сомова выразилось отчаяние.

— Ах, боже мой, боже мой, опять сорвался. Ах, несчастный, я так и чувствовал, что что-то на него накатывается опять. Жаль, жаль, а как божился, как клялся. Ах, как жаль.

— А вы что-нибудь про них знаете? — спросила Леночка уже смелее.

— Да, знаю, что он иногда запивает и тогда уже ничего не помогает, пока он не пропьет всего и не опомнится. А вы почему его знаете?

— Он жил у нас три месяца иа квартнре.

— А, вот как, так это для вас, верно, он брал у меня кииги, да?

Леночка сконфузилась опять больше прежнего и чуть не заплакала.

— У меия еще есть вашнх два дома Тургенева, я прниесу их.

— Да нет, радн бога, я совсем не поэтому говорю,— заторопился Сомов,— я очень рад, если я могу быть вам полезен чем могу, а о Мешкове не грустнте, я найду и привезу его к вам через несколько дней сам. Так н скажите вашей тетушке. Да не плачьте, ради бога, такая славиая барышия, вам это ие ндет. Ну, до свидаиья, будьте покойны, все устронтся,— сказал он, подавая Леиочке руку, и, ласково ей улыбнувшись, быстро повернулся н ушел.

Придя домой, Леиочка сказала тете, что Сомова оиа видела и что ои обещал ей, что Иван Петровнч скоро верится, а где он — она не знает.

* * *

Через несколько дией Мешков действнтельио вериулся.

Когда Леиочка на его звоиок открыла ему дверь, она его сиачала не узнала. На ием было какое-то странное длниное пальто без пуговнц, которое он старательно обеими руками запахивал, н вместо шляпы пестрый, жокейского образца картуз.

Лнцо было опухшее, больное.

Он молча прошмыгиул мнмо Леночкн, не смея на нее взгляиуть, и заперся в своей комнате.

Леиочка послала к иему кухарку, предложить покушать нлн чаю, но ои благодарнл н от всего отказался.

На другой день посыльиый в красной шапке приием ему узел с одеждой, н к вечеру он уже сидел опять за своим столом и работал.

О том, что с ннм было за эти две неделн, он не говорил ни слова, а Леиочка, щадя его самолюбне, коиечно, иичего ие спрашнвала.

С вещами была прислана целая куча книг, которые Мешков ей передал молча, получив взамен прочитанные тома Тургенева.

Читая их, Леночка часто вспоминала про свой разговор с Сомовым и внутренне краснела.

«Надо было хоть поблагодарить его, он такой добрый и приветливый, а я сказала какую-то глупость. Впрочем, он не обиделся, он даже подал мне руку. А как он жалел Ивана Петровича. Неужели он мог подумать, что у меня с ним что-то есть? Нет, нет, глупости, ничего этого не может быть, просто мне его жаль, он такой несчастный, тихий. И добрый. Ах, кабы можно было сделать, чтобы он не пил. И где он за это время пропадал?»

Эти мысли мучили ее неотступно и не давали ей покоя.

Особенно больно ей было, когда после возвращения Ивана Петровича на него напала тетушка:

— Где это вы, Иван Петрович, изволили пропадать целых две недели? Больны были? Я уж хотела в участок заявить и комнату передать новым жильцам. Это Леночка за вас упросила. Бегала к вашему Сомову, он ее утешил, говорит: «Найдется ваш Мешков, не иголочка».

Иван Петрович слушал и виновато моргал.

Когда тетушка стала говорить о посещении Леночкой Сомова, он вдруг вздрогнул и, как ребенок, зарыдал.

— Простите меня, простите, я не знаю, как это со мной случилось, опять запил, но вот, вот клятва моя, никогда больше этого не будет, удавлюсь, утоплюсь, зачем я только этого не сделал вчера, так хотелось вот на этом самом крючке, да вас пожалел, чтобы не причинить вам неприятностей, а уйти не хватило духу.

— Вот еще выдумал, гадость какую, избавьте, пожалуйста. Ишь какой, корми, пои его, да еще и возись, хорони удавленника. Тоже хорош, чем грозится. Как вам не стыдно, одумайтесь, нюня, разрюмился.

И тетушка, хлопнув дверью, вышла.

Когда вечером Леночка взошла к Мешкову со стаканом чая, он встал, подошел к ней и, глотая слезы и

мигая, долго молча смотрел на нее и не мог ничего выговорить.

— Елена Ивановна, вы хорошая, благодарю вас, не стоило обо мне беспокоиться — а, что?

И он махнул безнадежно рукой и отвернулся.

Леночка расплескала стакан, торопливо поставила его на стол и с глазами, полными слез, убежала к себе.

VII

В прачечной Прасковьи А. работало около десяти женщин. Зимой больше, летом иногда меньше. Как везде, работницы часто менялись, и, как везде, между ними шли постоянные сплетни, интриги.

До приезда Леночки одно время заведовала конторой старая прачка Спиридоновна. Это была полуразвалившаяся обрюзгшая женщина с бурным прошлым, развратная и циничная. С первого же дня появления Леночки она ее возненавидела и с тех пор все делала, чтобы ей навредить. Ее мучила ревность. Ревность к близости хозяйке, ревность к тому, что в прачечной Леночку любили и слушали, а главное, ревность к ее чистоте и молодости.

Этого преступления она ей не могла простить, потому что она чувствовала, что этого одного она у нее отнять не в силах. Как-то днем, когда Леночка хлопотала внизу, а Прасковья А. сидела за работой, Спиридоновна взошла к хозяйке и что-то затараторила.

Привыкший к таким разговорам Мешков не слушал. До него долетали отдельные слова, фразы. «Отослать белье, просил присылать». «Я к нему сама два раза ходила, богатый, белье все голландское, фатера рублей на двести в месяц».

Все это слышал Мешков и не обращал на эти разговоры никакого внимания.

Вдруг Спиридоновна, услышав движение в соседней комнате, перешла на свистящий шепот, и, как это часто бывает, Мешков бессознательно стал к этому шепоту прислушиваться.

— Удивляюсь я тебе, Прасковья А., право, что она тебе, помощница, что ли? Что ты ее бережешь, как

святошу какую-либо, замуж отдавать, либо еще как, а то дождешься, спутается вот с этим, с проходимцем. Ведь это ты не видишь, как онн вешаются, как собаки, а я давно прнмечаю. Тьфу, крот поганый, прости госполн.— И она сплюнула громко.

— Ну, а, по-твоему, как же? — спросила Прасковья А.

— По-моему? Да по-моему, вот как. Посылай с бельем к заказчикам ее, а не меня. Пусть сама несет белье к полковннку. На мои зубы, я бы из нее деньги сделала, да еще какие. Этакое сокровище да дома беречь. Намедни сдаю ему белье, он и говорит: «А почему это прачкн всегда старые бывают?» А я ему: «У нас н молодые есть, да бережем мы их».— «А где же они?»

— Ну и разговорились. Я обещала прислать ему, он ждет теперь небось не дождется. Ты ее пошли к нему, а там после сама прндешь, поторгуешься. Да не продешевн, смотрн, нонче эти несмысленки дороги, с иного сколько ни спроси, затрясется весь, все отдаст. Особливо этн старички слюнявые.

Иван Петрович завозился и кашлянул.

— Так я куплю мыла десять фунтов,— громко сказала Спиридоновна и вышла.

На другое утро тетушка позвала Леночку и велела ей одеться в город.

— Надень платье, платок мой возьми да отнеси белье к полковнику на Плющнху. Да смотри, сама до него дойди, скажи: «На кителе, мол, пуговицы не сняты были, так одной не хватает, вот эти остальные ему отдай да об рубашках скажи, что рукава обтрепались. Будь повежливее, он барнн большой, чтоб не обиделся на тебя.

Через два часа Леночка вернулась и принесла тетке деньги.

— Вот еще на извозчика целковый дал, я не брала, он насильно навязал, возьмите, тетя.

— Что же он с тобой говорнл?

— Я отдала ему пуговнцы, сказала про сорочки, он велел ко вторнику белье прнготовить, к вечеру прннестн.

— Ну вот и отнесешь, скажи там внизу, чтобы приготовили. А больше ничего ты с ним не говорила?

— А что мне с ним говорить? Он какой-то странный, подошел, смотрит на меня в упор, стал расспрашивать, где я живу да сколько жалованья получаю, сам старый, толстый, говорит невнятно, я повернулась скорей, взяла узел да ушла. Я больше не пойду к нему,— вдруг решительно заключила она.

— Как это так не пойдешь? Тетка посылает, а она не пойду. Дрянь бездомная, туда же умничать,— зашипела Прасковья А.— Вон с глаз моих, чтобы голоса твоего не было слышно, паршивая.

И этот и предыдущий разговор Мешков слышал от слова до слова.

Он знал затаенную мысль Прасковьи А., понял, на что она решилась, и напряженно ждал и мучился.

Несколько раз он хотел предупредить Леночку, несколько раз твердо решал с ней переговорить, но когда он встречался с нею, он опускал глаза перед ее чистотой и не смел сказать того, что нужно было и что было так чудовищно, гадко и грязно.

А как ее спасти от этого?

Что может сделать он, безвольный, слабый Иван Петрович, он, который сам постоянно нуждается в помощи и который всю свою жизнь загубил пьянством. Вот если бы он мог избавиться от своего порока. Во имя ее, для спасения ее от тех ужасных тенет, которые были ей приготовлены и о которых она сама не догадывалась.

«Вот первый случай, когда я на земле нужен, когда я могу для чего-нибудь пригодиться, неужели отказаться от этого потому, что я не могу удержаться от рюмки вина? От одной рюмки. Если не пить первой рюмки, то ведь не будет и следующих. А какое счастье было бы жить около нее, беречь ее. Наняли бы квартиру, работали бы вместе...»

И Мешков далеко заносился в мечты, пока другие, трезвые мысли не расхолаживали его и не возвращали к действительности.

«Да она никогда не пойдет за меня.

Разве можно мне, сорокалетнему старику, жениться на восемнадцатилетней девушке? Надо с ума сойти,

чтобы об этом мечтать. А если я опять начну пить? Нет, нет, как-нибудь иначе. Надо подумать, надо поговорить с ней».

* * *

Так проходили дни.

В назначенный вторник, перед вечером, Леночка, ни слова не говоря, понесла готовое белье к полковнику.

Она вернулась домой рано и, не заходя к тетке, ушла в свою комнату и легла спать.

На другой день вечером тетушка долго шепталась со Спиридоновной, и решено было, что пора действовать более решительно.

Эту ночь Иван Петрович работал почти до рассвета. Сидя за голым столом и выводя каллиграфическим почерком свои страховые полисы, он ни минуты не переставал думать о Леночке, и чем больше он думал, тем труднее казалась ему его задача.

Одно только было для него несомненно — это то, что он не имеет права молчать и оставаться безучастным зрителем всего происходящего на его глазах и что если он ничего не предпримет, он этим самым ответствен за ее гибель. Это было ясно.

Но что же делать? Как вырвать ее из этого заговора?

Он мог бы достать ей письменную работу, хотя бы у того же Сомова, мог бы устроить ее на отдельной квартире, поселиться сам около нее, но ведь тетушка найдет ее и, как опекунша, водворит к себе. Надо доказать преступные замыслы Прасковьи А. Только тогда можно ее устроить. Но как это сделать? Ведь это целый скандал.

А как это отзовется на чистой душе Леночки? Какую ужасную грязь придется пред ней выворачивать. Быть может, она сейчас и не подозревает о том, что ей готовят. Чистая она, хорошая.

Неужели мне придется открывать ей глаза на всю эту мерзость? Не переговорить ли мне самому с Прасковьей А.? Не пойти ли к полковнику и попросить его пожалеть невинную девочку?

А что он мне скажет? Скажет, при чем вы тут, вам какое до нее дело, убнрайтесь вон. И, пожалуй, он будет прав. При чем я тут? Что она мне, сестра, дочь? Я хочу ее вырвать от него, чтобы взять ее себе. Вот что он скажет. А разве я хочу взять ее?

На этой мыслн Иван Петровнч вскочнл со стула, нервно провел рукой по своей козлнной бородке н зашагал по комнате.

Еслн она будет моей женой, я не сойдусь с ней до тех пор, пока не буду окончательно уверен, что я больше не запью никогда.

А еслн я не выдержу н сорвусь раньше, я дам ей развод. Я отпущу ее от себя такой же чистой, какой взял. А сейчас она будет спасена, и это — главное.

Эта мысль пришла Мешкову так неожиданно для него самого, что он остановнлся как вкопанный около двери и долго стоял на одном месте, почему-то оглядываясь по сторонам. А что, еслн я хватился поздно? А что, если... она уже отдалась этому мерзавцу... и опять так же неожиданно в нем вдруг зашевелилась ревность самца, и тут в первый раз он понял, что его мысли о Леночке не совсем бескорыстны и что он давно уже под личнной отеческой заботливости прячет от себя новое могучее чувство пока еще чистой, идеальной, но страстной любви.

Не буду пить, пока она не будет моей, пока не заработаю ее.

Что я подумал, вдруг поймал себя Иван Петрович, ведь это подлость. «Пока она не будет моей. А потом, потом, когда она будет моей женой, когда она отдастся мне, тогда, значнт, можно опять пить? Нет, нет, я не хотел этого думать, я совсем ннкогда больше не буду пнть. Я должен ее спасти, и я не загублю ее жизнь, нет. А еслн запью, можно дать ей развод»,— опять шепнул ему тот же нечестный искуснтель, и он опять поймал себя на этой мысли и опять отогнался.

— Не буду, не буду пить, обещаю тебе, слышншь, Леночка, милая моя,— шептал Иван Петровнч, засыпая на своей жесткой кроватн, счастливый чем-то боль-

шим и хорошим, ничего еще не решив, но уверенный в том, что завтра должно произойти что-то необыкновенно важное, что в корне изменит и его и Леночкину жизнь.

VIII

На другое утро Иван Петрович встал раньше обыкновенного и сел за работу. Он знал, что в восемь часов Леночка постучится ему в дверь и принесет чай, и напряженно ждал, прислушиваясь ко всякому звуку.

Несколько раз он слышал ее шаги, слышал окрики тетушки, отправлявшейся на рынок, слышал шипение Спиридонихи, со скрипом хлопала входная дверь, наконец все успокоилось, и она пришла.

— Иван Петрович, чай несу,— сказала она, стоя за дверью.

Обыкновенно Иван Петрович вставал, брал стакан из-за полуоткрытой двери и благодарил.

На этот раз он открыл дверь совсем.

— Здравствуйте, Елена Ивановна, может быть, вы зайдете ко мне? а? что? Можно с вами поговорить, а? Ведь я о вас с вами хочу поговорить, может быть, вы мне скажете, что это не мое дело, что?

— Нет, отчего же, говорите, Иван Петрович, я очень рада, только не стоит обо мне говорить, что я, я неинтересная, никому не нужна.

— Что вы, что вы, грех так говорить, молодая, хорошая, а? что? Как не нужны? Я хотел предложить вам, Елена Ивановна, не хотите ли вы заняться письменной работой, той самой, какую я делаю, а, что? Вы будете зарабатывать рублей двадцать — двадцать пять.

Почему-то Мешков начал свой разговор с середины.

Леночка подняла на Мешкова свои большие удивленные глаза.

— А когда же я буду писать? ведь днем мне некогда, все время дела. Я могу работать ночью, но ведь я так много не наработаю.

— Нет, нет, не ночью, я думал, что вы займетесь этим совсем, а?

— А как же тетя, ведь она не позволит мне бросить свое дело.

— Она может за вас нанять работницу.

Елена Ивановна задумалась.

— Нет, все равно я не жилица на этом свете,— прошептала она как будто про себя.— Куда я отсюда денусь? — И она опять подняла свои влажные от набежавшей слезы глаза на Ивана Петровича.

Этого взгляда было довольно. Мешков сразу понял все. Он понял, что она не так детски слепа, как он раньше думал, понял, что она сознает свое ужасное положение, и понял, на что она решилась.

— Нет, Елена Ивановна, только не это, нет, этого нельзя делать, я все знаю, все. Я слыхал здесь за стенкой такие разговоры, которые я не могу вам передать, и я хочу, чтобы вы ушли отсюда скорее, пока не поздно. Я увезу вас, я скажу, что вы моя жена, мы обвенчаемся. Так только, чтобы вы могли жить свободно. Я не буду пить, я удержусь. Нам Сомов поможет, ведь он хороший. Елена Ивановна, только будьте решительны и не губите себя. Я не для того, чтобы на вас жениться, я никогда не хотел жениться, но если надо. Скажите мне тогда, обещайте сказать? что? а? Вы такая молодая, а я старый, я не буду долго жить, а вам жить надо, хорошая вы, что? а?

Леночка вдруг вся затряслась в рыданиях и, закрывши обеими руками лицо, убежала из комнаты.

— Может быть, я вас обидел, простите меня, ради бога, я не хотел вас обижать, милая, хорошая, простите, простите,— повторял Иван Петрович, догоняя ее и ловя ее за руку.

Леночка молча захлопнула за собой дверь.

Мешков постоял несколько секунд, осмотрелся, как после сна, провел рукой по бородке и вялыми шагами поплелся к себе.

«Все кончено, дурак я старый, разве можно было мне с ней так разговаривать. Конечно, это с моей стороны гадость, как я смею предлагать ей такие вещи. Хуже того полковника. Вот и поделом мне,— думал,

он, машинально продолжая свою работу.— Пойду завтра, сдам все Сомову и запью. А что же Леночка? Что она сделает, неужели они доведут ее до самоубийства?»

В это время за дверью кто-то постучался, и в отворенную щель просунулась рука Леночки с запиской.

Он подошел, взял бумажку и прочел: «Не подумайте, что я на вас обиделась. Благодарю вас от всей души за ваше доброе отношение. Вы единственный человек, который меня поддержал. Я, право, не стою вашей доброты. Я не знаю, что я буду делать дальше, но я не могу принять вашей жертвы. *Е. И»*

Иван Петрович написал на листочке: «Обещайте мне ничего не делать, не предупредив меня». Когда он отнес эту записку к Леночке, она сидела в конторе и считала белье.

Ничего не говоря, он положил письмо на стол и пошел к двери. Выходя, он на нее оглянулся.

— Зачем вам это, Иван Петрович? — спросила она.

— Я прошу вас, ради бога.

— Ну, хорошо, обещаю.

— Спасибо.

В этот же день, перед вечером, Прасковья А. стала опять посылать Леночку к полковнику.

Она под предлогом головной боли отказалась. Тетушка раскричалась и отколотила племянницу счетами по лицу.

На крик выбежал Иван Петрович, хотел было заступиться, но она накинулась на него и приказала ему тотчас же очистить квартиру.

К ночи Мешков нанял себе новую квартиру и, придя за вещами и прощаясь с Леночкой, сунул ей в руку записку: «Я поселился в Кривоарбатском переулке в доме № 7, во дворе. Рядом с моей есть свободная комната. Сомов обещал дать вам работу. Ради бога, уйдите отсюда. Помните свое обещание обратиться ко мне».

Леночка, пряча под углом платка подтекший от синяка левый глаз, расставаясь с Иваном Петровичем, чуть не заплакала. Без него ей стало еще тоскливей.

К счастью, синяк, который ей посадила под глазом тетушка, на несколько дней избавил ее от обязанности посещать полковника, и, когда опухоль и синева стали у нее проходить, она жалела, что не может его возобновить. Свое положение она сознавала отлично. Не говоря уже о том, что она сама несколько раз слышала отрывки разговоров тетушки с Спиридоновной, вся прачечная была настолько посвящена в это дело, что намекам и колкостям не было конца, и наконец дошло до того, что многие ее враги стали в лицо называть ее полковницей.

Когда она, с подвязанным глазом, взошла в стиральню, молодая, прямоволосая и беззубая Настька громко, на всю комнату крикнула: «Кто это тебя убрал-то, уж не полковник ли? То-то вот, не будешь брыкаться, он те обуздает, живо обротку накинет. Военные не любят с нашей сестрой церемониться, он не посмотрит, что ты ученая».

Выросшая в деревне среди крестьянских ребятишек и девочек, а потом попавшая в развратную среду прачечной, Леночка, конечно, не могла остаться тепличо наивной девушкой и многое понимала.

Но, чистая по природе, она избегала «гадких вещей» и, когда могла, уходила, чтобы не слышать таких разговоров.

Она знала, что есть любовь, о которой она читала в романах, и знала, что есть что-то гадкое, о чем она слышала от людей, но эти два понятия были для нее двумя противоположностями, которых она никак не могла совмещать.

Когда она поняла, что ее толкают к полковнику, для того чтобы он сделал с ней «гадкое», она твердо решила, что она этого не переживет, и приготовила себе бутылочку уксусной эссенции, чтобы выпить ее раньше, чем будет над ней сделана «гадость».

Эту бутылочку она спрятала у себя под тюфяком, и каждый день, ложась спать, она осматривала ее. На ней было написано: «Эссенция для приготовления десяти бутылок хорошего столового уксуса», и эту надпись она почему-то всякий раз читала.

Мысль убежать от тетки и начать рядом с Иваном Петровичем новую, трудовую жизнь, вначале показавшаяся ей неисполнимой, стала приходить ей все чаще и чаще. О замужестве с ним она не думала. Она считала себя много ниже его и к его предложению жениться на ней относилась как к жертве с его стороны, принять которую она не считала себя вправе.

Иногда она мечтала о том, как это было бы хорошо, как она заботилась бы о нем, готовила бы ему, стирала бы на него и не было бы ни тетушки, ни этих злых, грязных прачек, ни этого промозглого сырого мыльного воздуха, а главное, не было бы страха перед брызгающим слюной, красным, противным полковником.

Когда в последний раз она была у него, он хотел ее обнять, но она вырвалась и убежала. Хорошо, что дверь не была заперта, а в передней стояла горничная.

IX

Через несколько дней, когда болячка под Леночкиным глазом пропала совсем, тетушка опять подняла вопрос о полковнике. На этот раз она в противоположность прежнему была необыкновенно ласкова и вкрадчива.

— Вот, деточка, отнеси это белье на Смоленский бульвар к барыне, а кстати захвати кителя полковника. Они просили к пяти часам вечера принесть.

Леночка ничего не ответила и стала завертывать белье. Она почувствовала, что настал решительный момент ее жизни, что теперь уже надо что-нибудь предпринимать, но что именно — у нее еще не было решено.

Когда тетушка вышла из комнаты, она оделась, связала узлы, спрятав в карман эссенцию, и пошла по направлению к Смоленскому бульвару.

Отнесу белье к барыне, потом пойду к полковнику, позвоню и на пороге выпью, решила она.

А как же Иван Петрович? Ведь я обещалась без него ничего не делать...

«Кривоарбатский переулок, № 7, во дворе» — вспомнила она и повернула направо. Дойдя до № 7, она вошла во двор и постучала в дверь.

Иван Петрович отворил сам.

— Елена Ивановна, вы! Батюшки, да что с вами? заходите, заходите, я здесь совсем один, что? а? Да что с вами? Опять то же самое? Я хотел к вам зайти, известить вас, да побоялся, как бы из-за меня не было хуже для вас. Дайте сюда эти узлы, я положу их на кровать, а вы садитесь,— суетился он, пододвигая ей стул.— Вот как я здесь устроился, хорошо? что? а?

— Нет, я не хочу садиться... Я зашла к вам потому, что обещала... проститься... Вы меня больше никогда не увидите... так лучше.

— Что вы, что вы, Елена Ивановна, милая, разве это можно? Вы подумайте, грех какой... («Неужели они добились своего и это уже произошло?» — подумал он с ужасом.) — Нет, Елена Ивановна, если так, то все лучше самоубийства, я вас не пущу отсюда, оставайтесь здесь, вы будете моей женой, и я никому не дам вас тронуть. Умоляю вас, Елена Ивановна, не берите на душу смертный грех. Вы такая молодая, хорошая, вы всегда успеете это сделать. А я, я буду счастлив с вами, я... я... полюбил вас, я привык к вам, и я не буду пить, вы поможете мне стать человеком. Я без вас не выдержу, я теперь чуть не запил, но я ждал вас и поэтому держался. Леночка, умоляю вас... Нет, нет, я не то говорю, я не буду вашим мужем, я буду только беречь вас. Тут рядом есть комната для вас. Вы ее наймете и будете работать.

— А как же белье? — вдруг неожиданно спросила Леночка.

— Какое белье, зачем? — не понял Иван Петрович.

— Вот это.— Леночка показала на узлы.

— А что с ним надо делать?

— Отнести заказчикам.

— Я сам сейчас его отнесу, скажите адрес,— обрадовался Мешков,— а вы оставайтесь здесь. Ныние вы можете переночевать в моей комнате, а я уйду куда-нибудь. Я найду себе место, оставайтесь, Елена Ивановна, хорошо? а, что?

— Нет, Иван Петрович, нельзя этого сделать.
— А что же вы тогда хотите делать?
— Отравлюсь, больше ничего, туда мне и дорога.
Но Мешков уже уловил в голосе Леночки оттенок колебания, и это придало ему решительности.

— Садитесь, Елена Ивановна, и будем пить чай. У меня, кстати, самовар поспел. Здесь я сам хозяйничаю. Вот тут на полке стаканчик и чай возьмите, а я пойду за самоваром.

Через минуту, когда Иван Петрович возвращался с кипящим самоваром, на столе было уже чисто убрано, на постеленной вместо скатерти газете стоял чайник, и Леночка вытирала стаканы.

— Свой собственный пришлось купить,— сказал Иван Петрович, ставя самовар на стол.— А питаюсь чем бог послал, больше колбасой да хлебом. Здесь готовить некому. Ничего, хорошо, что? а?

— Это я для вас стакан вытерла, я не буду пить, я сейчас пойду.

— Нет, нет, никуда вы не пойдете, наливайте чай и садитесь. Дайте на вас хоть посмотреть, ведь целую неделю я вас не видал, хорошая, что? а?

Сидя на краю своей кровати и принимая от Леночки налитый стакан, Иван Петрович вспомнил, как он любил, когда, сидя за работой, слышал за дверью ее шаги и голос: «Иван Петрович, чай несу»,— и он с лаской на нее взглянул.

— Что вы так на меня посмотрели?
— Так, вспомнил, как вы мне чай приносили. Вот и опять довелось из ваших рук стакан принимать.
— Не совсем так же, нынче я у вас в гостях.
— Нет, не в гостях, а дома. Вы тут и остаетесь. Сейчас попьем чаю, и я уйду к Сомову, а завтра начнем работать. Вам это легко будет, у вас почерк хороший,— добавил он, вспомнив о ее письме, которое он берег.
— А что там надо писать, может быть, я не сумею?
— Пустяки, вот я вам сейчас покажу.
И Иван Петрович достал лист и начал объяснять.
— Вот вы сейчас уйдете, а я попробую написать один лист, можно? Только я боюсь испортить.

— Не бойтесь, испортите, бросим, ведь эти бланки ничего не стоят. Мне их вон какую кучу дали.

Через некоторое время, засадив Леночку за работу, Иван Петрович пошел к Сомову.

X

Было семь часов вечера. Дмитрий Леонидович Сомов только что кончил обедать и, сидя на диване, читал газету.

Вечером он собирался в клуб, а до этого ему надо было посмотреть одно крупное дело о пожаре, которое ему поручил директор общества и которое само по себе было интересно и ответственно.

Передавая ему это дело, директор как-то небрежно промычал себе под нос: «Пожалуйста, Дмитрий Леонидович, ознакомьтесь с этим делом, тут что-то есть, знаете... ну, вы разберетесь, завтра надо будет доложить правлению».

В переводе на обыкновенный язык это значило, что директору было лень копаться в сложном деле, что Сомов должен сделать черную работу, а благодарность правления должен получить директор.

Впрочем, Сомов к этому привык. За три года службы в обществе, несмотря на все происки своих сослуживцев, он своей энергией и настойчивым трудом создал себе прочное положение и, что бывает редко, заработал уважение и любовь и начальства и подчиненных.

В семейной жизни он был несчастлив. Два года тому назад он женился по любви и ровно через год овдовел.

Несмотря на всю его выдержку и силу воли, эта потеря оставила на нем неизгладимый след, и с тех пор он вел очень уединенную, замкнутую жизнь, проводя почти все время за делом и лишь ночью уходя в клуб, чтобы хоть чем-нибудь обмануть бессонницу.

Как человек, испытавший на себе сильное горе, он умел жалеть других, и, несмотря на то что многие злоупотребляли его добротой, он никому ни в чем не умел отказывать.

Когда горничная доложила ему о приходе Мешкова, он велел его попросить в кабинет.

— А, Иван Петрович, очень рад, пожалуйста, папироску не хотите ли? — встретил он его, складывая газету и поправляя пенсне.— Какими судьбами? Садитесь. Ну, как дела, как ваша протеже? жива, здорова? Я очень рад, что вы зашли сегодня, я приготовил вам сюрприз, я вчера говорил об вас с директором, и он, кажется, соглашается дать вам место в правлении.

Только не подведите меня, я за вас распинался как мог, уверял, что вы уже совсем перестали пить, что этого больше никогда не будет. Имел я основание дать за вас обещание, а?

И Сомов подошел к Ивану Петровичу и ласково положил ему на плечо руку.

— Я думаю, что имели, Дмитрий Леонидович, тем более что моя жизнь теперь меняется,— конфузливо ответил Мешков.

— Как меняется, в каком смысле?

— Вот из-за этого-то я к вам и пришел, Дмитрий Леонидович, если хотите, я вам все расскажу подробно. Я сам еще не знаю, чем кончится, но, вероятно, я скоро женюсь на... Леночке, на Елене Ивановне,— поправился он.

— Ну, рассказывайте, рассказывайте, это любопытно. Чаю не хотите ли?

— Так я начну сначала, вам не будет скучно, а? что? Может быть, не интересно?

— Рассказывайте без предисловий.

Мешков начал с момента поселения своего у Поповой и, хотя без всякой последовательности, путаясь и повторяясь, рассказал все свои переживания до сегодняшнего вечера.

Несмотря на то что, передавая замыслы тетушки, он скорее смягчал краски и в перерывах неизменно повторял свое «что, а? а ведь она хорошая?», Сомов, слушая его, как маятник, бегал по комнате, непрерывно куря и нервно одергивая манжеты, и возмущался.

— Ведь это же преступление, за это в каторгу ссылают людей. Какой ужас. Ну, рассказывайте, не буду перебивать.

Когда Мешков рассказал, как Леночка в последний раз ходила к полковнику и, вернувшись домой, никому не показалась, Сомов опять со стоном его перебил:

— Ну, что же это, как это вы не могли за нее заступиться? Ведь это ужасно.

— А что я мог сделать, а? что?

— Как что? к прокурору пойти, в участок заявить, мало ли что, нельзя же смотреть, как торгуют девочкой, и молчать. Ах вы, мягкий вы человек, нерешительный, ну дальше, дальше, не буду мешать.

Я плохо разглядел ее, когда она приходила ко мне в правление, я близорук, да и некогда мне было ее рассматривать, но ведь она, кажется, очень хорошенькая. И такой интеллигентный вид у нее, я даже удивился, ну дальше, дальше, не буду. Ведь вы мне целый роман рассказываете.

Когда Мешков дошел до нынешнего вечера, Сомов воодушевился:

— Вот с этого надо было начать. Надо было сразу ее от тетки изолировать. Ну вот, прекрасно... что же теперь надо делать? Первое, надо ей достать отдельный вид на жительство. Если хотите, я это завтра могу сделать... Я знаком с помощником полицмейстера, и я могу ей это устроить. Второе, надо дать ей работу. Это тоже я могу. Если, как вы говорите, у нее хороший почерк, то пусть она возьмет вашу работу, а вас я устрою иначе. Третье, вы правда на ней женитесь? это решено?

— Вот этого я наверное сказать не могу. Я предлагал ей.

— Да этого мало, что вы предлагали, она-то согласна или нет? Ну, впрочем, это оставим, это ничего не меняет, и я не считаю себя вправе в это вмешиваться. А вот если я могу быть вам полезен в первых двух вопросах, то я к вашим услугам.

Скажите мне подробно, как ее имя, отчество, фамилия, адрес ее тетки, надо же мне знать, за кого просить. Я, может быть, завтра днем сам к вам заеду.

Вы где живете? А ее не отпускайте домой, боже упаси. Пусть ночует у вас, а если вам самому некуда

деться, прнходите ко мне. Вы всегда можете здесь на диване поспать. Хотнте, я велю вам прнготовить белье?

— Нет, нет, я не буду вас беспокоить,— законфузился Мешков,— я иайду где переиочевать, спасибо вам, Дмитрнй Леонндовнч, за все спасибо, что? а? А я сейчас побегу домой, я боюсь, чтобы она чего не вздумала, если меня долго не будет,— ведь она отравиться хотела.

— Ну, ступайте, ступайте, дай вам бог всего лучшего, утро вечера мудренее, завтра устронм кое-что и еще подумаем. До свндання, она правда вас ждет, бедная.

Энергня, с которой Сомов отнесся к судьбе Леночкн, невольно заразнла Мешкова. По пути он забежал в съестную лавку, купнл яиц, закускн и хлеба, н бодрый, запыхавшнсь от быстрой ходьбы, прибежал домой.

Леиочка уже зажгла лампу н, вся уйдя в свое заиятие, сидела за столом и писала. Хотя в комиате ничего ие измеиилось, но когда Иван Петрович взошел, иа него пахнуло чем-то семейным и уютным.

— А я ужии принес,— сказал он, кладя иа стол сверткн,— ну, как идет дело? что? а? покажнте. Ну, вот прекрасно, вндите, как просто.

— Я вот тут не знаю, что пнсать,— сказала Леночка, перевертывая лист н показывая пустое место.

— Тут? вот этн цифры прописью, ну, да это пустяки, это пойдет. А я вам вот что расскажу: сейчас я был у Сомова, он обещал вам дать работу, мне обещал место устронть, а завтра он вам выхлопочет вид иа жительство. У него зиакомства большие, он все устронт. А вас он не велел отпускать иикуда, а? что? Вы останетесь здесь? а?

— Право, Иван Петрович, мие совестно, как это я у вас останусь, неловко.

— Пустяки, ннкто не узиает, а завтра вы отдельную комнату снимете, вот дверь, тут такая же комната, как эта,— показал он на заставленную шкапом иизенькую дверку.— А я сегодия уйду, вы не бойтесь, тут тихо, иикто не прндет. Давайте ужинать, вы ведь привыклн в это время есть, а, что? А работать будем завтра.

Мешков стал убирать со стола бумаги и разворачивать закуску.

Хотя оба они давно уже знали друг друга и отчасти свыклись, но почему-то в этот вечер, когда они очутились одни, в этой маленькой комнатке, они как-то конфузились и избегали смотреть друг на друга. Когда один украдкой подымал глаза, другой сейчас же их опускал, и разговор вдруг обрывался. Чувствовалась какая-то напряженность, и ни тот, ни другой не смели подойти к тому главному вопросу, который, они знали, рано или поздно станет перед ними и потребует решительного ответа.

Иван Петрович в глубине души чувствовал, что для него уже нет отступления и что он не может не любить эту дорогую для него девушку, но он был так рад видеть ее у себя и чувствовать себя ее опорой, что ему сейчас ничего другого не было нужно, и он чувствовал себя счастливым.

Перед ним был завтрашний день, когда надо будет о ней хлопотать, а дальше,— дальше он не хотел и боялся засматривать. Вся его страдническая жизнь, с постоянными подъемами и опусканиями, обезличила его настолько, что он совершенно не умел думать об устройстве своего благополучия.

Только когда он запивал, окруженный толпой голодных золоторотцев, им овладевала мания величия, он угощал всех и любил рассказывать о лучших моментах своей жизненной карьеры, часто даже привирал и вслух мечтал о будущей славе, которой он достоин и которой он непременно достигнет.

Но это бывало только в моменты запоя, а в остальное время он чувствовал себя настолько маленьким и ничтожным человеком, что не дерзал и думать о себе.

Накормивши Леночку, которая краснела и от всего отказывалась, он, несмотря на ее уговоры, оставил ее в своей комнате, дал ей чистое постельное белье, а сам вышел на улицу.

Стояла теплая, ясная июльская ночь.

Москва еще не спала. На улицах встречались частые прохожие и гремели экипажи. Погруженный в свои думы, Мешков шел без всякой определенной це-

ли, все прямо. Он не привык рано ложиться спать, и ему было приятно бродить по улицам и дышать чистым и свежим воздухом ночи.

На бульварах он иногда присаживался на скамейку, выкуривал папироску и шел дальше. Незаметно для него улицы начали пустеть, вылезли ночные сторожа, мрачно прохаживающиеся по тротуарам, и скоро на востоке забелел рассвет.

Прошел фонарщик и потушил фонари.

На одной из бульварных скамеечек Мешков задремал, и, когда он проснулся, было уже светло.

Мимо него прошли маляры с длинными кистями, на которых позвякивали зеленые, запачканные краской бадейки, откуда-то вылетела пестрая кошка, за которой гналась собака, и вскарабкалась на дерево.

Один из маляров мрачно подошел и начал раскачивать липу. Остальные остановились и стали закуривать.

Собака, махая хвостом, лаяла. «Тряси, тряси»,— ободряли своего товарища маляры.

Наконец кошка сорвалась с липы и полетела дальше. Собака проскакала за ней до решетки и остановилась. Маляры молча подняли свои бадейки и пошли дальше.

Мешков тоже почему-то встал и пошел к дому.

У Арбатских ворот он зашел в извозчичий трактир и потребовал чая.

В семь часов утра он вернулся домой и постучался к Леночке.

Она уже встала, убрала постель, подмела комнату и сидела за работой.

Так же, как и Мешков, она почти не спала, но вид у нее был бодрый и оживленный.

— Ну, как вы спали на новом месте? — спросил ее Мешков, отворяя дверь.

— Я-то спала,— соврала Леночка,— а где вы провели ночь?

— Я? я тоже спал, сейчас самоварчик вам поставлю, что, а?

— Я сама хотела к вашему приходу приготовить чай, да не знала, где угля взять.

— Нет, нет, я сам.— И Мешков, взяв самовар, вышел.

Напоив Леночку чаем, он начал хлопотать об ее устройстве.

Соседняя комната оказалась очень удобной, и он ее нанял.

Потом он куда-то исчез и вернулся с кроватью и столом, которые он купил по случаю на рынке.

Перетаскивая свой шкаф в комнату Леночки, он отворил маленькую дверь, соединяющую оба угла, и вопросительно взглянул на Леночку.

— Может быть, не надо отворять эту дверь? что, а? Впрочем, там крючок есть, вы можете от меня запираться.

Леночка немного сконфузилась, но сказала, что так ей будет веселей.

— А вот тут, в лежанке, я буду готовить,— сказала она, осматривая печку.— Вам дома обедать будет дешевле и лучше, только надо посуды достать.

— Завтра купим, а нынче проживем как-нибудь по-цыгански, а? — засмеялся Мешков.

Перед вечером заехал Сомов. За день он успел сделать все, что обещал накануне, и, счастливый своей удачей, поспешил порадовать Мешкова. Когда он вошел в комнату, Иван Петрович сидел за работой, а Леночка в своей комнате над чем-то копалась. Она увидала его в открытую дверь, но решила не выходить и притаилась.

— А где же эта милая барышня,— спросил Сомов, когда кончил доклад о своих действиях,— я ей книг привез.

— Елена Ивановна, вы, может быть, войдете, а? — окликнул ее Мешков.

Леночка, преодолевая неловкость, подошла к двери.

— Здравствуйте, Елена Ивановна, мы ведь немножко знакомы,— сказал Сомов, подавая ей руку.

Он по привычке стал поправлять пенсне и всматриваться в нее, но, заметив, что она вся вспыхнула, он сразу переменил тон на деловой и стал ей рассказывать, каким образом ей надо будет сходить в полицию и получить паспорт.

— Там все готово, вам придется только прошение подписать. Мне сейчас Иван Петрович показывал вашу работу, и я вполне ею удовлетворен. У вас прекрасный почерк. Может, вы позволите вам дать небольшой аванс?

Последнего слова Леночка даже не поняла, но, видя, что Сомов берется за бумажник, она энергично запротестовала.

— Ну, как хотите, имейте в виду, что у нас в правлении за эти работы платят по средам и субботам. Вы тогда можете обратиться ко мне. Впрочем, зачем вам беспокоиться ходить, ведь с завтрашнего дня Иван Петрович будет каждый день бывать на службе, он и будет за вас получать.

Прощаясь с Мешковым, который проводил гостя до ворот, Сомов все-таки сумел навязать ему десять рублей.

— Тогда отдадите, после как-нибудь, мне сейчас деньги не нужны, а вам могут понадобиться. До свидания, Иван Петрович, до завтра,— сказал он, садясь в пролетку и пожимая его руку.

XI

Так сложилась совместная жизнь этих двух добрых, честных, но безвольных существ, пожалевших друг друга и в трудную минуту нашедших друг в друге опору.

Благодаря энергичной поддержке Сомова, их материальные дела пошли прекрасно. Леночка готовила обед сама, бережливо вела все соединенное хозяйство, и к концу первого месяца оказалось, что она не только свела концы с концами, но сумела кое-что сэкономить из своего заработка, а Иван Петрович уплатил Сомову взятые у него десять рублей.

Каждый день с утра Мешков уходил на службу, а Леночка принималась за хозяйство. К его приходу она встречала его с готовым обедом, после которого Иван Петрович уходил к себе отдыхать.

Вечером Леночка приносила чай, и только в эти часы маленькая дверь, соединявшая обе комнаты, отво-

рялась, и они, работая каждый за своим столом, слышали друг друга и иногда перекидывались редкими словами.

Данное себе слово не добиваться обладания Леночкой, пока не уверится в себе, Иван Петрович держал свято. Добросовестно следя за своим настроением, он не чувствовал никакой потребности в вине, и, вспоминая свои прежние падения, он даже не мог себе представить, чтобы теперь могло произойти что-нибудь подобное. Но в глубине души он смутно сознавал, что его теперешняя бодрость дана ему извне и что не будь с ним Леночки и не люби он ее — кто знает, может быть, он запил бы опять.

Кроме того, эта новая для него, почти семейная жизнь, в непосредственной близости с чистым полуребенком, была так обаятельна, что, изменив ее, он боялся испортить настоящее. Он знал, что, если он повторит Леночке свое предложение, она сейчас же безропотно на него согласится, и эта-то уверенность его больше всего останавливала.

Он не хотел, чтобы она согласилась стать его женой из благодарности за то, что он для нее сделал, тем более что он не видал за собой никакой заслуги, а, напротив, сам держался только ею и благодаря ей.

«Как-нибудь после, само собой выйдет, при случае наведу разговор, намекну... увижу, как она к этому отнесется»,— думал он, и чем дальше уходило время, тем нерешительнее становился Иван Петрович и тем труднее казалось ему заговорить.

Благодаря этой недосказанности отношения его с Леночкой становились натянутыми. Они оба конфузились друг друга и избегали подходить к тому вопросу, который их больше всего точил.

* * *

Прошли осень и зима. Наступила поздняя апрельская пасха.

На страстной неделе Мешков и Леночка говели, совсем как перед свадьбой, подумал Иван Петрович, и вместе пошли к заутрене в приходскую церковь Николы на Песках. Ночь была теплая и душная.

Дойдя по опустевшим темным улицам до ярко горевшей, усыпанной плошками церкви, они протискались через молчаливую, торжественно настроенную толпу молящихся и стали в уголке у правого придела.

Стоя около Леночки, одетой в новенькое голубенькое платье, Иван Петрович старался сосредоточиться в молитве и не смотреть на нее, но все время он ловил себя на том, что переводил глаза на нее и засматривался на ее милое лицо, одухотворенное и покорное молитве. Когда народ тронулся в крестный ход вокруг церкви, он взял ее под руку, и они, со свечами в руках, охраняя их от порывов ветра, прошли по церковному двору вместе.

Отстояв раннюю обедню, на рассвете они вернулись домой. На столе стояли приготовленные закуски, куличи и пасхи.

Взойдя в комнату, Иван Петрович, поборов конфузливость, подошел к Леночке и протянул ей руку.

— Христос воскресе, Елена Ивановна, давайте похристосуемся по-христиански.

Леночка на мгновение замялась, но сейчас же оправилась.

— Воистину воскресе,— ответила она и по-детски подставила Мешкову губы.

Он поцеловал ее три раза и, не выпуская ее руки, долго смотрел ей в глаза, потом вдруг нагнулся и стал горячо целовать ее руки.

— Что вы, Иван Петрович, не надо,— конфузилась Леночка,— зачем вы это делаете?

— Нет, надо, надо, милая моя, ангел мой хранитель, с вами я человеком стал, Леночка, не бросайте меня, я пропаду без вас.

— Да я и не бросаю вас, Иван Петрович.

— Нет, я знаю, что вы не бросаете меня, спасибо вам, добрая, я хочу, чтобы вы были моей женой, Леночка, милая, не сердитесь на меня.

— Я не знаю, Иван Петрович, я и так всегда с вами, куда мне отсюда уходить? Мне хорошо.

— Нет, нет, я так не могу жить, как с чужой, скажите, скажите, вы будете моей женой, да, да?

— Как хотите, я к вам привыкла.

— Ну, дайте же руку, благодарю вас, мнлая, я с вами буду человеком, спасибо, мнлая.

И Мешков еще н еще целовал Леночкину руку н влюбленнымн, влажнымн глазами смотрел ей в лицо.

Он рассматривал ее всю, точно он видел ее в первый раз, а она взглядывала на него из-под опущенных ресниц и конфузнлась.

Она раньше не думала о браке с Иваном Петровичем. Вопрос этот казался ей настолько отдаленным, что она ннкогда на нем не останавлнвалась. Она вндела ровное н, как ей казалось, спокойное отношенне к себе Мешкова н счнтала, что та совместная жизнь, которую они вели до сих пор, может удовлетворять их обоих.

Теперь, когда Мешков так настойчиво заговорнл о женитьбе, она чутьем поняла, что это для него нужно, н, ни минутки не колеблясь, ответила согласнем.

Это не было с ее стороны жертвой, потому что она ничего не теряла, но это и не делало ее более счастлнвой, потому что того чувства, которое влечет людей к браку н, наконец, делает его необходимым, у нее к Мешкову не было.

В следующее воскресенье, на красную горку, они пешком пошли в свою приходскую церковь н обвенчалнсь.

XII

С внешней стороны жизнь Мешковых изменилась мало. Так же, как и прежде, онн ютились в тех же двух маленькнх комнатах, занятый каждый своим делом, так же жнлн каждый в своей половнне и даже так же, по старой прнвычке, говорнли друг другу «вы».

Через несколько месяцев Леночка заметнла, что она беременна.

Сначала она отнеслась к этому довольно безразличио н даже несколько досадовала на свои недомогания; но чем дальше, тем больше она стала свыкаться со свонм положением и радоваться ему.

Когда, на пятом месяце, она почувствовала в себе сначала еле заметное, потом все более н более снльное

движение ребенка, она вся безраздельно ушла в новое для нее, счастливое чувство эгоистического материнства, и ни о чем, кроме него, этого маленького ее собственного «его», она не могла и не хотела думать.

Отнимая у работы и сна урывки времени, она, прячась от мужа, шила ребенку приданое, разные свивальнички и распашонки, которые она аккуратно складывала в своем шкапу и каждый день перебирала и пересчитывала.

Ей казалось, что она уже знает своего ребенка, и когда, сидя без работы, она слышала в себе его движения, она относилась к нему как к живому существу и уговаривала его: «Сейчас пересяду, не буду давить, маленький, бедненький мой».

И она вставала со стула, расправлялась и делала несколько шагов по комнате, пока ее «маленький, бедненький» не затихал.

Мешков молча и внимательно следил за переживаниями своей жены. Он не мог уловить всех оттенков ее внутренней жизни, но он видел ее сосредоточенно-радостное настроение и невольно им заражался.

К этому у него примешалось еще чувство некоторого самодовольства, пожалуй, даже гордости от сознания того, что он семейный человек, «совсем как все».

В начале великого поста Леночка родила действительно маленького, слабенького мальчика.

Несмотря на все старания матери, он почти не брался за грудь, пожил шесть дней и тихо угас. Для Леночки это было первое в жизни ужасное горе.

Когда, четыре года тому назад, она хоронила отца, она плакала и жалела его и себя, но то было горе внешнее, и она скорее сознавала, чем чувствовала свою потерю; теперь же это горе было ее собственное, физическое, и оно настолько ею овладело, что привело ее к состоянию, близкому к исступлению.

Глядя на лежащего в гробике ребенка, она чувствовала физическое страдание и целыми часами с остановившимися глазами смотрела на головку, на микроскопическую ручку с неровными прозрачными ногтями и застывала в одном положении, пока Иван Пет-

рович не подходил к ней и силой не уводил ее в свою комнату.

Через два дня Мешковы отвезли гробик на кладбище и похоронили.

Было ясное, морозное утро. По улицам, задорно покрикивая, катились извозчичьи сани; звонил двухэтажный неуклюжий вагон конки; ежась от холода, бодро пробегали пешеходы, увидав гробик, снимали шапки и крестились.

Леночка ни на что не обращала внимания и только, заметив, что ее рука, придерживающая гробик, начинает застывать, подумала, что холодно «ему», «маленькому, бедненькому», и накинула на него уголок своей шали.

Когда на кладбище могильщики стали засыпать могилу и на крышку гробика с глухим шумом упали крупные комышки замерзшей глины, она вскрикнула: «Тише, тише, ушибете»,— и так рвалась вперед, что Ивану Петровичу пришлось силой удержать ее за руку.

— Из-под низу бери, тут земелька помягче будет,— сказал один из мужиков, не поднимая головы, и, сильным движением лопаты раскопнув кучу, стал осторожно струшивать в яму размельченную землю.

Леночка ни за что не хотела уходить, пока не засыпали всю могилу, и сама голыми руками поправляла смешанные со снегом комья земли и выравнивала холмик.

— Весной еще оправить придется, а сейчас больше нельзя, земля мерзлая, еще садиться будет,— сказал мужик, обходя в последний раз могилу и постукивая лопатой по буграм насыпи.

— Теперь за работу пожалуйте.

Иван Петрович расплатился, посадил Леночку на извозчика и повез ее домой.

XIII

В двух маленьких комнатках в Кривоарбатском переулке стало пусто.

Что-то у них улетело. Хотя это что-то почти не жило и только скользнуло по жизни Мешковых, но вместе

с ним они потеряли то, что одно могло их прочно спаять и одухотворить их бедный, полуневольный союз.

С смертью этого «маленького, бедненького» существа у них пропала надежда, которая поддерживала их столько месяцев и пропала навсегда.

Мешков не знал, что Леночка случайно слышала его разговор с доктором, который приехал после смерти ребенка и сказал ему, что ребенок родился слабый, нежизнеспособный.

— Такие дети рождаются обыкновенно или от расслабленных стариков, или от хронических алкоголиков, а вы, насколько я знаю, ни то, ни другое.

— Да, да, я давно ничего не пью,— замялся Иван Петрович и тут же решил навсегда скрыть этот разговор от Леночки, потому что слишком ужасно было для него сознание того, что он виновник ее страданий и чуть ли не убийца этого воскового мальчика, лежавшего на столе в соседней комнате.

«Какой я семьянин,— подумал он с отвращением к самому себе,— тоже вздумал семьей обзавестись, как люди, а оказывается, что я и не человек, даже отцом быть не могу».

С этого момента он уже не мог смотреть на мертвого ребенка и избегал заходить в комнату, где он лежал.

* * *

На другой день после похорон Мешков пошел на службу, но, не дойдя до правления, завернул в трактир и потребовал водки.

На этот раз, после двухлетнего перерыва, запой проявился страшно бурно и держался больше двух недель. Глотая стакан за стаканом, он скоро захмелел и начал угощать какого-то попавшего ему под руку оборванца за то, что тот вовремя подал ему зажженную спичку.

В трактире он просидел, пока его не вывели за дверь, а к вечеру он уже валялся на голых вонючих нарах в ночлежном доме на Хитровом рынке.

Так он и провел все время до вытрезвления.

Не дождавшись мужа ни к обеду, ни к ночи, Леночка сразу поняла, что с ним случилось, и в первое время отнеслась к его исчезновению совершенно безучастно. Ее собственное горе было настолько глубоко, что какие бы новые удары на нее ни сыпались, она бы ничему не удивлялась и даже не сознавала бы их.

В первые дни она застыла в каком-то столбняке и даже не плакала.

Она так же, как и раньше, работала, ела, ложилась и вставала, но все это она проделывала совершенно бессознательно, не отдавая себе никакого отчета в своих поступках.

Ее угнетала пустота. Пустота не внешняя, а внутренняя.

С потерей ребенка для нее пропал весь смысл жизни, и она чувствовала себя на земле лишней и ненужной.

Судьба показала ей уголок счастья, на минутку дала ей насладиться глубокими переживаниями материнства и одним ударом отняла у нее все, не оставив ей впереди даже и надежды.

Несколько раз ей приходила в голову мысль о самоубийстве, но она не останавливалась на ней, отчасти из-за чувства религиозности, а главное, потому, что для этого надо было что-то делать, предпринимать, а делать она ничего не хотела, потому что не стоит. «Все равно»,— отвечала она себе на все свои мысли, как бы они ни были безнадежны, и в этом «все равно» сосредоточивалась теперь вся ее жизнь.

На другой день после исчезновения Ивана Петровича вечером кто-то постучался в ее дверь.

«Неужели Иван Петрович?» — подумала она, вставая и идя отпирать.

— Позвольте к вам взойти, Елена Ивановна? — узнала она голос Сомова.— Только позвольте шубу отряхнуть здесь в коридоре, она вся в снегу.

— Ничего, повесьте ее тут на крючке,— ответила Леночка, протягивая руку за шубой, чтобы ему помочь.

— Нет, не беспокойтесь, я сам.

Повесив шубу, Сомов стал протирать носовым платком пенсне. Надев его на нос, он подошел к хозяйке и протянул ей руку.

— Здравствуйте, Елена Ивановна, я слышал о вашем горе, вы похоронили ребенка, но дело не в том, я заехал спросить вас, где Иван Петрович? Его второй день на службе нет, неужели сорвался? Ах, как жаль. Ведь сколько времени крепился, я уж думал, что вы его навсегда исправили. Как хорошо по службе шел. На днях как раз ему должно было выйти повышение, а теперь не знаю, как бы не потерял место совсем. Я попробую солгать, что он болен, найму за него какого-нибудь временного писца. Ведь, главное, то ужасно, что не знаешь, сколько это будет длиться, а найти его нет никакой возможности, пока он сам не придет.

— Садитесь, что же вы стоите,—сказала Елена Ивановна, подходя к столу и пододвигая Сомову стул.

Сомов сел у стола против хозяйки и при свете лампы посмотрел на ее лицо. Он не видал ее около шести месяцев и поразился изменением выражения ее лица.

Вместо прежней хорошенькой полудевочки, вечно конфузящейся и прячащейся, на него смотрели глубокие, остановившиеся глаза измученной горем женщины, и на углах рта резко вырисовывались строгие, опущенные книзу углы — признаки пережитых скорбей.

Такие же скорбные уголки Сомов видел у своей жены, когда она лежала в гробу.

— Он ушел вчера утром, мы похоронили ребенка третьего дня, а вчера он пошел на службу и пропал,— сказала она, и уголки рта задрожали.

— Сколько же дней прожил ваш ребенок? — спросил Сомов, меняя разговор.

— Шесть дней только, он родился слабенький, я сразу почувствовала, что он не жилец. Он все спал и кричал-то мало.

— Отчего бы это? Кажется, вы такая здоровая, цветущая, нельзя подумать, чтобы у вас был бы слабый ребенок,— заметил Сомов, не сознавая, что бьет ее в самое больное место.— Может быть, это оттого, что это первый ребенок, это иногда бывает,— хотел он поправиться, видя, что уголки опять задрожали.

— Нет, уж, видно, первый и последний,— не удержалась Леночка,— другой раз я этого не переживу.

Большие глаза замигали, и вдруг она истерически зарыдала. Сомов совершенно растерялся, кинулся за водой, послал своего извозчика в аптеку за валерьяновыми каплями и метался, не зная, что делать. Он положил ее на кровать и то уговаривал ее выпить еще глоток воды, то мочил ей голову и грудь, то брал ее руку и гладил ее, а она билась в судорожных рыданиях и не могла остановиться.

Когда первый приступ прошел, она сквозь слезы сказала: «Мне легче плакать, это в первый раз»,— и опять спряталась в подушку и зарыдала.

— Боже мой, как мне стыдно перед вами,— сказала она, когда извозчик привез капли и Сомов, налив в рюмку нужное количество, бережно ей их подал.— Я не ожидала, что это со мной будет, я думала, что я и плакать разучилась. И в каком я виде, вся растрепалась, ах, как мне стыдно,— вдруг хватилась она, поправляя распустившиеся волосы и застегивая ворот.

— Напротив, я счастлив, что это случилось при мне, что я хоть чем-нибудь мог быть вам полезен. Пожалуйста, не извиняйтесь, ведь мы старые друзья. Я по себе знаю, как слезы иногда облегчают, я ведь жену потерял три года тому назад.

— Да, мне говорил Иван Петрович, но он вас тогда еще не знал.

— Мы познакомились с ним как раз после этого. Она скончалась от воспаления брюшины, у нее был выкидыш на третьем месяце.— Сомов опустил глаза и стал разглядывать свои пальцы.— Елена Ивановна, позвольте мне по старой дружбе вас спросить, только не обижайтесь, ради бога, вы не нуждаетесь в деньгах, ведь у вас были расходы, при вашем ограниченном заработке...

— Нет, благодарю вас, у меня здесь довольно много работы приготовлено, я обойдусь.

— Ну, так дайте мне вашу работу, а я завтра пришлю вам расчет.

— Спасибо, Дмитрий Леонидович, я хотела сама завтра идти в правление.

— Нет, нет, дайте, я вам все устрою сам, зачем вам беспокоиться.

И Сомов вместе с Леночкой стал пересчитывать и свертывать готовые исписанные листы.

— Я и новую работу пришлю с посланным,— сказал он, прощаясь,— а вы не слишком отчаивайтесь, все в мире проходит, нельзя так безнадежно смотреть на жизнь. Правда, вам очень тяжело, но возьмите себя немножко в руки, не падайте духом.

На другой день Сомов не послал посланного, а деньги завез сам. Этот раз он даже не снимал шубы, а только забежал и пожал ей руку.

Хотя Елена Ивановна ни минуты не забывала своего горя и все так же безнадежно смотрела на свою жизнь, все-таки дружеское сочувствие совершенно чужого ей человека ее поддерживало и немножко изменило течение ее мыслей.

Она с мучительным стыдом вспоминала, как вчера она валялась на кровати с распущенными волосами. Как он прикладывал ей к голове и к груди намоченный водою платок (его платок с большими белыми метками был до сих пор у нее), и эти воспоминания незаметно отвлекали ее мысли в другую сторону и давали ей минутами опомниться от своего горя.

На девятый день она ходила на кладбище, разыскала запорошенную свежим снегом могилку и отслужила панихиду.

XIV

Мешков пришел домой вечером и взошел прямо в свою комнату. Леночка узнала его шаги и только спросила через стенку:

— Иван Петрович, вы?

— Я,— ответил он, подошел к двери и запер ее на крючок.

На другое утро Леночка постучалась ему в дверь и, как прежде, не глядя на него, в щелку передала ему стакан чая.

Ему мучительно стыдно было показаться перед ней, и он, насколько мог, оттягивал минуту свиданья и объяснения.

К двенадцатн часам он пошел в правленне, уверенный в том, что его место уже занято другим н что ему от службы отказаио.

К нему вышел Сомов, сделал ему строгий выговор н велел прнходить на службу на другой день с утра. Дома жеиа его встретнла без всякнх укоров, н это было для иего гораздо больнее, чем если бы оиа стала его упрекать. Ои иачал было, как виноватый ребеиок, божиться ей, что он больше никогда не будет пнть, но по ее глазам ои увидел, что она не может ему повернть, и потупился.

Через трн месяца Мешков опять запнл, пропил на этот раз все свои носнльные вещи н лишился места.

Больная воля, расшатаниая потерей веры в себя и самоуинчижеиием, ослабевала с каждым разом все больше и больше. Чем больнее было ему смотреть иа грустное, кроткое лнцо убитой жены, со скорбиыми складкамн у рта, молчалнво и покорно несущей свой крест, тем чаще и тем навязчивее захватывала его предзапойиая тоска, от которой он не вндел спасения.

Ои уже потерял способность бороться и дошел до того ужасного состояния, когда человеку остается едннественное утешеиие: чем хуже, тем лучше.

Скоро действительио это «чем хуже» дошло до предела.

Иван Петрович потерял почти совсем способность работать, и, иесмотря на усилениый труд, Елеиа Иваиовиа ие могла одиа содержать себя н его.

Пришлось распродать все, что было можио, н перебраться в грязиый угол в Проточный переулок.

Благодаря лншеиням физическим н нравствеииым, здоровье Елеиы Ивановиы стало расшатываться. Она стала кашлять, и все чаще н чаще иевыносимые головные боли стали приковывать ее к постелн на несколько дней. Она работала через силу, и бывали случаи, когда она бывала не в состояини сама отиосить в правлеиие свою работу. В одии из таких дией она напнсала Сомову, жалуясь на болезиь и прося прислать к ней человека за получеинем ее работы и, кстати, прислать иовую.

Сомов вместе с послаиным попросил съездить к ией врача, знакомого, который явился к ией от его имени

и внимательно ее исследовал. Он нашел в ней острое малокровие и предрасположение к чахотке. На другой день она получила от Сомова городское письмо. Он извинялся за свое вмешательство в ее частную жизнь, сообщал ей, что врач находит причину ее болезни главным образом в плохом воздухе, которым она дышит круглые сутки, и умолял ее, в виде одолжения для себя, согласиться работать днем на его квартире, тем более что у него есть пустая, совершенно не нужная для него комната и что она ему помешать не может, так как он целый день на службе, а ей к нему ходить близко и удобно. Таким образом, она хоть половину дня будет дышать хорошим воздухом.

Елена Ивановна в коротком письме поблагодарила и отказалась наотрез.

Это было в один из периодов вытрезвления Мешкова, когда он, лежа на постели, мучительно каялся и снова и снова давал себе слово приняться за работу. Видя в руках Леночки письмо, он спросил, откуда оно, и она, ни слова не говоря, передала ему.

— Что же вы ему ответили? — спросил он, прочтя.

— Ответила, что благодарю его и буду работать, как прежде, дома.

— Отчего же вам не согласиться? Правда, у него очень хорошо, он хороший, а? что?

— Что вы, Иван Петрович, как это можно, к одинокому мужчине ходить в дом. Какой он ни хороший, а нельзя мне. Точно я от мужа бегаю. Оставьте, Иван Петрович, не говорите.— И она резко отвернулась и принялась за работу.

Мешков продолжал лежать и, глядя на ее согнутую над столом спину и затылок, задумался. Ему вспомнилась вся его жизнь с Леночкой, начиная с первого дня знакомства, счастливые, полные надежды дни их совместной добрачной жизни, потом брак, радость ожидания ребенка, потом его смерть и после этого ужас, ужас, все хуже и хуже. «И вот довел ее теперь до того, что она не нынче-завтра совсем сляжет в чахотке, и все я, все я это сделал. Хотел спасти от тетушки — вот и спас. А развод, вдруг мелькнула у него в голове давно забытая мысль, ведь я тогда еще дал себе слово ее освободить от себя. Даже если я не буду пить, разве я

могу дать ей счастье? Она не любит меня как мужа, она только терпит меня, и я даже жить с ней не смею, потому что «от хронических алкоголиков дети не живут», вспомнил он слова доктора.

«И тогда она будет работать у Сомова и, пожалуй, жить будет у него,— ведь он хороший.

Вот он мог бы сделать ее счастливой. Это не то, что я.— И он опять взглянул на ее вьющийся белокурый затылок.— А может быть, она и сейчас его любит?

Нет, нет, иначе она не показала бы мне его письма. Она не любит его, а когда она будет у него работать и видеть его каждый день, тогда полюбит непременно, и он ее полюбит, ее нельзя не полюбить.

И прекрасно, пусть живут, а я не нужен, пора мне уходить, пора.

Завтра с утра пойду в консисторию хлопотать о разводе».

Он вспомнил, что пропил все свое платье и что, кроме оборванного пальто, у него ничего не осталось, но решил все равно идти в опорках, как есть.

«Скажу, что я нищий, может быть, скорее пожалеют. Да, да, так и поступлю, я должен так поступить, развязать ее, это будет честно, честнее, чем жить теперь на ее содержании, ее кровью питаться. Вот она работает, а я лежу, не могу за перо взяться, руки трясутся.

Другая давно бросила бы такого мужа, ушла бы, а она еще бережет меня, поит, кормит, хорошая она. Не скажу ей ничего, пойду устрою все, а когда готово будет, принесу ей — и прощай, Леночка, будь свободна и счастлива.

А мне на Хитровке место найдется».

XV

В один из следующих дней, утром, Иван Петрович пошел в духовную консисторию. В дверях его встретил внушительного вида швейцар и строго спросил:

— Тебе кого нужно?

— Мне насчет развода узнать,— замялся Мешков.

— А ну проходи, сядь тут на лавочке, подожди,— это тебе к секретарю нужно.

Иван Петрович взошел и, придерживая фалды пальто, скромно сел на указанное место.

— Ты что же, от кого-нибудь пришел сюда? — спросил швейцар, садясь на стул и закуривая папироску.

— Нет, я сам, мне самому развод нужен с женой.

— Тебе? Что же это ты вздумал на старости лет. Или жена балуется? — И он внимательно еще раз с ног до головы оглядел Мешкова.

— Нет, нет, напротив, мне просто надо, просто так надо, а, что? — замялся он.

— Н-да, просто так, нет, брат, тут просто ничего не бывает, а у тебя что же, поверенный есть?

— Нет, а разве нужно поверенного? а, что?

— А то как же, что же ты думаешь, пришел попросил, да и готов, развели. Как же, этак многие, пожалуй, развелись бы. А денег у тебя много?

— Нет, денег у меня нету.

— Хорош. Да тебя тут и слушать никто не станет. Поди, пожалуй, я сведу тебя к секретарю, поговори с ним. Иди за мной. Да вряд ли толк будет.

Пройдя через несколько комнат, швейцар указал Мешкову на сидящего за столом сухощавого чиновника с бритыми усами и бородой и через огромные синие очки рассматривающего какие-то бумаги.

— Вот это он и есть, подойди к нему и скажи, что нужно.

Иван Петрович подошел и молча остановился у стола.

— Вам что? — спросил секретарь, не подымая головы.

— Я к вам насчет развода,— начал Иван Петрович.

— Какого развода? Чьего? — И он взглянул на Мешкова.

— Я сам хотел бы развестись.

— Вы, а у вас поверенный есть?

— Нет.

— А дело уже начато?

— Нет, я хотел бы начать, для этого и пришел сюда, что? а?

— Ну, вот что я вам скажу, милостивый государь. Здесь люди занятые, вы видите, сколько тут дела,— и он показал на бумаги,— а вы приходите беспокоить

нас совершенно понапрасну. Если вам угодно вести дело о разводе, то ведь это не так просто делается, надо исполнить все формальности, тут многое нужно; когда у вас все будет готово, тогда пожалуйте к нам, а сейчас нечего нас беспокоить, до свиданья-с.

— Но позвольте,— взмолился Мешков,— я и пришел к вам, чтобы узнать, что для этого нужно, а?

— Что нужно? спросите поверенного, он вам объяснит, что нужно, а нам некогда всякому втолковывать. До свиданья-с. Подайте прошение, тогда и рассмотрим.

И секретарь стал с решительным видом перелистывать бумаги.

Постояв минутку и видя, что ему тут больше нечего делать, Мешков повернулся и вышел опять в швейцарскую.

— Позвольте с вами поговорить,— робко спросил он, садясь на прежнее место.

— Ну что, отчитал? К нему с голыми руками не подходи. Тут, брат, такса. Тут и поверенные-то и то только свои допускаются. А чужой тоже... не сразу. Перед ним не такие, как ты, кланяются.

— Ну, что же мне делать, а?

— Вот что, так и быть, я тебя научу. Ступай к поверенному и переговори. Я тебе адрес дам. Скажи ему, так-то и так-то, то-то мне нужно. Он тебе и объяснит все. Только без денег и там ничего не сделаешь, готовь деньги.

— А сколько?

— Ну это он тебе сам скажет, может быть, с тебя, по бедности, и подешевле возьмет. Иди ты к Турскому, Большая Никитская, двадцать. Ты его, пожалуй, сейчас застанешь. Скажи, от секретаря консистории Петра Семеновича, а то не примет. Обо мне ничего не говори, что я тебя научил. Понял?

Иван Петрович поблагодарил и пошел к адвокату. Взойдя по лестнице на третий этаж и разыскав на двери карточку, он позвонил.

Вышла горничная. Узнав, что посетитель пришел от имени секретаря консистории, она попросила его в приемную, и сейчас же к нему вышел молодой, франтовато одетый присяжный поверенный Турский.

Попросив Ивана Петровича сесть и узнав, в чем дело, он глубокомысленно протянул «тэк-с» и закурил папироску.

— Тээк-с,— повторил он протяжно,— наш закон, изволите видеть, предусматривает четыре случая, четыре повода, так сказать, к нарушению брака: первый, изволите видеть, смерть одного из супругов.— И он отогнул один палец на левой руке.— Второй — безызвестная отлучка, опять-таки одного из супругов, в течение пяти лет,— и он отогнул второй палец,— третий — неизлечимая болезнь и четвертый — прелюбодеяние. Вот этими четырьмя поводами исчерпывается наше законодательство относительно развода.— И он разогнул все четыре пальца.— Вы следите? Итак, дальше, так как первых трех поводов, если их нет, создать искусственно нельзя, то на практике обыкновенно принято прибегать к последнему поводу, то есть прелюбодеянию, которое большею частью создается искусственно. Это делается, собственно говоря, очень просто. Изволите видеть-с: инсценируется картина измены. Простите, я еще не доложил вам, что в данном случае одна из сторон принимает вину на себя. Впоследствии эта сторона лишается права снова вступать в законный брак, но это не важно, и по большей части обходится. При некоторой протекции со временем обе стороны могут снова вступать в брак. Таким образом, вы мне должны сказать, на чьей стороне будет вина. На вашей? Прекрасно, значит, инсценируется картина измены с какой-нибудь посторонней женщиной, и в это время, то есть во время акта измены (закон требует, чтобы он был действительно совершен), входят, как бы нечаянно, заготовленные заранее свидетели. Ну, вот и все. Такую женщину, которая бы не дорожила своей репутацией, вы всегда можете найти, а свидетели могут быть кто угодно.

Затем назначается увещание сторон духовным лицом, судоговорение, и затем уже, в зависимости от добытых данных, постановляется то или другое решение консистории. Вот и все, ясно?

Иван Петрович слушал и только моргал.

— Вы курите? Позвольте предложить вам папи-

роску,— сказал адвокат, протягивая Мешкову серебряный нарядный портсигар.

— Благодарю вас, я понимаю, но вот денежный вопрос меня интересует,— сколько это может стоить? а? что?

— Да, вот этот вопрос довольно серьезный. Обыкновенно за развод, изволите видеть, со всеми хлопотами, до создания повода включительно, мы, адвокаты, берем (он замялся) от пятисот до тысячи рублей. Но с вас... вы ведь небогатый человек? — спросил он, взглянув на его пальто и поджатые под стул ноги в опорках.— С вас я могу назначить, ну, рублей триста, двести пятьдесят, но меньше уж никак нельзя. Здесь есть некоторые обязательные расходы, ведь я не один работаю, придется поделиться, так что из этой минимальной суммы мне лично почти ничего не остается. Вы можете располагать такими деньгами?

«Чего это Петр Семенович вздумал ко мне какого-то оборванца прислать, стало быть, пронюхал у него деньги, он зря не пришлет»,— подумал он, замолчав.

Иван Петрович, чувствуя на себе испытывающий взгляд адвоката, заерзал на стуле и покраснел.

С первых же слов его он понял всю нелепость и безнадежность своей затеи и теперь только подумал о том, как бы ему поскорее удрать от этого изысканного, вежливого господина, угощавшего его папиросками и со вкусом читающего ему отвратительную лекцию разврата и двойного узаконенного обмана. Кроме того, ему было совестно, что он залез в эту роскошную приемную, не имея не только двухсот пятидесяти рублей, но и двухсот пятидесяти копеек.

— Благодарю вас,— повторил он еще раз, вставая,— я переговорю с женой и тогда, может быть, приду, до свиданья.

— До свиданья-с, если решите вопрос в положительном смысле, я к вашим услугам.

И адвокат, вежливо простившись и проводив гостя до передней, иронически улыбаясь, ушел к себе.

«Бывают же такие чудаки»,— подумал он, вспомнив удивленное выражение Мешкова и его опорки.

Идя домой, Иван Петрович стал собирать в своей памяти впечатления этого утра и переживать свое положение.

Откуда взять денег? Это был первый и главный вопрос.

Он стал высчитывать, сколько он может заработать в месяц. Выходило, что при самом напряженном труде он мог бы откладывать не больше десяти рублей.

«Стало быть, надо два года. А за это время Леночка изведется совсем. Да и выдержу ли я? Опять запью. Нет, это не годится. Попросить у Сомова. Он спросит, на что? «Развестить с женой, чтобы потом отдать ее вам»,— мелькнул у него циничный, но прямой ответ, и он сразу навсегда отказался от этой мысли, чувствуя в ней какую-то нечистоплотность,— точно я продаю ему жену за двести пятьдесят сребренников. Ну как же быть, занять? украсть?»

И он начал думать, где бы он мог украсть.

Проходя мимо ювелирного магазина, он остановился и стал разглядывать витрину.

«Вот взойти и взять любую вещь. Взойду, начну выбирать, ну хоть бы кольцо, потом незаметно суну его в карман и пойду. Разве попробовать? Да меня и в магазин в таком виде не впустят,— вдруг вспомнил он про свою одежду,— да я и не сумею сохранить спокойный вид, сейчас же растеряюсь и выдам себя. Нет, куда мне, я и воровать даже не умею».

Он взглянул еще раз на блестящее серебром окно и, безнадежно махнув рукой, пошел дальше.

«Создать законный повод, закон требует»,— звучали у него в ушах слова адвоката, и он начал перебирать в своем уме перечисленные им законные поводы: прелюбодеяние, безвестная отлучка, неизлечимая болезнь, неизлечимая болезнь, прелюбодеяние, отлучка... три, какой же четвертый повод... четвертый? Смерть одного из супругов,—вдруг вспомнил он,— да, да, смерть. Вот если бы я умер, она была бы свободна, и не надо развода, не надо никакой грязи. Как просто: смерть — и больше ничего. Я должен умереть. Ну, что ж, если надо, так умру, умру для нее, по крайней мере,

освобожу ее от себя. Пусть живет, пусть будет счастлива».

И Мешков с готовым и, как ему казалось, твердым решением пришел домой.

XVI

Человек, решившийся на самоубийство, большею частью или приводит свое решение в исполнение сейчас же, или никогда.

Стоит только ему помедлить день или даже час, и страх смерти незаметно для него начинает направлять его мысли в другую сторону, начинает навевать ему утешения и надежды и постепенно приводит к тому, что он сначала откладывает свое намерение, пока не сделает того-то или того-то, и наконец успокаивается и забывает о самоубийстве своем.

Слишком велика у человека жажда жизни, чтобы он мог предумышленно с ней расстаться. Нет той ужасной болезни и нет того положения в жизни, когда человек не обольщал бы себя надеждой и не ждал бы лучших времен.

То же было и с Иваном Петровичем.

Ему казалось, что его решение бесповоротно, но... но он хотел еще в последний раз попытаться стать на ноги, начать работать, вырваться из этой ямы в Проточном переулке и устроить Леночкину жизнь.

«Успею всегда умереть,— думал он,— попытаюсь в последний раз, может быть, что-нибудь случится, повезет счастье, а если нет, если запью, тогда кончено. Туда мне и дорога».

И Мешков начал усиленно работать, и, глядя на его усердие, Леночка не узнавала его и немного даже воспрянула духом.

Через две недели он пошел сдавать свою работу (Леночка своей ему не доверяла), получил деньги и опять запил. «В последний раз,— утешал он себя,— пропью все, и прощай».

Он еще не выдумал ни способа, ни места самоубийства, но это казалось ему настолько легким, что он над этим вопросом и не останавливался.

В пьяном пафосе он чувствовал себя героем, жертвующнм собою, и относился к самому себе с чувством умнления н гордости.

В первые днн, когда у него еще былн деньги, развязка казалась ему бесконечно далека, н, если ннога в его расстроенном мозгу мелькали мысли о близкой смерти, он на иих ие остаиавливался. «Об этом можио будет подумать после. После, придет время — н сделаю, а сейчас раио; успею, когда ничего не останется в кармане, выпью последний стакаичик и сделаю,— после».

Когда он уже пропил деиьгн н начал промеиивать н пропнвать одежду, он стал созиавать, что оттягнваемый нм момент стал надвнгаться, н заметался.

Он стал лихорадочно нскать, где бы ему достать еще денег на выпнвку, просил кого мог, унижался перед товарнщами, которых перед тем сам запаивал внном, и в первый раз в жизии стал нищенствовать.

Так он провел еще несколько дней, шатаясь по улицам полузамерзший н голодный, собнрая копейкн, образуя нз ннх пятачки, пропнвая их н начнная снова.

То, что раньше откладывалось нм на неопределенный срок, на «после», теперь стало уже для иего «завтра», и это «завтра» тоже каждый день откладывалось и длилось уже больше иедели.

Наступили страшные холода с метелями. Люди прятались по домам, н редкие прохожие, спеша и укрываясь подиятыми воротииками, перестали совсем подавать.

В однн нз таких дней Иван Петровнч прошатался по улицам до обеда н не добыл иичего.

Хмель стал поиемногу исчезать, н на смену ему заговорнл настоящий мучительный голод человека, несколько дней ие евшего.

«Пора, пора,— говорил он себе,— вот если бы теперь выпнть последнний стакаичик для смелостн — и кончено, умереть. Однн бы только стаканчнк за грнвенник. Но где достать гривенник? На улицах пусто, метель. Пойду к Леночке, попрошу, авось ие откажет, оиа добрая, хорошая». И он быстро и решительно направился к Проточному переулку.

Взойдя в сырую, плохо освещенную, убогую комнатку, ему показалось, что он попал в рай. «Как здесь хорошо, как уютно,— подумал он, осматриваясь.— Нет, не останусь, сейчас же уйду, а то никогда не решусь, нет, только бы дала гривенник». И он, странно ежась, стал у нее просить денег.

Это был первый случай, что он просил у нее на вино, и она удивленно на него посмотрела.

— Нет, Иван Петрович, я вам на вино денег не дам,— решительно отказала она,— и так вы уж три недели пропадали, посмотрите на себя, на что вы похожи, как вам не стыдно.

— Не дадите, не дадите, в последний раз, больше никогда не буду просить, дайте хоть гривенник, Елена Ивановна.— И он стал перед ней на колени.

— Нет, не могу, Иван Петрович, оставьте, уйдите лучше с глаз моих.

— Леночка, дай, последний раз, тогда сама увидишь, что последний раз. Не дашь? Нет? Ну, прощай.— Он медленно поднялся и пошел к двери.

— Куда вы, Иван Петрович, оставайтесь лучше дома, куда вы глядя на ночь пойдете, вернитесь.

Мешков, не останавливаясь, вышел из комнаты и стал спускаться по темной лестнице.

Леночка еще раз его окликнула в коридоре, но, не получив ответа, вернулась к себе и села за работу.

Иван Петрович вышел за ворота и повернул под гору.

Прямым продолжением переулка, упиравшегося в берег Москвы-реки, шла через реку торная тропинка, по которой ходили пешеходы, прачки возили на салазках к прорубям белье и, начиная с января, ломовые извозчики таскали нагруженные сани зеленого, блестящего на солнце льда.

Тропинка местами была занесена снегом, но еще ясно виднелась при надвигавшихся сумерках.

Иван Петрович знал эту дорожку и пошел по ней. На той стороне реки был людный извозчичий трактир, в который он рассчитывал зайти погреться.

На ровной поверхности открытой реки снег не задерживался, и только местами попадались под ноги мягкие, неровные сугробы, вылезая из которых Иван

Петрович чувствовал в ногах иовый холод от набнвшегося в рваные ботникн снега.

Дойдя до середнны рекн, Мешков сбнлся влево и уперся в огромную черную прорубь, огороженную невысокой стеной ледяных глыб. С дальнего конца она уже замерзла, и на тонкой пленке льда ложнлся свежий пушистый снежок, а блнже к выходу лед стаиовился все чериее и переходнл в темную, неподвижную яму воды.

Подойдя к краю н разглядев воду, Иван Петровнч инстинктнвно отшатнулся.

«Чуть не утонул,— подумал он, отходя в сторону, под защиту ледяной стены,— будь немножко темнее, и попал бы,— н его охватнла радость человека, нзбавившегося от опасностн.— Впрочем, может быть, н лучше было бы, ведь я должен умереть, я же нщу смерти»,— подсказал ему другой, уже более слабый голос.

И он начал себе представлять, что было бы, если бы ои утонул.

«Еще, может быть, не нашлн бы. Было бы безвестное отсутствие — второй повод к расторженню брака»,— вспомнил он красноречивого адвоката.

«Нет, еслн так, то закон требует — «ннсценнровать картину» смертн. Надо оставить запнску, вещь какуюнибудь, тогда увидят, что я умер, а не пропал, н тогда будет первый повод».

Вдруг в его голове зашевелилась новая, неожндаиная мысль, н он иачал громко повторять про себя: «Что, а, что, а, что? А что, если я оставлю записку, напншу, что утопнлся, н уйду? уйду куда-нибудь подальше, сделаюсь ие помнящнм родства, а Иван Петрович Мешков будет счнтаться умершнм н Леночка будет свободна. Будет все по закону, н прекрасио, а, что?»

И Мешков начал быстро раздеваться. Он снял пальто, пнджак, потом почувствовал, что без пальто уже очень холодно, н надел его опять. В кармане он разыскал бумажку н огрызок карандаша, написал, что ои лишает себя жнзнн добровольно, положил пнджак н шапку с запнской у прорубн, от ветра прижал нх глыбою льда н чуть не бегом побежал на другой берег рекн.

На другое утро прачки, разгружая привезенные на салазках узлы белья, увидали около проруби что-то черное, разглядели пиджак и шапку и передали их в полицию.

Так состоялась гражданская смерть Ивана Петровича Мешкова.

Часть вторая

I

Было около четырех часов дня.

В человеческом муравейнике, называемом правлением страхового общества «Якорь», рабочий день подходил к концу.

Чиновники убирали по шкапам и ящикам конторские книги и бумаги, кое-где по столам гремели жестяные крышки закрываемых машин, и артельщик, заперев несгораемый шкап, крестясь, выходил из своей железной клетки.

Внизу в передней спешно разбирались пальто, палки и шапки и поминутно хлопала тяжелая выходная дверь подъезда.

Сомов сидел еще в своем рабочем кабинете за американским ясеневым бюро и, близоруко нагнувшись, подписывал исходящую почту.

Перед ним стоял чиновник с бюваром в руках и подавал ему к подписи разные бумаги.

«Командируем агента в Можайск. Поручаем ликвидацию пожара московскому инспектору. Посылаем полиса Ипатову...»

Некоторые бумаги, не требующие пояснения, он клал на стол молча и, выждав подпись, ловко прижимал их бюваром и откидывал в сторону.

— Все?— спросил Сомов, подписывая последнее письмо и кладя перо.

— Покамест все, Дмитрий Леонидович, я только хотел спросить вас, как прикажете насчет остальных полисов. Многие уже пора отсылать, были даже запросы, а они еще не готовы.

— Почему не готовы, кто их пишет?

— Их отдали тогда госпоже Мешковой, и вот уже более двух недель, как она не несет. Я хотел спросить вас, не прикажете ли до нее дослать?

— Ведь она, кажется, раньше всегда очень точно исполняла работу?

— Да. Задержки не было.

— Так будьте добры, пошлите к ней курьера Семена и попросите его оттуда зайти ко мне на Поварскую.

— Слушаю-с; больше ничего? Имею честь кланяться.

И чиновник, подобострастно поклонившись, шмыгая ногами по полу, боком вышел из комнаты.

Когда Сомов пришел домой, в передней его уже ожидал курьер Семен.

— Что, принес работу?— спросил он, снимая пальто и протирая потное от холода пенсне.

— Никак нет, Дмитрий Леонидович, ничего не принес.

— Почему?

— Она больная, а его нету.

— Ты входил к ней? Чем она больна?

— Не могу знать. Я взошел, она лежит на кровати, глаза открытые, но заметно, что без памяти. Я стал ее спрашивать, она ничего не говорит. Там старушка есть, соседка, так она говорит, что она слегла уже с неделю.

Сомов на минутку задумался. Первым его движением было сейчас же надеть пальто и ехать к Елене Ивановне, но он вспомнил, как настойчиво она всякий раз отталкивала его попытки оказывать ей материальную помощь и тот почти резкий отпор, который он получил от нее, когда он предложил ей заниматься у него в доме,— и ему пришло в голову, что, может быть, и теперь ему не следовало бы вмешиваться в ее судьбу.

Как человек до мнительности деликатный, он больше всего боялся оскорбить ее самолюбие, и если бы не то, что она сейчас лежит без памяти, он, пожалуй, не решился бы ехать к ней.

Но теперь, когда он представил себе ее положение, одинокой и, быть может, умирающей, он внутренне со-

знал ложность своих колебаиий и решил сейчас же к ней ехать.

Одевшись и сев на извозчика, он велел себя везти к тому доктору, которого раньше посылал к Леночке, и вместе с ним поехал в Проточный переулок. Сидя в санях и уткнувшись носом в мягкий бобровый воротник, Сомов вернулся опять к прежиим мыслям о Леночке и начал добросовестно проверять свое отношение к ней.

Он вспомнил свое первое знакомство с ней, когда она, еще полудевочка в платочке, робкая, пришла в правление узиавать о Мешкове. Это было вскоре после смерти его жены, и он вместе с тем вспомиил и эту смерть, жестокую и бессмысленную, и свое тогдашнее настроение, близкое к умопомешательству. Он вспомнил, когда она ушла от тетки, поселилась у Иваиа Петровича, вспомнил ее свадьбу, наконец смерть ребенка, ее истерику, скорбные уголки рта и потом ее болезненно-покорное выражеиие, когда он ее после того раза два мельком видел в правленин, ожидающую у кассы заработанных денег, и у него зашевелилось чувство сурового осуждения к ее мужу, доведшему ее до такого состояиия.

Если он ее довел до болезни и бросил на произвол судьбы, должна же оиа поиять, что обязаиность каждого, видящего ее в таком состояиии, ей помочь.

«Неужели она думает, что я иа нее смотрю как на женщину? Нет, этого не может быть, потому что это было бы гадко».

— Чем бы она ни была больна, Дмитрий Леонидович, но только я одно могу вам сказать, что лечить ее в этой заразиой яме я не возьмусь,— сказал доктор, подъезжая к воротам дома и слезая с саией.— Вы увидите сами, что это за ужасиые условия жизни. Пойдемте, сюда, кажется. Зайдемте раньше в соседнюю квартиру, для того чтобы снять пальто и немножко обогреться,— сказал он, открывая дверь к Антоновне.

Хитрая старуха, увидав хорошо одетых господ и почуяв заработок, охотио приняла гостей и стала их усаживать.

Узиав, что они пришли навестить Елену Ивановну, писариху, она стала сейчас же им рассказывать, как

муж ее запил, исчез, а она, сердечная, все сокрушалась (об этакой-то гадине) и вот неделя, как слегла и лежит недвижима.

— Я ей и чайку давала, и булочку, она ничего не хочет,— соврала она.— Я ее жалею, одна ведь, как есть, помрет и похоронить некому, разве он человек, ее муж-то, как тля, прости господи.

Немного отогревшись и выкурив по папироске, мужчины пошли в соседнюю комнату.

Елена Ивановна лежала в темном углу, загороженном шкапом, и в первую минуту ее трудно было разглядеть.

Оглядевшись, доктор подошел к ней и привычным жестом положил ей руку на лоб.

— Надо будет достать свечку,— сказал он, отходя от кровати и вынимая из кармана инструменты, молоточек и трубку.

— Сейчас лампу засвечу,— отозвалась старуха.

Больная лежала полуодетая, в юбке, накрытая старым шерстяным платком, и тяжело дышала. Из-под сбившихся нечесаных волос лихорадочно смотрели широко открытые голубые глаза с черными испуганными зрачками, и запекшиеся губы что-то беззвучно шептали.

Одна рука, белая и худая, выбилась из-под платка и изредка перекидывалась с постели на грудь и обратно.

Из-под свалявшейся простыни пестрел грязный заплатанный тюфяк с торчавшей из него темно-рыжей мочалой, и на полу, под ногами, звенели осколки какой-то разбитой посуды.

Пахло застарелым затхлым жильем.

Откинув платок и расстегнув ворот рубашки, доктор начал выслушивать и выстукивать больную.

Сомов отошел в сторону и, отвернувшись, сел у стола.

— Надо будет перевернуть ее и поддержать, Дмитрий Леонидович, вы не боитесь заразиться, можете мне помочь?

— Нет, конечно, не боюсь, что надо делать?

— А вот помогите мне. Пожалуйста сюда, станьте, так. Теперь просуньте руку под ее поясницу, вот так,

давайте вашу руку в мою, теперь подымайте, не бойтесь, держите ее, так. Дайте мне прослушать легкие, так.

Сомов держал беспомощное худое тело, мягкое и жгуче горячее, и, сдерживая дыхание, прислушивался к постукиванию докторского молоточка, издававшего то тупые, то более резкие звуки. Он держал ее в сидячем положении, прислонив к себе, и ее голова склонилась на его плечо. Он чувствовал на своей груди ее частое горячее дыхание и инстинктивно отворачивался, чтобы не видеть ее наготы.

Вдруг она вздрогнула и что-то быстро, быстро заговорила.

— Ничего, ничего, держите, это бред. Ну, теперь кладите ее на спину, постойте, я поправлю подушку.

Поставив больной градусник, доктор подошел к столу.

— Когда она заболела?— спросил он у старухи.

— Да уж с неделю, вот когда околодочный приходил, так на другой день.

— А вы не замечали, все время она была в жару или бывали периоды временного улучшения?

— Все время, как легла, так и лежит пластом, ничем недвижима.

— Поставьте лампу на стол и оставьте нас,— сказал доктор, видя, что от старухи ничего нельзя добиться.

— По-видимому, у больной брюшной тиф,— сказал он, закурив папиросу,— и вследствие отсутствия ухода форма довольна тяжелая. Надо удивляться, что она еще жива до сих пор.

— Если хотите ее спасти, я советую вам немедленно перевезти ее в больницу или в санаторию.

— А не опасно простудить ее на морозе?

— Нет, этого не бойтесь, такие больные простуды не боятся.

Доктор подошел к Елене Ивановне и, вынув градусник, поднес его к лампе.

— Тридцать девять и семь, я так и предполагал,— сказал он, стряхивая ртуть.— Если вам угодно, я могу рекомендовать прекрасную лечебницу доктора Иванского, которая, кстати, недалеко отсюда и где вы мо-

жете быть спокойны, что будут приняты все меры; я могу сейчас же туда заехать и послать оттуда за больной сестру милосердия. Или лучше заедем вместе, если вы свободны.

Дав Антоновне на чай и приказав ей беречь вещи Елены Ивановны, мужчины уехали.

Через час за Еленой Ивановной приехали в карете доктор с сестрой милосердия и увезли ее в больницу.

II

Дня через три после переезда Елена Ивановна стала постепенно приходить в сознание.

Увидав новую для нее обстановку, чистую светлую комнату и хорошую постель, она спросила, где она, и сначала совершенно безразлично отнеслась к тому, что она в лечебнице.

У нее еще держалась высокая температура и мысли прыгали в беспорядке, мешая явь с бредом. Как только она хотела на чем-нибудь сосредоточиться, у нее в голове как будто что-то пухло и перед глазами вырастало большое темное пятно и все росло, росло, захватывало всю комнату, захватывало ее, и потом все это вместе куда-то уносилось, далеко, далеко, где было приятно и тихо, потому что там были сон и пустота.

Эти дни она была между жизнью и смертью.

Доктора ждали кризиса, после которого болезнь должна была повернуть в ту или другую сторону.

Сомов заезжал справляться о ее здоровье каждый день, но не входил.

Через неделю температура больной понизилась ниже нормальной, и получилась надежда на выздоровление.

Бред прекратился, но она была еще так слаба и сознание жизни было в ней так ничтожно, что она была в состоянии полного безразличия к себе и ко всему внешнему миру.

Она могла бы, может быть, думать и что-нибудь вспомнить, но она не хотела ничего, потому что ей казалось, что ей незачем напрягать свой ум, она чувствовала, что ничего нет и ничего не нужно.

В таком состоянии умственной апатии большей частью угасают люди, ослабленные старостью, и поэтому для них этот переход легок и незаметен.

Она лежала без движения на чистой, белой постели, с бритой круглой головой, в белом чепце, исхудавшая и маленькая, и нельзя было определить, спит она или нет, потому что, когда к ней подходили и давали ей пить, она открывала глаза и глотала, а потом опять уходила в дремоту и не двигалась.

Наконец состояние ее стало улучшаться и вместе с силами стали проявляться сознание и память.

Как-то утром она проснулась свежее обыкновенного и стала припоминать.

Ей вспомнился почему-то Дорогомиловский мост, на котором она тогда ночью стояла после известия о смерти Ивана Петровича, и, ухватившись за эту нить, она постепенно возобновила в своей памяти все до мельчайших подробностей, вплоть до того момента, когда она на другой день служила в церкви панихиду и вернулась домой. После этого она уже ничего не помнила.

Наилучшее лекарство от нравственных страданий есть немощь физическая.

Земное горе существует для человека только в той мере, поскольку он связан с жизнью. И чем эта связь слабее, тем слабее испытываемые им чувства.

Болезнь есть клапан, который при приближении смерти скрывает от человека ее ужас и накидывает на него завесу безразличия к окружающему. Поэтому, вспомнив о смерти мужа, Елена Ивановна отнеслась к ней совсем иначе, чем в тот первый вечер, когда ей принесли его записку.

Теперь это было горе, но горе, как ей казалось, уже давнишнее, изжитое и поэтому менее острое.

Она жалела Ивана Петровича, внутренне молилась за спасение его души, но того жгучего чувства личного отчаяния, которое охватило ее в первые дни, она в себе уже не находила.

Со смертью Ивана Петровича обрывалось последнее звено, соединявшее ее с внешним миром, и хотя этим самым она освобождалась от ужаснейшего гнета его постоянных запоев и безвестных пропаданий на

целые иедели, но зато без него жизнь ее делалась пуста н бесцельна.

Ее томило чувство глубокого одиночества, и возвращенне к жнзни ее не радовало, а скорее огорчало. «Как хорошо было бы, если бы я умерла»,— часто думала она и роптала в душе на тех неизвестных ей людей, которые ее спасли и поместили в больницу.

III

Когда Елена Ивановна уже поправилась настолько, что могла сидеть в кровати и двигаться, ей доложили, что ее хочет видеть г-н Сомов.

Она обрадовалась и попросила его взойти.

— Батюшки, как вы изменились,— сказал он, входя н подавая ей руку,— вас узнать нельзя. Ну, как вы себя чувствуете? Лучше? кажется, слава богу, опасность миновала, и мы начнем поправляться. Но только знайте, Елена Ивановна, что я вас отсюда не скоро выпущу. Пусть Иван Петрович поскучает по вас. Кстатн, вы не знаете, где он? Он не был у вас?

Елена Ивановна сделала испуганные глаза.

— Разве вы ничего не знаете?— спроснла она.

— Нет, а что, собственно?— удивился Дмитрий Леонидовнч.

— Ведь Иван Петрович скончался.

— Как, не может быть?

— Да, это было до моей болезни. Мне околодочный принес его записку, где он просит инкого не винить в своей смерти. Эту записку нашли около проруби. Он утопился...

И у нее на глазах показалнсь крупные слезы.

— Ах, боже мой, вот ужас-то. Почему же вы тогда же не сообщили об этом мне? Неужели вы не счнтаете меня своим другом? Конечно, я иичем ие мог бы помочь в вашем горе, но все-таки легче, когда есть хоть кто-нибудь, с кем можно поделиться. Когда же это было? когда вы заболели? Ах вы, бедная моя.

— Это было двадцать пятого, на другой день я была в церквн и служила панихиду, а потом я иичего не помню,— значит, тогда же я и заболела. Нынче какое число?

— Нынче десятое марта.

— А кто меня привез сюда?

— Я посылал к вам за бумагами и узнал, что вы больны. Слава богу, что удалось вас спасти.

— А может быть, лучше было бы мне тоже уйти туда, к Пете и к Ивану Петровичу?

— Не говорите таких вещей, Елена Ивановна, это грех. Никто из нас не знает, кому он нужен, а все мы почему-то живем, и каждый человек богу нужен. На что уж несчастнее Ивана Петровича нет, а вот вы плачете о нем, стало быть, он был вам нужен. Да не только вам, а и мне,— добавил он, немножко помолчав,— и я сейчас чувствую, что мне его недостает.

Что, он очень пил за последнее время? Ведь я его не видал около шести месяцев. Да и вас я не видал очень давно.

— Да, он больше месяца не приходил в себя. Никогда еще он так долго не болел.

— Да, жалко его, очевидно, он уж почувствовал, что он не в силах больше бороться со своей болезнью. Ну, что делать, теперь уже не поможешь. Вы сделали все, что могли, чтобы его спасти, и ваша совесть должна быть чиста. Я, признаюсь, всегда удивлялся вашей покорности.

— Что вы, что вы,— перебила Елена Ивановна,— какая моя покорность, я лежу и все думаю, что, если бы не я, он, может быть, был бы жив. Ведь жил же он холостым. И никогда ничего этого не было бы, если бы я не сошлась с ним.

— Ну, знаете, Елена Ивановна, это уж слишком. Вы пожертвовали человеку всей своей жизнью, отдали ему свою молодость, свое здоровье, чуть не умерли, и вы еще можете находить поводы винить себя. Оставьте, это даже смешно,— заговорил Сомов, загорячившись.— Ведь так можно винить себя во всем. Вы же сами говорите, что Иван Петрович был человек больной, и как его ни жалко, надо помириться с его кончиной и постараться найти в себе силы для того, чтобы жить дальше. Выкиньте из головы эти мысли самоосуждения — они всегда приходят после смерти близкого человека, я это знаю по себе,— постарайтесь глубже взглянуть на жизнь, а главное, поправляйтесь скорее.

Я у вас засиделся, а доктор ие велел вас утомлять, а я уж десять миeут сижу,— сказал он, глядя на часы и вставая.— Вы можете иа меня сердиться сколько хотите, Елена Ивановиа, ио я вас продержу здесь, пока вы ие поправитесь совсем. Теперь вы в моей власти. Я вам возвращу свободу только тогда, когда это разрешит доктор. А когда вы поправитесь, тогда подумаем, что делать дальше. Я надеюсь, что вы мне позволите тогда вмешаться в вашу судьбу и устроить вам какоенибудь более определеииое н удобное место.

— Спасибо, Дмитрий Леоиидович, но мне, право, совестно, вы так добры.

— Перестаньте, пожалуйста, Елена Ивановиа, никакой тут доброты иет, ну, до свидания; если позволите, я на днях к вам зайду еще, поправляйтесь.

И, пожав протянутую ему худую белую руку, Сомов вышел.

Выйдя из больницы, Сомов пошел пешком.

Известне о самоубийстве Ивана Петровича поразило его гораздо больше, чем ои это выказал перед Елеиой Ивановной.

Ои вспомнил, как иедавио еще он осуждал его за то, что ои губил свою жеиу, и ему стало стыдно. Еще более стыдио потому, что ои только что видел искреинее горе этой жены и ие только ее прощеиие, ио н попытки осуждеиня себя в том, в чем никто иикогда не мог ее обвинять. Ои возражал Елене Иваиовие, когда оиа говорнла ему, что, если бы ее ие было, Иван Петрович был бы жив, ио в глубиие души ои сознавал, что она права, и не мог ие видеть в этой смерти геройства, которого ои от Ивана Петровича не ожидал.

Как ему ни котелось поверить в то, что Мешков покончил с собой в припадке пьяиого умоисступления, виутренний голос говорнл ему, что это не совсем так,— и чем больше ои задумывался, тем яснее ему стаиовились иастоящне прнчины этого поступка.

IV

Был ясиый весеиний деиь.

По стороиам тротуаров бежали ручьи растворенной на солнце уличиой грязи, дворннки скалывали остатки

льда, и большинство извозчиков ехали на колесах, както неестественно громко гремя по оголенным от снега местам мостовой.

Так как было воскресенье и Сомов был свободен, он решил зайти к своей сестре, у которой он обыкновенно проводил почти все праздники.

Сестра Маша была для Сомова единственным близким человеком. Она была старше его лет на десять, и, благодаря этой разнице лет, она относилась к нему покровительственно.

Когда Мария Леонидовна вышла замуж за богатого курского помещика Веретенева, Митя был еще пятнадцатилетним кадетом и по праздникам ходил к ней в отпуск.

После смерти матери все заботы о Мите перешли к Марии Леонидовне, и последние три года его пребывания в кадетском корпусе прошли под непосредственным ее надзором.

Летом Веретеневы жили в своем имении Курской губернии, где с июня по август гостил Митя, охотясь и помогая сестре в ведении полевого хозяйства.

Сам Веретенев был болен неизлечимым ревматизмом и не сходил с кресла, в котором его катали по комнатам.

Вышедшую на его звонок горничную Сомов попросил вызвать барыню в переднюю и, не раздеваясь, дождался ее у порога.

— Маша, ты не боишься меня,— я сейчас прямо от тифозной,— спросил он ее, когда она удивленно спросила его о причинах его церемонности.

— Вот уж нисколько, раздевайся, ты знаешь, что я никогда никаким заразам не верила. Здравствуй, Митя, хочешь чаю? Или нет, лучше подожди, сейчас дети придут, и будем сразу завтракать. Они наделали себе бумажных корабликов и пошли пускать их по ручейкам. Ну, садись рассказывай, какие у тебя еще новые тифозные.

— Не поверишь, Маша, целая драма. Помнишь, я рассказывал тебе о несчастном писаре Мешкове, который два года тому назад женился на сиротке. Так представь себе, что он спился окончательно и в конце концов утопился в прорубь, а жена его чуть не умерла

от тифа и сейчас лежит в больнице. Вот у нее-то я сейчас и был. Жалко до бесконечности.

Ты представь себе ее положение. Совершенно одна, беспомощная, больная. А главное, меня мучит то, что она ни за что не хочет принимать от меня никакой помощи. Выйдет из больницы — и что же, опять погибнет.

— В какой она больнице? — спросила Мария Леонидовна.— Я как-нибудь на днях зайду ее навестить. Как ее зовут?

— Елена Ивановна Мешкова.

— Прекрасно, если она действительно порядочная женщина, у меня на нее есть свои планы. Я, может быть, с ней что-нибудь устрою.

— Мама, мама, у Коли кораблик потонул, а мой добежал до самого низа, я говорила ему, что бумага не годится,— закричала из передней десятилетняя Олечка, вся зарумянившаяся, вбегая в комнату.

— Олечка, калоши снять надо,— останавливала ее сзади толстая, добродушная старуха няня, раздевая младшего, семилетнего Колю.

Увидав дядю Митю, дети кинулись ему на шею и наперерыв, перебивая друг друга, стали ему рассказывать про свои похождения. Тут же они притащили бумаги и заставили его клеить новые кораблики к завтрашнему дню.

За завтраком дети отвоевали себе места рядом с дядей и ни на минуту не переставали занимать его своей болтовней. Вспомнили, как дядя Митя год тому назад гостил у них летом в Акуловке, как он пускал громадного бумажного змея и как все вместе ездили на линейке за грибами, и стали его опять звать приехать к ним в деревню.

— В самом деле, Митя, приезжай,— подтвердила Мария Леонидовна,— ведь ты уже два года служишь без отдыха, неужели не можешь взять отпуск месяца на полтора? Смотри, как опять отдохнул бы.

— Я об этом давно мечтаю, да трудновато вырваться. Летом ведь у нас самая работа большая, из-за пожаров. Не обещаю, но, если отпустят, конечно, я больше никуда не поеду, кроме Акуловки.

— Отпустят, отпустят, дядя, ты скажи им, что мама велела,— закричал Коля.

— А у нас там два жеребеночка новых,— сказала Олечка.

— И щеики у Буянки, все серые.

— Нет, неправда, одни черный есть.

После завтрака Мария Леоидовна еще раз переспроснла брата об Елене Ивановие н подтвердила свое иамерение ее навестнть.

Зная сердечность сестры и ее жнтейскнй такт, Сомов был очень рад этому обещаиию, тем более что знал, что если Маша прнмет участне в человеке, то уже иаверное поможет так, как инкто другой не сумел бы это сделать,— толково н делнкатно.

«Не то, что я»,— подумал он про себя.

V

Когда Леночке доложилн о прнходе какой-то дамы, она сначала подумала, что это ее тетка Прасковья А. и растерялась.

Она уже настолько поправнлась, что стала вставать н могла сама ходнть от кроватн к дверн.

Мария Леонидовна взошла н позиакомилась с Леночкой так прямолннейно н просто, что сразу победила в ией ту неловкость и робость, которые она всегда чувствовала при прнблнжении чужого человека.

Она сказала ей, что она слышала о ее несчастье от брата и по порученню его зашла к ней. Понемиожку, осторожио и деликатно, она выведала от нее подробностн ее прежией жнзии и в коице коицов прямо без обиияков спросила ее, что она намерена делать после выхода из больницы.

— Я думала, если бы Дмнтрий Леоиидовнч позволил опять работать на страховое общество...

— А не согласилнсь бы вы принять частное место в доме как учительннца и боииа при маленьких детях? Вы ведь занимались когда-то преподаванием в школе и любите детей? — спросила Мария Леонндовна.

— Не зиаю, право, гожусь лн я иа это дело,— ответнла Леночка и покраснела.— Да н возьмут лн меня?

— Вндите, я вам прямо скажу, что я хочу вам предложить место у себя. У меня двое детей, девочка и мальчнк, которым надо помогать в приготовленин уроков, провожать в школу, ходить с нимн гулять, и мне такая помощнница, как вы, была бы очень полезна, конечно если бы вы согласилнсь на мон условия. А вам это будет полезно тем, что у нас условия жизни более гигиеничные, чем те, в которых вы жили раньше. Летом мы жнвем в имении, и там уж я ручаюсь, что я вас выхожу на молоке и на свежем воздухе. Я сейчас не требую от вас ответа, подумайте, если будете согласны, вы мне скажете, я зайду к вам дня через два. Относнтельно жалованья я думаю, что мы с вами сойдемся. Мне Митя говорнл, что вы зарабатываете в правлении около двадцатн пяти рублей, так я вам могу предложить то же на всем готовом. Я надеюсь, что вы подумаете н согласнтесь, вы видите, что я совсем не страшная. Я уверена, что мы с вамн подружнмся. Боже мой, какая вы маленькая н худенькая,— сказала она, оглядывая ее,— сколько вам лет? Если бы я не знала, что у вас был ребенок, я подумала бы, что вам не больше шестнадцати, особенно теперь, в этом чепчнке и с брнтой головой. До свндания, поправляйтесь и, главное, будьте осторожней — теперь для вас самый опасный период, всякая неосторожность может вас погубнть.

Да не вставайте и не провожайте меня, пожалуйста, вы такая слабенькая, вам надо еще лежать. До свидания,— повторнла она, беря Леночку за рукн и целуя ее.

VI

Впечатление, пронзведенное друг на друга Еленой Ивановной и Марией Леонидовной, было с обеих сторон хорошее.

Обе онн отнеслнсь друг к другу вполне доверчиво, и хотя Леночка ничем не высказала своего согласия, но уже при прощаннн Мария Леонндовна почувствовала, что она решилась принять ее предложенне, н простилась с ней, как с своим человеком.

Единственное, что ее смущало,— это что Леночка показалась ей слишком хорошенькой, и у нее закралось подозрение в том, что заботы о ней ее брата Дмитрия вызваны чувством гораздо более сильным, чем жалость, о которой он ей говорил.

При следующем свидании с братом она ему это сказала — и тут же, по его тону и словам, убедилась в своей ошибке.

Та же мысль, взятая с другого конца, была неприятна и Леночке. Она чувствовала возможность такого предположения, и это ее беспокоило. Но больше всего она боялась, что место, предлагаемое ей, скрывает за собой благотворительность, и потому конфузилась и медлила с окончательным ответом.

Кроме этих двух причин, ее останавливала еще одна мелкая подробность, которая казалась ей очень важной и которую она никак не могла победить.

У нее не было ни одного приличного платья.

«Как я явлюсь в порядочный дом в своих лохмотьях,— думала она.— Да и целы ли они?»

И она припоминала свои старые платья, оборванные и заплатанные, и с грустью убеждалась в том, что ей нельзя принять место у Веретеневых, пока она не оденется. А одеться было не на что, потому что у нее не было ни копейки денег.

В конце концов и это непреодолимое затруднение разрешилось совсем просто.

Через три дня после первого свиданья Мария Леонидовна пришла опять и так настойчиво потребовала от Леночки положительного ответа, что она не решилась возражать и согласилась. А на прощание Мария Леонидовна, несмотря на все ее возражения, заставила Леночку принять от нее десять рублей и ушла, обещав приехать за ней через несколько дней.

Как и следовало ожидать, Елена Ивановна привыкла к семье Веретеневых очень скоро.

Дети ее полюбили со страстью новой привязанности и ни на минуту от нее не отходили.

Мария Леонидовна своим спокойным и деловым тоном смягчала неловкость ознакомления Елены Ива-

новны с непривычной ей обстановкой и с материнской заботливостью следила за ее здоровьем.

За обедом для Елены Ивановны подавали отдельные легкие кушанья, и прогулки с детьми ей разрешались только в хорошую погоду, и то ненадолго.

Не привыкшая к такому вниманию, Елена Ивановна конфузилась и всеми силами души старалась быть полезной.

Дмитрий Леонидович, по-прежнему заходивший к сестре по праздникам завтракать или обедать, увидав Елену Ивановну, сидящую за круглым столом в белом чепчике, рядом с детьми, в первую минуту был поражен до растерянности.

— Дядя, Елена Ивановна с нами в Акуловку едет, она обещала,— закричал Коля, подбегая к нему и здороваясь.— Она умеет сказки рассказывать про Аленушку.

— Садитесь, дети, садитесь,— остановила их Мария Леонидовна.

— Что, Митя, не ожидал видеть Елену Ивановну здесь? Я нарочно скрыла от тебя наш заговор. Я надеюсь, что Елене Ивановне будет у нас хорошо и что она скоро поправится.

— Да и сейчас, слава богу, не сглазить бы, у вас вид хороший,— сказал он, обращаясь к Елене Ивановне.— Вы давно сюда переехали?

— Да уж с неделю, должно быть,— ответила за Леночку Мария Леонидовна, взглянув на нее ласково и просто.

— Не знаю, хорошо ли ей у нас, а я свет увидела с тех пор, как она к нам переехала,— ведь от этих сорванцов ни минутки покоя не было.

— А нынче Елена Ивановна пойдет с нами гулять? — спросила Олечка.

— Да, нынче, кажется, тепло. Вы хорошо себя чувствуете? — обратилась Мария Леонидовна к Елене Ивановне.

— Я давно уже совсем здорова, Мария Леонидовна, право, вы напрасно так обо мне заботитесь. Я никогда так хорошо себя не чувствовала, как теперь.

— Дядя Митя, пойдем с нами гулять, мы нынче пойдем к Каменному мосту реку смотреть, няня говорит, что лед пошел,— не унималась Олечка.

При упоминании о реке Елена Ивановна вспомнила об Иване Петровиче и опустила глаза на тарелку. Когда она подняла их опять, то встретилась с взглядом Сомова, который сейчас же перевел глаза на сестру и начал ее спрашивать о здоровье мужа.

— Весной ему всегда бывает немножко лучше. Я предлагала ему завтракать с нами, но он отказался. С тех пор как Елена Ивановна к нам переехала, за ним опять ходит няня. Он к ней привык и говорит, что никто ему так не угождает, как она.

— Что же, дядя Митя, пойдем с нами на Москву-реку? — добивалась Олечка.

— Нет, деточка, некогда, я после завтрака домой пойду, дела есть, да и вам не советую так далеко ходить, нынче ветер сильный, а там место открытое и дует страшно. Ступайте лучше в Зоологический сад слонов смотреть. Маша, ты позволишь? — сказал он, обращаясь к сестре.— Вот вам рубль на вход и на булки зверям.

— Спасибо, дядюшка милый, спасибо,— запрыгали дети, целуя его и мать, и побежали одеваться.

Елена Ивановна мельком взглянула на Сомова, который, казалось, ее не замечал и о чем-то говорил с сестрой, и пошла одевать детей.

VII

После разлива Москвы-реки на одной из отмелей, приблизительно на версту выше Дорогомиловского моста, был найден труп неизвестного мужчины средних лет.

На теле признаков насильственной смерти не оказалось. В таких случаях полиция обыкновенно повещает всех дворников города и приглашает их явиться в ту часть, где этот труп находится, для его опознания.

Так было сделано и теперь.

Кроме того, несмотря на то, что место мнимого самоубийства Мешкова было по течению реки ниже и

что его труп никак в это место попасть не мог *, полиция, справившись по книгам об исчезнувших за этот год бесследно лицах, между прочим, известила о находке трупа вдову Мешкова и пригласила ее явиться в участок для опознания личности ее покойного мужа.

Елена Ивановна оделась и в сопровождении городового, принесшего ей повестку, пошла.

В участке ее еще раз допросили об обстоятельствах, сопутствовавших исчезновению ее мужа, с ее слов записали его приметы и попросили пройти в часовню, где лежало тело.

Когда городовой отворил железную дверь каменного полутемного сарая, помещавшегося в углу двора, оттуда пахнуло таким ужасным запахом, что Елена Ивановна чуть не задохнулась и остановилась на пороге.

Городовой смело подошел к телу, которое лежало в гробу на деревянных нарах головой к стене, и до пояса откинул прикрывавший его брезент.

Огромный, неестественно вздувшийся живот и както странно, боком скрюченные ноги загораживали лицо. Руки были широко расставлены, и одна из них свешивалась книзу.

Елена Ивановна, превозмогая тошноту и головокружение, сделала несколько шагов и посмотрела на лицо.

Оно было лилово-синее и страшно опухшее. Осклизлая кожа, туго натянутая, местами полопалась, и вместо глаз из впадин смотрели две темные дыры, на дне которых было что-то зеленое и мутное.

Единственно, что было цело, это были волосы, и эта живая часть тела казалась каким-то страшным контрастом и еще более усиливала ужас остального. Эти волосы и сбили Елену Ивановну.

---

* Исторически верно. А. Ф. Кони, На жизненном пути, т. II, стр. 66. *(Прим. автора.)*.

И. Л. Толстой имеет в виду следующее рассуждение Кони в его статье «По поводу драматических произведений Толстого» (1912 г.), в которой Кони в связи с делом Гимеров писал: «Полиция с близорукой поспешностью не сообразила, что прорубь, в которую будто бы бросился Николай Г. 24 декабря, находится на шесть верст *ниже* по течению от того места, где был вытащен 27 декабря неизвестный человек...»

На минутку ей показалось, что борода и усы «его», и она была настолько подготовлена к тому, что это труп Ивана Петровича, что вскрикнула и без чувств упала на пол.

Ее подняли и вынесли на воздух.

Когда она очнулась, ее попросили подписать бумагу о признании ею мужа и отпустили домой.

— Если вам угодно похоронить покойника на свой счет, мы можем вам его отпустить нынче, после вскрытия. Если же вы его не возьмете, то он будет похоронен за счет полиции завтра утром в восемь часов,— сказал ей пристав, вежливо провожая ее до дверей.

Когда Елена Ивановна вернулась домой, у нее был такой растерянный и усталый вид, что Мария Леонидовна сразу поняла, что что-то случилось, и стала ее допрашивать.

— Неужели вы завтра пойдете на похороны? — спросила она, прослушавши весь ее рассказ.— Ведь вы же убьете себя этими неосторожностями. Только что поправились, стали похожи на человека, и опять все насмарку.

— Ну как же, Мария Леонидовна, нельзя же бросить его и даже не помолиться о его душе, я хотела еще нынче панихиду о нем отслужить и псалтырь почитать.

— Ну, это уж глупости. Сегодня я вас никуда не пущу. Если хотите, мы закажем в церкви панихиду после вечерни, но вы будете сидеть дома и никуда не пойдете. А завтра я найму карету, и вы поедете на похороны с няней. Одну я вас не отпущу — вы слишком для этого слабы.

На другое утро, когда Елена Ивановна с няней приехали в участок, деревянный некрашеный гроб был уже забит и стоял на простой телеге, в которую дворник впрягал лошадь.

Это немного огорчило Елену Ивановну, потому что в глубине души она была не совсем уверена в том, что она не ошиблась в признании Ивана Петровича, и хотела еще раз на него взглянуть и проститься.

Ей сказали, что после вскрытия тело испортилось еще больше и что открывать его нельзя.

Покойника похоронили на том же Ваганьковском кладбище, где Леночка год тому назад оставила своего ребенка.

После похорон она с трудом разыскала между крестами и памятниками знакомый маленький холмик, под которым лежал Петя, и помолилась вместе с няней об его душе.

«На следующие же деньги поставлю им обоим кресты»,— решила она, уходя с кладбища и прощаясь навсегда с призраком семейной жизни, который отнял у нее два лучших года ее жизни и доставил ей так много нравственных страданий.

VIII

В начале мая Веретеневы переехали в имение, где прожили до конца августа.

Лето пролетело незаметно.

Мария Леонидовна, как всегда, с головой ушла в сельское хозяйство, а Леночка занималась детьми и домом и настолько пришлась «ко двору», что скоро сделалась необходимым и любимым членом семьи.

Живое общение с людьми и постоянная деятельность отвлекли ее от тяжелых воспоминаний и дали ей сознание того, что она не лишняя на этом свете и может быть полезна другим.

Сердечные отношения, установившиеся с семьей, сгладили в ней ту мещанскую пугливость, которая раньше заставляла ее прятать от людей свое маленькое «я», и это «я», понемногу освобождаясь от скрывавшей его скорлупы, стало развиваться и крепнуть.

Как ребенок при нормальных условиях развития не чувствует своего роста, так и Леночка совершенно не сознавала происходящей в ней перемены.

Она отдыхала физически и нравственно, и ей было хорошо.

Вместе с детьми, совершенно так же, как они, она наслаждалась прогулками, купанием и собиранием ягод и грибов.

Когда подошло время покоса, вся семья наряду с поденными целыми днями пропадала на лугах.

По вечерам возвращались домой, усталые и оживленные тем спокойным и здоровым счастьем, которое дается общением с природой и трудом.

После ужина, уложив детей спать, Леночка уходила к себе в комнату и иногда целыми часами просиживала у открытого окна, с остановившимися глазами, точно околдованная, всматриваясь в темноту и прислушиваясь к чему-то.

В такие минуты она не думала. Ею овладевала какая-то, раньше незнакомая ей, замаичивая тревога, и это новое жуткое чувство, пробуждаясь в ней ярче и ярче, так приятно ее щекотало, что она бессознательно отдавалась его призыву и, чтобы не расставаться с ним, часто не ложилась спать до рассвета.

В своем дневнике, который она начала вести с начала лета, она записывала: «Просидела до двух часов ночи у открытого окна и слушала соловья», или «вечером была гроза, и всю ночь мелькали зарницы», или «нынче целый день проработала на полосе, и это так мне напомнило мое детство». Сверху было написано: «и покойного отца, что, вероятно от волнения, я долго не могла заснуть».

Но как ни правдивы были эти полудетские записи и как ни верила им сама Елена Ивановна, в них не было ни капли правды.

Причина этих бессонных ночей была совсем другая и крылась в самой Леночке.

Несмотря на соловья, спали же другие. А если она не спала, то только потому, что в ней стала просыпаться жажда жизни, которая раньше была заглушена гнетом лишений и горя и которая теперь проснулась на свет.

Если бы она умела следить за своими переживаниями, быть может, она перестала бы писать дневник.

Перестала бы, потому что тогда ей пришлось бы сознаться самой себе в том, возможность чего она не могла допустить.

Ей пришлось бы сознаться, что на фоне соловья и зарниц она часто, часто, почти всегда, видела образ того человека, которого она не смела любить, потому что она слишком перед ним преклонялась, но о котором она ни минуты не переставала думать. Часто, ча-

сто этот милый образ всплывал в ее воображении, и она послушно отдавалась его призыву и далеко заносилась в мир чисто детской, сказочной мечты...

IX

В начале июля Сомов, воспользовавшись командировкой на юг, заехал на два дня в Акуловку.

Подъехав к дому, никем не замеченный, он вышел через балконную дверь в сад.

Под липами сидела Елена Ивановна и чистила вишни.

Дети, увидав дядю Митю, с визгом бросились ему на шею и с двух сторон на него повисли.

Высвободившись от детей, Дмитрий Леонидович подошел к Елене Ивановне и протянул ей руку.

— Не могу,— сказала Елена Ивановна, показывая ему растопыренные, лиловые от вишневого сока пальцы и немного краснея.

— Все равно, так поздороваемся,— сказал Дмитрий Леонидович, беря ее за кисть руки,— а где сестра?

— Мама в поле, за гумном, где машины косят, она скоро придет обедать,— доложила Олечка.

— А вы неузнаваемы,— сказал Сомов, еще раз внимательно, через пенсне глядя на Елену Ивановну,— нечего спрашивать вас о здоровье. У вас удивительно хороший вид. Да и загорели же вы. Верно, целый день на дворе проводите?

— Да, очень много,— ответила Елена Ивановна.— В доме только спим, а то все время на улице. Погода все лето стоит хорошая, сено убрали хорошо, рожь вся повязана, теперь овес докашиваем. Урожай хороший.

— Мне сестра писала, что вы тут все увлечены хозяйством. Я не думал, что и вы рьяная хозяйка, откуда это у вас?

— Когда я еще при отце жила, мы снимали землю, приходилось работать,— ответила Елена Ивановна.— Я сейчас за Марией Леонидовной схожу, мне, кстати, надо к садовнику зайти.

— Зачем же вы одни пойдете? Если так, пойдемте вместе, дети, идем,— сказал Дмитрий Леонидович, беря детей за руки, и все гурьбой, оживленно болтая, пошли по липовым аллеям к гумну.

Около громадных скирдов, установленных рядами, пахло зерном и спелой соломой.

Несколько девок со скребками возились в стороне, готовя новые падрыни.

Издали с поля доносилось глухое ворчанье жатки, то еле слышное, то более ясное, по мере ее удаления или приближения по кругам.

Мария Леонидовна стояла на канаве, под тенью ракиты, и о чем-то говорила со старостой, державшим в поводу оседланную лошадь.

Старый безногий Ворончик с вздутыми от запала пахами и подтянутым животом стоял понуря голову и лениво отмахивался от мух.

Увидав детей и брата, Мария Леонидовна, спеша, докончила свое распоряжение и пошла им навстречу.

После первых приветствий и расспросов вся компания направилась к дому, где под липами были уже приготовлены чай и ягоды.

Леночка, успевшая сбегать в комнату и отмыть свои вишневые руки, сидела у самовара и разливала чай.

Вместе с другими она радовалась приезду дяди Мити, и эта радость, на фоне восторгов детей, была так естественна, что она проявляла ее открыто и просто.

Так же просто и дружественно отнесся к ней и Сомов.

В этой родной ему обстановке, окруженная семьей, она казалась ему какой-то новой и более близкой, и в душе он не мог не гордиться сознанием того, что может быть, благодаря ему она жива и сидит здесь, красивая и жизнерадостная.

Во время разговоров он несколько раз всматривался в нее, и Леночка чувствовала на себе этот взгляд и конфузилась.

Внутренняя перемена, происшедшая в ней за это время, сразу бросилась в глаза Сомову и поразила его гораздо больше, чем ее внешний вид.

Он видел в ней те же ее кроткие, голубые глаза, ту же женственность, те же уголки около рта, но во всем этом было что-то новое и красивое, чего он раньше не знал и что не мог теперь понять.

Это новое — это было дыхание молодой жизни, после долгой тюрьмы вырвавшейся на божий свет и глотающей полной грудью свежий воздух.

Во всем ее существе чувствовался тот отпечаток здорового летнего загара, который оттенял ее щеки и начинал окрашивать ее чистый, но до этого времени слишком бледный и бесцветный внутренний облик.

Весь этот и следующий день прошел в сплошном веселье и развлечениях.

Ездили на линейке в лес, играли в горелки, а вечером дети развели на лужайке против дома большой костер, и дядя Митя зажег фейерверк, который привез с собой из города.

После ужина дети выпросили разрешение завтра, после обеда, провожать дядю Митю всей компанией на станцию и пошли спать.

Елена Ивановна, как всегда, повела укладывать детей спать.

— Вы вернетесь к нам? — спросил ее Дмитрий Леонидович, сидя на диване и куря папиросу.

— Если они заснут скоро, приду,— ответила она, уходя.

Как и следовало ожидать, Олечка, возбужденная впечатлениями дня, заснула не скоро, и, так как было уже поздно, Елена Ивановна решила не возвращаться в гостиную, разделась и легла.

Сомов просидел с сестрой около часа и, видя, что она устала и зевает, простился и пошел в свою комнату.

Оставшись один, он почувствовал какую-то досаду на то, что Елена Ивановна после ужина не вернулась, и одну минуту эта мысль даже кольнула его самолюбие,— точно она не рада меня видеть, подумал он. Потом он вспомнил ее улыбку при встрече и весь этот день, проведенный с нею, и ему опять стало приятно и весело.

«А как она расцвела. А что, если задержаться здесь еще на сутки?» — подумал он, но вспомнил про сроч-

ное дело, которое было ему поручено правлением, и сейчас же отказался от этой мысли.

Вздор, вздор, говорил он сам себе, лежа в постели с закрытыми глазами, буду думать о другом, вздор, этого не надо.

И, как он всегда делал, когда ему нужно было серьезно настроиться и изгнать из головы какие-нибудь мешавшие ему соблазны, он начал вспоминать о своей умершей жене и вызывать в своем воображении ее образ.

Это общение с памятью любимого человека, похожее скорее на внутреннюю молитву без слов, было тем его святая святых, куда он никого никогда не допускал и которое было для него дороже всего в жизни.

Это был тот светлый уголок, который есть в душе каждого из нас и который нам дорог только благодаря тому, что его никто другой не видит и не знает.

Каждый думает, что в нем одном горит этот свет, и каждый благодаря этому считает себя отменным от других.

И в этом есть доля истины, потому что нет на свете двух людей, в которых божество проявлялось бы одинаково.

Несмотря на усталость, Сомов заснул не скоро.

Вызвав в себе повышенное настроение, он отдался воспоминаниям и долго проворочался на постели, пока сон не спутал его мыслей и не повел их по тому бессознательному пути, где явь настолько близко сходится со сновидением, что бывает невозможно различить их границы. Он заснул, видя перед собой образ своей жены, и выходило как-то так, что эта его жена и Леночка были одни и тот же человек и он ее любил и куда-то звал.

Утром он об этом уже не помнил.

Встав в девять часов и выйдя в сад, он застал всю семью под липками.

Было решено до обеда никуда не ездить и заниматься делом.

Дети пошли собирать вишни, Елена Ивановна тут же, под липками, варила варенье, а Мария Леонидовна в ожидании обещавшего приехать из города покупателя ржи, разговаривала с братом.

Несколько раз ее отрывали по разным хозяйственным делам, и тогда Сомов обращался к Елене Ивановне и продолжал разговор с ней.

— Много читаете? — спросил он ее, увидав лежащую около нее на скамейке книгу.

— К сожалению, нет,— сказала она, мельком взглянув на него и как бы спрашивая, почему он задал ей этот вопрос: для того ли, чтобы напомнить ей, как он давал ей книги, или просто так?

— Я спросил потому, что вижу около вас книгу,— ведь здесь чудесная библиотека,— сказал Сомов, отвечая на ее мысль.

— Да, я уж рассматривала ее. Но она в ужасном беспорядке, да все некогда.

— А как у вас здесь хорошо, с каким наслаждением я пожил бы здесь несколько дней. Знаете, я мечтал, если бы у меня осталось время, на обратном пути заехать опять сюда.

— От чего же это зависит? — спросила Елена Ивановна.

— Да отчасти от дела, а отчасти и от других причин... не знаю, не знаю,— проговорил он про себя и задумался.— Иногда приходится отказывать себе в том или другом не потому, что не хочешь этого, а, наоборот, потому, что слишком хочешь,— сказал он и вопросительно посмотрел на Елену Ивановну.

— Вам так рады будут,— сказала она, выдерживая его взгляд.— Вас так любят дети.

— Да и я рад был бы еще раз видеть вас... всех. ...Не знаю, не знаю, Елена Ивановна, может быть, лучше мне не возвращаться? Если я не заеду,— значит, так надо, не зовите меня,— сказал он и, увидав идущую из дома сестру, замолчал.

Елена Ивановна встала и пошла в сад.

Она была так далека от возможности допустить то, на что намекал Сомов, что совершенно откровенно не поняла его слов и придала им совсем другое значение.

Правда, кроме слов, она видела сердечное выражение его лица, видела в нем что-то родное и бесконечно близкое, но и это, казалось, исходило не от него, а от ее чувства к нему, и это было совершенно естественно, потому что после всего того, что он для нее сделал, она не могла не относиться к нему с благодарностью и любовью.

В четыре часа дня подали лошадей, и вся компания в линейке поехала провожать дядю Митю на вокзал.

Когда поезд уже трогался и Сомов, стоя на площадке вагона и движением руки отвечая отчаянно махавшим детям, встретился взглядом с Еленой Ивановной, он еще раз почувствовал, как больно ему было с ней расставаться, и, как бы в отместку себе за это непрошеное чувство, высунулся вперед и громко крикнул: «До свиданья, до Москвы».

«Вздор, уйду в дело и выкину всю эту дурь из головы»,— сказал он сам себе, входя в вагон, и тут же начал обдумывать свой маршрут с таким расчетом, чтобы на обратном пути проехать по другой линии железной дороги и миновать Акуловку.

В Москву Сомов вернулся к концу месяца и, попав в обычную обстановку, стал опять усиленно втягиваться в свою рабочую лямку.

Воспоминание о двух днях, проведенных в Акуловке, было ему приятно, но как человек, привыкший следить за своими подсознательными переживаниями, он не мог не видеть, что центром этих воспоминаний была Леночка, и это его пугало.

По своим убеждениям и отчасти по свойству его характера, он не допускал поверхностных увлечений женщиной и никогда не опускался до тех дешевых интриг, которые ограничивают всякое чувство временным обладанием. Как до, так и после женитьбы и вдовства у него иногда бывали падения, в которых он потом подолгу каялся, но не было ни одной мимолетной связи.

Благодаря этому он мог относиться к женщине или почтительно-безразлично, или же отдавался ей весь и навсегда.

«Неужели это любовь, неужели это опять то настоящее, чего я боялся и чего не ждал в себе? — думал

он, лелея свои воспоминания о Леночке.— Нет, пустяки, это мне только кажется, надо ее увидать, и тогда все это пройдет». И он стал с нетерпением ждать ее приезда, для того чтобы проверить самого себя, как ему хотелось думать. «Для того, чтобы поскорее ее увидеть и быть опять счастливым»,— нашептывал ему другой голос, более сильный и правдивый.

X

В середине сентября Сомов получил от сестры телеграмму, извещавшую его о дие ее приезда в Москву, и, так как поезд приходил вечером и он был в это время свободен от служебных занятий, он полетел на вокзал ее встречать.

Ходя взад и вперед по платформе в ожидании прихода поезда и поминутно вынимая часы, он с нетерпением посматривал в ту сторону, откуда должен был подойти поезд, и, для того чтобы убить время, стал заниматься арифметическими вычислениями. Он счел, что от одного конца платформы до другого сто тридцать шагов.

Пройдя взад и вперед два раза, он насчитал пятьсот двадцать пять и по часам высчитал, что он прошел эти пятьсот двадцать пять шагов (треть версты) в пять минут.

До поезда оставалось еще три минуты.

Успею еще раз повернуться, подумал он и ускорил шаг, но, дойдя до середины платформы, он увидал впереди дымок и, чтобы не очутиться в хвосте поезда, остановился.

Дым оказался от какого-то маневрирующего товарного паровоза, и Сомов с досадой повернул назад и решил, уже не оглядываясь, дойти до конца.

Когда он повернул, поезд подходил, и он, ускоряя шаг, чуть не бегом кинулся ему навстречу.

Мимо него с грохотом, сотрясая землю, пролетели два паровоза и замелькали вагоны.

Откидывая назад голову и придерживая пенсне, Дмитрий Леонидович вместе с толпой носильщиков толкался около вагонов, ища своих.

Он уже два раза прошел мимо первого и второго класса, когда услыхал сзади себя голоса детей:

— Дядя Митя, дядя Митя здесь,— кричала Олечка, вырываясь из рук Елены Ивановны и подбегая к нему.

— Мама в вагоне, с папой. Она послала в багаж за его колясочкой. Ты с нами поедешь?

Елена Ивановна стояла на площадке вагона и, держа за руку Колю, осторожно сводила его с ступенек.

Увидав ее, Сомов подбежал, принял из ее рук мальчика, поставил его на платформу и тем же движением, как бы желая взять и ее, протянул ей обе руки.

В эту минуту, глядя снизу вверх на ее милое, сияющее радостью лицо, он почувствовал в душе такое полное, большое счастье, что тут как-то сразу ему стало ясно, насколько бесполезны и неискренни были все колебания и сомнения, мучившие его это лето, и он всем своим существом бросился навстречу этому счастью, теперь уже не скрывая его от себя и не боясь.

Когда они встретились глазами, они оба почувствовали, что они не сумеют скрыть свою радость, и они молча смотрели друг на друга, растерянно улыбаясь той заразительной улыбкой взаимного понимания, при которой слова становятся уже не нужны, так как что бы в это время ни говорилось, они ничего не могут добавить к тому, что уже сказано и понято.

Оставив детей и Елену Ивановну на платформе, Сомов побежал в вагон помогать выносить больного, хлопотал о багаже, нанимал экипажи и всякий раз, проходя мимо Леночки, мельком взглядывал на нее, как бы ища проверки своему впечатлению.

И в ее лучистом взгляде он всякий раз читал все тот же счастливый ответ, которым он дышал сам и которым в эту минуту было пропитано все его существо.

В этот вечер, ложась спать, он сознался себе в том, что он влюблен, как гимназист, и заснул бодрым сном человека, довольного нынешним днем и с нетерпением ждущего завтрашнего.

Часть третья

I

На другой день после симуляции своего самоубийства Иван Петрович Мешков сидел в трактире «Моравия» на Сенной площади в компании такого же, как он, оборванца и пил водку.

В этот день ему посчастливилось.

Бродя по улицам, он наткнулся на знакомого человека, бывшего своего собутыльника, Ваньку, по прозвищу «Левша», который был при деньгах и пригласил его попить чайку.

Этот Ванька, известный полиции вор, накануне участвовал в краже и теперь прокучивал свою часть заработка — серебряные часы, меховое пальто и двадцать пять рублей денег.

Он был в том возбужденном состоянии духа, которое бывало у него всегда после «работы» и которое проявлялось в усиленном страхе перед полицией и в страстном стремлении поскорее воспользоваться плодами своего труда.

Он знал по опыту, что хуже всего прятаться, и поэтому в таких случаях он забирался в какой-нибудь людный трактир и, не выходя из него, пил в течение нескольких дней.

Встретясь на улице с Мешковым, он зазвал его с собой и стал его угощать.

В данный момент трудно было бы выдумать для него лучшего собутыльника.

Во-первых, Мешков когда-то его угощал, и Ванька считал себя перед ним в долгу. Во-вторых, это был человек, имевший редкую способность слушать других, и, в третьих, его можно было не бояться и болтать при нем что угодно, потому что за ним была репутация товарища, который скорее попадется сам, чем выдаст вверенную ему тайну.

Взойдя в трактир и оглядевшись небрежным и зорким взглядом человека, привыкшего быть всегда начеку, Ванька выбрал одинокий столик в углу у окна и приказал подать графинчик.

Было одиниадцать часов утра.

В длнниой, узкой и низкой комнате, уставленной тремя рядами столов, было безлюдно.

Около стойкн, за буфетом, несколько человек половых в белых рубашках, пользуясь свободным времеием, сидели за столом н пили чай; какой-то заспаиный мальчнк мокрой мочалочиой шваброй размазывал по иеровиому полу липкую трактирную грязь, н из висящей под потолком, вместо люстры, закопчеиной клетки настойчнво высвистывала свою однообразиую трель визгливая канарейка.

Несмотря на то что на дворе горело яркое февральское солице, в комнате было мрачио н пахло прогорклым табаком и плесенью.

Первый графннчнк был выпит под казенную закуску молча, с тем сосредоточениым, деловым вндом, с каким прнвычиые пьяиицы приступают к затяжному загулу.

Левша после каждой рюмки только покрякивал, а Иваи Петрович моргал слезящимися, виноватыми глазами и вопросительио посматривал по стороиам.

Ои дал себе слово никому ничего не рассказывать о своем самоубийстве, н теперь, в первый раз столкнувшись с малозиакомым ему человеком, он уже чувствовал потребиость выболтать ему все — н крепился.

Потребовав второй графин, Ваиька перегнулся через стол н, взяв Иваиа Петровнча за рукав, таинственио заговорнл:

— Да, брат, плохо мое дело, боюсь, не всыпались ли мы вчера. Дело плевое, а сработано так, что хуже и нельзя. И все отчего? От бабы. Я им говорнл, не мешайте ее сюда,— так нет же. Да что, да как, да она поможет, вот н помогла. Сама влопалась, да н иас подн оговорила, лахудра проклятая.

— А как же это вышло? — спросил Иваи Петрович.

— Как, как? Очень просто. Есть такая Доиька-кухарка. Наиялась иа место к купцу. Вчера хозяин уходил со двора, она нас впустнла. Для вндимостн замок дверной сломали, ее связали, оиа не вытерпела, да и заорала раиьше времеин. Нас дворинк заприметнл. Конечно, свнсткн, городовые — насилу удрали. А теперь вот н не зиаю, что будет, как бы не оговорнла,

стерва; хотел бумагу смеиить и уехать отсюда, да иегде иовую взять. Ты ие можешь подделать? ты ведь грамотей, учеиый.

— Нет, я не умею, если бы я мог, я себе подделал бы,— сказал Иваи Петрович и вдруг смутился.

— Или и ты на наше ремесло перешел?— обрадовался Ваиька.— Пора, брат, пора, чем мнлостыню иа паперти выпрашивать.

— Нет, я так, пошутил, а, что? У меия паспорт есть, я так только.

— Ну, ладно, пей, разберется дело как-иибудь,— говорил Левша, заметив, что Мешков что-то скрывает, и насторожившнсь.

Он знал, что после следующего графиичика Иваи Петрович заговорит сам, и решил ие «спугивать» его — выжидать. У него уже зародился в голове новый проект использования Мешкова, который ои взвешивал в уме и который все больше и больше ему иравился. Только бы удалось, а то и угощения ие жаль, думал ои, наливая рюмки.

— А вы почему думаете, что эта женщина вас выдала?— спросил Иваи Петрович.— Может быть, это и несправедливо.

— Что там думать? Думать нечего, а вот читай, на,— ответил Левша, вынимая из кармаиа иомер «Московского лнстка» и подавая его Мешкову.

— Читай вот тут,— суиул ои пальцем,—«Дневиик происшествий», иашел?

Иван Петрович прочел: «Кража. В первом часу иочи в квартире купца Иваиова по Зиамеискому переулку, в доме №7, совершеиа дерзкая кража со взломом. Прнбежавшнй на крик кухарки дворник нашел дверной замок сломаиным, квартиру ограбленной и кухарку прнвязаииой к кровати. Показания кухарки сбивчивы и дают осиоваиия предполагать ее участие в заговоре. Дело передаио судебному следователю».

Далее, под заглавием «Самоубнйство в проруби» было краткое сообщенне о иаходке иа реке пальто и запнски мещаиииа Мешкова, за последиее время страдавшего запоем. В коице было добавлеио: «Производится дозиаине».

Прочтя первое сообщение вслух и натолкнувшись на второе, Иван Петрович просмотрел его два раза, как бы не веря своим глазам, и испуганно взглянул на Левшу, который в это время крутил папироску и, казалось, не обращал на него никакого внимания.

— Ну,— сказал он, когда Иван Петрович свернул газету и положил ее на стол,— что теперь скажешь? Дай-ка сюда «Листок».

— Что ты там еще читал?

— Ничего, так пустяки,— мялся Мешков, задерживая в руках газету,— это так, я про себя читал,— вдруг неожиданно для самого себя сознался он.— Вы меня не выдавайте, это я только вам говорю.

— Ну-ка, ну-ка, покажи, чем ты прославился,— сказал Левша, разыскивая интересовавшее его место.

— Э, брат, да ты министр, такой штуки и мне не обдумать, ну, голова. Неужели это ты? Убил кого-нибудь?— спросил он уже шепотом, нагнувшись к самому уху Мешкова.— Ну, голова, он вот какие штучки отчебучивать может, а я и не ждал от тебя такой прыти. Ну, рассказывай чередом, ты знаешь, я — могила, язык вырвут, не скажу ничего, говори, что наделал? Молодчина, ай да Иван Петров, а ты говоришь. Он тихоня, а хорош. Ну-ка, выпьем,— заключил он, наливая по рюмке и разрывая на ломти пустой соленый огурец.— От каких подвигов хоронишься? Говори.

— Ни от каких я подвигов не хоронюсь, Иван Харитонович,— сказал Мешков, беря трясущейся рукой рюмку и расплескивая ее,— просто жить надоело, я и хотел утопиться, а потом страшно стало, раздумал и ушел, а больше ничего не было.

— Как же это ничего? ну, а если ты теперь попадешь в участок и узнают тебя, тебе что будет? ничего? Как же ты теперь так ходишь по Москве без опаски? Ты что ни пой, а я вижу, что ты хуже меня наколобродил. Чтобы ты утопиться хотел, да раздумал? Как же, поверил я тебе, нашел дурака. Ну да ладно, не в том толк. А пачпорт твой при тебе?

— Как же, вот он,— сказал Мешков, берясь рукой за боковой карман.

— Ну-ка, покажи.

Иван Петрович вынул завернутую в газетную бумагу трепаную книжку и молча подал ее Левше.

«Родился в 1846 году, православный, женат первым браком на девице Елене Ивановне Поповой, особых примет не имеет»,— просмотрел Левша и передал паспорт обратно.

— Тээк-с,— протянул он, задумавшись.

Мешков, как подсудимый, ждал заключения Ваньки и виновато молчал.

Он чувствовал себя виноватым в том, что проболтался перед чужим в том, что он женат первым браком на девице Поповой, в том, что у него не оказалось особых примет, и в том, главное, что он не досказал всей правды Левше. И в эту минуту, если бы Левша произнес над ним смертный приговор, он, пожалуй, не удивился бы и подчинился бы ему беспрекословно.

— Тээк-с,— повторил Ванька и, приподняв пустой графин, переставил его на другое место.— Что же ты теперь будешь делать? Ведь твоя бумага тебе не годится, ну? Другой нет. Сейчас, скажем, подойдут к тебе: «Пожалуйте в участок, позвольте вид», что ты подашь? Посмотрят: «А это вы в прорубке утонули?» Ну? «А это вы там то и другое прочее?» Ну? Что ты будешь делать?

Видя полное смущение на лице Мешкова, Ванька на несколько минут замолчал, посматривая на него выразительным взглядом, как бы изображая из себя того самого строгого полицейского, чьим языком он говорил, и ожидая ответа.

Видя, что Иван Петрович не отвечает и тем признает себя побежденным, он перешел на более мягкий тон и продолжал:

— Тебе одно остается: как-никак сменить бумагу — и марш отсюда куда глаза глядят, пока не влетел. Ты думаешь, этим вещами шутят? Ну? Ах ты, овца этакая, [точно] что овца. Хочешь, я тебя, так и быть, выхручу по-приятельски? На, так и быть. Давай пачпортами сменимся, только с уговором: иначе же чтобы нам обоим здесь не быть. Куда хочешь поезжай — в Питер ли, в провинцию ли, только тут чтобы не оставаться. Поедем в Рязань. До Рязани я тебя довезу, а там куда хочешь девайся, а раньше года в Москву чтобы не по-

казываться. Ты только скажн, ты точно никого не убнл?

— Нет.

— Ну, а ежелн украл что, так это не беда. Идет, что ли?— спроснл он, выннмая из кармана толстый клеенчатый сверток и развертывая его.— Такой же, как твой, рождеи в сорок восьмом, особых примет иет, и жеиа на прндачу. Бери совсем с ией, и детей тебе отдам. Их там в деревие штукн трн есть, от безрукого пастуха. Я не вндал, а землякн приходнлн, говорят, ребята здоровые. Я ведь крестьяннн ярославский. Да, смотрн, пачпорту скоро срок, в волость посылай переменнть, а сам не показывайся. А твоя жена хороша нлн нет? молодая?

Прн этом вопросе Иван Петровнч весь съежнлся.

Комбниация перемеиы паспортов, на первый взгляд ему поиравившаяся, теперь его испугала н сразу отшатнула его от себя. Несмотря на выпнтое внио, он представнл себе, как пьяный Левша прндет к Леночке н будет предъявлять ей свои права, и ужаснулся.

Он хотел уже возражать, но Ванька, заметнв по его лицу, что он заехал не туда, сразу переменнл тон и заговорнл нначе:

— Нет, брат, хороша,— не хороша Маша, да не наша. От хорошей жены не будешь по ночлежкам шататься да воровать да в прорубь лазнть! Пншется, женат, а для кого женат, для людей? Кормн ее, одевай, обувай, а она вот что, все в лес глядит, окаяниая,— что, окаяиная?

Как богатая была, ты сам бы от нее ие пошел, а бедная н мие не нужна. На мою долю баб хватнт, да годочкн мон сталн уходнть, вндит око, да зуб ие стал брать, вот что; был конь, да нзъезднлся,— закончил он, цнннчно улыбаясь.

Последнне рассуждення Левши, подкрепленные свежнм графнном водкн, настолько успоконлн Мешкова, что ои тут же согласнлся иа все его предложеиня и решнл, ие откладывая, иынче же иочью выехать с инм в Рязань. Куда он денется после, он еще ие знал, но поездка эта ему нравнлась н казалась в эту мииуту совсем целесообразной.

К семи часам вечера оба приятеля, сильно пьяные, были уже на вокзале и с первым отходящим поездом ехали в Рязань.

На Левше было почти новое хорьковое пальто, украденное им накануне, а на Мешкове — поношенный рыжий дипломат, подаренный им Ванькой в знак дружбы.

В кармане у Мешкова был паспорт на имя крестьянина Ярославской губернии и уезда Ивана Харитонова Савостьянова, женатого первым браком на девице Фекле Ивановне Ореховой.

Когда утром поезд стоял на станции и проходивший мимо кондуктор разбудил Мешкова, он очнулся в опустевшем вагоне, и Левши уже след простыл.

Он протер глаза и, ежась от холода, пошел в зал третьего класса умываться под холодным краном, около которого теснились в ожидании очереди и фыркали водой пассажиры.

II

В холостой жизни Мешкова, еще задолго до его женитьбы, бывали периоды, когда он предавался странствованиям.

Он просто брал в руки палку и отправлялся гулять по России без всякой определенной цели, куда глаза глядят. Таким образом, он побывал на Кавказе, в Архангельске и исходил все Поволжье, которое особенно любил.

Он ходил настоящим странником, ночуя где придется и питаясь Христовым именем, часто присоединяясь к партиям богомольцев и ничем от них не отличаясь.

После нескольких дней путешествия его городской костюм постепенно опрощался и приспосабливался к ходьбе, и в конце концов он оказывался одетым в ту пеструю смесь городского и деревенского, которая смелостью своих сочетаний безошибочно характеризует нашего русского паломника.

Одной из первых и необходимых перемен была обувь, которая непременно заменялась веревочными чунями, мягкими и покойными. Затем, смотря по временам года, приспосабливалась шапка, часто заменяе-

мая старым военным картузом. Остальная часть одежды зависела от причин случайных и разнообразилась безгранично. Бывали даже случаи, что вместо пиджака носилась женская ватная кофта, подпоясанная в талии в виде блузы.

Безропотная покорность характера и необыкновенная терпеливость в физических лишениях делали то, что Мешкова всюду жалели, и где бы он ни останавливался, даже в самых бедных крестьянских избах, им не тяготились и не гнали его, пока он сам не возьмет свою палку и не отправится дальше.

В любую семью он входил как свой человек и сейчас же приспособлялся и начинал жить ее интересами. Он одинаково охотно ходил за водой, рубил для бабы дрова, качал люльку и, когда нужно, писал деловые бумаги, прошения и другое.

За писания он иногда получал деньги, и это был его единственный заработок.

Случалось иногда, что в каком-нибудь большом селе он задерживался подолгу, кочуя, как портной, из одного дома в другой, давая юридические советы и составляя соответствующие бумаги. Как-то даже, раза два, ему приходилось заменять в волостях загулявших писарей.

Во время своих путешествий Иван Петрович никогда не пил вина, и редкие случаи запоя, которые у него в это время бывали, наступали только тогда, когда он заживался в одном месте слишком долго. Тогда он в несколько дней пропивал весь свой заработок, доменивал одежду до прежнего хлама и незаметно исчезал.

Трудно сказать, что, собственно, толкало его на странствия.

Когда его об этом спрашивали, он отвечал неопределенно, путаясь в своих вечно «что? как? а?» и ничем не поясняя вопроса.

Это и понятно. Потому что эта чисто славянская черта была у него врожденная, и, как все врожденное, он ее не сознавал. Он не сознавал в себе того созерцательно-поэтического настроения, в которое он бывал погружен во время ходьбы и которое открывало ему неиссякаемый источник жизни, правдивой и любовной.

В этом человеке, нищем духом и от природы мало одаренном, теплился свой внутренний маленький огонек, который он нес и которым питался не только сам, но и светил другим таким же беспомощным и безответным, как и он.

Для него природа и все окружающее были не фоном для его личных эгоистических переживаний, как это бывает у большей части интеллигентных людей, а это была сама жизнь, и пульс этой жизни он слышал гораздо полнее, чем биение своего собственного сердца.

Как поэт, он видел всю красоту жизни, но переживания его были теплее, потому что они не были отравлены стремлением воплотить их в узкие рамки литературной формы и перенести их на бумагу.

В его тощем словаре не было слов, которыми обыкновенно описываются красоты природы и связанные с ними порывы души, и эти слова были ему не нужны, потому что жизнь отражалась в нем непосредственно, не проходя через призму фразы и не охлаждаясь распадением на избитые цвета привычных слов.

Он одинаково любовно смотрел своими слезящимися, моргающими глазами и на березку, весело красующуюся своим весенним убором, и на жука, переползающего через дорогу, и на ребенка, неистово кричащего в своей вонючей люльке, и даже на урядника, строго требующего от него паспорта, и во всех случаях он, не ставя себе никаких вопросов, просто инстинктивно поступал так, чтобы меньше вредить другим.

И эта его безобидность чувствовалась не одними только людьми; в течение всех его странствований по деревням его ни разу не укусила ни одна дворная собака, как бы злобна она ни была.

III

Очутившись в Рязани без копейки денег, Иван Петрович начал с того, что пошел на базар и там у какого-то еврея сменил свой городской дипломат на старый ватный пиджак.

Через три дня, пропив вырученную придачу, он приобрел себе теплые онучи и лапти и, несмотря на холод, пошел в Крым.

Была та пора ранней весны, когда сиег начинает садиться н по буреющнм, выпяченным кверху ухабнстым дорогам попадаются первые прилетные грачи, почему-то в это время особенно смирные и ленивые.

Прн прнближеннн пешехода они долго ндут впереди него пешком, нзредка оглядываясь, и только под самым его носом иехотя взлетают, чтобы сесть в снег в пятн шагах от дорогн н, по проходе его, опять вериуться на прежнее место.

У мужиков есть примета, что если весной дорога пупом, то летом мука будет дорога. И эта примета всегда подтверждается, потому что дорога выпячивается каждую весиу н каждую весну подымается цена на хлеб.

Через несколько дней грачей становнтся больше, и оии уже собираются стайками иа растаявших прогалннах.

Солнце начииает греть сильнее, и вдруг неожнданио доносится откуда-то сверху забытая за знму песия жаворонка, чарующая и манящая.

И всякнй, чем бы он ни был занят, что бы ои нн делал, подымет глаза н, щурясь от яркого солнца, ищет в сниеве эту чуть заметную точку — этот органчик, воплощающнй в себе в эту миичту настроенне всего окружающего мира.

Старые хозяева-мужнки с девятого марта, дня памятн сорока мучеников, иачннают счнтать сорок утренинков, и, пока утреннннки ие нзбудут, они нзбегают сажать огурцы и сеять коноплю.

В это время в полях, по лощниам, из-под рыхлеющего снега напнрает вода, по деревням, около дворов собираются темно-бурые лужн, с соломеииых крыш из-под пелены, золотясь в лучах солнца, падают желтые каплн, и в избах, особенно там, где иет деревянных полов, стены отмокают н делаются склизкими.

Из-под полатей и нз-под печки особенно резко пахнет навозом от запертых там телеика нли ягнят.

Дети, в одннх рубашонках, простоволосые, ютятся около заваленок, бабы белят холсты, и перед открытым сараем мужнк с топором в руках, не спеша обтесывает новую дубовую ось или облаживает соху.

Весна. Природа радуется победе солнца и начинает оживать. Кажется даже, что кое-где зеленеет трава, реки разливаются и гонят бесконечные груды льда — вот-вот все растает,— и вдруг опять тучи, мороз, снег, и вчерашняя радость кажется сказкой, и, как назло, отживающая зима в предсмертной судороге опять сковывает мир и держит его несколько дней, а иногда и недель.

Птицы куда-то исчезают, и только ослепительная белизна нового, недолговечного снега говорит о том, что где-то там, за тучами, солнце еще горит и бережет свою ласку, чтобы потом сразу отогреть свое детище и поделиться с ним своей предвечной красотой и жизнью.

Мешков шел к югу, и, хотя он не спешил и проходил в день верст по двадцать, для него встреча весны была на несколько дней короче, чем если бы он оставался на месте.

К благовещению он был уже недалеко от Воронежа и шел по сухой дороге, на которой местами даже попадалась пыль.

В одном из больших степных сел ему пришлось задержаться на месяц по просьбе священника, у которого заболел учитель приходской школы.

Иван Петрович прекрасно подготовил детей к экзамену, сам на нем не присутствовал и в тот же день запил и ушел дальше.

К осени он был в Новочеркасске, потом пробрался в Крым, обошел побережье, участвовал в сборе винограда и к зиме попал в Одессу.

Здесь он заболел тяжелой формой болотной лихорадки и пролежал при смерти всю зиму.

В поисках за каким-нибудь заработком, бродя по гавани, он встретился с компанией золоторотцев, занимающихся выгрузкой кораблей, и примкнул к их артели.

Так как все они были люди пришлые, у них завязалась конкуренция с местными судовыми рабочими, и на почве этой конкуренции разгорелась злейшая вражда двух партий.

Судовые жили где-то в городе, а пришлые нашли себе приют в стогах сена, стоящих в поле, недалеко от предместья.

Эти стога, когда-то и почему-то не принятые интендантством, гнили на одном месте несколько лет, и в них люди поделали себе норы и жили.

Пока Мешков был здоров, он вместе с товарищами ходил в гавань и работал. Заболев лихорадкой, он некоторое время не обращал на нее внимания и крепился, но в конце концов болезнь его свалила, и он остался в своей берлоге, угасая медленно, но верно.

Он, вероятно, умер бы, никем не замеченный, если бы его не спас случай.

Как-то в праздник судовые рабочие, благодаря пришельцам оставшиеся без дела, напились и пошли на своих врагов войной. Они вооружились кто чем попало и пришли к стогам.

Не видя никого, они начали острыми навозными вилами тыкать в норы, ища там людей.

Иван Петрович лежал и все слышал.

Он знал, что, когда дойдут до его норки, его заколят. Прятаться было некуда, а бежать он не мог.

Тогда, собрав последние силы, он выполз наружу и стал перед своими палачами.

Полураздетый, с всклокоченными волосами и с лихорадочно блестящими глазами, он настолько поразил рабочих своим неожиданным явлением, что они в первый момент опустили вилы и расступились.

Тогда он оглядел всех и кротко улыбнулся. Потом подошел к тому, который стоял с вилами ближе других, и, развернув ворот, сказал спокойно: «На, коли».

Молодой придурковатый малый растерялся.

Мешков постоял несколько секунд молча, потом улыбнулся еще раз как-то странно и тихо опустился на землю.

Малый с вилами поддержал его за руку и помог ему сесть около стога.

Иван Петрович в полубреду говорил что-то несвязное и беззвучно смеялся.

Рабочие переглянулись, кто-то из них сказал: «Пойдемте»,— и все молча направились к городу.

На другой день какой-то человек на извозчике приехал за Иваном Петровичем, и его, чуть живого, отвезли в городскую больницу, где он пролежал полгода.

К весне кое-как оправившись, он выписался и не спеша побрел к Москве.

Между Одессой и Киевом тянутся голые степи, местами мало населенные, сухие и пыльные. По ровным скучным полям иногда десятками верст не попадалось селений, и только суслики, стоя на часах на задних лапках около своих норок и при приближении человека жалобно посвистывая, немного оживляли бесконечное однообразие пути.

В деревнях, населенных пестрой смесью разных народностей, малороссов, молдаван и евреев, не было того радушия, которым отличается наш чисто русский центр, и Мешкову этот переход был тяжел во многих отношениях. Несмотря на свою физическую слабость, он не задерживался нигде более одной ночи и добрался до Киева к началу июня. Тут ему было хорошо, и он задержался на целый месяц, смешавшись с богомольцами и питаясь с ними около монастыря.

Дальше он шел по знакомому Московско-Киевскому шоссе, по которому он хаживал раньше, в первые его странствования.

Многие попутные села он узнавал и кое-где встречал старых знакомых.

IV

Иван Петрович подходил к Москве в конце сентября.

Последние этапы своего пути он шел с лихорадочной поспешностью, почти не отдыхая и проходя иногда по тридцать верст в день.

Чем ближе он приближался к цели своего путешествия, тем тревога его становилась сильнее и тем более он сознавал свое бессилие борьбы с мучительным волнением, которое его охватывало и которое, как он уже знал по опыту, должно было неминуемо привести его опять к непробудному запою.

За эти полтора года, с тех пор как он выехал в Рязань и расстался с Левшой, он не имел никаких сведе-

ний об Елене Ивановне, и эта неизвестность его мучила нестерпимо.

Он знал, что, показываясь в Москве, он этим подвергает и себя и Леночку опасности, но желание узнать что-нибудь о ее судьбе и даже, может быть, увидать ее было в нем настолько повелительно-сильно, что он почти сознательно шел на риск и тешил себя самыми наивными детскими самообманами, из которых главный и самый для него опасный — это было его твердое решение не пить вина.

На этот раз борьба с самим собою была для него особенно трудна еще потому, что он чувствовал в своем кармане около пяти рублей денег, которые он получил две недели тому назад в одном из попутных имений, за два месяца караула яблочного сада.

Эти деньги, завязанные узлом в старом грязном платке, давали ему возможность безбедно прожить в Москве около месяца, и в то же время он знал, что этого никогда не случится и что в лучшем случае он продержится два-три дня, а может быть, и меньше.

Проходя по бесконечному предместью Серпуховской заставы, мимо оживленно торгующих трактиров, он уже чувствовал соблазн и шел, напрягая свою волю и борясь.

Придя в Москву перед вечером и добравшись до Хитровки, Иван Петрович разыскал знакомую ночлежку, заплатил за койку вперед за целую неделю и лег спать.

На следующее утро он встал бодрый и сейчас же принялся за розыски Левши, которого он намеревался послать на разведку об Елене Ивановне и с которым рассчитывал, кстати, опять разменяться паспортами.

На этот раз ему повезло.

В первом же трактире, куда он зашел за справками, он нашел Ивана Савостьянова, сидящего, по обыкновению, за полбутылкой водки и уже немного навеселе.

— А, утопленник, иди садись, сколько лет, сколько зим, эй, половой, давай стаканчик! — закричал Левша, утирая рукавом губы и лезя целоваться.— Ну, рассказывай, где был, что делал?

— Я вина пить не буду, Иван Савостьянов,— сказал Мешков, садясь,— я чайку спрошу.

— Это еще что за новости? С каких пор?

— Да так, зарекся, а вы как поживаете?

— Ничего, живем, хлеб жуем, винцо попиваем, слава богу. Так не будешь пить? Ну, черт с тобой, убытку меньше, давно заявился в наши края?

— Вчера вечером. А я вас искал, Иван Савостьянов, мне к вам дело есть.

— Ну, говори, какое?

— Я хотел спросить вас,— Мешков замялся,— вы про мою жену ничего не знаете?

— Это вы про которую, про Феклу или про Алену? — сострил Левша.

— Про мою, про Елену Ивановну.

— Так это не твоя, а выходит, теперь моя. Нет, не удосужился познакомиться, а на что она тебе?

— Да так, хотел бы узнать, жива ли она, а сам я не смею показываться, ведь я же числюсь умершим, мне никак нельзя,— ну вот, я и хотел вас попросить, не можете ли вы мне помочь?

— Нет, ты скажи, на что она тебе? — допытывался Левша.

— Да так, я думал... а?..

— Что там так... Так ничего не бывает. Ну, говори толком, что ты жвачку жуешь, ну? От кого прячешься? Кабы она тебе не нужна была, не стал бы ты ко мне лезть, стало быть, есть зачем, ну?

— Правда же, Иван Савостьянов, мне ничего от нее не нужно, мне только хочется узнать, где она и как сложилась ее судьба?

— Ну, а если я ее найду, что же? Поклон от тебя передать? Велел, мол, кланяться, и только?

— Что вы? что вы,— испугался Иван Петрович,— разве это возможно? ведь она не знает, что я жив, она никогда не должна знать этого.

— Ну, вот, опять лжешь. Ну, кого ты обманываешь? Не знает она, как же, небось вместе и записку-то писали предсмертную. Ах ты, чудак этакий, меня морочить хочешь. Не знает...— И Левша важно откинулся на спинку стула и смерил Мешкова насмешливым взглядом

Видя, что Иван Петрович ничего не возражает и только моргает, он некоторое время помолчал, потом заговорил уже новым, деланно деловым голосом:

— Вот что, Иван Петрович, черт с тобой, с твоими обманами, меня ты все равно не проведешь, я под тобой на три аршина вижу, а ежели надо, я, так и быть, сделаю. Говори, куда идти, а там видно будет. Я, пожалуй, сегодня перед вечером и схожу.

— Я боюсь, Иван Савостьянов, что вы меня выдадите, вы лучше к ней не ходите. Можно стороной узнать, а, что? Вы можете ее напугать... Я укажу вам одну старушку.

— Ну?

— Вы только зайдите к ней и спросите, куда переехала Елена Ивановна Мешкова, жена писаря,— она все вам расскажет. А про меня ничего не говорите. Помер и помер, больше ничего.

— Эка ты меня учишь, как маленького. Сказано, что нет тебя — и все тут. А она кто, эта старуха? Хозяйка?

— Нет, не хозяйка, а вроде этого, она тоже к себе жильцов пускает и котел держит.

— Ну, ладно, найду; где жительство-то ее?

— Проточный переулок, дом Трифонова.

— Знаю. Тебя завтра где найти? Приходи опять сюда в это время. Ладно? А теперь будь здоров, мне пора на фарт,— сказал он, выпивая последний стакан водки и выкидывая на стол деньги,— завтра принесу тебе поклон от твоей вдовушки.

— Иван Савостьянов, я хотел еще просить вас,— сказал Мешков, вставая.

— Это насчет чего?

— Насчет паспорта.

— Так что же?

— Нам не лучше ли разменяться обратно?

— Ну, брат, об этом некогда сейчас начинать, после поговорим, там видно будет,— сказал Левша, беря шапку и идя к двери,— не в бумаге счастье.

Иван Петрович посмотрел ему вслед, хотел было что-то сказать, но раздумал и сел опять к столу допивать свой чай.

V

По тому, как Мешков интересовался своей женой, а также по той осторожности и недоговоренности, которая сквозила в его словах, Левша заключил, что что-то от него скрывается, и, как ловкий плут, он решил заняться этим делом немедленно, а самого Мешкова по возможности отстранить.

Выйдя из трактира, он пошел прямо в Проточный переулок и принялся за поиски Антоновны.

Забравшись в ее каморку под предлогом найма угла, он попросил ее напоить его чайком и достал из кармана полбутылку.

Увидав вино, старуха растаяла и приняла гостя очень радушно.

Подливая ей по рюмочке и выпивая сам, Левша скоро навел ее на разговор о Мешковых, и через несколько минут он выведал от нее все, что ему было нужно.

Оказалось, по словам Антонихи, что Леночка после смерти мужа была больна, потом ее увез к себе чиновник Сомов, женился на ней, и теперь они живут на Поварской в доме Старикова.

— Живет как барыня; горничная, кухарка, няня при ребенке, за квартеру шестьдесят рублей платит, вот как! А тут помирала, так накрыться было нечем. Я сама у нее после того два раза была, она меня чайком потчевала,— заключила старуха, поглядывая на пустую бутылку.

— Ну, а муж-то ее взаправду помер? — спросил Левша.

— Как это взаправду? это Иван Петров-то? Конечно, взаправду. Он ведь утопился тогда, спьяну, что ли. Его весной выловили. Она сама ходила его опознавать в части и хоронила сама. Да туда ему и дорога, прости господи, я его не любила,— так какой-то вроде блаженного, дурачок. Он хоть и добрый был, бывало, мухи не обидит, а что в нем толку, в его доброте-то? По мне, лучше зверем будь, да делай дело. Меня мой покойный муж как колачивал, а я его любила. А за что? за то, что человек, а не сопля кислая, вот что.

Что же, нечто сходить за полбутылкой, так н быть, я теперь тебя угощу.

— Нет, бабушка, не надо, лучше в другой раз,— остановнл ее Левша,— мне сейчас некогда, надо идтн. Так уголок мне оставьте, когда освободнтся, хоть через недельку, я тогда зайду. Ну, будьте здоровы.

— Прощай, мнлок, заходи же, будешь доволен, у нас тут жнтье хорошее.

— Кабы не хорошее, не пришел бы к вам, прощевайте. Где тут выход?

— Вот сюда, батюшка,— сказала старуха, показывая на корндор,— по лестнице не оступнсь.

Левша зажег спичку, огляделся н, осторожно пробираясь ощупью около сырых темиых стен, вышел на улицу.

Из всего, что он узнал от старухн, он вывел трн заключення: во-первых, то, что Иван Петрович Мешков гораздо тоньше и хитрее, чем он казался ему раньше. Во-вторых, что Елена Ивановна Мешкова участвовала в заговоре с мужем н умно им воспользовалась. И, в-третьнх, что ему, Левше, надо извлечь нз всего этого хорошую выгоду.

Установнв этн три основные положення, Левша быстро обдумал план своих действнй и решнл сейчас же, не говоря ннчего Мешкову, идти к Сомову.

VI

Дмнтрнй Леонндовнч только что вернулся со службы н собнрался обедать, когда ему доложнли о приходе какого-то мужчины, желавшего его видеть по делу.

Не любя задержнвать посетителей, Сомов забежал в детскую, попросил жену подождать несколько мннут с обедом н вышел в переднюю.

Подойдя ближе к Левше и по его внду решив, что ему не надо подавать рукн и что можно переговорнть с нним стоя, он спроснл его, что ему надо.

— От Ивана Петровнча поклон вам принес,— сказал таинственно Левша, наклоняясь к самому уху Сомова.

— От какого Ивана Петровича? — спроснл Сомов, отступая на один шаг и поправляя пенсне.

— От Мешкова-с,— тем же тоном продолжал Левша.

— Послушайте, если вы пришли ко мне по делу, то говорите, а если вы хотите шутки шутить, то я попросил бы вас меня от них избавить,— холодио сказал Сомов, отходя и как бы заканчивая этим разговор.— Здесь шутить ие время и не место.

«Зиает кошка, чье мясо съела,— подумал Левша,— значит, и он с ним заодно, иу ладио же».

— Как вам будет угодио-с,— сказал он вкрадчиво.— Если прикажете, я могу уйти-с, я для вас хотел лучше сделать, предупредить-с.

— В чем предупреждать? Я говорю вам, чтобы вы перестали шутить.

— Я не шучу-с, а только как ваша супруга теперь, выходит, вроде как за вторым мужем-с, а первый оказывается жив-с, я и думал-с...

— Кто жив? Иван Петрович? Послушайте, я уверен, что вы иагло лжете, но, чтобы дать вам возможиость сообщить мне то, зачем вы сюда пришли, я попрошу вас зайти в кабинет,— сказал Сомов, отворяя дверь и пропуская Левшу вперед.— Садитесь, пожалуйста.

— Ничего, ие извольте беспокоиться, постоим-с,— сказал Левша, отходя в сторону и остаиавливаясь у притолоки.— Вот папиросочку бы одолжили, а то, признаться, давно ие курил-с, свои вышли.

— Извольте, ну, теперь потрудитесь мне сказать, что вы врете отиосительно Иваиа Петровича Мешкова и какие у вас о нем сведения.

— Сведений никаких нет-с, а только что я его самого видел.

— Самого? Не может быть этого. Когда?

— Вчера видел, сегодия видел-с, да и раньше того, после его утоплеиия видал. А вот если прикажете, и бумага его-с, пожалуйте посмотреть.

Левша достал из кармана паспорт и подал его Сомову.

— Извольте видеть-с, прописан в Рязани, в Саратове, в Москве, потрудитесь последние числа посмотреть.

В Якиманской части первого участка явлен десятого сентября, какого года? нонешнего?

— В Саратове когда? в апреле? какого года? Паспорт не доказательство,— пытался защищаться Сомов,— могли его похитить.

— Так точно-с, могли. Ну а сам он своей личностью есть доказательство?

— Но самого-то вы мне не покажете?

— Нет, покажу-с, когда вам будет угодно. Вы на меня не извольте гневаться, я тут ни при чем-с.

— Ну, что вы врете, ведь его труп найден и опознан.

— Кем это труп опознан-с? Вашей супругой, его вдовой? Простите меня, господин, да ведь вы сами изволите понимать, что это опознание ничего не стоит-с. Здесь, если позволите и мне выразиться по-судебному-с, то, можно сказать, даже заметно заранее обдуманное намерение-с. Ивана Петровича схоронили, вдова замуж вышла-с, а настоящий трупик-то по воле гуляет. Вот как это дело обмозговано-с,— не унимался Левша, покуривая папироску и издеваясь. Он видел на лице Сомова смущение и начал наседать на него смелее все тем же подло заискивающим тоном.— Мы не будем прятаться-с, вы сами изволите понимать, что неудобно же ему самому сюда приходить. Прислуга может заметить или еще кто; письмо писать тоже по такому щекотливому делу рискованно, я вот поэтому и пришел от его имени-с. Нам желательно не доводить дело до суда, а так как-нибудь разойтись, по-хорошему.

В словах Левши слышалось столько уверенности, что Дмитрий Леонидович заколебался.

— Что же, собственно, вам нужно, я все-таки не вижу цели вашего прихода,— спросил он.

— А вот сейчас доложу-с: я изволю быть доверенным Ивана Петровича-с. Вы изволите незаконно пользоваться ихней законной супругой-с. Мы, конечно, суда не желаем, и, хотя у нас имеется полное право нашу супругу с ребенком взять, но мы можем вам сделать снисхождение-с. За это вы нам уплатите деньги, мы вам выдадим расписочку-с.

Видя, что Сомов молчит, Левша продолжал:

— Тысяч пять немного будет-с? В крайнем случае рассрочку можем сделать. А самого трупика-то мы вам покажем во всякое время-с, пожалуйте хоть сейчас.

В это время дверь кабинета отворилась, и вошла Леночка.

— Митя, суп подан, ты скоро освободишься? — сказала она, отвечая кивком головы на вежливый поклон Левши.— Я скажу, чтобы его в кухню опять унесли, если ты занят. Извините, что я помешала вашему разговору.

— Нет, я сейчас, Леночка, иди, я сейчас приду,— сказал Сомов, нетерпеливо посматривая на дверь.

Леночка еще раз извинилась и вышла.

Дмитрий Леонидович закурил папироску и задумался.

Левша, не пропустивший ни одного движения Елены Ивановны и в то же время зорко всматривающийся в лицо Сомова, тоже замолк. Он поймал ревнивый, влюбленный взгляд Дмитрия Леонидовича, и это было ему на руку.

Кроме того, его поразила счастливая красота этой свежей, жизнерадостной женщины, и он уже начал жалеть, что назначил за нее слишком малую цену.

«Стоит дороже кому не надо,— подумал он,— ну да ладно, так и быть».

Сомов встал со стула и нервно зашагал по комнате. Повернувшись взад и вперед несколько раз, он остановился в упор против самого Левши и, глядя ему в глаза, проговорил как-то резко и отрывисто:

— Я сейчас вам никакого ответа дать не могу, я должен подумать и взвесить все, что я от вас узнал. Я попрошу вас дать мне ваш адрес, и завтра утром вы получите от меня письмо. Или я вас вызову к себе, или назначу вам свидание в другом месте. Вы можете прийти с Мешковым?

— Я могу с ним прийти, но говорить вам с ним не придется-с.

— Почему?

— В постоянном запое, сами изволите знать,— соврал Левша.— Адрес мой будет: до востребования, Главный почтамт. Литеры И. С. Л.

— Так до свиданья.

— На расходы что-нибудь позволите у вас попросить.

Сомов торопливо достал кошелек и вынул первую попавшуюся бумажку.

Левша небрежно взял деньги, повертел их в своих огромных мозолистых пальцах, положил в карман и, поклонившись, вышел.

VII

— Кто это у тебя был, Митя? — спросила Елена Ивановна, когда Сомов, проводя Левшу, вошел в столовую и сел за стол.

— Так, проситель какой-то, я даже не знаю его фамилии.

— Какое у него неприятное лицо,— сказала Леночка, отодвигая стул и садясь к столу.

«Уж не знала ли она его раньше? — шевельнулось в голове у Сомова. Он внимательно посмотрел на жену и промолчал.— Ведь если она участвовала в этом обмане, так она должна была знать этого человека. И оттого она и смутилась, когда вошла в кабинет и увидала его. Неужели это так? Неужели я в ней ошибся?» — мучился он.

— Митя, суп остынет, кушай,— сказала Леночка, тряся его за локоть и смотря на него своим наивно-ласковым взглядом,— что это, правда, придет какой-нибудь человек и расстроит тебя. Я скажу, чтобы перед обедом никого не принимали.

Дмитрий Леонидович поднял глаза на жену и промолчал. Она улыбнулась своей милой, виноватой улыбкой и опустила глаза на тарелку.

«Нет, не может быть, так лгать нельзя,— подумал он, успокаиваясь, и ему стало стыдно за свои подозрения.— Ничего не скажу и ничего не буду решать, пока не узнаю определенно, в чем дело. Может быть, она не виновата, а может быть, и все то, что говорил этот человек,— вранье». И он опять и опять начинал вертеть в своей голове все ту же неразрешимую загадку, и чем больше он думал, тем она казалась ему сложнее и запутанней.

После обеда он ушел к себе в кабинет и не выходил из него до ночи.

Как это ни кажется на первый взгляд странным, но людям сильным волей и умом всякая душевная борьба достается гораздо труднее, чем людям слабовольным.

Там, где человек маленький терпеливо гнется и малодушно выжидает, пока захватившая его буря не унесется, человек большой, напротив, напрягается изо всех сил, и чем сильнее опасность, тем упорнее его сопротивление.

Оставшись один и вполне овладев собой, Сомов начал шаг за шагом обдумывать свое положение, стараясь быть спокойным и логичным.

Прежде всего он задал себе вопрос: правду ли сказал ему сегодняшний посетитель и действительно ли жив Мешков?

Вспомнив увереннный тон Левши и некоторые подробности его разговора, он решил, что да, вероятно, Мешков жив, хотя это требует неопровержимого доказательства, без чего ничего предпринимать нельзя.

Остановившись на этом положении, Сомов пошел дальше: если Мешков жив, какие из этого следуют последствия?

Первое — это расторжение брака Елены Ивановны с ним, Сомовым, и второе — это признание их ребенка незаконным.

Да, да, несомненно, так, иначе быть не может, говорил он себе, бегая взад и вперед по комнате и пыхтя беспрерывно зажигаемой и бросаемой папиросой.

Это значит — полное крушение семейной жизни, все насмарку, все, все.

Что же надо сделать, чтобы этого не было?

Должен же быть какой-нибудь выход.

Согласиться на предложение этого человека и откупиться деньгами? Предположим, что я достану эти деньги. Но разве это выход? Чем я гарантирован, что через год они опять не прибудут ко мне с тем же. Нет, нет, это не выход, и потом это гадость. Нет. Что же еще? что?

Хлопотать о разводе Леночки с Иваном Петровичем?

А если она сама участвовала в этом обмане? Тогда что?

Неужели это может быть? Неужели она такая ловкая обманщица? Нет, нет, утешил себя Сомов, и в то же время он чувствовал, что на этом месте все его мысли начинали безнадежно путаться и что, не решив этого вопроса, он дальше рассуждать не может.

Он вспомнил, что за полтора года супружества его жена сама не заговаривала ни разу об Иване Петровиче, и ему даже показалось, что, когда он раза два вспоминал о нем, она как-то конфузилась и смущенно переводила разговор на другое. Тогда он объяснял это себе ее женской деликатностью.

Потом он вспомнил о посещениях старухи из Проточного переулка, которую Леночка поила у себя в детской чаем, и их смущение, когда он невзначай взошел в комнату и застал их за разговором, который они тотчас же оборвали. И наконец, самое ужасное доказательство, о котором говорил Левша,— это опознание ею неизвестного утопленника.

«Отягчающее вину обстоятельство, заранее обдуманное намерение,— повторил он про себя, чувствуя, как что-то сжимается в его груди, и почти радуясь физической боли, которая становилась все острее и, как тисками, сжимала его сердце.—Неужели это преступление до такой степени тонко обдумано? Неужели эта женщина, которую я своими руками вытащил из грязи, продала меня и впутала меня в эту гнусную интригу, в этот шантаж? Но не только меня, но и сына. Мешков — безвольный пьяница, он мог продаться другим людям, от него можно всего ожидать, но она, она, моя Леночка?»

Несколько раз Сомов соблазнялся сейчас же пойти к жене и спросить ее, но вспоминал свое решение ничего не предпринимать, пока он не убедится твердо в том, что Мешков жив, и удерживался.

«Испугается, молоко испортится»,— думал он, вспоминая свою жену и рисуя в своем воображении ее, сидящую теперь в детской и кормящую грудью толстенького румяного мальчика. Как он любил в это

время смотреть на нее и какой она ему казалась чистой и святой.

«Нет, завтра, завтра, узнаю все, и тогда сразу решится: или она права, или...»

Но второе «или» было так чудовищно, что он не доводил его до конца и старался, пока можно, о нем не думать.

«Завтра, завтра,— решил он и, подойдя к столу, взял лист почтовой бумаги и написал: «Прошу вас завтра, ровно в четыре часа, быть с известным вам человеком на Страстной площади около памятника Пушкина. Я проеду мимо не останавливаясь. День переговоров назначу особо».

Положив письмо в конверт, Сомов надписал условленные литеры, наклеил марку и позвонил.

Дверь отворилась, и в комнату вошла Леночка.

— Митя, извини меня, я думала, что тебе горничная не нужна, и отпустила ее; может быть, я могу сделать, что тебе нужно,— сказала она, останавливаясь в дверях.

— Нет, ничего, мне надо опустить письмо в ящик, я сам схожу, благодарю тебя,— ответил Дмитрий Леонидович, глядя на нее и болезненно наслаждаясь ее красотой,— я кстати пройдусь.

— А ты ужинать будешь?

— Нет, спасибо,— сказал он резко, пряча письмо в карман и недоверчиво следя за ее взглядом.

Придя домой, он молча разделся, лег на постель и всю ночь до утра пролежал с открытыми глазами и не спал.

Когда ребенок начинал сопеть и вертеться в своей кроватке, стоящей у его изголовья и отделяющей от него его жену, он притворялся спящим и тайком из-под опущенных век следил за тем, как Леночка просыпалась, меняла пеленки, брала ребенка, ласкала его и кормила.

И когда, уложив сына, она сейчас же засыпала, он прислушивался к ее мерному, спокойному дыханию и коротким, частым вздохам ребенка и мучился, мучился, как никогда.

Никогда в жизни Дмитрий Леонидович еще не пережил такой тяжелой ночи.

VIII

На другой день, ровно в четыре часа, Сомов проехал на извозчике по Страстной площади мимо памятника Пушкина и увидал сидящих на лавочке Левшу и Мешкова.

Левша, увидав Дмитрия Леонидовича, кивком головы показал ему на своего соседа, сидящего в какой-то странной согнутой позе и, очевидно, сильно пьяного.

Приехав домой, Сомов прошел в свой кабинет и позвал к себе Леночку.

Попросив ее сесть и заперев дверь, он подошел к ней и каким-то деревянным, не свойственным ему голосом спросил: «Леночка, почему ты мне не сказала, что Иван Петрович жив?»

Елена Ивановна, испуганная странным тоном его голоса, не сразу поняла его вопрос и смотрела на него молча.

— Как жив? — переспросила она, бледнея и чувствуя, что готовится что-то неизбежное и страшное.

— Не знаю как, ты должна это знать лучше меня,— ответил Сомов тем же тоном, стараясь сдерживаться.

— Митя, этого не может быть, Митя, что ты говоришь, это неправда!

— Нет, не неправда, потому что я сам сейчас его видел так, как вижу тебя.

— Митя, ты шутишь, ты смеешься, Митя, скажи,— говорила Елена Ивановна, вставая и растерянно глядя на его дрожащие челюсти,— ты шутишь...

— Да, хорошо бы было, если б я мог шутить, нет, Елена Ивановна, такими вещами не шутят,— вскрикнул он, срываясь.— Вы вместе с ним симулировали его самоубийство, обманули закон, людей, нашли какого-то утопленника, которого выдали за него и похоронили, а теперь называете это шутками. А вы знаете, чем такие шутки пахнут? Вы видели этого человека, который приходил вчера? Сказать вам, зачем он был у меня? Он требовал за вас выкуп, пять тысяч, иначе он угрожает, что он вас выдаст. Хороши шутки?

Вы думаете, что вам за это ничего не будет? Я не говорю о том, что вы разбили мою жизнь, черт с ней, с моей жизнью, а вы знаете, что у вас отнимут ребенка? — кричал он, все более и более горячась.— Для вас это шутки, шутки? Так знайте же, Елена Ивановна, что я вам этих шуток не прощу. Я все прощу, кроме лжи. Мне ничего не страшно, я на все пойду, но когда я вижу обман и когда этот обман подготовил — кто же? — моя жена, мать моего ребенка, нет, этого я не могу терпеть, слышите, не могу.

— Митя, Митя,— повторяла Елена Ивановна, глядя остановившимися глазами на мужа,— Митя... я не лгала,— вдруг вскрикнула она каким-то резким, режущим голосом и беззвучно затряслась в рыданиях.

Сомов подскочил к ней и взял ее за руки. Она зашаталась и беспомощно опустилась в кресло.

— Что ты сказала? что? — заговорил он странно изменившимся голосом, поднимая ее голову и заглядывая в ее большие слезящиеся глаза.— Что? Леночка, повтори, коли можешь, повтори. Что ты сказала?

— Я, я... я не лгала,— проговорила она, дрожа всем телом и всхлипывая, как ребенок — я не знаю, Митя, как это было... я не лгала...

— Ты правду говоришь, Леночка?

— Правду, Митя, я...

Сомов стоял перед ней на коленях и снизу вверх смотрел ей в глаза.

Почему-то в эту минуту в его душе пронеслись какие-то далекие, далекие воспоминания детства, и он вдруг заморгал, наклонился к рукам жены и начал их беззвучно и порывисто целовать.

— Боже мой, какое счастье, Леночка. Прости меня, ты не знаешь, как я перемучился. Я вчера еще хотел все сказать тебе, но я не мог, боже мой, какое счастье,— говорил он прерывающимся голосом,— я не вынес бы этого, если бы ты меня обманула. А теперь я счастлив. Как я счастлив. Теперь мы все перенесем, Леночка, милая, родная моя.

— Митя, неужели ты мог подумать, что я тебя обманула, Митя, милый,— говорила она, нагибаясь над ним и ища его взгляда,— Митя...

— Я слишком этого боялся, я всю ночь не спал и думал. Если бы ты знала, как это было ужасно. Я смотрел на тебя, когда ты кормила Петю, и я тогда не верил этому, но все-таки думал; мне этот вчерашний человек сказал, что ты все знала, что все это подстроено тобой.

— Нет же, Митя, правда.

— Верю, верю, не говори больше ничего. Не отнимай твои ручки, дай мне их, дай,— говорил он, пряча лицо в ее руках, перевертывая их и целуя.— Ты простишь меня, ты не будешь сердиться на меня?

— Я все думаю и одного не могу понять, как я могла тогда ошибиться?—сказала она, задумываясь и упорно глядя куда-то, в одну точку, мимо глаз мужа.— Ты знаешь, Митя, когда я пришла в часовню, там было очень темно, и я долго не могла оглядеться. Потом он был такой ужасный, синий и склизкий...— При этом она вся передернулась и задрожала.

— Брось, Леночка, вспоминать эти ужасы,— говорил Сомов, заглядывая ей в глаза,— я сказал тебе, что я верю, ну оставь, не надо.

— Нет, нет, постой, я хочу... я помню, что я тогда была не совсем уверена, нет не то, когда я шла туда, я была уверена, что это он, но потом я не совсем была уверена, понимаешь? и на другой день я опять хотела на него посмотреть, а его закрыли, так что я даже не приложилась к нему.

— Леночка, милая, оставь. Давай лучше подумаем, что нам делать теперь.

— Разве меня отнимут от тебя, Митя, я не могу,— сказала она, прижимаясь к нему всем телом и гладя его волосы.— Я не верю, что Иван Петрович хочет взять с тебя деньги. Мне кажется, что он не такой. А ты его видел? Он сам тебе это говорил?

— Я видел его нынче, но говорить с ним не мог, потому что он был пьян. Мне это говорил его товарищ.

— Ну, вот видишь,— обрадовалась Леночка.— Я знаю, что сам он этого не сделает.

— Дай бог, чтобы это было так,— сказал Сомов, улыбаясь,— я сам всегда считал его слабовольным, бесхарактерным, но хорошим человеком, и я никогда

не думал, что он может быть способен на низость. Дай бог. Но тогда я не понимаю, зачем же ему понадобилось проделать всю эту комедию с прорубью, с запиской? Неужели для того, чтобы освободить тебя?

— А знаешь, я сейчас подумала то же самое,— перебила его Леночка.— Даже раньше, когда я только что полюбила тебя, меня мучила эта мысль. Я боялась, что он думал, что я хочу его смерти, и я все молилась за него. А если он жив, так это еще лучше, правда, Митя?

— Да, Леночка, да, конечно, лучше,— говорил Сомов, глядя на нее влажными от умиления глазами.— Теперь я вижу, что это так и было. Да... Как это хорошо...

IX

В этот же день, около восьми часов вечера, Мешков пришел в участок и требовал дежурного чиновника.

Он был пьян, но держал себя бодро и говорил ясно.

Пройдя к столу, он вынул из кармана скомканный клочок газетной бумаги, развернул его и положил перед приставом.

— Читайте,— сказал он, показывая пальцем очерченную карандашом вырезку.

Пристав удивленно покосился на посетителя, взял бумажку и прочел.

Это было газетное сообщение, вышедшее полтора года тому назад, в котором говорилось о самоубийстве Ивана Петровича.

— Ну, что же? — спросил пристав, подымая глаза.

— Это я,— ответил Мешков, показывая пальцем на грудь.

— Я вас не понимаю, что вы хотите этим сказать, говорите яснее. Вы пьяны.

— Да, пьян, меня Ванька напоил. А я не позволю, слышите, не по...зволю... Я труп, а не позволю. Он думает с них деньги взять, грозится донесть. А я не позволю, я сам на себя донесу. Если виноват, я отвечу, а их не тронь, Леночку не тронь, ме...рзавец.

— Вы о ком, собственно, говорите?

— О ком, вот о ком,— сказал Мешков, вынимая из кармана паспорт и ударяя им изо всех сил по столу,— о Ваньке, вот о ком я говорю. Возьмите.

— Это ваш паспорт? — спросил пристав, раскрывая книжку.

— Нет, не мой, а Ваньки Левши, мы с ним разменялись. Вы читайте: Иван Савостьянов, а я Иван Петрович Мешков — поняли? Вот этот самый человек, который утопился, труп,— это я.

А потом я ушел, а она замуж вышла. А мне ничего не нужно. Я два года с ней прожил, она хорошая, у нас сынок был, Петя, он тоже помер, он тоже труп, а потом я ушел. А теперь она барыня, за квартиру платит семьдесят пять, на извозчиках ездит, горничная, повара... Елена Ивановна, госпожа Сомова.

Вот как. А мне ничего не надо. Он у нее деньги требует, хочет мне две тысячи дать, а я не позволю. Мне не надо, а ты мою Леночку не трогай. У нее сынок теперь есть, настоящий, живой, хороший, что? как?

И Мешков неожиданно кротко и как-то виновато улыбнулся.

— Мне придется вас задержать,— сказал пристав, знаком головы подзывая дежурившего у двери городового.— Вы выспитесь, а завтра утром поговорим поподробнее,— сказал он, обращаясь к Ивану Петровичу,— до свиданья. Акимов, отведи этого человека в первую камеру, да повежливей, слышь?

— Пожалуйте, господин,— сказал городовой, беря Мешкова под руку и ведя его к двери.

Дело Мешковых разбиралось московской судебной палатой с участием сословных представителей.

Несмотря на явное сочувствие судей к обвиняемым, приговор суда был такой: Мешков был признан виновным в умышленном укрывательстве и в подмене паспорта и сослан в Сибирь на поселение.

Елена Ивановна была признана виновной в двоемужестве и заключена в тюрьму на один год. Брак Елены Ивановны с Сомовым был расторгнут.

Впоследствии, по ходатайству прокурора, наказание Елены Ивановны было значительно смягчено.

ЭПИЛОГ

На одном из крупных чугунолитейных заводов была отлита огромная чугунная плита в несколько сот пудов весом, предназначенная для пьедестала какого-то памятника.

Подрядчик, взявшийся доставить плиту на место, пригласил для перевозки ее партию тюремных арестантов.

При помощи разных рычагов и катков плиту навалили на дроги, и с пением «Дубинушки» толпа арестантов, в серых куртках, повезла дроги к воротам.

В узком пространстве, между двумя вереями, народ столпился, произошло какое-то замешательство, и в это время один из арестантов, вероятно не разочтя быстроты раскатившегося груза, застрял между вереей и плитой.

Раздался какой-то неестественный треск, колеса остановились, дроги осадили назад, и из-под них вынули изуродованное тело человека.

Арестанты молча сняли шапки и перекрестились.

— Кого убило, кого? — спрашивали друг у друга те, которые стояли дальше и не видели мертвеца.

— Кого? Не видишь? Трупа.

— Несите его под сарай, чего стали, ну, — скомандовал полицейский, равнодушно посмотрев на труп и брезгливо отойдя в сторону.



ПРИМЕЧАНИЯ

Текст в настоящем издании печатается по книге Толстой И. Л. Мои воспоминания.— М.: Художественная литература, 1969, с исправлениями ошибок и типографских опечаток.

Предыдущие публикации воспоминаний И. Л. Толстого относятся к 1914 году (М., изд-во Сытина) и 1933 году (М., изд-во «Мир»).

Все воспроизводимые в книге цитаты, эпистолярные документы выверены по последним изданиям. Тексты писем Толстого, материалы «Почтового ящика» сверены с автографами.

В примечаниях приняты следующие условные сокращения:

Бирюков, т. — Бирюков П. И. Биография Льва Николаевича Толстого. Т. 1—4.— М.-Пг., 1922—1923.

ГМТ — Рукописный отдел Государственного музея Л. Н. Толстого.

Гольденвейзер — Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого.— М., 1959.

Гусев — Гусев Н. Н. Два года с Л. Н. Толстым.— М., 1973.

ДСТ, т. — Толстая С. А. Дневники. Т. 1—2.— М., 1978.

Кузминская — Кузминская Т. А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне.— Тула, 1973.

Летописи, 12 — Летописи Государственного Литературного музея. Кн. 12.— М., 1948.

ЛН — «Литературное наследство».

Переписка, т. — Толстой Л. Н. Переписка с русскими писателями. В двух томах.— М., 1978.

ПС — Переписка Л. Н. Толстого и Н. Н. Страхова.— СПб., 1914.

ПСТ — Толстая С. А. Письма к Л. Н. Толстому. 1862—1910.— М.-Л., 1936.

Т. Л. Сухотина — Сухотина-Толстая Т. Л. Воспоминания.— М., 1976.

Толстой в воспоминаниях, т. — Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. В двух томах.— М., 1978.

С. Л. Толстой — Толстой С. Л. Очерки былого.— Тула, 1975.

Тургенев. Письма, т.— Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем в двадцати восьми томах, серия «Письма».—М.- Л., 1961—1968.

ЯЗ, кн.— Маковицкий Д. П. У Толстого, 1904—1910. Яснополянские записки.— «Литературное наследство», т. 90. Кн. 1—4.— М., 1979.

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ

ГЛАВА I

[1] Имение Ясная Поляна было куплено прадедом Толстого С. Ф. Волконским в 1763 году у С. В. Поздеева. Существует предположение, что Ясная Поляна первоначально называлась «Ясенная Поляна» — из-за преобладания в местных лесах ясеневой породы деревьев.

[2] М. Н. Волконская и Н. И. Толстой венчались 9 июля 1822 г.

[3] А. П. Офросимов — богатый тульский помещик, охотник и коннозаводчик, сосед и знакомый Толстых, большой любитель цыганского пения. С. А. Толстая в письме от 14 августа 1888 года к сыну Сергею Львовичу сообщала: «Вообще гостей бывает много.., были супруги Офросимовы, и Сашенька Офросимов пел цыганские песни и пляски по-цыгански, а жена его играла на фортепьяно и вторила» (*ГМТ*). Толстой изобразил Офросимова в «Живом трупе» под именем Михаила Андреевича Афремова (в черновых редакциях Афросимова). В пьесе Афремов называет «Похоронной» народную цыганскую песню о встрече цыгана с невестой — «Шэл мэ вэрсты».

[4] Н. И. Толстой участвовал в Отечественной войне. В конце 1813 года на обратном пути из Петербурга в армию, куда он возил депеши от генерала Витгенштейна, в местечке Сент-Оби, он был захвачен в плен и пробыл в плену до взятия Парижа русскими войсками 19 марта 1814 года. Сведений о встрече Н. И. Толстого с Наполеоном не имеется.

[5] В своих «Воспоминаниях» Л. Н. Толстой писал о своем брате: «Он был удивительный мальчик и потом удивительный человек. Тургенев говорил про него очень верно, что он не имел только тех недостатков, которые нужны для того, чтобы быть писателем. Он не имел главного, нужного для этого недостатка: у него не было тщеславия, ему совершенно неинтересно было, что о нем думают люди. Качества же писателя, которые у него были, было прежде всего тонкое художественное чутье, крайнее чувство меры, добродушный веселый юмор, необыкновенное, неистощимое воображение и правдивое, высоконравственное мировоззрение, и все это без малейшего самодовольства. Воображение у него было такое, что он мог рассказывать сказки или истории с привидениями или юмористические истории в духе m-me Radcliff без остановки и запинки целыми часами и с такой уверенностью в действительность рассказываемого, что забывалось, что это выдумка» (т. 34, с. 386).

Н. Н. Толстой обладал литературным дарованием. Его очерк «Охота на Кавказе», напечатанный в журнале «Современник» (1857, № 2), вызвал восторженные отзывы Тургенева, Панаева и Некрасова.

[6] В своих «Воспоминаниях» Толстой рассказывает, что он видел Толстого-«американца» в Ясной Поляне еще при жизни отца: «Помню его прекрасное лицо: бронзовое, бритое, с густыми белыми бакенбардами до углов рта, и такие же белые, курчавые волосы. Много бы хотелось рассказать про этого необыкновенного, преступного и привлекательного, необыкновенного человека» (т. 34, с. 393). Создавая образ графа Турбина-старшего в «Двух гусарах» и отчасти Долохова в «Войне и мире», Толстой воспользовался некоторыми фактами жизни Толстого-«американца», оставив и Турбину и Долохову то же имя — Федор Иванович. Толстой поддерживал дружеские отношения с вдовой Федора Ивановича — Авдотьей Максимовной (урожд. Тугаевой) и его дочерью Прасковьей Федоровной (в замужестве — Перфильевой). См. также кн.: Толстой С. Л. Федор Толстой-Американец.— М., 1926.

[7] Д. И. Иловайский — историк, автор учебников по русской и всеобщей истории для учащихся разных возрастов. В Яснополянской библиотеке сохранилось несколько его учебников, один из которых: «Руководство ко всеобщей истории. Средний курс» (М., 1891) Толстой просматривал и сделал пометы (см.: Библиотека Л. Н. Толстого в Ясной Поляне, ч. 1.— М., 1972, с. 321).

[8] «Книга вопросов» — записная книжка Т. Л. Толстой-Сухотиной, в которой собственноручно сделаны записи о месте и годе рождения не только Л. Н. Толстым, но и другими членами семьи и родственниками. Старшие дети Толстых в своих записях отметили, что родились на кожаном диване (см. альбом «Ясная Поляна».—М., 1978, с. 32—33). Этот диван был описан Толстым в романе «Война и мир». В одной из черновых редакций «Анны Карениной» также есть упоминание о том, что в кабинете Левина находился старинный кожаный диван, который раньше «всегда стоял в кабинете у деда и отца Левина и на котором родились все Левины» (т. 20, с. 403). Этот диван в настоящее время находится в Ясной Поляне.

[9] Этот дом был продан в 1854 году В. П. Толстым по просьбе Л. Н. Толстого за пятьсот рублей ассигнациями на своз помещику Горохову, который поставил его в своем имении Долгое, в семнадцати километрах от Ясной Поляны. В письме к Т. А. Ергольской от 17—18 октября 1854 года Толстой благодарил В. П. Толстого за помощь: «Я было потерял всякую надежду на такую удачную продажу» (т. 59, с. 279). Деньги от продажи дома Толстой хотел употребить на издание военного журнала, но журнал не был разрешен, а деньги проиграны им в карты. Впоследствии он сожалел о продаже дома и в 1897 году ездил в село Долгое, чтобы взглянуть на него. «4-го ездил в Долгое,— записал он в дневнике.— Очень умиленное впечатление от развалившегося дома. Рой воспоминаний» (т. 53, с. 169). В 1911 году дом был продан местным крестьянам, а в 1913 году, по постановлению сельского схода, был разобран на дрова, кирпич и разделен по дво-

рам. За те 50 лет, пока дом находился в Долгом, было несколько попыток вернуть его на прежнее место. Первым пытался это сделать П. А. Сергеенко. В 1898 году он сообщил о своем намерении С. А. Толстой. «Сергеенко меня допрашивал,— записала она в дневнике 19 февраля 1898 года,— что бы могло быть приятно Льву Николаевичу ко дню его рождения в нынешнем году, к 28 августа; Льву Николаевичу будет семьдесят лет. Он думал купить этот дом, свезти его опять в Ясную и поставить на прежнее место в том виде, в каком он был» (ДСТ, т. 1, с. 357).

В августе того же 1898 года Сергеенко вместе с Андреем Львовичем побывал в старом доме. Об этом сын Толстого писал О. К. Дитерихс 16 августа 1898 года: «Вчера ездил с Сергеенко (помните, высокий такой писатель) смотреть дом, где родился и вырос мой отец; он хочет его купить и преподнести этот сюрприз для отца к 28 августа. Я знаю, что папá это будет очень приятно, так как он рассказывал, что когда он теперь вошел в этот дом, то его это ужасно разволновало, и он припомнил все свое детство и отрочество, проведенные в этом доме» (см. Толстой А. Л. О моем отце.— В кн.: «Яснополянский сборник». Тула, 1965, с. 134). По каким-то причинам это Сергеенко не удалось. В конце 1913 года московский меценат А. Шахов хотел выкупить дом и поставить его на прежнее место, но не смог этого сделать, так как летом 1913 года обветшалый дом был разобран.

ГЛАВА II

[1] Степан Андреевич Берс.

[2] Письмо Л. Н. Толстого от 26 октября 1872 года, см. т. 61, № 414.

[3] Противником Толстого в этом споре, по-видимому, был Иван Петрович Борисов (родственник Фета, приятель Толстого и Тургенева), ярый защитник прусской стороны. Ему полушутливо писал Тургенев в письме от 12(24) августа 1870 года: «Вы могли бы уже теперь истребовать с Л. Н. Толстого выигранную Вами бутылку, любезнейший Иван Петрович,— ибо последние удары, нанесенные пруссаками, в сущности, кажется, уже решили дело... Я очень хорошо понимаю, почему Толстой держит сторону французов,— пояснял далее Тургенев,— французская фраза ему противна — но он еще более ненавидит рассудительность, систему, науку, одним словом, немцев» (*Тургенев. Письма,* т. VIII, с. 269—270).

[4] Т. А. Ергольская и Н. П. Охотницкая.

[5] Слова И. Л. Толстого справедливы только в отношении некоторых глав романа. Толстой многократно перерабатывал лишь отдельные главы, целиком роман не переписывался и не копировался. Софья Андреевна очень любила это произведение Толстого и добросовестно помогала ему в качестве переписчицы. «Я теперь стала чувствовать,— писала Софья Андреевна 14 ноября 1866 года,— что это твое, стало быть, я мое детище, я, отпуская эту пачку листиков твоего романа в Москву, точно отпустила ребенка и боюсь, чтоб ему не причинили какой-нибудь вред. Я

очень полюбила твое сочинение. Вряд ли полюблю еще другое какое-нибудь так, как этот роман» (*ПСТ*, с. 70).

[6] Четыре «Русские книги для чтения» — вышли отдельным изданием в 1875 году. С. А. Толстая действительно принимала активное участие в переписывании «Азбуки», «Новой азбуки» и «Книг для чтения». Столь же активно занималась она переписыванием и «Анны Карениной». Несмотря на то что у нее были помощники, она оставалась главной переписчицей романа. «Анну Каренину» мы пишем наконец-то по-настоящему, то есть не прерываясь,— сообщала она сестре, Т. А. Кузминской, в письме от 9 декабря 1876 года.— Левочка, оживленный и сосредоточенный, каждый день прибавляет по целой главе. Я усиленно переписываю, и теперь даже под этим письмом лежат готовые листки новой главы, которую он вчера написал» (*ГМТ*). В фондах музея Л. Н. Толстого хранится кольцо, которое, по словам С. А. Толстой, было подарено ей Львом Николаевичем «за... труд и помощь ему, когда он писал «Анну Каренину». И кольцо это называлось «Анна Каренина» (*ДСТ*, т. 2, с. 475). Семейная реликвия была передана в музей внучкой писателя, Т. М. Альбертини.

[7] Ханна Тарсей была воспитательницей детей Толстых с 1866 по 1872 год.

[8] Толстой возобновил занятия с крестьянскими детьми в январе 1872 года, в период работы над «Азбукой». Толстой писал Фету 20 февраля 1872 года: «Я опять завел школу, и жена, и дети — мы все учим и все довольны» (т. 61, с. 271). Школа просуществовала до конца апреля 1872 года.

[9] К. А. Иславин.

[10] Об этом эпизоде Т. Л. Сухотина вспоминала так: «Илья... едва читал, а писал совсем плохо. Но тем не менее и он заявил, что будет «учить» ребят. Папа́ согласился... На стене был повешен большой картонный лист с азбукой, и около этого листа маленький толстый Илья с палочкой обучал таких же малышей, как и он сам... Илья спрашивает какого-то мальчика, показывая палкой на «А»: — Это какая буква? Мальчик отвечает: — Не знаю.

— Не знаешь! Так пошел вон!

Потом призывает другого:

— Это какая буква?

— Не знаю.

— И ты не знаешь! Пошел вон!

И так он проэкзаменовал всех начинающих и решил, что ему дали самых глупых учеников» (см. *Т. Л. Сухотина*, с. 100—101).

ГЛАВА III

[1] Имя это было дано по названию комедии «Фру-Фру», популярной в начале семидесятых годов прошлого века. Ее авторы — А. Мельяк и Л. Галеви — известные французские драматурги и либреттисты. Точно так же в романе «Анна Каренина» зовут лошадь Вронского (см.: Р е н з о в Б. Г. «Фру-Фру» у Л. Толстого и у А. Островского».— «Русская литература», 1974, № 3, с. 216—217).

[2] Об обряде своих похорон Толстой упоминает в завещании, записанном в дневнике 27 марта 1895 года (т. 53, с. 14—15), но не указывает места погребения. В «Воспоминаниях», написанных в 1903—1906 годах, Толстой вспоминает историю «зеленой палочки», рассказанную когда-то Николенькой братьям, и пишет: «...палочка эта зарыта у дороги, на краю оврага старого заказа, в том месте, в котором я, так как надо же где-нибудь зарыть мой труп, просил в память Николеньки закопать меня» (т. 34, с. 386). В своем завещательном распоряжении, относящемся к 1908 году (дневниковая запись от 11 августа, продиктованная Н. Н. Гусеву и стенографически им записанная — см.: *Гусев*, с. 194—195), Толстой повторяет просьбу, высказанную в «Воспоминаниях»: чтобы его похоронили в деревянном гробу, и «кто хочет снесет или свезет в заказ против оврага, на место зеленой палочки» (т. 56, с. 144).

[3] Известно, что Толстой всегда с увлечением занимался физическим трудом, в восьмидесятые годы он много и с удовольствием косил с яснополянскими крестьянами. В дневнике Толстого за 1884 год (июль — август) встречается много записей, связанных с косьбой. 19 июня 1884 года он записывает: «Мужик Григорий Болхин, Кастер-мастер и Павел-сапожник косят сад. Я около 11 часов ввязался в их работу и прокосил с ними до вечера. Дети — Илья, Леля и Алсид — косили же. Очень было радостно. Вечером пошли купаться» (т. 49, с. 106). Илья Львович не раз участвовал в крестьянских полевых работах вместе с отцом. «Когда Лев Николаевич работал в поле и старался всячески быть полезным окружающим его крестьянам и населению,— пишет в своих воспоминаниях дочь Ильи Львовича, Анна Ильинична Толстая-Попова,— мой отец еще юношей всегда принимал большое участие в его работах, будучи ловким и сильным молодым человеком. Они шили вместе сапоги, косили и пахали. Мой отец умел и любил работать» (Воспоминания А. И. Толстой-Поповой — *ГМТ*).

ГЛАВА IV

[1] Толстой отправился пешком в Оптину пустынь 10 июня 1881 года вместе с С. П. Арбузовым и учителем Яснополянской школы Д. Ф. Виноградовым. В Оптину пустынь Толстой и его спутники пришли к вечеру 14 июня, а 19 июня они вернулись в Ясную Поляну. Это путешествие подробно описано С. П. Арбузовым, который ошибочно отнес его к 1878 году (см.: *Толстой в воспоминаниях*, т. 1, с. 293—311).

[2] «Амбушюра» — умение складывать губы для игры на духовых инструментах.

[3] Толстой был участником Крымской войны 1854—1855 годов. В Севастополь он прибыл 7 ноября 1854 года и был прикомандирован к 3-й легкой батарее 14-й артиллерийской бригады. С 5 апреля по 15 мая 1855 года он служил на четвертом бастионе. 27 августа 1855 года Толстой принимал участие в последних сражениях за Севастополь. 1—2 сентября он был занят со-

ставлением донесения о последней бомбардировке Севастополя и взятии его союзными войсками (т. 4, с. 299—306). 4 сентября 1855 г. в письме из Севастополя к Т. А. Ергольской Толстой писал: «Я плакал, когда увидел город объятым пламенем и французские знамена на наших бастионах; и вообще во многих отношениях это был день очень печальный» (т. 59, с. 335).

ГЛАВА V

[1] В письме от 24—25 сентября (6—7 октября) 1860 года к брату Сергею Николаевичу с сообщением о смерти Н. Н. Толстого Лев Николаевич писал: «Я только на 2-й день хватился сделать его портрет и маску, портрет уже не застал его удивительного выражения, но маска прелестна» (т. 60, с. 354).

С этой маски скульптором Г. В. Геефсом в 1861 году и был сделан мраморный бюст Н. Н. Толстого. Этот скульптурный портрет находится в Ясной Поляне, и на срезе левого плеча вырезана надпись: «Gme Geefs Statuaire du Roi, Bruxelles, 1861» (Гильом Геефс, королевский скульптор, Брюссель, 1861).

[2] В 1875 году, во время писания романа «Анна Каренина», Толстой пережил тяжелое душевное состояние и подобно Левину «был несколько раз так близок к самоубийству, что спрятал шнурок, чтобы не повеситься на нем, и боялся ходить с ружьем, чтобы не застрелиться» (ч. 8, гл. IX). Об этом своем духовном кризисе Толстой писал в «Исповеди»: «Я всеми силами стремился прочь от жизни. Мысль о самоубийстве пришла мне так же естественно, как прежде приходили мысли об улучшении жизни. Мысль эта была так соблазнительна, что я должен был употреблять против себя хитрости, чтобы не привести ее слишком поспешно в исполнение... И вот тогда я, счастливый человек, вынес из своей комнаты шнурок, где я каждый вечер бывал один, раздеваясь, чтобы не повеситься на перекладине между шкапами, и перестал ходить с ружьем на охоту, чтобы не соблазниться слишком легким способом избавления себя от жизни» (т. 23, с. 12).

Об этом см. также с. 178 настоящего издания.

[3] Эта фотография была сделана фотографом С. Л. Левицким 15 февраля 1856 года. Инициатива группового снимка принадлежала Толстому. Он снят в офицерском мундире, так как вышел в отставку только 26 ноября 1856 года. Фотография с автографами снимавшихся писателей находилась в яснополянском доме Толстого. «Глядел на портреты знакомых писателей 1856 года,— записал Толстой в дневнике 14 января 1907 года,— всех умерших» (т. 56, с. 6).

ГЛАВА VI

[1] Письмо к Л. И. Волконской от 3 мая 1865 года (т. 61, № 111).

[2] Ссора Л. Н. Толстого с И. С. Тургеневым произошла 27 мая 1861 года в имении А. А. Фета Степановке. Ссора была вы-

звана резким замечанием Толстого по поводу рассказа Тургенева о том, как гувернантка заставляет его дочь с воспитательной целью штопать лохмотья бедняков. На это замечание раздраженный Тургенев ответил грубостью. Уехав от Фета, Толстой написал Тургеневу письмо с требованием письменного извинения (т. 60, № 210). Не дождавшись ответа, Толстой послал второе письмо (оно до нас не дошло) с вызовом на дуэль. Получив от Тургенева извинительное письмо, Толстой отказался от дуэли (*Фет*, ч. 1, с. 368—374). Отношения писателей были прерваны на семнадцать лет и возобновились по инициативе Толстого, пославшего 6 апреля 1878 года теплое, дружеское письмо Тургеневу (т. 62, № 419).

[3] По распоряжению шефа жандармов В. А. Долгорукова 6—7 июля 1862 года в Ясной Поляне был сделан обыск. Производил обыск жандармский полковник Дурново с крапивенским исправником и становым. Были взломаны полы в конюшне, закидывали невод в пруд. Искали тайную типографию, запрещенные сочинения и т. д. Л. Н. Толстой находился в это время в Самарской губернии, а в доме оставались его сестра М. Н. Толстая с детьми и Т. А. Ергольская. Жандармы ничего предосудительного не нашли, а портфель, в котором хранились запрещенные книги и фотография Герцена с Огаревым, горничная Дуняша успела схватить и бросить в канаву. Узнав об обыске, Толстой пришел в крайнее негодование. «Теперь чем дольше я в Ясной,— писал он А. А. Толстой,— тем больней и больней становится нанесенное оскорбление и невыносимее становится вся испорченная жизнь» (т. 60, с. 435). Толстой намеревался покинуть Россию. 22 августа 1862 года им было написано письмо Александру II, он хотел знать, «кого упрекать во всем случившемся» и «чтобы были, ежели не наказаны, то обличены виновные...» (там же, с. 441).

[4] О В. К. Сютаеве Толстой впервые услышал летом 1881 г. Его заинтересовало самобытное, оригинальное мировоззрение этого крестьянина, «отпавшего» от православия и проповедовавшего «любовь и братство всех людей и народов и полный коммунизм имущества» (Пругавин А. С. Религиозные отщепенцы. Вып. 1.—М., 1906). За свои взгляды В. К. Сютаев неоднократно подвергался гонениям со стороны духовенства и полиции. Личное знакомство Толстого с В. К. Сютаевым состоялось осенью того же года, когда Толстой навестил его в деревне Шевелино, в Новоторжском уезде. Описанный И. Л. Толстым эпизод произошел в первый приезд В. К. Сютаева к Толстому в Москву в конце января 1882 г. Об этом же см. на с. 135, 188—190 настоящего издания и в кн.: *С. Л. Толстой*, с. 133.

[5] Портрет был написан в сентябре 1873 года в Ясной Поляне (см.: Толстая С. А. Моя жизнь.— «Новый мир», 1978, № 8, с. 49). Необычайное его сходство с оригиналом отмечалось всеми, знавшими Толстого. Портрет, написанный Крамским, был первым живописным портретом Толстого и остается одним из лучших его портретов. В. В. Стасов писал в 1877 году: «Все те высокие и своеобразные элементы, которые образуют личность графа Толстого: оригинальность, глубина ума, феноменальная

сила творческого дара, доброта, простота, непреклонность воли,— все это с великим талантом нарисовано Крамским на лице графа Толстого» (С т а с о в В. В. Статьи и заметки, т. II.—М., 1954, с. 123).

ГЛАВА VII

[1] Рассказ Ильи Львовича о ряженых можно дополнить описанием С. А. Толстой встречи нового 1872 года в письме к Т. А. Кузминской. В Ясной Поляне был веселый маскарад, сама хозяйка дома плясала русскую, но самое большое впечатление на всех произвели ряженые: Д. А. Дьяков, К. А. Иславин, племянник Толстого Николай Толстой и, наконец, сам Лев Николаевич, который на этот раз был наряжен не поводырем медведя, а... козой. «Мужчины все тоже исчезли,— писала С. А. Толстая,— и явились вдруг в виде двух медведей, вожатого и козы. Дмитрий Алексеевич в виде вожатого был очень смешон, дядя Костя отлично выполнял пляску медведя, Левочка плясал козой, а Николенька был другой медведь» *(ГМТ)*. См. также: «Прометей», т. 12.—М., 1980, с. 164—165.

[2] Об этой игре детей Толстых см. также: *Т. Л. Сухотина*, с. 79. О каком романе пишет И. Л. Толстой, выяснить не удалось.

[3] О происхождении таких поговорок С. Л. Толстой писал: «...выхватив из жизни какую-нибудь несообразность или какой-нибудь смешной случай, он (Л. Н. Толстой.— *Ред.*) обобщал его, давал ему соответственное название — нечто вроде заглавия, и подводил под это заглавие аналогичные случаи. Таким образом, у него, а через него и в его семье, образовался ряд характерных выражений или поговорок, понятных только тем, кто знал анекдоты, из которых эти поговорки возникли. Таковы выражения «анковский пирог», «архитектор виноват», «баба моется», «кормятся» и др.» (Т о л с т о й С. Л. Юмор в разговорах Л. Н. Толстого.— «Памятники творчества и жизни». Вып. 3, 1923, с. 12—14).

[4] 17 октября 1886 года Толстой писал Т. А. Кузминской: «У нас все благополучно и очень тихо. По письмам вижу, что и у вас так же, и во всей России и Европе так же. Но не уповай на эту тишину. Глухая борьба против анковского пирога не только не прекращается, но растет, и слышны уже кое-где раскаты землетрясения, разрывающего пирог. Я только тем и живу, что верую в то, что пирог не вечен, а вечен разум человеческий» (т. 63, с. 393).

ГЛАВА VIII

[1] Т. А. Кузминская поселилась в Ясной Поляне в конце апреля 1917 г., куда она приехала после смерти мужа, А. М. Кузминского, по приглашению сестры, С. А. Толстой. Скончалась там же 8 января 1925 г.

[2] За границу Толстой ездил дважды: в 1857 и 1860—1861 годах. Он посетил Францию, Швейцарию, Германию, Италию, Англию, Бельгию.

[3] См. об этом: *Кузминская*, с. 218—230; 324—365; 436.

[4] Речь идет о трех романсах М. И. Глинки: «К ней» — мазурка для голоса и фортепьяно (стихи А. Мицкевича в переводе С. Голицына); «Я помню чудное мгновенье» (стихи А. С. Пушкина); «Дубрава шумит» (стихи В. А. Жуковского).

[5] Из романса М. И. Глинки «Я помню чудное мгновенье» (стихи А. С. Пушкина).

[6] Это высказывание Толстого со слов С. А. Толстой впервые приведено П. И. Бирюковым так: «Я взял Таню, перетолок ее с Соней, и вышла Наташа» (*П. И. Бирюков*, т. 4, с. 16).

[7] Имеется в виду переезд семьи Толстых в Москву — осенью 1882 года — в собственный дом в Долго-Хамовническом переулке. К. А. Иславин помогал не только Софье Андреевне, но и Льву Николаевичу, обращавшемуся к нему за советами при устройстве дома. Толстой писал жене 17 сентября 1882 года: «Нынче... пошел к Сухаревой башне — смотреть стулья красного дерева и вообще мебель в залу. Возьму Костеньку. Если он одобрит, то возьму» (т. 83, с. 360).

[8] Сведений, подтверждающих предположение И. Л. Толстого, найти не удалось. Из сохранившейся переписки видно, что, когда в семидесятые годы Толстой начал подвергать критике официальное христианство и отходить от него, С. С. Урусов стремился вернуть его к церкви. В связи с этим между ними происходили многочисленные и горячие споры. Большая часть писем Толстого к С. С. Урусову, отразивших их полемику, не сохранилась: по словам С. Л. Толстого, Урусов, рассердившись на отказ Толстого от церкви, сжег его письма. Отношения между ними восстановились к концу восьмидесятых годов, и весной 1889 года Толстой ездил к Урусову в его имение Спасское.

ГЛАВА IX

[1] И. Л. Толстой действительно ошибается. Летом 1873 года скачек не было, а описываемые им далее скачки устраивались во второй приезд семьи Толстых в самарское имение, 6 августа 1875 года.

[2] 28 июня 1875 года Толстой вместе с женой и старшими детьми ездил на ярмарку в город Бузулук. Тогда же они побывали у отшельника, жившего в скиту Спасо-Преображенского монастыря под Бузулуком. С. А. Толстая вспоминала об этом: «На нас всех произвел впечатление отшельник, живший в подземных пещерах... Отшельник этот, уже пожилой, имел вид убежденного человека, не сомневающегося в том, что прожил жизнь как следует. Он водил нас по пещерам... Лев Николаевич с ним поговорил о религии» (Толстая С. А. Моя жизнь. Т. 2, с. 438. Машинопись. *ГМТ*).

[3] Первый раз с семьей Толстой поехал в Самарскую губернию в июне 1873 года. Толстые были потрясены картиной «страшного

бедствия, постигшего народ вследствие трех неурожайных годов» (т. 62, с. 35). Чтобы лично определить размеры постигшего население голода, Толстой объездил в радиусе семидесяти километров все хутора и деревни. В июле 1873 года он обратился с письмом к издателям «Московских ведомостей», в котором рассказал о бедственном положении крестьян в неурожайных районах Самарской губернии. Для большей убедительности он включил в него описание имущественного положения каждого десятого крестьянского двора села Гавриловки, составленное им самим и заверенное сельским старостой и священником. Письмо было воспринято передовой печатью как крупное общественное явление. Оно вызвало усиленный приток пожертвований в пользу голодающих самарских крестьян. Всего было получено до 1 867 000 руб. деньгами и до 21 000 пудов хлеба (т. 62, № 29).

[4] Это выражение Толстой использовал в речи первого мужика в комедии «Плоды просвещения».

ГЛАВА X

[1] Романы Ж. Верна Толстой читал детям в ноябре 1873 года и в январе 1874 года. 9 января 1874 года Софья Андреевна писала Т. А. Кузминской: «После чаю Левочка детям рассказывает по книге с картинками по-французски очень интересные истории. Ты, может быть, слыхала или видала сочинения Жюля Верна «Cinq semaines en ballon» или «Les enfants du capitaine» и другие?» (*ГМТ*). Сохранилось 13 рисунков Толстого. Буддийской богини среди них нет. Все они опубл. в журн. «Детская литература», 1978, № 9, в статье Е. Брандиса «Лев Толстой читает Жюля Верна». Искусствовед А. А. Сидоров отмечает, что в рисунках Толстого «поражает оригинальность живого штриха» (Сидоров А. А. Рисунок русских мастеров. Вторая половина XIX века.— М., 1960, с. 126).

[2] 2 апреля 1879 года народоволец А. К. Соловьев совершил неудачное покушение на Александра II. Сообщение об этом Толстой прочитал в «Московских ведомостях» от 3 апреля 1879 г., № 82.

ГЛАВА XI

[1] Имеется в виду рассказ Уильяма Каупера (1731—1800) «Путешествие Джона Гильпина» (1782—1783?).

[2] О происхождении легенды о «муравейных братьях» Толстой рассказал в «Воспоминаниях». Однажды его старший брат Николенька объявил младшим братьям, «что у него есть тайна, посредством которой, когда она откроется, все люди сделаются счастливыми... все будут любить друг друга, все сделаются муравейными братьями». Толстой полагал, что «это были Моравские братья, о которых он (Н. Н. Толстой.— *Ред.*) слышал или читал» (т. 34, с. 386). Моравские братья — религиозная секта, возникшая в Богемии в XV веке. Основателем ее был Петр Хельчицкий, который создал свое собственное «учение о справедливости». Тол-

стой интересовался этим учением. В 1905 г. он написал очерк «Петр Хельчицкий» для «Круга чтения» (т. 42), а главное сочинение Хельчицкого «Сеть веры» с очерком Толстого в качестве предисловия было выпущено в издательстве «Посредник» (М., 1908).

[3] С выражением К. П. Брюллова «Всякое искусство начинается с «чуть-чуть» Толстого познакомил Н. Н. Ге. Толстой неоднократно упоминает эту фразу в письмах и дневниках, в XII главе трактата «Что такое искусство?» он посвятил несколько страниц развитию мысли Брюллова. В статье же «Для чего люди одурманиваются?» писал: «Изречение это поразительно верно, и не по отношению к одному искусству, но и ко всей жизни. Можно сказать, что истинная жизнь начинается там, где начинается чуть-чуть, там, где происходят кажущиеся нам чуть-чуточными бесконечно малые изменения» (т. 27, с. 280).

ГЛАВА XII

[1] Торока — ремешки у задней седельной луки для пристежки. Зайца торочат за задние пазанки, а лису и волка за шею.

[2] Толстой действительно бросил охоту и стал вегетарианцем в середине восьмидесятых годов.

[3] См. т. 83, с. 445—446.

ГЛАВА XIII

[1] И. Л. Толстой ошибается. Фамилия экономки А. Н. Бибикова была Пирогова.

[2] См. прим. 6 к гл. II.

[3] Роман печатался в журнале «Русский вестник» в три приема: в начале 1875, 1876 и 1877 годов (в первых четырех книгах). Толстой действительно очень много работал над корректурами, но печатание романа прерывалось по другим причинам: в летнее время Толстой прекращал работу над ним, в 1874 и 1875 годах Толстой пережил смерть двух детей и Т. А. Ергольской. В эти же годы Толстой увлекался школою. «Роман свой я обещал напечатать в «Русском вестнике», но никак не могу оторваться до сих пор от живых людей, чтобы заняться воображаемыми»,— писал он А. А. Толстой 15...30? декабря 1874 года (т. 62, с. 130—131).

[4] Речь идет о русско-турецкой войне 1877—1878 годов.

[5] Последние главы романа должны были печататься в майской книжке «Русского вестника» за 1877 год. Но Катков был не согласен с отрицательным отношением Толстого, высказанным им в эпилоге, к добровольческому движению в пользу сербов и поэтому не соглашался печатать его. По совету Страхова Толстой напечатал восьмую часть «Анны Карениной» отдельной книжкой. Издание было снабжено следующей заметкой: «Последняя часть «Анны Карениной» выходит отдельным изданием, а не в «Русском вестнике», потому что редакция этого журнала не пожелала печатать эту часть без некоторых исключений, на кото-

рые автор не согласился» (т. 20, с. 636). Катков в майской книжке «Русского вестника» сделал такое заявление от редакции: «Со смертью героини роман, собственно, кончился. По плану автора следовал бы еще небольшой эпилог, листа в два, из коего читатели могли бы узнать, что Вронский, в смущении и горе после смерти Анны, отправляется добровольцем в Сербию, и что все прочие живы и здоровы, а Левин остается в своей деревне и сердится на славянские комитеты и на добровольцев. Автор, быть может, разовьет эти главы к особому изданию своего романа» (там же). Толстой, возмущенный этим «изложением» Каткова, написал письмо в редакцию газеты «Новое время», но не послал его. Письмо С. А. Толстой с подробным разъяснением причины отсутствия эпилога в «Русском вестнике» было напечатано в «Новом времени» (1877, № 463, 14 июня). В ответ на него Катков опубликовал в «Русском вестнике» (1877, кн. 7) статью о восьмой части романа, озаглавленную: «Что случилось по смерти Анны Карениной», в которой он, пытаясь оправдаться в том, что не поместил в своем журнале эпилога, писал, что, по его мнению, «роман остался без конца и при восьмой и последней части».

[6] См.: письмо от 25... 26 января 1877 года (т. 62, № 311).

[7] См.: письмо от 25 августа 1875 года (т. 62, № 197).

[8] См.: письмо от 8... 9 апреля 1876 года (т. 62, № 258).

ГЛАВА XIV

[1] И. Л. Толстой предполагает, что «Почтовый ящик» в Ясной Поляне устраивался еще в середине семидесятых годов. Среди сохранившихся рукописей «Почтового ящика» есть только одно стихотворение, «На 28 августа», написанное ко дню рождения Л. Н. Толстого, которое ориентировочно можно отнести к 1878 году. С. А. Толстая вспоминала, что они с сестрой затеяли «так называемый «Почтовый ящик» летом 1881 года» (Толстая С. А. Моя жизнь. Т. 3, с. 687. Машинопись. *ГМТ*). Биограф Толстого, П. И. Бирюков, относит возникновение «Почтового ящика» к 1882 году. Такого же мнения придерживается и Н. К. Гудзий (т. 25, с. 869). С. Л. Толстой в «Очерках былого» указывает четвертую дату возникновения «Почтового ящика» — 1883 год (*С. Л. Толстой*, с. 162—172; 388—406). К этому же времени относится часть сохранившихся сочинений. Даты на других сочинениях и записи в дневниках Л. Н. Толстого говорят о том, что, несомненно, «Почтовый ящик» в Ясной Поляне существовал в 1883—1885 и 1887 годах.

Об истории возникновения «Почтового ящика» Т. А. Кузминская писала П. И. Бирюкову: «Так как обе семьи наши были многочисленны и молодежи от пятнадцати — двадцати лет было много, а событий разных — еще больше, то часто хотелось и подсмеяться над чем-нибудь, и вывести секреты наружу, и похвалить, и осудить, то и был заключен договор между молодежью, что пускай в течение недели всякий пишет все, что ему угодно, не подписывая, конечно, своего имени. А в воскресенье вечером за чайным столом один кто-нибудь будет читать вслух все труды

за неделю» (т. 25, с. 869). С. А. Толстая вспоминала: «Хорошо писал стихи В. В. Трескин, старалась моя сестра и Сережа; а то больше было все нелепое и небрежное. Иногда Лев Николаевич писал интересно и умно». По ее мнению, «жизнь яснополянскую летом характеризовали все эти плохие писанья довольно метко» (Толстая С. А. Моя жизнь. Т. 4, с. 85. Машинопись. *ГМТ*).

[2] Текст вопроса написан неизвестной рукой.

[3] Текст ответа написан Л. Н. Толстым. Далее приписка рукой неизвестного: «Нет. Перебесившись».

[4] От слов: «Просят ответить Петр и пр.» написано рукой В. В. Нагорновой. Первоначально в тексте было: «Устюшка», «Машка». Исправлено рукой Толстого.

[5] На этом текст обрывается.

ГЛАВА XV

[1] Илья Львович приводит отрывок из «Воспоминаний» Л. Н. Толстого (т. 34, с. 387—388).

[2] В июле 1866 года два офицера пехотного полка, расположенного в деревне Новая Колпна, обратились к Толстому с просьбой выступить защитником солдата Шибунина, который был предан военно-полевому суду за то, что ударил оскорбившего его офицера. На суде Толстой выступил с речью в защиту подсудимого. Солдат все же был приговорен к смертной казни. Толстой сейчас же написал письмо А. А. Толстой, близкой к царскому двору, с просьбой ходатайствовать перед царем о помиловании. В своем письме он забыл указать название полка, в котором служил Шибунин. Военный министр Милютин воспользовался этим как поводом для отказа ходатайствовать перед царем за Шибунина. Толстой послал второе письмо с указанием необходимых сведений. Но было поздно. Приговор был утвержден и приведен в исполнение. Вспоминая впоследствии об этом деле, Толстой писал в мае 1908 года Бирюкову: «Случай этот имел на всю мою жизнь гораздо более влияния, чем все кажущиеся более важными события жизни: потеря или поправление состояния, успехи или неуспехи в литературе, даже потеря близких людей» (т. 37, с. 67).

[3] «Исторические концерты» — лекции по истории музыки, с которыми А. Рубинштейн выступал в Москве зимой 1885—1886 и 1888—1889 годов. Чтение их композитор сопровождал исполнением музыкальных произведений разных эпох.

[4] Об этом см. на с. 58 настоящего издания и прим. 4 к гл. VI.

[5] Речь идет о трактате «Царство божие внутри вас», в двенадцатой главе которого Толстой цитирует отрывок из сочинения А. И. Герцена «С того берега» (т. 28, с. 284—285).

[6] См. *Фет*, ч. 1, с. 296—297. Имя гражданина Афин Тимона Афинского, жившего в 5 в. до н. э., стало нарицательным как воплощение крайней мизантропии, явившейся результатом критического отношения к действительности. Очевидно, в этом смысле Фет сравнивает с ним братьев Толстых.

[1] См.: *Фет*, ч. 1, с. 105—106.

[2] См.: *Переписка*, т. 1, с. 327—486; т. 2, с. 5—116.

[3] См. об этом прим. 2 к гл. VI.

[4] См.: письмо от 23 февраля 1860 года (т. 60, № 163).

[5] Письмо Фету от 11 мая 1870 года. В письме идет речь о стихотворении А. А. Фета «Майская ночь» (1870). «Стихотворение одно из тех редких, в которых ни слова прибавить, убавить или заменить нельзя; оно живое само и прелестно»,— писал Толстой в том же письме (т. 61, с. 235).

[6] См.: письмо от 28... 29 апреля 1876 года (т. 62, с. 272).

[7] См.: письмо от 17... 18 октября (т. 62, с. 287).

[8] Толстой упомянул стихотворения А. А. Фета: «Я долго стоял неподвижно...» (1843) и «Люди спят: мой друг, пойдем в тенистый сад...» (1853).

[9] Имеется в виду стихотворение Козьмы Пруткова «Юнкер Шмидт».

[10] Статьи литературного критика и философа Н. Н. Страхова о «Войне и мире» впервые были опубликованы в журнале «Заря» (1869, № 1—3; 1870, № 1) и изданы отдельно под заглавием: Н. Страхов. Критический разбор «Войны и мира».— СПб., 1871. С. А. Толстая писала в «Моей жизни»: «Лев Николаевич говорил, что Страхов в своей критике придал «Войне и миру» то высокое значение, которое роман этот получил уже много позднее, и на котором он и остановился навсегда» («Новый мир», 1978, № 8, с. 44). Отзывы об «Анне Карениной» содержатся в письмах Страхова к Толстому и в статье «Взгляд на текущую литературу» («Русь», 1883, 6 января).

[11] По просьбе Толстого Н. Н. Страхов осуществлял наблюдение за изданием «Азбуки», «Анны Карениной» и романа «Война и мир» для собрания сочинений 1873 года.

[12] Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. 1870—1894.— СПб., 1914.

[13] Имеется в виду письмо от 14... 15 апреля 1872 года (т. 61, № 372), в котором Толстой отвечал на несохранившееся письмо Н. Н. Страхова, содержащее его отзыв о рассказе «Кавказский пленник».

[14] Письмо Толстого к Н. Н. Страхову от 23... 26 апреля 1876 года (т. 62, № 261) было ответом на письмо Н. Н. Страхова от апреля 1876 года, в котором говорилось: «Я писал к Вам, как я понимаю идею Вашего романа, и спрашивал, верно ли: но Вы мне ни разу ничего не сказали об этой идее (или я не понял?). Но я твердо держусь за свое» (*ПС*, с. 81).

В статье «Взгляд на текущую литературу» Страхов писал: «Общая идея романа, хотя выполненного не везде с одинаковою силою, выступает очень ясно; читатель не может уйти от невыразимо тяжелого впечатления, несмотря на отсутствие каких-нибудь мрачных лиц и событий, несмотря на обилие совершенно идиллических картин. Не только Каренина приходит к самоубийству без ярких внешних поводов и страданий, но и Левин, благополучный во всем Левин, ведущий такую нормальную жизнь, чувствует под

конец расположение к самоубийству и спасается от него только религиозными мыслями, вдруг пробудившимися в нем, когда мужик сказал, что нужно бога помнить и жить для души. Это и есть то нравоучение романа, по которому он составляет введение к рассказу «Чем люди живы» (Страхов Н. Н. Литературная критика.— М., 1984, с. 400).

[15] См.: письмо от 13 сентября 1871 года (т. 61, № 351).

[16] В письме от 27 ноября 1877 г. Толстой называет Н. Н. Страхова «дорогим и единственным духовным другом» (т. 62, с. 353). Дети Толстых также «относились к Страхову... с любовью, доверием и уважением». См.: очерк С. Л. Толстого «Николай Николаевич Страхов» в «Яснополянском сборнике, 1982».— Тула, 1984, с. 128—135.

[17] Имеется в виду статья «О переписи в Москве», которая впервые была напечатана в газете «Современные известия», 1882, № 19, 20 января.

[18] См.: *Т. Л. Сухотина,* с. 262.

[19] Портрет С. А. Толстой с дочерью Александрой на руках был написан Н. Н. Ге в 1886 году. Находится в Доме-музее Л. Н. Толстого в Ясной Поляне.

[20] Портрет Толстого Н. Н. Ге написал в январе 1884 года С. Л. Толстой находил его «лучшим из всех портретов Льва Толстого по сходству и выражению лица, несмотря на опущенные глаза. Я думаю, что этот портрет особенно удачен потому,— писал он,— что отец для него не позировал, а в то время, когда Ге писал его, так углублялся в свою работу, что забывал о присутствии художника» (*С. Л. Толстой,* с. 333). Находится в Третьяковской галерее.

ГЛАВА XVII

[1] См. об этом прим. 2 к гл. VI.

[2] Из письма от 13/25 сентября 1856 года (*Тургенев. Письма,* т. III, с. 13).

[3] Из письма от 29 октября (10 ноября) 1854 года (*Тургенев. Письма,* т. II., с. 237).

[4] Из письма 5/17 декабря 1856 года (*Тургенев. Письма,* т. III, с. 52).

[5] Из письма от 17—22 февраля (1—6 марта) 1857 года (*Тургенев. Письма,* т. III, с. 95).

[6] Из письма от 13/25 сентября 1856 года (*Тургенев. Письма,* т. III, с. 13).

[7] Из письма от 25 ноября (7 декабря) 1857 года (*Тургенев. Письма,* т. III, с. 170).

[8] Об этом см. также в кн.: *Т. Л. Сухотина,* с. 252—254.

[9] Из письма от 9 июля 1861 года (*Фет,* ч. I, с. 378).

[10] Из письма А. А. Фету и И. П. Борисову от 22—29 февраля (5—12 марта) 1860 года (*Тургенев. Письма,* т. IV, с. 44).

[11] Здесь И. Л. Толстой цитирует отрывки из писем И. С. Тургенева к Л. Н. Толстому от 19/31 октября и 15/27 декабря 1882 года (*Тургенев. Письма,* т. XIII, кн. 2, с. 74—75, 133—134).

[12] По просьбе Тургенева Толстой послал ему «Исповедь» со своей знакомой А. Г. Олсуфьевой, которая 11 ноября 1882 года посетила больного Тургенева в Бужнвале и исполнила поручение Толстого.

Тургенев прочитал статью и просил А. Г. Олсуфьеву прийти к нему на следующий день, чтобы побеседовать о ней. В своих «Воспоминаниях» Олсуфьева писала: «Тургенев меня встретил весь взволнованный...: — Ну, можно ли, можно ли так злоупотреблять своим талантом — ведь это просто грех,— начал он, едва мы уселись у камина.— Я вчера читал, читал и внутренно бесился. Толстой, который у нас в России такой художник, такой тонкий психолог, который умеет так в души влезать, и писать такую чепуху,— ворчал Тургенев» («Исторический вестник», 1911, март, с. 860—861).

Олсуфьева посоветовала Тургеневу написать Толстому и высказать ему свое мнение. Намерение написать Толстому об «Исповеди» Тургенев не осуществил. Григоровичу же он написал 31 октября 1882 года: «Прочел ее с великим интересом, вещь замечательная по искренности, правдивости и силе убежденья. Но построена она вся на неверных посылках — и в конце концов приводит к самому мрачному отрицанию всякой живой, человеческой жизни... Это тоже своего рода нигилизм... И все-таки Толстой едва ли не самый замечательный человек современной России» (*Тургенев. Письма*, т. XIII, кн. 2, с. 89).

[13] В действительности Тургенев приезжал в Ясную Поляну пять раз: 8—9 августа и 2—4 сентября 1878 г.; 2—4 мая 1880 г.; 6 июня и 22 августа 1881 г. Кроме И. Л. Толстого, о посещении Тургеневым Ясной Поляны вспоминали: С. А. Толстая в «Моей жизни» («Новый мир», 1978, № 8, с. 50—53); С. Л. Толстой в «Очерках былого» (с. 292—312) и Т. Л. Сухотина в «Воспоминаниях» (с. 244—256).

[14] И. С. Тургенев читал свой рассказ «Собака», написанный им в апреле 1864 года. Впервые рассказ был напечатан в газете «Петербургские ведомости», № 85, 31 марта (12 апреля) 1866 года.

[15] Эпизод с танцами относится к посещению Тургеневым Ясной Поляны 22 августа 1881 года, а не к 1878 году, как пишет автор воспоминаний. В этот день Л. Н. Толстой записал в дневнике: «Тургенев cancan. Грустно» (т. 49, с. 57).

[16] Автор «Воспоминаний» допустил неточность. В последний раз Тургенев приезжал в Россию в мае 1881 года. 6 июня по дороге в Москву он побывал в Ясной Поляне, а в июне этого же года в письме к Тургеневу Толстой сообщил о предстоящей поездке в Спасское, чтобы повидаться с Тургеневым: «Мне так было в последнее свидание хорошо с вами, как никогда прежде не было. И как ни странно это сказать, но я чувствую, что теперь только после всех перипетий нашего знакомства вполне сошелся с вами и что теперь я все ближе и ближе буду сходиться с вами» (т. 63, с. 70). 9 и 10 июля 1881 года Толстой провел у Тургенева в Спасском. В этом же 1881 году, 22 августа, Тургенев был в последний раз в Ясной Поляне.

[17] В своем последнем письме (29 июня/11 июля 1883 г.) Тургенев, обращаясь к Толстому, назвал его «великий писатель Русской земли» (*Тургенев. Письма*, т. XIII, кн. 2, с. 180).

[18] Из письма от 28 июня 1867 года (т. 61, с. 171—172).

[19] В упоминаемом письме к А. А. Фету от 7 октября 1865 года (т. 61, с. 109) речь идет о рассказе Тургенева «Довольно», который Толстой читал в сентябре 1865 года (см.: там же, с. 106). Рассказ впервые был напечатан в сочинениях И. С. Тургенева (1844—1864), ч. V, изд-во Салаевых, 1865.

[20] В октябре 1883 года в Обществе любителей российской словесности в Москве намечено было публичное заседание в память И. С. Тургенева. Председатель общества С. А. Юрьев обратился к Толстому с просьбой выступить на этом заседании. Толстой так вспоминал об этом факте: «Когда Тургенев умер, я хотел прочесть о нем лекцию. Мне хотелось, особенно в виду бывших между нами недоразумений, вспомнить и рассказать все то хорошее, чего в нем было так много и что я любил в нем. Лекция эта не состоялась. Ее не разрешил Долгоруков» (*Гольденвейзер*, с. 62).

Главное управление по делам печати и министерство внутренних дел опасались выступления Толстого. Начальник Главного управления по делам печати Е. М. Феоктистов писал министру внутренних дел Д. А. Толстому: «Толстой — человек сумасшедший, от него следует всего ожидать; он может наговорить невероятные вещи — и скандал будет значительный». Феоктистов предлагал министру «предупредить» московского генерал-губернатора о просмотре всех речей, предназначенных для прочтения на этом заседании (Ю. Никольский, Дело о похоронах И. С. Тургенева.— «Былое», 1917, № 4, с. 153).

Московский генерал-губернатор В. А. Долгоруков приказал С. А. Юрьеву «под благовидным предлогом» объявить заседание «отложенным на неопределенное время» (Дело департамента полиции 1898 года, № 349, «О писателе гр. Л. Н. Толстом».— «Былое», 1918, № 9, с. 207).

С. А. Толстая сообщала Т. А. Кузминской 29 октября 1883 года: «Левочка для речи ничего не написал, хотел только говорить, вероятно, накануне набросал бы, но так как запретили, то так и не написалось и не сказалось. О Каткове он упомянул бы, но в смысле, что не все мыслящие и пишущие люди свободны от подслуживания властям и правительству, а что Тургенев был вполне свободный и независимый человек и служил только делу (cause), а дело его была литература; мысль свободная и слово свободное, откуда бы оно ни шло» (*ГМТ*).

[21] Из письма от 30 сентября 1883 года (т. 83, с. 397).

ГЛАВА XVIII

[1] Рассказ В. М. Гаршина «Четыре дня» впервые опубликован в журнале «Отечественные записки», 1877, № 10, с подзаголовком «Один из эпизодов войны».

[2] В. М. Гаршин посетил Толстых 16 марта 1880 года. И. Л. Толстой допустил ошибку: Гаршин не мог сказать: «Я провел

всю кампанию», так как пробыл на фронте русско-турецкой войны всего лишь четыре месяца (5 мая — 4 сентября 1877 г.). Внешняя же картина приезда Гаршина и впечатление, которое Гаршин оставил в семье Толстых, переданы И. Л. Толстым достаточно верно (см. об этом: С. Дурылин, Вс. М. Гаршин. Из записок биографа.— В кн.: «Звенья», вып. 5, 1935). В предисловии к сочинениям Мопассана Толстой вспоминает о том, что первым, кто познакомил его с творчеством Гаршина, был Тургенев (т. 30, с. 3). С этих пор Толстой читал все, что печатал Гаршин, высоко ценил его как писателя. В издании «Посредника» вышли рассказы Гаршина «Сигнал» и «Сказание о гордом Аггее». В «Посреднике» же были перепечатаны его рассказы «Медведи» и «Четыре дня на поле сражения». Гаршин находился в дружеских отношениях с В. Г. Чертковым. Его письма к В. Г. Черткову опубликованы в сборнике «Звенья», 1935, № 5. Когда же Гаршин тяжело заболел, Толстой через А. М. Кузминского, просил узнать: «Содержится ли в Харьковском сумасшедшем доме Гаршин?»; он собирался к нему поехать (Письмо С. А. Толстой к Т. А. Кузминской 8 февраля 1881 г., *ГМТ*).

[3] Гаршин В. Рассказы.— СПб., 1882; Гаршин В. Вторая книжка рассказов.— СПб., 1885.

В статье «Смерть В. М. Гаршина» Г. И. Успенский упоминает два маленьких томика рассказов Гаршина, в которых «исчерпано все содержание нашей жизни, в условиях которой пришлось жить и Гаршину, и всем его читателям... Именно все, что давала наиболее важного его уму и сердцу наша жизнь...— все до последней черты пережито, перечувствовано им самым жгучим чувством, а именно потому-то и могло быть высказано только в двух, да еще таких маленьких книжках» (Успенский Г. Собр. соч., т. 9.— М., 1957, с. 147—148).

[4] Дом Толстых в Хамовниках В. М. Гаршин посетил в 1887 г. (Булгаков В. История дома Льва Толстого в Москве.— *Летописи* 12, с. 542).

ГЛАВА XIX

[1] Известно, что об убийстве Александра II узнала С. А. Толстая, ездившая 2 марта 1881 года в Тулу. Об этом она писала Т. А. Кузминской 3 марта 1881 года (*ГМТ*). С. Л. Толстой вспоминал: «1 марта был убит Александр II, о чем мы узнали на другой день от нищего мальчика-итальянца, вабредшего в Ясную Поляну» (*С. Л. Толстой,* с. 81).

[2] Из письма Л. Н. Толстого к Александру III от 8—15 марта 1881 года (т. 63, с. 45).

[3] Из письма Л. Н. Толстого к П. И. Бирюкову от 3 марта 1906 года (т. 76, с. 113—114).

[4] Письмо Толстого к Александру III было написано по поводу предстоящего смертного приговора над участниками убийства Александра II, членами партии «Народная воля»: А. И. Желябовым, Н. И. Рысаковым, Т. М. Михайловым, Н. И. Кибальчичем, С. Л. Перовской и Г. М. Гельфман.

Через Н. Н. Страхова оно было передано К. П. Победоносцеву, который, прочитав его, возвратил назад с отказом передать царю. Н. Н. Страхов через профессора К. Бестужева-Рюмина передал письмо великому князю Сергею Александровичу для передачи Александру III.

С. А. Толстая вспоминала: «На письмо это Александр III велел сказать графу Л. Н. Толстому, что, если б покушение было на него самого, он мог бы помиловать, но убийц отца он не имеет права простить» (Толстая С. А. Моя жизнь.— «Новый мир», 1978, № 8, с. 56).

Смертная казнь была приведена в исполнение 3 апреля 1881 года. Много лет спустя Толстой, вспоминая свое обращение к царю, писал: «Не скажу, чтобы это отношение к письму имело влияние на мое отрицательное отношение к государству и власти. Началось это и установилось в душе давно, при писании «Война и мир», и было так сильно, что не могло усилиться, а только уяснялось. Когда казнь совершилась, я только получил еще большее отвращение к властям и к Александру III» (т. 76, с. 114).

[5] Речь идет о письме К. П. Победоносцева к Толстому от 15 июня 1881 г. (Опубл.: т. 63, с. 58—59).

[6] Речь идет об Абраме Бунде, приехавшем к Толстому весной 1892 года. Л. Н. Толстой так описывает его появление: «Еще 3 дня тому назад явился к нам старик, 70 лет, швед, живший 30 лет в Америке, побывавший в Китае, в Индии, в Японии. Длинные волоса, желто-седые, такая же борода, маленький ростом, огромная шляпа; оборванный, немного на меня похож, проповедник жизни по закону природы. Прекрасно говорит по-английски, очень умен, оригинален и интересен. Хочет жить где-нибудь, он был в Ясной, и научить людей, как можно прокормить 10 человек одному с 400 сажен земли без рабочего скота, одной лопатой» (т. 84, с. 146). Толстой даже думал о том, чтобы «собрать его мысли, процедить и изложить» (т. 87, с. 149). Прожив недолго в Ясной Поляне, а затем в имении Т. Л. Толстой — Овсянникове, Абрам Бунде уехал оттуда в Петербург, а затем, по-видимому, вернулся на родину. (См. Толстая С. А. Моя жизнь.— «Новый мир», 1978, № 8, с. 106—107).

[7] Об этом посетителе писала Т. Л. Сухотина к М. С. Сухотину 20 сентября 1899 года: «Какие удивительные у нас бывают люди. Вчера приходил господин, который вегетарианец и при этом ест только через день. Вчера был его пустой день, и он ни разу ни за один раз с нами не сел,— ходил гулять с нами верст семь и не ослабел нисколько. Ему сорок семь лет, и он уже несколько лет с успехом держится этого режима. Папа́ им очень увлекся, как всегда всем, что выходит из обычной колеи» *(ГМТ)*.

[8] Имеется в виду Д. Е. Троицкий.

ГЛАВА XX

[1] См. об этом прим. 10 к гл. XVI.

[2] Этюд М. С. Громеки «Последние произведения гр. Л. Н. Толстого» впервые был напечатан в «Русской мысли» (1883,

№№ 2, 3, 4 и 1884, № 11). Толстой высоко оценил статью Громеки: «Он объяснил то, что я бессознательно вложил в произведение»,— сказал он Г. А. Русанову (Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников.— М., 1960, т. 1, с. 295).

[3] Начало работы над «Декабристами» относится к ноябрю 1860 года. 14/26 марта 1861 года Толстой писал Герцену: «Я затеял месяца 4 тому назад роман, героем которого должен быть возвращающийся декабрист» (т. 60, с. 374). Роман остался незаконченным: были написаны только первые три главы. В конце 1877 года Толстой вновь вернулся к замыслу произведения о декабристах. Он собрал и изучал исторические материалы, вел большую переписку и встречался с самими декабристами и лицами, их знавшими. Им были сделаны конспекты и наброски начала романа. Работой над романом он был занят до января 1879 года. Роман остался незаконченным.

[4] Толстой неоднократно перечитывал «Выбранные места из переписки с друзьями» Гоголя. В 1851 году он в дневнике привел высказывание Гоголя из «Переписки»: «Все сочинения, чтобы быть хорошими, должны, как говорил Гоголь о своей прощальной повести (она выпелась из души моей), выпеться из души сочинителя» (т. 46, с. 71).

В 1887 году, по свидетельству самого Толстого, он прочитал «Выбранные места...» Гоголя в третий раз. «Всякий раз, когда я ее читал,— пишет Толстой В. Г. Черткову 10 октября 1887 года,— она производила на меня сильное впечатление, а теперь сильнее всех. Надо издать выбранные места из его переписки и его краткую биографию — в «Посреднике». Это удивительное житие» (т. 86, с. 89—90).

[5] С А. П. Бобринским, одним из основателей религиозного «Общества поощрения духовно-нравственного чтения», Толстой был знаком и в 1876 году состоял в переписке. В 1876 году Бобринский приезжал в Ясную Поляну и беседовал с Толстым по вопросам религии. В 1874 году в Петербург приехал Гренвиль Редсток, английский проповедник-евангелист, создатель религиозного учения, по которому человек может очистить и спасти свою душу не свершением «добрых дел», а одной верой в искупление кровью Христа. В России среди русской аристократии Редсток нашел много последователей, одним из которых был А. П. Бобринский.

Толстой интересовался личностью Редстока. В марте 1876 года он спрашивал о нем в письме к А. А. Толстой: «Вы знаете Редстока? Какое он произвел на вас впечатление?» (т. 62, с. 260). В романах «Анна Каренина» и «Воскресение» Толстой вывел сторонников учения Редстока. Это представители высшего света — Лидия Ивановна («Анна Каренина»), Катерина Ивановна Чарская и проповедник Кизеветтер в «Воскресении». В Дневнике за 1891 год Толстой так объясняет популярность Редстока в великосветском обществе: «Отчего успех Редстока в большом свете? Оттого, что не требуется изменения своей жизни, признания ее неправой, не требуется отречения от власти, собственности, князя мира сего» (т. 52, с. 45)

[6] Л. Н. Толстой был в Оптиной пустыни пять раз: в 1877, 1881, 1890, 1896 гг. и 28—29 октября 1910 года. См.: прим. 1 к гл. IV и прим. 7 к гл. XXVIII.

[7] См.: биографический труд П. И. Бирюкова «Биография Льва Николаевича Толстого».— М.-Пг., 1923, т. 2, ч. IV, гл. XIV.

[8] См.: «Исповедь» (т. 23, с. 12) и прим. 2 к гл. V. И. Л. Толстой цитирует «Исповедь» по изд. М. К. Элпидина, Женева, 1889.

[9] См.: письмо от 16 декабря 1882 года (т. 63, с. 106).

[10] См.: т. 23, с. 32.

[11] Переводом и изучением греческого текста Евангелий и сводом всех разночтений отдельных мест Толстой занимался в 1880—1881 гг., во время работы над «Соединением и переводом четырех Евангелий» (т. 24).

[12] О распределении дня на «упряжки» Толстой упоминает в своем трактате «Так что же нам делать?»: «Мне представилось дело так: день всякого человека самой пищей разделяется на 4 части, или 4 упряжки, как называют это мужики: 1) до завтрака, 2) от завтрака до обеда, 3) от обеда до полдника и 4) от полдника до вечера. Деятельность человека, в которой он, по самому существу своему, чувствует потребность, тоже разделяется на 4 рода: 1) деятельность мускульной силы, работа рук, ног, плеч и спины — тяжелый труд, от которого вспотеешь; 2) деятельность пальцев и кисти рук, деятельность ловкости, мастерства; 3) деятельность ума и воображения; 4) деятельность общения с другими людьми» (т. 25, с. 388).

[13] И. Л. Толстой не совсем точно излагает рассказ «О чем рассказал берег Ганги» (1884) (см. Рабиндранат Тагор. Собр. соч. в двенадцати томах, т. 1.— М., 1961).

ГЛАВА XXI

[1] См.: т. 25, с. 191.

[2] Н. Ф. Федоров — русский мыслитель-утопист, с 1874 по 1898 г.— библиотекарь Румянцевского музея (ныне — Гос. библиотека СССР им. В. И. Ленина). Философские идеи Н. Ф. Федорова вызывали большой интерес у Толстого. Их личное знакомство состоялось в октябре 1881 г.

[3] Первая встреча Толстого с В. С. Соловьевым состоялась, по-видимому, 10 мая 1875 года. «Мое знакомство с философом Соловьевым,— писал Толстой 25 августа 1875 года Н. Н. Страхову,— очень много дало мне нового, очень расшевелило во мне философские дрожжи и много утвердило и уяснило мне мои самые нужные для остатка жизни и смерти мысли, которые для меня так утешительны, что, если бы я имел время и умел, я бы постарался передать и другим» (т. 62, с. 197).

Толстой и Соловьев, который был сторонником официального церковного христианства, расходились главным образом во взглядах на религию.

Соловьев не признавал учение Толстого о «непротивлении злу насилием» и в своих книгах «Оправдание добра», «Три разговора», а также в неотправленом письме Толстому (опубликовано

в «Вопросах философии и психологии», 1905, № 79) осуждал его миросозерцание. Переписку Толстого с В. С. Соловьевым см.: ЛН, №№ 37—38, т. 2.— М., 1939, с. 268—276

ГЛАВА XXII

[1] См.: т. 63, с. 184.

[2] См.: т. 66, с. 21.

[3] Я. П. Полонский посетил Толстого 30 апреля и 2 мая 1884 г. (т. 49, с. 89). В письме от 16 февраля 1891 г., вспоминая эти встречи, Полонский писал Толстому: «Мне невольно вспомнилось, с каким братским радушием, как дружески Вы обошлись со мною, когда я был в Москве и зашел к Вам» (*Переписка*, т. I, с. 315).

[4] Имеется в виду В. Г. Чертков, приезжавший в Ясную Поляну в августе 1885 года. О его приезде Л. Н. Толстой сообщал в письме к С. А. Толстой от 17 августа 1885 года (т. 83, с. 506).

ГЛАВА XXIII

[1] Из письма к Т. А. Ергольской от 12 января 1852 года (т. 59, с. 159—162). Перевод И. Л. Толстого.

[2] Из письма к С. Н. и И. Л. Толстым, сентябрь 1884 года (т. 63, с. 188).

[3] Письмо к И. Л. и С. Л. Толстым от сентября 1886 года (т. 63, с. 382).

[4] Письмо предположительно отнесено к 1886 году (т. 63, с. 449).

[5] Письмо от октября 1887 года (т. 64, с. 115—116).

[6] Письмо к И. Л. Толстому от октября 1887 года (т. 64, с. 117).

[7] Из письма к И. Л. Толстому от октября 1887 года (т. 64, с. 119).

ГЛАВА XXIV

[1] Упоминаемый в письме Л. Н. Толстого от марта 1888 года (т. 64, с. 159—160) Д. А. Хилков во второй половине восьмидесятых и девяностых годов был единомышленником Толстого. В 1884 году он отказался от военной карьеры, вышел в отставку, отдал землю крестьянам, оставив себе небольшой надел в Сумском уезде Харьковской губернии, на котором сам работал. Толстой познакомился с Хилковым в 1887 году и многие годы был с ним в переписке. В марте 1888 года Хилков женился гражданским браком на Цецилии Владимировне Винер.

[2] Письмо от конца апреля — 6 мая 1888 года (т. 64, с. 167—168).

[3] Письмо от 25 декабря 1888 года (т. 64, с. 208).

[4] В ноябре 1932 года (вследствие упразднения кладбища при селе Никольском близ Покровского-Стрешнева под Москвой) прах детей Толстых был перевезен на Кочаковское кладбище. См.:

Пузин Н. П. «Кочаковский некрополь».— В кн.: «Л. Н. Толстой в Тульском крае».— Тула, 1978, с. 33—56.

[5] См.: т. 84, с. 288—290.

[6] Из письма к И. Б. Файнерману от 16 мая 1895 года (т. 68, с. 96).

ГЛАВА XXV

[1] Работа Толстого по оказанию помощи голодающим крестьянам продолжалась с сентября 1891 по июль 1893 года. В свой последний приезд в Бегичевку он писал Н. Н. Страхову 13 июля 1893 года: «Хочется теперь написать о положении народа, свести итоги того, что открыли эти два года» (т. 66, с. 367). См. об этом также: «Лев Толстой в переписке родных и близких».— «Октябрь», 1978, № 9, с. 201—213 и Толстая С. А. Моя жизнь.— «Новый мир», 1978, № 8, с. 79—106 и 109.

[2] Из письма Н. Н. Ге (отцу) и Н. Н. Ге (сыну) от 9(?) ноября 1891 года (т. 66, с. 81).

[3] Толстой познакомился с И. И. Раевским в пятидесятых годах в Москве на занятиях по гимнастике. После его смерти Толстой опубликовал статью-некролог «Памяти Ив. Ив. Раевского», в которой писал: «Это был один из самых лучших людей, которых мне приходилось встречать в моей жизни» (т. 29, с. 262).

[4] В. М. Величкина (жена В. Д. Бонч-Бруевича), революционерка, врач. С января 1892 г. до осени работала с Толстым на голоде. Автор воспоминаний «В голодный год с Львом Толстым». М.—Л., 1928.

[5] Е. М. Персидская и Н. Н. Философова.

[6] Письмо от 13 января 1892 года (т. 66, с. 137).

[7] Деятельность И. Л. Толстого по оказанию в 1898 году помощи голодающим вызвала крайне настороженное отношение местных властей. В орловском архиве хранится «Дело о разрешении графу Илье Львовичу Толстому открыть в Мценском уезде столовую для оказания помощи пострадавшим от неурожая крестьянам весной 1898 года», которое содержит ряд документов, обличающих правительственные органы. Одновременно с разрешением открыть столовую, 4 мая 1898 года с грифом «Совершенно секретно», от орловского губернатора было послано предписание «ввиду устранения возможности известной пропаганды», мценскому исправнику поручалось нести «неослабное наблюдение негласным образом за всем, что будет происходить... в этой столовой», то есть открываемой в Мценском уезде. Одна из столовых была открыта в селе Лопашино. Прибывший сюда исправник беседовал с некоей помещицей Бендерской. В делах канцелярии орловского губернатора сохранилась запись этой беседы. Бендерская сообщала о том, что она видела Л. Н. Толстого, приезжавшего в село перед открытием столовой. «Одет он был в старую свиту, на ногах опорки и за спиной котомка; он заходил в крестьянские хаты, справлялся о их нужде, составил список нуждающихся и объявил, что их будут кормить в столовой, которую он откроет. На просьбу крестьян других обществ кормить и их был ответ: «Пусть ваши помещики поворочают мозгами» («Новый мир», 1956, № 7,

с. 275). В Дневнике Толстой так отметил это посещение: «Ходил в Лопашино, переписывал» (т. 53, с. 191). Вот описание ужина в столовой сельца Лопашина (со слов того же исправника): «В хате крестьянина Гордея Алехина было собрано сорок детей и восемь взрослых, ели они гороховую похлебку, около каждого по ломтю хлеба. Присутствовала при ужине гувернантка графа И. Л. Толстого и дочь графа, девочка лет двенадцати. Гувернантка мне объяснила, что столовая открыта на пятьдесят семь человек, заведует столовой граф Илья Львович Толстой, а ведет хозяйство жена хозяина дома, которой выдаются продукты, привозимые из имения графа; горячую пищу дают два раза в день, которую разнообразят: бывает картофельный суп, гороховая похлебка, кулеш, затем каша и квас» (там же). Деятельность Толстого в деле помощи голодающим вызывала недовольство не только со стороны правительственных органов, но и в среде местных помещиков. По собственному признанию той же помещицы Бендерской, помощь Толстого голодающим крестьянам сулила ей и всем подобным такие «радости», от которых их могла защитить только власть имущих: «1) сами будем пахать, варить рабочим, доить коров; 2) ждать за ложный ропот наказания божьего — полного голода и 3) самое главное — это бунта и разбоя, если администрация не войдет в защиту. У меня сегодня ушла с людской кухарка, говорит, больна, силой не привяжешь, кормят даром. А благодаря графа и его средствам и методе действия горе неизбежно» («Дело канцелярии орловского губернатора», ф. 580, ед. хр. 2426, стол. 2. Гос. архив Орловской обл.).

[8] Речь идет о статье «Голод или не голод?» (т. 29), работу над которой Толстой закончил 4 июня 1898 г. В нее был включен отчет о расходовании денег, пожертвованных на помощь голодающим. Статья со значительными сокращениями была напечатана в газете «Русь», 1898, №№ 4 и 5, 2 и 3 июля.

[9] Письмо от 7—10 июня 1898 года (т. 71, с. 376).

ГЛАВА XXVI

[1] Толстые выехали из Москвы в Крым 5 сентября 1901 года. Вернулись в Ясную Поляну 27 июня 1902 года. С. А. Толстая так описала пребывание семьи Толстых в Гаспре: «Дом, в котором мы живем, похож на средневековый замок... Все так удобно, так роскошно и так хорошо, что лучшего желать нельзя. Мы все заняли только верх, внизу пользуемся одной столовой, а кабинет, спальни и гостиную мы решили не занимать, от страха что-либо попортить... Папа́ здоров, ездил два дня подряд верхом на смирной лошади управляющего-немца. Ему тут очень нравится, он на все радуется и всем восхищается. ...Странное впечатление на меня производит и папа́ и Маша. Точно натерпевшись в жизни всяких лишений, которые они по принципу добровольно перенесли, они теперь хотят наверстать потерянное; и вовсю, с увлечением пользуются всеми благами жизни: весь день едят чудесный, сладкий виноград, катаются, гуляют, спят в чудесных постелях, с удовольствием живут в роскошной даче» (Письмо С. А. Толстой к

О. К. и А. Л. Толстым, 14 сентября 1901, *ГМТ*). Более подробные сведения о Толстом находим в письме М. Л. Оболенской к Т. Л. Сухотиной, относящемся к этому же времени: «Папá же необыкновенно хорош. Расскажу тебе наш день. Папá встает в шесть часов и раньше. Одевается, выходит на свой чудный, солнечный, крытый, но залитый солнцем балкон, с таким видом на море и Ай-Петри, какой лучше трудно найти. Тут он ходит, ест виноград и наслаждается. Иногда он сходит вниз и идет гулять. Теперь он легко доходит до моря и назад, и горы ему не трудны. С тех пор как он здесь, ни разу не было ни одного перебоя пульса. Возвращается, пьет кофе и садится заниматься в своей огромной уютной комнате (он в ней же и спит) или на той же террасе. Потом завтракает, спит и опять идет гулять, или едет верхом на лошади управляющего, или едет в Алупку или еще куда, и за ним ездит мамá или кто-нибудь из нас. Вернувшись к закату и обеду, папá всегда с восторгом рассказывает, где был, что видел, как прошел. Обедаем, а после обеда сидим внизу в гостиной, папá лежит на диване, мы с мамá работаем. Коля читает вслух или Гольденвейзер играет. Часов в девять папá ахает и говорит, «что же это мы полуночничаем сегодня»,— спешим пить чай, и все уходим спать. В десять часов весь дом спит, кроме мамá, которая проявляет... Ежедневно у нас на столе огромный букет цветов, преимущественно роз, и в саду их много. В этом отношении роскошь страшная. Папá говорит: слишком ему хорошо, даже совестно. Понимаешь, какая радость, видеть, как ему хорошо!» (*ГМТ*).

[2] Уже в октябре, то есть месяц спустя после приезда, Толстой говорил о том, «что ему ужасно хочется описать все, что он здесь чувствует, свои впечатления, но что это очень трудно и сложно, что очень много таких разных впечатлений: и красота природы, которая приводит его в восторг, и умиление, так что он, в одиночестве гуляя, вслух ахает и приговаривает: «Как хорошо»,— и впечатление этих огромных роскошных имений богачей и великих князей, набранных у татар, и сами татары с их бедностью, с их религией и развращением русскими и богачами» (Письмо М. Л. Оболенской к В. С. Толстой, 6 октября 1901 г., *ГМТ*). Несмотря на тяжелую болезнь, он работал над статьей «О религии», диктовал вставки к статье «О веротерпимости», предисловию к «Солдатской» и «Офицерской памятке». Тогда же задумал обращение «К молодежи», «К духовенству», «К рабочему народу», статью «О ложном значении, приписываемом христианству» и другие. «Сила мысли так еще велика,— пишет С. А. Толстая,— что больной, еле слышно его, а он диктует Маше поправки к своей последней статье, записывает кое-что о болезни и мысли свои в записную книжечку» (Письмо С. А. Толстой к Т. А. Кузминской, 3 февраля 1902 г., *ГМТ*). Медленно поправляясь, чувствуя себя физически еще очень слабым, вместе с тем Толстой испытывает в это время большой прилив творческих сил. В июне— июле 1902 года он уже очень много работает, иногда по пять часов в день. С. А. Толстая писала: «Он худ, весь согнулся, ходит с палочкой, но очень много работает умственно» (Письмо С. А. Толстой к П. А. Сергеенко, 3 июля 1902 г., *ГМТ*).

[3] «Круг чтения» (т. 42, с. 232).

[4] Имеется в виду В. Г. Чертков.

[5] И. Л. Толстой в своих выводах основывается на действительно имевших место фактах, когда Чертков убеждал Толстого вносить изменения в свои публицистические и художественные произведения. Так, он в ряде писем советовал изменить трактовку образов революционеров в романе «Воскресение», считая необходимым «обнаружить обратную сторону медали» в «революционном жизнепонимании» (т. 33, с. 383). Толстой действительно переработал эту часть рукописи, но потому, как он писал Черткову, что это намерение еще раньше возникло у него самого (т. 88, с. 158).

Написав, по предложению Черткова, «другой конец» к рассказу «Свечка», Толстой ему же писал: «Но все это не годится и не может годиться. Вся историйка написана ввиду этого конца» (т. 85, с. 276). В издании «Посредника» рассказ «Свечка» печатался с этим искусственным «концом», но начиная с 1886 года Толстой от него отказался.

Действительно, нажим «толстовцев» был велик. Так, П. И. Бирюков писал В. Г. Черткову 19 октября 1885 года: «Будем просить Льва Николаевича менять лишь те места, где страдают те нравственные принципы, которые признаем мы и Лев Николаевич и от которых он иногда формально уклоняется, увлекаясь художественностью изложения» *(ГМТ)*. Однако в большинстве случаев, особенно в своем художественном творчестве, Толстой отвергал посягательства своих единомышленников, поэтому утверждение И. Л. Толстого явно преувеличено.

[6] 22 октября 1907 года Н. Н. Гусев, в то время секретарь Л. Н. Толстого, был арестован и посажен в Крапивенскую тюрьму. В письме к Д. А. Олсуфьеву 8 ноября 1907 года Толстой так объясняет причину ареста: «Кто-то донес на него, что он ругает царя, у него сделали обыск и нашли мою брошюру «Единое на потребу» с написанными карандашом на полях грубо осудительными словами об Александре III и Николае II» (т. 77, с. 238). Слова эти принадлежали Толстому, а Гусев их только перенес из лондонского издания в петербургское, в котором они были пропущены. Арест Гусева взволновал Толстого. С просьбой о его освобождении он обратился к тульскому губернатору Д. Д. Кобеко, направил письмо графу Д. А. Олсуфьеву с просьбой о содействии через министра внутренних дел освобождению Гусева. Одновременно с этим он посещает Н. Н. Гусева в тюрьме, ведет с ним переписку. 19 ноября 1907 года Д. А. Олсуфьев письменно извещал Толстого о том, что ему удалось повидаться со Столыпиным, который обещал «затушить» дело Гусева. 20 декабря 1907 года Н. Н. Гусев был освобожден (см.: *Гусев*, с. 63—68).

[7] М. М. Холевинская до 1884 года была земским врачом в Крапивенском уезде, потом работала в Туле.

С Толстым познакомилась в 1884 году и часто бывала в Ясной Поляне. В 1893 году была арестована за распространение запрещенных книг Толстого. По ходатайству Л. Н. Толстого, через А. Ф. Кони, в январе 1894 года была освобождена, а в февра-

ле 1896 года вновь арестована по обвиненню в хранении и распространенин запрещенных сочиннений Толстого.

По просьбе Т. Л. Толстой Холевинская дала рабочему И. П. Новнкову запрещенную в то время в Россин книгу Толстого «В чем моя вера»,— в этом была вся ее внна. Пнсьма, посланные Толстым в защнту Холевинской мнннстру внутреннних дел И. Л. Горемыкину и миннстру юстнции Н. В. Муравьеву, осталнсь без ответа. М. М. Холевинская была выслана в Астрахань (см.: Толстая С. А. Моя жнзнь.— «Прометей», т. 12.— М., 1980, с. 191).

[8] Из пнсьма около 20 апреля 1896 года (т. 69, с. 83—86).

[9] Из пнсьма 12... 13 марта 1908 года (т. 78, с. 88).

[10] Подробнее о болезни С. А. Толстой см.— *ЯЗ*, кн. 2, с. 215—229.

ГЛАВА XXVII

[1] Н. Н. Гусев, будучн с 1907 по 1909 год секретарем Л. Н. Толстого, вел дневник. См.: Гусев Н. Н. Два года с Л. Н. Толстым.— М., 1973.

В. Ф. Булгаков — секретарь Л. Н. Толстого в 1910 году. Его дневник см.: Булгаков В. Ф. Л. Н. Толстой в последнний год его жнзни.— М., 1957.

Д. П. Маковицкий — домашний врач Л. Н. Толстого с 1904 по 1910 год, вел подробные каждодневные записи. См.: Маковицкий Д. П. У Толстого. 1904—1910. Яснополянские записки.— *ЛН*, т. 90, кн. 1—4.— М., 1979.

Стенографнческие записи вел Н. Н. Гусев н ннογда Д. П. Маковицкий.

[2] В пнсьме к Т. А. Кузминской от 3 декабря 1906 года С. А. Толстая так опнсывает похороны Марни Львовны: «Я проводнла Машу до каменных столбов, снл у меня мало, Левочка до конца деревни, и мы вернулись домой» *(ГМТ)*. В одном из своих писем С. А. Толстая описывает болезнь н смерть Марии Львовны: «Заболела Маша 20 ноября, вечером у иее появнлась резкая боль в левом плече и потрясающий озноб. Вскоре сделался жар более 40°, и так всю неделю она страшно горела. Оказалось воспаленне левого легкого, крупозное н очень снльное. Никакне меры не ослаблялн силы болезнн... Она бредила, редко опоминалась, чтоб сказать что-нибудь ласковое кому-нибудь из иас; была покорна, кротка... В день смерти, 26-го, она вдруг стала плакать, обняла мужа, но ничего не сказала. Только поздиее едва внятно пронзнесла: «Умнраю». Вечером Маша стала реже н труднее дышать, подняла рукн, и ее посаднлн. Нельзя ннкогда забыть вида всего ее трогательного существа: голову она склонила набок, глаза закрыты, выражение лица такое нежное, покорное, духовное н внешне грацнозное... Папá держал ее руку. Я стояла возле; вся семья была в двух комнатах — она умерла под сводами, тут же вся прислуга. Похороннлн Машу в ограде нашей церкви, трогательно прощался с ней наш яснополянскнй народ» (Пнсьмо к О. К. Толстой от 7 декабря 1906 г., *ГМТ*).

[3] М. Л. Оболенская нз всех детей Толстого была наиболее близка ему н особенно «без рассуждений, без крнтики, а всецело»

любила его (Письмо С. А. Толстой к Л. И. Веселитской, 7 декабря 1906 г., *ГМТ*). Ощущение «важности и радости» ее «положения при отце» приносило ей огромное удовлетворение. Постоянная забота о нем, о его здоровье, его делах — было главным в ее жизни. Она с большим пониманием и сочувствием относилась к душевным исканиям Толстого, к утверждаемым им идеям. Сама верила в то, что отцу было бы хорошо именно с ней, не потому, что она лучше других, а потому, что она любила его, сочувствовала его миропониманию. «Главное то,— писала она в 1901 году,— что страдаешь вдвойне и за себя, и постоянно за папа́ и вместе с папа̀» (Письмо к В. С. Толстой, 6 октября 1901 г., *ГМТ*).

[4] Из письма от 24—25 октября (6—7 ноября) 1860 г. (т. 60, с. 353—354).

[5] Имеется в виду «Дневник для одного себя». С 29 июля по 22 сентября 1910 года Толстой вел одновременно два дневника. Один обычный, который он вел с 1847 года, доступный для его близких, которые могли делать из него выписки, снимать копии, другой — «Дневник для одного себя», который Толстой никому читать не давал. В нем он делал записи, касающиеся его семейной жизни, отношения к жене, детям, друзьям, о своем тяжелом душевном состоянии (т. 58, с. 129—143).

[6] Сведений об упомянутой статье Толстого не обнаружено.

[7] Действительно, 28-е число было особенным в жизни Толстого. 28 августа 1828 года Л. Н. Толстой родился; 28 мая 1856 года было подписано цензурное разрешение «Детства и Отрочества»; 28 июня 1863 года родился С. Л. Толстой; 28 февраля 1888 года женился И. Л. Толстой на Софье Николаевне Философовой; 28 октября 1910 года Л. Н. Толстой навсегда покинул Ясную Поляну.

[8] В дни болезни Толстого в Астапово приехали хорошо знакомые ему и неоднократно лечившие его врачи — Д. В. Никитин, Г. М. Беркенгейм, В. А. Щуровский, П. С. Усов, Д. П. Маковицкий. Шестым был врач Данковской земской больницы А. П. Семеновский.

ГЛАВА XXVIII

[1] Мария Николаевна Толстая умерла 4 августа 1830 года, через пять месяцев после рождения дочери. Л. Н. Толстой в своих «Воспоминаниях» пишет, что его мать умерла «вследствие родов» сестры, М. Н. Толстой (т. 34, с. 354).

[2] *Фет*, ч. 1, гл. 8 и 9, с. 210—284.

[3] М. Н. Толстая жила с мужем в имении Покровском Чернского уезда, Тульской губернии, в двадцати верстах от имения И. С. Тургенева Спасское-Лутовиново. Знакомство Марии Николаевны с Тургеневым (в октябре 1854 г.) скоро перешло в дружбу между ними, сопровождавшуюся живой перепиской. Образом М. Н. Толстой была навеяна посвященная ей повесть Тургенева «Фауст». По семейному преданию, Тургенев так же, как герой его повести, читал с Марией Николаевной в беседке, но только не «Фауста», а «Евгения Онегина». (См.: «И. С. Тургенев и

М. Н. Толстая» — В кн.: Пузин Н. П., Архангельская Т. Н. Вокруг Толстого.— Тула, 1982, с. 46—58).
[4] Из письма 3 марта 1909 года (т. 79, с. 100).
[5] М. Н. Толстая в письме к Д. П. Маковицкому от 10 декабря 1908 года выражала сожаление о том, что Толстой уничтожил свое письмо епископу Гермогену и не прислал ей копии. Она показала бы его некоторым, и оно «открыло бы им глаза» *(ГМТ)*.

Письмо Толстого было написано в ответ на обращение саратовского епископа Гермогена к духовенству и народу, в котором он обличал как «нравственно беззаконную затею» желание некоторой части общества праздновать юбилей Толстого. Он требовал высылки Толстого «за пределы всякого государства».

Толстой не отправил своего письма Гермогену (т. 78, № 252), копию он впоследствии послал М. Н. Толстой с просьбой дать «прочесть и некоторым», не списывая его текста.

«Я не посылал письмо (Гермогену.— *Ред.*) потому,— писал Толстой в цитируемом Ильей Львовичем письме к М. Н. Толстой от 14 декабря 1908 года,— что оно не стоит того, а главное, оттого, что le beau rôle (преимущество) слишком на моей стороне» (т. 78, с. 284).
[6] А. Л. Толстая с В. М. Феокритовой.
[7] В августе 1896 года (с 10 по 15) Л. Н. и С. А. Толстые ездили в Шамординский монастырь, откуда проехали в Оптину пустынь. Это путешествие подробно описано С. А. Толстой (Моя жизнь. Т. 7, с. 49—55. Машинопись. *ГМТ*). В этот приезд в Оптину пустынь Толстые посетили могилы тетки Льва Николаевича А. И. Остен-Сакен, умершей в Оптиной пустыни, и Е. А. Толстой, сестры Т. А. Ергольской. С. А. Толстая была на исповеди у отца Герасима.

По словам Софьи Андреевны, Толстой «нашел в Оптиной пустыни большой упадок и во внешнем и во внутреннем духе монастыря».

Упоминание о том, что Толстой встретился с отцом Иосифом, настоятелем скита Оптиной пустыни, находим в дневнике А. С. Суворина. В записи 10 ноября 1896 года Суворин приводит рассказ М. А. Стаховича о поездке Толстых в Оптину пустынь: «...он (Толстой.— *Ред.*) с графиней поехал в Оптину пустынь, где она говела и каялась. Он не говел, но посещал службу, был у старца Иосифа...» («Дневник А. С. Суворина».— М.-П., 1923, с. 133).

ГЛАВА XXIX

[1] Н. С. Лесков умер в ночь на 21 февраля 1895 г. Его завещание Толстой прочитал в «Северном вестнике», 1895, № 3, с. 105—107.
[2] Первое завещание было сделано Толстым в виде записи в дневнике 27 марта 1895 года (т. 53, с. 14—16), Толстой просил «пересмотреть и разобрать» бумаги свои жену, В. Г. Черткова и Н. Н. Страхова. Право на издание своих сочинений он просил наследников передать обществу.

Второе завещательное распоряжение Толстой высказал в письме к В. Г. Черткову от 13/26 мая 1904 года (т. 88, с. 327—329), он поручал В. Г. Черткову и С. А. Толстой разобрать его бумаги и «распорядиться ими», как они найдут нужным.

Дневниковая запись 11 августа 1908 года (т. 56, с. 144), продиктованная и стенографически записанная Н. Н. Гусевым, явилась третьим завещанием Л. Н. Толстого. Он высказал желание, чтобы все его писания были отданы его наследниками в общее пользование («Если не все, ...то непременно надо народное: как-то «Азбуки», «Книги для чтения»).

В июле 1909 года у Толстого возникла мысль о составлении формального завещания. За советом и помощью он обратился к юристу И. В. Денисенко, который составил проект завещания и послал его Толстому. По неизвестным причинам этот проект завещания до Толстого не дошел.

Четвертое (первое формальное) завещание было написано Толстым 18 сентября 1909 года (т. 80, с. 267) во время его пребывания у В. Г. Черткова. По этому завещанию все его сочинения не должны были составлять ничьей частной собственности и могли бы быть «безвозмездно издаваемы и перепечатываемы всеми». Все рукописи Толстого по этому завещанию передавались в распоряжение Черткова. Это завещание не было признано юристами, так как по закону собственность можно было завещать только определенному лицу, а не всему народу, как выходило по завещанию. Поэтому 1 ноября 1909 года появилось пятое завещательное распоряжение Толстого (т. 80, с. 268—269; т. 90, с. 350). В составлении этого завещания приняли участие В. Г. Чертков, московский присяжный поверенный Н. К. Муравьев и Ф. А. Страхов. Толстой назначил своей юридической наследницей младшую дочь, А. Л. Толстую, но не указал, кому должно было перейти его литературное наследство в случае смерти А. Л. Толстой, и завещание с формальной стороны могло быть признано недействительным.

22 июля 1910 года в лесу близ деревни Грумонт было написано шестое завещание Толстого (т. 82, с. 227). Текст был составлен Н. К. Муравьевым и переписан Л. Н. Толстым. Рукописи и все бумаги завещались в полную собственность А. Л. Толстой, а в случае ее смерти — Т. Л. Сухотиной.

16 ноября 1910 года тульский окружной суд в публичном судебном заседании утвердил к исполнению это завещание Толстого.

ГЛАВА XXX

[1] Среди некоторых толстовцев была распространена легенда о Толстом — Сократе, жертве Ксантиппы — Софьи Андреевны. Возможно, что И. Л. Толстой имел в виду пьесу П. А. Сергеенко «Сократ», о которой М. С. Сухотин писал в своем дневнике: «Кстати, Сократ и Ксантиппа Сергеенко, конечно, списаны со Льва Николаевича и Софьи Андреевны» («Толстой в последнее десятилетие своей жизни. По записям в дневнике М. С. Сухотина».— *ЛН*, т. 69, кн. 2, с. 222).

[2] См.: т. 57, с. 99.

[3] И. Л. Толстой неточно цитирует евангельский текст, приведенный Л. Н. Толстым в сборнике «На каждый день», см.: т. 43, с. 254.

[4] Дети Толстого, Т. Л. Сухотина, Сергей, Илья и Андрей Львовичи, собравшись 29 октября в Ясной Поляне, написали Толстому письма, которые передала Толстому его младшая дочь, Александра. Они, за исключением Сергея Львовича и Татьяны Львовны Сухотиной, считали, что отцу следует вернуться. Сергей Львович считал, что Толстой, уйдя из Ясной Поляны, поступил правильно. «Я думаю,— писал он,— что мама́ нервно больна и во многом невменяема, что вам надо было расстаться (может быть, уже давно), как это ни тяжело обоим. Думаю также, что если даже с мама́ что-нибудь случится, чего я не ожидаю, то ты себя ни в чем упрекать не должен. Положение было безвыходное, и я думаю, что ты избрал настоящий выход». Илья Львович писал: «Я знаю, насколько для тебя была тяжела жизнь здесь. Тяжела во всех отношениях. Но ведь ты на эту жизнь смотрел как на свой крест... Мне жаль, что ты не вытерпел этого креста до конца».

Все эти письма опубликованы в книге: *С. Л. Толстой*, с. 242—244. Письмо Л. Н. Толстого к С. Л. Толстому и Т. Л. Сухотиной — см.: т. 82, с. 220—221.

[5] Записи 30 июля и 2 августа 1910 года (т. 58, с. 129, 130).

[6] Кузминская Т. А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне, I—III.— М., 1925—1926.

[7] См. об этом прим. 5 и 6 к гл. II.

[8] Автобиография С. А. Толстой опубликована в журнале «Начала», 1921, № 1, с. 131—168.

[9] См. т. 58, с. 131, 132.

[10] Эти слова Л. Н. Толстого записала Т. Л. Сухотина. Об этом см. главу «О смерти моего отца и об отдаленных причинах его ухода».— В кн.: *Т. Л. Сухотина*, с. 369—426; приводимые И. Л. Толстым слова — с. 423.

[11] С. А. Толстая умерла 4 ноября 1919 года в Ясной Поляне. Об этом см. также *С. Л. Толстой*, с. 265—270.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И НАЗВАНИЙ[1]

[1] В указатель включены личные имена и названия, прямо или косвенно встречающиеся в тексте воспоминаний и примечаниях. Имена и названия, упоминаемые только во вступительной статье и примечаниях, в указатель не введены. Ссылки на страницы примечаний даны курсивом. Указатель составили О. А. Голиненко и Б. М. Шумова.

СОДЕРЖАНИЕ

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ

Толстой И. Л.

Т 52 Мои воспоминания / Вступ. ст. С. А. Розановой; Прим. О. А. Голиненко, Б. М. Шумовой.— М.: Правда, 1987.—464 с.

В книгу вошли воспоминания И. Л. Толстого (1866—1933) об отце — великом русском писателе Л. Н. Толстом, а также его рассказ «Одним подлецом меньше» и повесть «Труп».

Т $\frac{4702010100—1504}{080(02)—87}$ 1504—87 84 Р 1

Илья Львович Толстой

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ

Редактор
Е. М. Кострова

Оформление художника
С. Н. Оксмана

Художественный редактор
Н. Н. Каминская

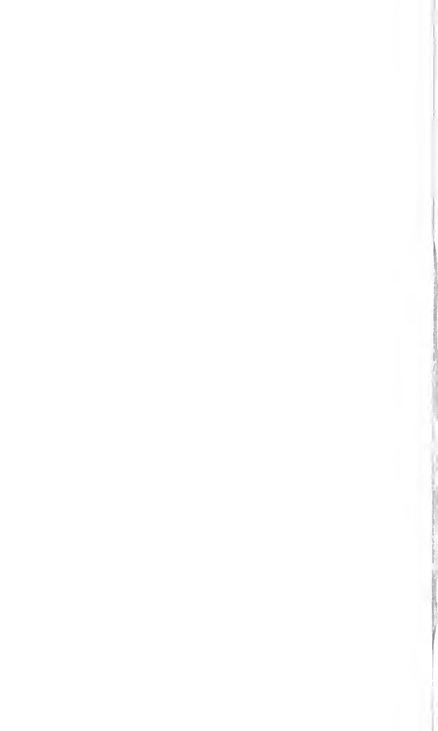
Технический редактор
Е. Н Щукина

ИБ1504

Сдано в набор 11.04.86. Подписано к печати 25.07.86.
Формат 84х108 1/32. Бумага типографская № 2.
Гарнитура «Литературная». Печать высокая.
Усл. печ. л. 24,36. Усл. кр.-отт. 24,78. Уч.-изд. л. 24,89.
Тираж 250000 экз. (2-й завод: 125001—250000).
Заказ № 4605. Цена 1 р. 60 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типографии имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда».
125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Отпечатано в типографии
издательства Карагандинского обкома Компартии Казахстана.
470032, Караганда, ул. Дзержинского, 53.




1 р. 60 к.